АРКАДИЙ
СТРУГАЦКИЙ
БОРИС
СТРУГАЦКИЙ

Annotation

В двенадцатый, дополнительный, том собрания сочинений включены новый роман С. Витицкого, статья А. Стругацкого, выдержки из писем Б. Стругацкого к Б. Штерну, воспоминания об Аркадии Стругацком,

---

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ
Дополнительный

С. ВИТИЦКИЙ
БЕССИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Александр Кушнер

Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но этого не делает.

Даниил Хармс

Глава первая СЕНТЯБРЬ ВАДИМ ДАНИЛОВИЧ ХРИСТОФОРОВ ПО ПРОЗВИЩУ РЕЗАЛТИНГ-ФОРС

— Сегодня я во сне покойного отца видел, — сообщил Тимофей Евсеевич с крайней озабоченностью в голосе. — Значить? Что-нибудь плохое случится обязательно...

Вадим посмотрел на него без всякого интереса и, ничего не ответив, снова углубился в вычисление средних взвешенных. Ему оставалось обработать еще два последних ряда наблюдений, а Тимофей Евсеевич Сыщенко ни в каких его ответах и тем более комментариях не нуждался. Он в очередной раз починял примус. Бензиновый, бесшумный, наиновейший (чудо конверсии с реактивной тягой) и потому особенно охотно засоряющийся. Казенный.

Жара уже подступала. Ветерок, поднявшийся было с утра, совсем стих, день снова обещал стать томительно жарким, потным и изнуряющим. Небо было чистое, совсем без облаков, но Бермамыт и Кинжал у самого горизонта на востоке и на западе затянуты были сизой дымкой, словно там кто-то тайно палил невидимые костры.

Вадим закончил обработку ночных наблюдений, убрал записи в папку, посмотрел на Эльбрус, призрачный, почти прозрачный на белесоватом чистом небе, и почему-то вдруг вспомнил, что давным-давно ничего не писал в дневник. Он сходил в командирскую палатку, выкопал дневник из-под ночного обмундирования и снова уселся за столик. Полистал. Зацепился за какую-то запись. Стал читать.

> «14.08. ...Хребет хорош, он похож чем-то на лунные хребты. Эльбрус страшен и странен над тучами. А наш Харбас порос коротенькой травкой и жиденькими синими цветочками. Летают шмели и жадно и грубо в эти цветочки вцепляются, словно хотят их тут же изнасиловать. Утром вдруг раздалось шипенье крыльев и отчаянный крик. Пронеслась тень, и под машину забилась перепуганная насмерть пичужка. Оказалось, это была неудачная атака сокола...
>
> ...Тенгиз говорил, что нельзя долго оставаться в контакте с Богом, сохраняя при этом здравый рассудок. Кажется, это из

Умберто Эко. Или нет? Неважно. Главное — сильно сказано...

За то, что пока живые, исправно идут полевые,
За то, что туманы злые, за то, что в горах обвал.
Здесь только кручи, да зыбучий перевал,
И в медленных тучах Харбас, Бермамыт, Кинжал...»

«16.08. Стоит Командору уехать, и что-нибудь обязательно случается. На лагерь напали коровы. Здоровенный серый бугай с громоподобным сиплым рычанием принялся тереться об антенну и моментально сорвал противовес. Коровы подошли и стали шеренгой, тупо глядя на лагерь. Бугай был столь величествен, что я сначала было решил трусливо отлежаться в палатке, надеясь, что все как-нибудь само собою утрясется. Но бугай пригласил чесаться еще трех коров (видимо, самых любимых), и они начали шумно мочиться у меня над ухом, а все стадо двинулось прямо на лагерь. Тогда я судорожно зарядил ружье и пошел искать пастуха. Пастуха, разумеется, нигде не было. Тогда я вернулся (коровы тем временем подошли вплотную) и заорал бугаю: «У-у!» и замахал на него руками. Бугай ответил: «У-у!» и сделал шаг вперед. Я, трепеща, кинулся за командирскую палатку и оттуда заорал уже коровам: «Пошли вон — туда вас и растуда!!!» Коровы отшатнулись. Тут меня осенило. Я взял канат, стал им хлопать, и крутить, и вопить «У-у!», но обращаясь при этом исключительно к коровам. Коровы, будучи всего лишь женщинами, дрогнули и стали отступать. Бугай оценил мою деликатность и тоже стал небрежно удаляться, по пути заигрывая с коровами. Потом они все ушли. Мораль: никогда не ори на начальника — ори на подчиненных и терпеливо ожидай, пока до начальника дойдет, в чем дело и как ему поступать надлежит...»

«18.08. ...В палатке было темно.

— Эй, хозяин, — позвал я негромко. Никто не отозвался. Я присел на корточки и пошарил рукой. Я нащупал ногу в сапоге и дернул, по возможности деликатно. Нога мотнулась у меня под рукой и снова застыла.

— Хозяин! — позвал я, уже понимая, уже догадываясь, что

дело — дрянь. Человек в палатке молчал. И вдруг я почувствовал, что у меня стало холодно внутри. Человек не дышал.

Я полез в карман ватника и чиркнул зажигалкой. Ветер колебал синенький огонек, но я разглядел человека целиком. Он лежал навзничь, вытянувшись, бессильно положив ладони рядом с телом, и смотрел в низкий потолок прикрытыми глазами. Лицо у него было разбито, и кровь засохла черными пятнами, и черные пятна засохли на больших широких ладонях...»

Вадим не стал читать дальше. Он только исправил «низкий потолок» на «провисший» и перебросил сразу несколько страниц текста.

«20.08. Ночью грянул ураган. Вдруг погас примус, палатку рвануло, и что-то на меня навалилось. Вырвало два кола. Унесло: стол — на 10 метров, крышку от кастрюли на 20 метров, миску — на 50 метров...

Вот пришло в голову: всякий альтернативный вариант истории содержит больше социальной энтропии, нежели реально осуществившийся. Или другими словами: история развивается таким образом, чтобы социальная энтропия не возрастала. Вторая теорема Клио. (А как же Смутные времена? Чингисханы, Тамерланы, Атиллы? Это — микропространства истории, микрофлюктуации. И вообще, кто знает: если бы Темучина придушил в детстве дифтерит, может быть, появился бы такой его заменитель, который вообще сжег бы полмира...)»

«21.08. Опять один. Сражаюсь с коровами как лев. У всякой убегающей коровы хвост вытянут, а кончик хвоста расслаблен и болтается свободно. Кажется, что корова насмешливо делает тебе ручкой. Должен отметить, что самое страшное на свете животное — корова. (Хантер не прав: он считает, что леопард; какая ерунда!) Я был разгромлен. Противовес срывали дважды, рация не работает. Два раза мне удалось опятить бугая, но в третий раз он зашел с запада, оказавшись внезапно у меня за спиной, и стал в трех шагах. Он рыл копытом землю, уставлял рога и с сипением разевал пасть — видимо, грязно ругался...»

Последняя запись была недельной давности:

«29.08. Сижу один. К ящику прислонена дубина, рядом пирамида булыжников. На психрометре лежит рогатка с запасом зарядов. Жду врага, но враг от жары настолько ошалел, что даже и не нарывается — только чешется остервенело об триангуляционный знак третьего класса...»

Он взял ручку, снова поглядел на Эльбрус, вдохновляясь, и стал писать:

«Вот и еще неделя прошла, — писал он. — Неплохая была неделька — жаркая и без дождей с градом. Хотя по утрам иней уже выпадает, и мерзнет нос, высунутый из спальника. Время идет, а записывать совсем не хочется. Сидим на Харбасе, теперь — с Тимофеем. Каждый день одно и то же. Встали, поели горохового супа и — читать-перечитывать старые журналы. И, конечно же, споры обо всем, переходящие на личности. Потом вечер, разжигаем примус, запаливаем свечу и — шахматы, какао и снова споры обо всем, переходящие на личности. Тимофей — странный человек. Командор как-то сказал про него (с задумчивостью в голосе): «Интересно, сколько «с» в слове «Сыщенко»?»...»

Странный человек Тимофей подал голос:

— Пожалуйте вам. Принимайте гостей. Давно не виделись.

Это, оказывается, Магомет пожаловал. Во всей своей дикой грязноватой, небритой, хищной, горбоносой красе, наводящей на Тимофея Евсеевича спасительный первобытный ужас. На этот раз он, элегантно скособочившись в седле, держал в правой руке эмалированное ведро. Как тут же и выяснилось — с мясом. Точнее — с бараниной.

— Начальство посылает, — объяснил Магомет, остановивши лошадь и передавая ведро Вадиму.

Вадим принял ведро и позвал:

— Тимофей Евсеевич. Будьте так добры.

Тимофей выскочил из-за кухонной палатки, схватил ведро и тотчас же с ним скрылся на своей территории, — только зыркнул настороженно из-под неопрятных бровей на Магомета. Магомет, очень довольный произведенным впечатлением, блеснул двумя рядами стальных зубов и сказал ему вслед:

— Ведро верни, да?

Вадим предложил:

— Спешься. Посидим.

— Спасибо, с утра сижу, — ответил Магомет в своеобычной манере.

— Чайку попьем, — настаивал Вадим.

— Спасибо. Ехать надо. Начальство. Гостей ждешь? — спросил он вдруг.

— Гостей? Откуда здесь гости. Никого не жду.

— А командир где?

— В разведку поехал. Вечером вернется.

Тимофей Евсеевич снова обнаружился рядом, теперь уже с опустошенным ведром. Магомет принял ведро, подбросил его в руке, посмотрел направо, посмотрел налево, сказал небрежно:

— Значит, гостей не ждешь? — и, не дожидаясь ответа, тронул лошадь.

— Эй, Магомет! Когда быка от нас заберете? — спросил Вадим ему в спину.

Магомет сел в пол-оборота и проговорил наставительно:

— Это дурной бык. Ты — бери камень и бей его между рогами. Изо всей силы. Он другого ничего не понимает. Дурной бык. Бери большой камень, и — между рогов...

— Свежее решение, — сказал Вадим уже ему в спину. — Изменим жизнь к лучшему.

Магомет больше не оборачивался — слегка покачиваясь в седле, он спускался по склону — без всякой дороги, по осыпи, на север, в сторону затянутой сизой дымкой каменной горы, знаменитой не только своим чарующим именем Тещины Зубы, но еще и автомобильным спуском, название которого в переводе означало Вредно Для Души. Подал голос Тимофей Евсеевич:

— Дрянное мясо, — сказал он сварливо. — Что с ним делать прикажете? Мы на нем себе последние зубы поломаем.

— Сделайте харчо, — предложил Вадим.

— Ну да... Харчо... Харчо вредно.

— Ну, сделайте баранью похлебку. С чесноком. И с макаронами. Снотворное и слабительное в одном флаконе. Не только вредно, но и вкусно.

Тимофей Евсеевич ничего на это не ответил, только принялся активно брякать какими-то своими тарелками-кастрюлями, а потом вдруг запел тоненьким голосом:

Чому мне ня петь, чому ня гудеть,
Коли в маей хатаньке парадок идеть?..

Томительная жара окончательно установилась и теперь стояла вокруг, воздух струился и дрожал над восточным склоном, и вдруг там бесшумно возникли и словно поплыли сквозь это дрожание пятнистые коровьи туши, рога, помахивающие хвосты, слюнявые морды. Вадим, задремывая в кресле, следил за ними слипающимися глазами. А Тимофей Евсеевич все тянул, все зудел печально и не переставая:

Мушка на акошечке на цимбалах бье,
Паучок на стеночке кресаньки тке.
Чому мне ня петь, чому ня гудеть,
Коли в маей хатаньке парадок идеть?..

Потом он вдруг резко сам себя оборвал и сказал как бы с недоумением:

— Наши едут?

Вадим тут же проснулся и прислушался. Ничего не было слышно, кроме шипения примуса.

— Не может быть, — сказал он. — Откуда? Двух часов еще нет.

— А я вам говорю, что слышу. Машина едет. Оттуда.

Вадим снова прислушался. Кажется, и в самом деле раздавались какие-то посторонние звуки, но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, и — из суеверия и из чистого упрямства — он сказал:

— Да не может этого быть. Ясно же было сказано: не раньше девятнадцати, а скорее — позже.

— Хорошо-хорошо, — легко согласился Тимофей Евсеевич. — Пусть будет такочки...

Он стоял посреди своего хозяйства (примусы, тарелки, миски, вилки-ложки, ведра, канистры) и, сложив обе руки козырьком, смотрел на юг, в сторону дороги. Он соглашался исключительно и только потому, что был уверен в своей безусловной правоте. И чем увереннее он себя чувствовал, тем легче соглашался. Оппоненту полагалось самому, лично, без всяких дополнительных аргументов и его, Тимофеевых, усилий убедиться в том, что посрамлен. Это у Тимофея Евсеевича был такой высший пилотаж ведения диспута. На любую тему.

На дороге, из-за зеленого бугра, показалась автомобильная крыша, и

сразу же сделалось ясно, что великий спорщик и победитель дал на этот раз маху — крыша была черная, блестящая, роскошная, совсем в этих местах неуместная: крыша большого, богатого, очень богатого, неприлично богатого автомобиля.

Потом и сам автомобиль появился — выполз с натугой из-за бугра — черный, сверкающий на солнце, угрюмо роскошный «джип-гранд-чероки», «сухопутный крейсер», по пояс залепленный серой подсохшей грязью. Выполз и сразу остановился, словно дальше ехать духу ему не хватало, постоял неподвижно несколько секунд, уставясь всеми своими двадцатью фарами, подфарниками и прожекторами, а потом распахнул разом четыре дверцы и принялся неторопливо и как бы нехотя извергать из себя пассажиров.

— Кто такие? — спросил Тимофей Евсеевич. В голосе его был страх.

— Не знаю.

— А почему это Магомет говорил, что вы ждете гостей?

— Он такого не говорил.

— Но я же сам слышал! — возразил Тимофей Евсеевич, и в голосе его взвизгнула истерика.

Трое шли к ним от джипа, и еще несколько осталось у машины, но Вадим смотрел только на этих троих. Собственно, он смотрел только на того, что шел посерединке — изящный, небольшой, очень аккуратный человек, весь в сером, элегантный, даже, кажется, с тросточкой. Старый знакомый. Он шел легко и споро, но без всякой, впрочем, торопливости — шел так, как ему было удобно идти, шел заканчивать дело, начатое еще в Петербурге, не законченное тогда, а теперь нуждающееся в быстром и эффективном завершении. Так ходят энергичные молодящиеся политические деятели перед объективами телекамер — решительно, напористо и целеустремленно. Узконосые штиблеты его аристократически сверкали на солнце, совершенно неуместные здесь, в мире кирзовых сапог и грязных кроссовок.

Слева от него, чуть отставая, вышагивал здоровенный шкаф, на полторы головы выше, обтянутый кожаной курткой, круглоголовый и, кажется, лысый, а может быть, выбритый наголо, — Вадим не стал его рассматривать, как не стал рассматривать и третьего — маленького, на вид совсем безвредного, мелкого, узкоплечего, с большой головой в кожаной кепке и в коричнево-зеленом камуфляже.

— Что за люди, никак я не могу понять... — бормотал Тимофей Евсеевич, — зачем они там остановились? Подъехать не могли?.. — бормотал он, и еще что-то полуразборчивое и уже совсем в отчаянии.

Трое стремительно надвинулись и подошли уже почти вплотную. Серый знакомец приветливо помахал своей тросточкой, которая у него была вовсе не тросточка, а что-то вроде черной полированной указки, с которой он, видимо, всегда ходил. Не расставался. Как британский офицер со своим стеком.

Здоровенный носорог обогнул хозяйственную палатку справа и остановился почему-то рядом с Тимофеем, возвышаясь над ним, словно Голем, и теперь видно было, что он никакой не бритый, а именно лысый — с остатками рыжего пуха над ушами и с конопатым теменем, на котором уже и пуха не оставалось. Морда у него была круглая и неприятно асимметричная, словно он страдал флюсом.

Серый же со вторым своим спутником обогнул палатку слева и подошел к Вадиму со словами:

— Здравствуйте, здравствуйте, Вадим Данилович. Вот мы и снова свиделись. Что я вам говорил?..

Вадим смотрел, как он небрежно и элегантно усаживается за стол (без всякого приглашения), задирает ногу на ногу, сверкает покачивающимся штиблетом, тросточкой своей лакированной сверкает — черной остроконечной указкой с шариком на конце.

— У вас такой вид, Вадим Данилович, будто вы забыли, как меня зовут... Или не забыли?

— Не забыл, — сказал Вадим сквозь зубы.

— Замечательно. Поговорим?

— О чем?

— Да все о том же. Запамятовали?

Вадим молчал.

— Напомнить?

Вадим молчал, глядя на него исподлобья. Человек в сером улыбался — вежливой необязательной улыбкой светского льва, ведущего необязательный разговор о погоде. Или о политике. Или о футболе.

Большеголовый мелкий человечек в камуфляже садиться не стал, хотя свободные стулья располагались тут же, на виду. Он прислонился спиной к наблюдательному столбу и сложным образом переплел тощие свои ноги. Он тоже улыбался, но как-то рассеянно, словно был далеко отсюда и думал совсем о другом. В сочетании со змеиными неподвижными глазками улыбка эта смотрелась странно и неприятно. Руки он держал в карманах куртки и все время шевелил там, в карманах, пальцами, словно что-то там, в карманах, разыскивал или ощупывал.

А здоровенный носорог нависал над Тимофеем, словно Идолище

Поганое, — неподвижный, огромный, неуклюжий, будто бы надутый изнутри. Бедный Тимофей Евсеевич сидел под ним на корточках, боясь пошевелиться — зрачки у него были во всю радужку и судорожно бегали и дергались, похожие на издыхающих головастиков.

— Это вы что же — через всю Россию перли сюда, чтобы опять говорить об этих глупостях? — спросил Вадим сквозь зубы.

— А я вас сразу предупредил, что наш разговор — серьезный. Вы к нему несерьезно отнеслись, но это уж ваша проблема. Есть люди, которые все это глупостью отнюдь не считают...

— Ну и напрасно. Я уже вам все и совершенно ясно сказал...

— Стоп. Так у нас ничего не получится, — сказал серый человек с выраженным сожалением. У него было странное имя-отчество: Эраст Бонифатьевич. Впрочем, ниоткуда не следовало, что его и на самом деле так зовут. — Давайте попробуем с самого начала, — предложил Эраст Бонифатьевич. — Вы ведь знаете, кого выберут губернатором?

— Гос-споди, — сказал Вадим, демонстративно закрывая глаза.

— Не «господи», а просто отвечайте. Знаете ведь?

— Ну, предположим, знаю.

— Нет уж, дорогой вы мой! Давайте без всяких «предположим». Знаете или нет? Ведь знаете же!

— Знаю, — согласился Вадим неохотно. — Генерала выберут.

— Слава богу! Наконец-то мы хоть о чем-то договорились.

— Да ни о чем мы не договорились. Я и раньше не отрицал, что знаю...

— Вот именно! О том и речь, Вадим Данилович. Об этом и речь! А теперь вопрос номер два: откуда вы это знаете?

Вадим сморщился.

— Ну не могу я этого вам объяснить! Откуда вы знаете, что «пройдет зима — настанет лето»?

— «Спасибо партии за это». Неудачный пример. Это все знают.

— Ну так и это все знают. Что Генерала выберут. Вы разве сомневаетесь?

— В высшей степени.

— Ну и зря. Во второй тур выйдут Генерал и Зюзючник. Победит Генерал. Дважды два — четыре.

— Я вот уверен, что выберут Интеллигента.

— Да? Вы хоть газеты читаете? Знаете, какой у Интеллигента рейтинг?

— Знаю. Но выберут Интеллигента, и вы тому, Вадим Данилович, поспособствуете.

— Опять! Я же вам ясно сказал еще в прошлый раз...

— То, что вы мне сказали в прошлый раз, я прекрасно помню. А я вам тогда ясно объяснил, что этот ответ нас никак не устраивает. Помните?

— Кого это — «нас»?

— А вы не знаете? Нас. Крупными буквами: Н-А-С.

— Не понимаю.

— Все вы прекрасно понимаете. Не валяйте ваньку. Все вам было уже сказано и совершенно определенно.

— Ничего мне не было сказано, — возразил Вадим упрямо. — Аятолла какой-то. При чем здесь аятолла? Аятолла здесь при чем?

— Перестаньте валять ваньку, — повторил Эраст Бонифатьевич с напором. — Я не шучу.

Большеголовый тем временем извлек из кармана горсть орехов и принялся их — один за другим — очень ловко раскусывать маленькими специальными щипчиками. Зернышки он кидал в рот, не глядя, а шелуху ронял на траву. Все это получалось у него совершенно автоматически — глядел он только на Вадима, пристально и не мигая. Но — улыбаясь. Все еще. Только улыбка теперь сделалась у него совсем бледная, как это бывает на сильно недодержанной фотографии.

— Вы, Вадим Данилович, все-таки не молчите, — напомнил Эраст Бонифатьевич. — Я еще раз вам напоминаю и объясняю, если вы действительно меня так и не поняли: разговор у нас серьезный. Очень серьезный. Так что — вы лучше отвечайте.

Вадим разлепил сухие губы:

— Вы что же — на самом деле верите, что я могу делать будущее?

— Я не верю, — веско сказал Эраст Бонифатьевич. — Я знаю.

— Но это же бред, — сказал Вадим беспомощно. — Бред же!

— Совсем нет. Нам хорошо известно, что вы не только видите будущее, вы еще умеете его, как вы сами выразились, «делать». Мы знаем это из очень достоверных источников. Самых достоверных, Вадим Данилович!

— Бред, — повторил Вадим. — Неужели вы сами не понимаете, что это — бред?.. Ну не бывает же так!

И тут раздался неожиданный, а потому особенно ужасный вопль Тимофея Евсеевича:

— Вадим Данилович! Поберегитесь! Не обманывайте товарищей! Ведь вы же МОЖЕТЕ! Не противьтесь, сделайте, что они хотят...

— Господи, — сказал Вадим, глядя на него с ужасом. — А вы-то куда еще?..

— Я же все знаю! — Тимофей Евсеевич по-прежнему сидел на

корточках, словно нужду справляя, и в этой жалкой позе обвинительно кричал, сотрясаясь как бы в ознобе и даже руку обвинительно простирая в сторону Вадима. — Я же вижу, как вы погоду все время нам делаете!.. Он погоду делает! — продолжал Тимофей Евсеевич теперь уже доверительно обращаясь непосредственно к серому Эрасту Бонифатьевичу, который всем видом своим выражал сейчас самый неподдельный к происходящей сцене интерес. — Он не предсказывает, не-ет, — он делает! Всю дорогу. Когда устаем наблюдать — дождь. Когда надо наблюдений побольше — вёдро!!! Смотрите: осень на дворе, а у нас здесь — жара, без порток ходим... Ему же наблюдения сейчас нужны, чтобы ясное небо было, он же не может, чтобы ни одной звезды за ночь!..

— Интересно все-таки, сколько «с» в слове «Сыщенко»? — спросил Вадим хрипло, а рыжий Голем вдруг положил огромную лапу Тимофею на голову, и Тимофей тут же замолчал, словно его выключили на полуслове.

Стало тихо, и в этой тишине Эраст Бонифатьевич подвел итог:

— Глас народа! — сказал он назидательно. — Вокс деи, так сказать. Не упирайтесь, Вадим Данилович, не надо. Все всё про вас давно знают. В девяносто третьем все до одного были уверены, что победят демократы. Весь советский народ, как один человек. Только вы говорили: нет, ребята, не будет этого, а будет вам Жириновский. Так оно и вышло! В девяносто четвертом все были уверены, что никакой войны в Чечне не будет, и только вы один...

— Чего вам от меня надо, вот я чего не понимаю, — сказал Вадим. — Что я по-вашему — волшебник, что ли?

— Не знаю, — сказал Эраст Бонифатьевич проникновенно. — Не знаю, и даже знать не хочу. Нам надо, чтобы победил на губернаторских выборах человек, которого все называют почему-то Интеллигентом, а уж как вы это сделаете, нас совершенно не касается. Волшебство? Пожалуйста, пусть будет волшебство. Колдовство, чары, телекинез... футурокинез, так сказать, — да ради бога. Вообще — пусть это будет ваше ноу-хау, мы не претендуем. Понятно?

— Мне понятно, что вы с ума сошли, — сказал Вадим медленно.

Он вдруг поднялся.

— Хорошо, — сказал он. — Ладно. Сейчас. Я только принесу бумаги...

Он шевельнулся — к палатке, но элегантный Эраст Бонифатьевич даже не посмотрел, а только лишь покосился в сторону рыжего Голема, и тот — единственный, кажется, шаг сделав — тотчас оказался между входом в палатку и Вадимом.

— Рыжий-красный — человек опасный... — сказал ему

остановленный Вадим, и асимметричное лицо Голема перекосилось еще больше, он даже, кажется, прищурился от напряжения.

— Чево?! — спросил он чрезвычайно агрессивно, но неожиданно высоким и сиплым голоском.

— ...А рыжий-пламенный поджег дом каменный... Извини, — поправился Вадим поспешно. — Ничего личного. Это я так — от ужаса.

— Не обращай на него внимания, Кешик, — сказал небрежно Эраст Бонифатьевич. — Это он от ужаса. Шутит. Очень перепугался. Это, как известно, бывает... Вадим Данилович, вы бы сели. Что вы, в самом деле, вскочили как прыщ? Один мой замечательный знакомец говорит в таких случаях: сядьте на попу... Ну что там у вас в палатке может быть? Двустволка какая-нибудь, я полагаю? Так ее надо ведь еще выкопать из-под барахла, потом патроны разыскать, зарядить... Смешно, ей-богу, не серьезно. Бросьте, давайте лучше дальше разговаривать.

Вадим снова сел за стол, пригладил волосы обеими руками.

— Как говорят в таких случая англичане, — произнес он с вымученной улыбкой, — my poodle light, on dick as all. Что в переводе означает: мой пудель лает, он дико зол.

Эраст Бонифатьевич не сразу, но понял и сейчас же осведомился:

— Интересно, а что говорят в таких случаях голландцы?

— Не знаю.

— Ну хорошо, допустим... А французы?

— Алён-алён трэ, — немедленно откликнулся Вадим, — ма кар тэ ля пасэ.

— Что в переводе означает...

— Алена лён трэ, Макар теля пасэ. Сельская картинка. Левитан. Крамской. «Идет-гудет зеленый шум».

В ответ на это Эраст Бонифатьевич неопределенно хмыкнул и сказал с одобрением:

— Остроумно. Вы остроумный собеседник, Вадим Данилович. Но давайте вернемся к нашему маленькому делу.

— Но я не знаю, что вам еще сказать, — проговорил Вадим, устало прикрывая глаза. — Вы меня не слушаете. Я вам говорю: это невозможно. Вы мне не верите... Вы в чудеса верите, а чудес не бывает.

— А ЗНАТЬ будущее? — сказал Эраст Бонифатьевич с напором. — Знать будущее — это разве не чудо?

— Нет. Это не чудо. Это — такое умение.

— Исправлять будущее — это тоже умение.

— Да нет же! — сказал Вадим с досадой и с отвращением. — Я же

объяснял вам. Это как газовая труба большого диаметра: вы смотрите в нее насквозь и видите там, на том конце, на выходе, картинку — это как бы будущее. Если бы вы эту трубу повернули — увидели бы другую картинку. Другое будущее, понимаете? Но как ее повернуть, если она весит сто тонн, тысячу тонн — ведь это как бы воля миллионов людей, понимаете? «Равнодействующая миллионов воль» — это не я сказал, это Лев Толстой. Как прикажете эту трубу повернуть? Чем? Х..ем, простите за выражение?

— Это полностью ваша проблема, — возразил Эраст Бонифатьевич, слушавший, впрочем, внимательно и отнюдь не перебивая. — Чем вам будет удобнее, тем и поворачивайте.

— Да невозможно же это!

— А мы знаем, что возможно.

— Да откуда вы это взяли, господи?!

— Из самых достоверных источников.

— Из каких еще источников?

— Сам сказал.

— Что? — не понял Вадим.

— Не «что», а «кто». Сам. Понимаете, о ком я? Догадываетесь? САМ. Сам сказал. Могли бы, между прочим, и сообразить, ей-богу.

— Врете, — проговорил Вадим и поперхнулся.

— Невежливо. И даже грубо.

— Не мог он вам этого сказать.

— И однако же — сказал. Сами посудите: откуда еще мы могли бы такое узнать? Кому бы мы еще могли поверить, сами подумайте?

В этот момент Тимофей Евсеевич словно очнулся от гипноза. Он издал странный скрипучий звук, сорвался вдруг с места и кинулся прочь — огромными прыжками, перескакивая через натянутые палаточные стропы, петляя из стороны в сторону, словно исполинский потный заяц с прижатыми красными ушами, — выскочил из расположения и помчался к северному склону, прямо на призрачно мерцающие сахарные головы Эльбруса.

Все следили за ним, словно завороженные. Потом большеголовый любитель орешков спросил быстро, почти невнятно:

— Скесать его, командир?

— Да нет. Зачем? Пусть бежит... — Эраст Бонифатьевич вдруг легко поднялся и помахал своей тросточкой кому-то поверх кухонной палатки — видимо, тем, кто оставался у машины: все в порядке, мол, не берите в голову. — Пусть бежит, — повторил он, снова усаживаясь на место. — У него свои дела, у нас свои, правильно, Вадим Данилович?

Вадим молчал, глядя вслед Тимофею Евсеевичу — тот все еще скакал, все еще петлял, мелькая длинными голенастыми ногами в кирзовых никогда не чищенных сапогах. Он неплохо все это проделывал для пятидесятилетнего с лишним мужика, обремененного внуками и болезнями, — и даже очень неплохо. Видимо, сам господин Ужас нес его на своих бледных крыльях, и он сейчас не смог бы остановиться, даже если бы очень захотел.

— Молчите... — проговорил Эраст Бонифатьевич, так и не дождавшись не то чтобы ответа, но хотя бы какой-нибудь от Вадима реакции. — Продолжаете молчать. Проглотили дар речи... Ну, что ж. Тогда начинаем эскалацию. Кешик, будь добр.

Лысый носорог Голем-Кешик тотчас же надвинулся сзади и взял Вадима в свои металлические потные объятия — обхватил поперек туловища, навалился, прижал к складному креслу, зафиксировал, обездвижил, сковал, — только хрустнули внутри у Вадима какие-то не то косточки, не то хрящики. Теперь Вадим больше не мог шевельнуться. Совсем. Да он и не пытался.

— Руку ему освободи, — командовал между тем Эраст Бонифатьевич. — Правую. Так. И подвинься, чтобы я его физиономию мог видеть, а он — мою. Хорошо. Спасибо... Теперь слушайте меня, Вадим Данилович, — продолжал он, придвинув свое, неприязненно вдруг осунувшееся, лицо в упор. — Сейчас я преподам вам маленький урок. Чтобы вы окончательно поняли, на каком вы свете... Открыть глаза! — гаркнул он неожиданно в полный голос, вскинул свою черную указку и уперся острым жалом ее в щеку Вадима пониже левого глаза. — Извольте смотреть глаза в глаза! Это будет серьезный урок, но зато на всю вашу оставшуюся жизнь... Лёпа, делай — раз!

Большеголовый мелкий Лёпа освободил горсть от орешков, вытер ладонь о штаны и приблизился, небрежно брякая челюстями щипчиков. Это были блестящие светлые щипчики, специально для орехов — две металлических ручки с зубастыми выемками в том месте, где они скреплялись вместе поперечным стерженьком. Большеголовый мелкий Лёпа неуловимым привычным движением ухватил в эти зубчатые выемки Вадимов мизинец и сжал рукоятки.

— Такой маленький и такой непр-риятный... — сказал ему Вадим перехваченным голосом. Лицо его сделалось серым, и пот вдруг выступил по всему лбу крупными каплями.

— Не паясничать! — приказал Эраст Бонифатьевич, мгновенно раздражившись. — Вам очень больно, а будет еще больнее. Лёпа — два!

Мелкий Лёпа быстро облизнулся и ловко перехватил второй палец. «Н-ну, ты! — прошипел Вадиму в ухо рыжий Голем-Кешик, наваливаясь еще плотнее. — С-стоять!..»

— Все. Хватит... — Вадим задохнулся. — Хватит. Я согласен.

— Нет! — возразил Эраст Бонифатьевич. — Лёпа — три!

На этот раз Вадим закричал.

Эраст Бонифатьевич, опасно откинувшись на спинку кресла, наблюдал за ним, играя черной указкой с шариком. На лице его проступило выражение брезгливого удовлетворения. Все происходило по хорошо продуманному и не однажды апробированному сюжету. Все совершалось правильно. Непослушному человеку вдумчиво, аккуратно, умело и со вкусом давили пальцы, причем так, чтобы обязательно захватить основания ногтей. Человек кричал. Вероятно, человек уже обмочился. Человеку преподавали серьезный урок, и человек был расплющен и сломлен. Что, собственно, в конечном итоге и требовалось: человек в совершенно определенной кондиции.

Потом он распорядился:

— Все. Достаточно... Лёпа! Я сказал: достаточно!

И они отступили, оба. Вернулись на исходные позиции. Как псы. В свои будки. Псы поганые. Шакалы. Палачи. Вадим смотрел на посиневшие свои пальцы и плакал. Пальцы быстро распухали, синее и багровое прямо на глазах превращалось в аспидно-черное.

— Мне очень жаль, — произнес Эраст Бонифатьевич прежним деликатным голосом светского человека. — Однако, это было безусловно необходимо. Необходимый урок. Вы никак не желали поверить, насколько все это серьезно, а это — очень серьезно! Теперь — следующее... — Он сунул узкую белую ладонь за борт пиджака и извлек на свет божий длинный белый конверт. — Здесь деньги, — сказал он. — Неплохие, между прочим. Пять тысяч баксов. Вам. Аванс. Можете взять.

Длинный белый конверт лежал на столе перед Вадимом, и Вадим смотрел на него стеклянными от остановившихся слез глазами. Его сотрясала крупная дрожь.

— Вы меня слышите? — спросил Эраст Бонифатьевич. — Эй! Отвечайте, хватит реветь. Или прикажете мне повторить процедуру?

— Слышу, — сказал Вадим. — Деньги. Пять тысяч...

— Очень хорошо. Они — ваши. Аванс. Аванс не возвращается. Если шестнадцатого декабря победит Интеллигент, вы получите остальное — еще двадцать тысяч. Если же нет...

— Шестнадцатого декабря никто никого не победит, — сказал Вадим

сквозь зубы. — Будет второй тур.

— Неважно, неважно... — проговорил Эраст Бонифатьевич нетерпеливо. — Мы не формалисты. И вы прекрасно понимаете, что нам от вас надо. Будет Интеллигент в губернаторах — будут вам еще двадцать тысяч. Не будет Интеллигента — у вас возникнут, наоборот, большие неприятности. Теперь вы имеете некоторое представление, какие именно это будут неприятности.

Вадим молчал, прижав к груди правую больную руку левой здоровой. Его все еще трясло. Он больше не плакал, но по виду его совершенно нельзя было понять, в уме ли он или в болезненном ступоре — согнувшийся в дурацком складном кресле трясущийся потный бледный человек. Эраст Бонифатьевич поднялся.

— Все. Вы предупреждены. Счетчик пошел. Начинайте работать. У вас не так уж много времени, чтобы повернуть вашу газовую трубу большого диаметра: всего-то каких-нибудь пять месяцев, даже меньше. Как известно, — он поучающе поднял длинный бледный палец, — даже малое усилие может сдвинуть гору, если в распоряжении имеется достаточно времени. Так что приступайте-ка лучше прямо сейчас...

— Если нет трения... — прошептал Вадим, не глядя на него.

— Что? А, да. Конечно. Но это уж ваши проблемы. Засим желаю здравствовать. Будьте здоровы.

Он повернулся и пошел было, но вновь остановился:

— На случай, если вы решите бежать в Америку или там вообще геройствовать — у вас есть мама, и мы точно знаем, что вы ее очень любите... — Лицо его брезгливо дрогнуло. — Терпеть не могу такого вот низкопробного шантажа, но ведь с вами иначе никак нельзя, с поганцами... — Он снова было двинулся уходить и снова задержался. — В качестве ответной любезности за аванс, — сказал он, приятно улыбаясь. — Не подскажете, кого нынче поставят на ФСБ?

— Нет, — проговорил Вадим. — Не подскажу.

— Почему так? Обиделись? Зря. Ничего ведь личного: дело, специфический такой бизнес, и боле ничего.

— Понимаю, — сказал Вадим, глядя ему в лицо. — Ценю. — Говорить ему было трудно, и он произносил слова с особой старательностью, как человек, который сам себя не слышит. — Однако любезность оказать не способен. Я знаю, чего хотят миллионы, но я представления не имею, чего хочет дюжина начальников.

— Ах вот так, оказывается? Ну да. Естественно. Тогда — всего наилучшего. Желаю успехов.

И он пошел прочь, больше уже не оборачиваясь, помахивая черной тросточкой-указкой — элегантный, прямой, весь в сером, уверенный, надежно защищенный, дьявольски довольный собой. Мелкий Лёпа уже поспешал следом, не прощаясь, на ходу засовывая в карман свои ореховые щипчики — такой маленький, и такой непр-риятный!.. А вот Кешик задержался. Поначалу он сделал несколько шагов вдогонку начальству, но едва Эраст Бонифатьевич скрылся за кухонной палаткой, он остановился, повернул к Вадиму рыжее лицо свое, вдруг исказившееся, как от внезапного налета зубной боли, и, не размахиваясь, мягкой толстой лапой махнул Вадима по щеке так, что тот моментально повалился навзничь вместе с креслом и остался лежать с белыми закатившимися глазами. Кешик несколько секунд смотрел на него, потом еще несколько — на узкий белый конверт, оставшийся на столе без присмотра, потом снова на Вадима.

— С-сука ссаная... — просипел он едва слышно, повернулся и, тяжело бухая толстыми ногами, поскакал догонять своих.

Некоторое время Вадим лежал как упал — на спине, нелепо растопырив ноги, раздавив собою сложившееся после падения кресло. Потом в глазах его появился цвет и смысл, он задышал и попытался повернуться набок, опираясь на локоть больной руки. Повернулся. Освободился от зацепившегося кресла. Пополз.

Вставать он даже и не пытался. Полз на локтях и коленях, постанывая, задыхаясь, глядя только вперед — на два ведра с нарзаном, поставленные с утра под тент хозяйственной палатки.

Дополз. Сел кое-как и, оскалившись заранее, погрузил больную руку в ближайшее ведро.

— Ничто не остановит энерджайзер... — сказал он в пространство и обмяк, прислушиваясь к своей боли, к своему отчаянию, к опустошенности внутри себя и — с бессильной ненавистью — к мрачному бархатному взрыкиванию роскошного «джипа-чероки», неторопливо разворачивающегося где-то там, за палаткой, на бугристой дороге.

Лирическое отступление № 1 ОТЕЦ ТИМОФЕЯ ЕВСЕЕВИЧА

«...Тимофей — странный человек. Он каким-то непонятным образом зациклен на своем отце. Широчайшее поле деятельности для упертого психоаналитика. Отец — то, отец — се. Лихость отца. Умелость отца. Многоумие его же. Ловкость...

Образец лихости: одна тысяча девятьсот, примерно говоря, пятьдесят шестой год. Колхоз имени Антикайнена (где-то на Карельском перешейке под Питером). Стройбат под командой, сами понимаете, отца разбирает амбар, сохранившийся еще с финских времен. Принципиальный спор между, сами понимаете, отцом и местным бригадиром: разберут солдаты амбар за один день или — ни в коем случае. Проигравший должен залезть на печную трубу и туда (при всех) «насерить» (что сказано, то сказано, не вырубишь топором). Так вот: не только за семь часов амбар разобрали, но еще, когда бригадир, глядя на высоченную (пять метров) печную трубу красного кирпича, принялся ныть, что у него, мол, в спину вступило, — сами понимаете, отец на эту трубу, «взлетев как орел, там как орел уселся и в нее насерил... извиняюсь за это выражение»... А было в те поры отцу, чтобы не соврать, уже сорок восемь и с хвостиком... Пример многоумия: «Человек есть животное двуногое, всегда алчущее, никогда не сытое...» (где он это вычитал — бог знает, но не сам же придумал?) И еще: «Самый упорный солдат, который обманутый. На правде солдата не воспитаешь, а воспитывать приходится, куда деваться, иначе они же тебе же на голову и сядут...»

Он (отец, сами понимаете) вообще любил вспоминать про войну. Но как-то странно. На этой его войне не стреляли и даже, кажется, не убивали. «...Солдаты прибегают: товарищ капитан, там в подвале вино — двенадцать бочонков! Я сразу же — так: два бочонка Бате, и быстро, быстро, в темпе вальса... Очень был Батя доволен, парабеллум подарил, трофейный, у какого-то полковника отобрали...» Видимо, он умел приспособиться, этот, сами понимаете, отец. «У нас был начальник контрразведки СМЕРШ майор Скиталец — зверюга, и в глазах у него — смерть, так он у меня из ладони ел, как лошадь... Потому что надо уметь

приспособиться, а это — наука!..» В одна тысяча девятьсот сорок пятом, уже в Восточной Пруссии, он, было такое дело, жил сразу и с мамашей — хозяйкой дома, и с ее дочкой. Можно сказать — в одной кровати. Причем — никакого насилия: сами предложились, что ж ему — отказываться?.. А осенью того же сорок пятого, уже в Манчжурии, они из орудийных амортизаторов выливали тормозную жидкость и на освободившееся место засовывали штуки шелка, чтобы на КПП не засекли... И так далее, абсолютно в том же духе.

Умер он в одна тысяча девятьсот семьдесят шестом: на зимней рыбалке, но уже весной, — поблизости от Кивгоды унесло его со льдиной вместе в открытые воды, и никто его больше никогда не видел...

«В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений». Не знаю, не уверен. Кстати, я вот вообще никогда не видел своего отца. Даже на фотографиях. Так может быть, оно и к лучшему?..»

Глава вторая ДЕКАБРЬ. ВТОРОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КОСТОМАРОВ ПО ПРОЗВИЩУ ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ

Ночью разразилась оттепель — потекло, закапало, застучало по железным карнизам. С внезапным грохотом обрушивались подтаявшие ледяные пробки, проваливаясь в многоэтажные жестяные колодцы водосточных труб. Сделалось сыро и мерзко, в том числе и в доме. Всю ночь он ворочался, просыпаясь и снова с трудом засыпая, слушал сквозь тяжелую дрему, как Жанка торопливо и неразборчиво говорит кому-то нечто совсем вроде бы несвязное, но при этом, как ни странно, очень искреннее и беспримесно чистое — точно ручеек журчит среди зелени. В результате выспаться не получилось: он поднялся в чертову рань, еще семи не было — с больной головой и злой как собака. А день, между прочим, предстоял тяжелый: три контакта, причем все время с разными объектами и при этом один контакт вообще — наружный.

Для начала, как и было условлено, за пятнадцать минут до девяти он пришел на угол Малой Бассейной и Люблинской (где на доме с незапамятных времен мелом было написано печатными буквами «ЗЮГАНОВ спаси россию»), купил, как было договорено, сливочный вафельный стаканчик и принялся неторопливо его поедать, читая — по собственной уже инициативе — вывешенную тут же газетку «Петропавловское время» за вчерашнее число. Ближайший фонарь располагался не так уж к нему и близко, так что в чертовой предутренней тьме читать было трудно, а вдобавок еще и неинтересно: что-то там такое насчет профессионального обучения, про ярмарку мехов, и еще какая-то предрождественская мутотень...

Зонтика он с собой, естественно, не брал: какие зонтики в декабре месяце? Однако без пяти девять начался дождь. Все, кто скопился к этому времени на углу, все эти жалкие ранние пташки-воробушки, дожидающиеся кто — свидания, а кто — автобуса «четверки», одинаково нахохлились, съежились, скукожились, и лица у всех сделались одинаково несчастные и мокрые, словно бы от слез.

Без одной минуты девять (немец паршивый, педантичный) на углу образовался Работодатель — в обширном английском плаще до пят и с

титаническим зонтом, тоже английского происхождения. Он занял позицию в шаге от Юрия, грамотно расположившись к нему спиной (мокрым блестящим горбом зонта), и стал дожидаться клиента, который, видимо, не был ни немцем, ни педантом, а потому опаздывал, как и полагается нормальному русскому человеку мужского пола, если свиданка не сулит ему ничего особенно хорошего или такого уж совсем плохого.

Не прошло, однако, и пяти минут, как выяснилось, что клиент еще вдобавок и не мужчина вовсе. Юрий отвлекся на статью о коррупции в органах милиции, а когда вновь вернулся к реальности, на Работодателя наседала статная, яркая особа в коричневом кожаном пальто и с огромными, красными, пушистыми волосами, красиво усеянными водяной пылью. В руках у нее был мощный оранжевый ридикюль, и говорила она хотя и шепотом, но необычайно напористо и энергично. Весь вид ее вызывал в памяти полузабытое ныне понятие «бой-баба», — равно как и любимую Работодателеву по этому поводу формулу: «Конь с яйцами».

Поскольку особа всячески старалась сохранить приватность, слышно ее — особенно поначалу — было плохо. Но шепот ее был громоподобен, да и не умела она шептаться — она была из тех, кто провозглашает свое мнение во всеуслышание и на страх врагу. Резко и зычно. Поэтому Юрий довольно быстро оказался в курсе дела, тем более что Работодатель под напором коричневого пальто вынужден был все время пятиться (чтобы не оказаться растоптанным под копытами) и вскорости уперся своим мокрым зонтом в плечо Юрию, так что и тому тоже пришлось отступить-подвинуться, сохраняя, впрочем, дистанцию достаточной слышимости.

А обстоятельства дела сводились к тому, что клиента, оказывается, ночью сегодня схватил радикулит. Встал он это часов в пять по малой нужде — тут его и скрючило, да так, что из сортира до дивана пришлось его, бедолагу, на руках нести («буквально!..»), и теперь он не способен передвигаться не то чтобы как люди, но даже и на костылях. (А костыли припасены у них в доме заранее, с незапамятных времен и именно для таких вот случаев.) Пришлось сделать даже инъекцию диклофенака, и теперь он спит. Так что не подумайте: ни о каком манкировании своими обязательствами речи не идет, а идет речь только лишь и исключительно о неблагоприятном сочетании обстоятельств и, можно сказать, о несчастном случае...

Ошеломленный (и полузатоптанный) Работодатель слабо и робко отбивался в том смысле, что ладно, мол, чего уж теперь, да что вы, ей-богу, так беспокоитесь, ну нет и нет, ничего страшного, пусть поправляется, созвонимся, передавайте мои соболезнования, это ж надо ж, как не повезло,

но страшного-то ничего не случилось, что вы так волнуетесь... И они пошли шептаться задавленными голосами уже по второму кругу.

Когда все это кончилось (яркая статная особа удалилась так же внезапно, как и налетела: сорвавшись с места, штурмом взяла подошедшую «четверку», затоптав по дороге какую-то зазевавшуюся старуху), Работодатель, не скрывая огромного своего облегчения, перевел дух и, поглядев небрежно вправо-влево, двинулся (походкой фланера) вверх по М. Бассейной в направлении станции метро. Выждав положенные по конспирации две минуты, Юрий двинулся за ним (походкой совслужащего, опаздывающего на работу). В подземном переходе они воссоединились.

— А почему, собственно, — шепотом? — спросил Юрий (вспомнив старый анекдот про генеральский автомобиль на правительственной трассе).

— Пива холодного после бани хватимши... — сипло и немедленно ответствовал Работодатель, вспомнив, надо полагать, тот же самый анекдот. — Представления не имею, что он ей там наплел такого, что ее на конспирацию потянуло... А вообще-то странная какая-то история, должен тебе признаться. Радикулит, видите ли, у нас возникает в самый ответст...

И оборвав себя таким вот образом, буквально на полуслове, Работодатель замолчал, глубоко задумавшись. Юрий тоже попробовал обдумать происшедшее, но у него ничего интересного не получилось. Он никогда не отличался способностями к дедукции, индукции и ко всякой прочей формальной логике. Он обычно видел только суть вещей, совершенно при этом не понимая подоплеки. Ну, назначил свидание. Ну, схватил его ридикюль... Дело житейское. Прислал вместо себя бабу свою. Потому что неловко человеку показалось — просто взять и совсем не прийти... Ну и в чем, собственно, проблема?

Самому Юрию проблема виделась сейчас только одна и совсем другая. Работодатель скуп, как двадцать четыре Плюшкина. Заплатит он теперь за несостоявшийся сеанс или же уклонится? На вполне законных, между прочим, основаниях. «За что платить, если не за что платить?» И получалось (после применения дедукции и индукции), что двадцать гринов, в скобках — баксов, только что накрылись медным тазом — старым, дырявым и с прозеленью. И с длинной гладкой ручкой притом — для удобства накрывания... Он попытался вспомнить, сколько у него оставалось в последний раз на книжке, но вспомнить не сумел. Вспомнил только, что немного. То ли сто черно-зеленых, то ли двести.

Между тем они шли уже вдоль решетки Парка Свободы, и дождь становился всё сильнее и всё омерзительнее, а встречные-поперечные всё

мокрее и чернее, — они все были словно выкарабкавшиеся из воды (из дымящейся полыньи) утопленники. Они были на вид совсем неживые, в отличие от Работодателя, пусть даже и погруженного в размышления. На роденовского Мыслителя он, впрочем, отнюдь не походил. У него была густая, абсолютно седая шевелюра и постоянно красное, даже, пожалуй, малиновое лицо не то скандинавского шкипера, не то кадрового употребителя спиртных напитков.

— В такую погоду, — сказал Юрий, стирая щекочущую воду с лица, — хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Без зонтика.

— А кто же ей не велел зонтика брать, спрашивается, — тут же откликнулся Работодатель, не выходя, однако, из задумчивости.

— Кому — ей?

— Да собаке.

Юрий не нашелся, что на это сказать, и некоторое время они шли молча, огибая ажурную ограду Парка, чтобы попасть на автостоянку, где у Работодателя мокла под дождем машина, «нива», мрачная и грязная, словно тягач в разгар осеннего наступления. Они погрузились, и все окна в машине тотчас запотели до полной непрозрачности. Работодатель принялся их протирать грязноватым вафельным полотенцем, а Юрий сидел без какого-либо дела и думал, что в машине вот воняет кошками, сил нет, как воняет, хотя уже полгода, наверное, прошло с того страшного дня, когда они возили Работодателева Рыжика в ветеринарную поликлинику и Рыжик, непривычный к автомашинам, ополоумев со страху, обмочил вокруг себя все — сиденья, пол, а под занавес и самого Юрия, исполненного глубокого, но бессильного к нему сострадания.

— Я одного не понимаю, — объявил вдруг Работодатель, который к этому моменту уже протер наиболее важные стеклянные поверхности и теперь чистил от грязи отвратительно скрипящими «дворниками» ветровое стекло. — Я не понимаю, зачем надо было так затейливо и очевидно врать.

— А кто это тебе, бедненькому, врет? — спросил Юрий, тотчас профессионально насторожившись.

— Да бабель эта, красноволосая... Ну, сказала бы, что простудился, мол. Или что на службу срочно вызвали... А то — «радикулит», «костыли», «инъекция»... Какая там еще инъекция — от прострела?

Юрий посмотрел на него с подозрением. Проверяет, что ли? «Тестирует» (как он любит выражаться)? А ведь не похоже! Работодатель скуп, но справедлив. Призрак «хрустящего Джексона» вдруг снова забрезжил в пространстве возбудившегося воображения.

— Она тебе не соврала ни слова, — сказал он по возможности веско.

— То есть? — Работодатель повернулся к нему всем телом и уставился едкими светло-зелеными глазами.

— То есть все, что было тебе сказано — все правда.

— Ручаешься?

— Ну.

— Точно?

— Ну! — сказал Юрий с напором и как бы для вящей убедительности решился тут же и ввернуть: — Зря ты мне, что ли, деньги платишь!

Работодатель помотал малиновым лицом.

— Нет. Уж надеюсь, браток, что не зря... Но и удивляться тебе при этом — тоже не устаю. Ей-богу. Ладно, поехали.

И они поехали. Покатили, хрюкая двигателем, по черному, мокрому проспекту Героев Шипки, освещенному оранжевыми фонарями, сквозь безнадежный сеющий дождь пополам с туманом, опасно, с выездом на встречную полосу, обгоняя гигантские грузовики и бесконечной длины трейлеры дальнобойщиков, а потом повернули направо (по чистому «желтому» и из левого ряда) и сразу же нырнули в тоннель под площадью Свободы.

Оба молчали. Юрий молчал, находясь в состоянии голодного удовлетворения в предвкушении заработанной (в поте лица) двадцатки. А Работодатель молчал по обыкновению своему. Предстоял контакт, он не любил разговоры разговаривать перед контактом, даже перед самым пустяковым, а сейчас, видимо, контакт предстоял сложный, и требовал он, видимо, полного сосредоточения внимания и внутренней нацеленности на объект.

Молча доехали до своей родной Елабужской, молча выгрузились, молча зашли в подъезд. Охранник Володя, сидевший за столиком у входа в АО «Интеллект», сделал им приветственно ручкой — они молча и дружно ему кивнули. Поднялись по широкой старинной лестнице (некогда беломраморной, а теперь, после ремонта, — под мрамор) на второй этаж: Работодатель впереди, Юрий — следом, на две ступеньки ниже, со всей почтительностью, как и подобает наемному работнику. Перед дверью в офис задержались и наконец издали некий звук: Работодатель с неразборчивым шипеньем поправил снова сбившуюся на сторону, временную, от руки писанную (Юрием) табличку

ЧАСТНОЕ ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ПОИСК-СТЕЛЛС»

после чего вступили в приемную.

Здесь было светло и, слава богу, тепло. Секретарша Мириам Соломоновна говорила по телефону и, увидевши их, сделала строгие глаза и длинным черно-багровым ногтем уставилась в Работодателя.

— ...Да, он уже пришел, минуточку... — сказала она в трубку и, прикрыв микрофон ладонью, сообщила: — Это Кугушев. Очень недоволен, звонит сегодня второй раз.

Работодатель тотчас же прошел к себе в контору, а Юрий разделся и разместил мокрое пальто на вешалке.

— Кофе будете? — спросила его Мириам Соломоновна. Она уже была на подхвате — полная фигура ее выражала стремительную готовность сей же час обслужить: кофе, чай, рюмка бренди, сигаретка «Винтер», распечатать файл, найти ссылку, сгоношить бутерброд, дозвониться до ремонтной службы, вызвать ментов, сделать инъекцию, заштопать дырку в кармане, вправить вывих — она все умела и никогда ни от чего не отказывалась. Она была — клад.

Ей было пятьдесят шесть лет, дети ее отирались не то в Израиле, не то в Штатах, муж пребывал в длительных бегах, она была свободна и скучала. Работодателю она приходилась дальней родственницей, очень дальней: он каждый раз запутывался, пытаясь определить степень родства — то ли тетка двоюродной сестры приемной матери, то ли еще что-то, еще даже более отдаленное.

— Спасибо, — сказал Юрий и тут же добавил, предвидя новый вопрос: — Спасибо, нет. У нас клиент сейчас, — объяснил он, хотя ничего объяснять не требовалось — Мириам Соломоновна не нуждалась ни в каких объяснениях. Она была вполне самодостаточна — эта белая рубенсовская женщина с антрацитовыми волосами Гекаты.

— Почту разбирать будете? — спросила она, протягивая ему желтокожую папочку с аккуратно завязанными тесемками.

— Пожалуй... — Он принял папку, поискал, что бы такое ей сказать, гекатоволосой, приветливое, дружелюбное что-нибудь, теплое, — и сказал (вполне по-американски): — Прекрасно смотритесь сегодня, Мириам Соломоновна!

Она улыбнулась блестящими губами.

— Это из-за дрянной погоды, — объяснила она. — Повышенная влажность мне идет, как вы могли уже не раз заметить.

Это была неправда (он почувствовал характерный «толчок в душу», как он это про себя называл, — у медиков же это называлось сердечной экстрасистолой), и улыбка у него в ответ на ее неправду получилась

фальшивая, хотя, казалось бы, ну какое ему дело до этой маленькой, бытовой, бескорыстной, исключительно для гладкости разговора, кривды?

— Пойду плодотворно трудиться, — сказал он, поспешно закругляясь. — Чего и вам от души желаю.

В конторе Работодатель все еще разговаривал по телефону. Он помещался в своем «кресле для руководителя» (сто пять долларов, включая доставку) — угольно-черном, с неимоверно высокой спинкой и круглыми подлокотниками, — помещался, перекрутивши себя сложнейшим образом в некий узел из длинных подергивающихся конечностей и сделавшись похож не то на осьминога в черной паре, не то на клубок пресмыкающихся в состоянии так называемого склещивания, то есть занятых любовью. Юрий подумал (в который уже раз): да-а, увидь его сейчас случайный клиент, хрен бы он захотел нас нанять — разве что для цирка-шапито.

— ...Главное! — втолковывал Работодатель в трубку специфическим своим, только для клиентов, бархатистым голосом. — Нет-нет, вот это и есть самое главнейшее! А все остальное — малосущественно, прах, небытие материи, вы уж мне поверьте...

Юрий не стал его слушать, а прошел прямо к своему рабочему месту, уселся, отложил в сторону желтую папку с почтой и принялся настраивать аппаратуру. Включил компьютер, проверил магнитофон, проверил сигнальную кнопку — все вроде бы было о'кей: магнитофон писал и считывал, кнопка нажималась легко и бесшумно, оставляя в пальце приятное ощущение «шарика от пинг-понга», и сигнальная лампочка на столе у босса срабатывала — красноватый блик ее можно было при специальном старании заметить на подошве Работодателя, находившейся сейчас примерно там, где в момент делового контакта должна была находиться Работодателева физиономия. Вообще говоря, это было неудачное решение — с сигнальной лампочкой. Клиент мог заметить этот отблеск и насторожиться, или удивиться, или даже заинтересоваться, и это было бы совершенно ни к чему. Но ничего другого они придумать не сумели, все другие способы сигнализации оказывались либо сложными, либо малонадежными, а опыт показал, что клиенту, как правило, не до того, чтобы следить за таинственными красноватыми отблесками на загадочном малиновом лице Великого Сыщика.

— Надо табличку на двери закрепить как следует, — распорядился Работодатель. Он уже повесил трубку и теперь распутывал себя, хрустя суставами. — Займись.

— Ладно, — сказал Юрий. — Сейчас?

— Как только, так сразу. А сейчас уже три минуты двенадцатого.

Клиент на носу.

— Опоздает, — сказал Юрий уверенно. — Такие всегда опаздывают.

— Откуда ты знаешь? — спросил Работодатель с любопытством. — Ты ж его даже и не видел еще.

— По голосу. Такие всегда опаздывают.

— Какие?

— Ну... — Юрий затруднился. — Неуверенно-мямлистые. Ни шаткие, ни валкие...

— Слушай, может быть, у тебя еще и такой талант имеет быть?

Юрий ответить не успел, потому что строго-казенный голос Мириам Соломоновны из селектора на столе объявил:

— Павел Петрович, здесь господин Епанчин. Ему назначено на одиннадцать.

Работодатель скорчил Юрию рожу, означающую что-то вроде «хрен у тебя, а не талант», и бархатно произнес в микрофон:

— Просите, пожалуйста.

Господин Епанчин (Тельман Иванович, 68 лет, пенсионер бывшего союзного значения, бывший штатный чиновник Общества филателистов Российской Федерации, известный филателист, старинный и заслуженный консультант компетентных органов, проживающий по адресу... телефон... факс... без вредных привычек, без политических убеждений, состоит в разводе, жена проживает в Москве, сын — астрофизик, живет отдельно, работает в ГАИШе... и тэ дэ, и тэ пэ, и пр.) оказался сереньким маленьким пыльным человечком с разрозненными золотыми зубами и с быстрыми мышиными глазками на морщинистом лице Акакия Акакиевича Башмачкина.

Вошел и поздоровался без всякого достоинства, быстро-быстро потирая озябшие сизые ручонки, подшмыгивая серым носиком (не граф де ля Фер, нет, совсем не граф, и даже не канцлер Сегье, а скорее уж господин Бонасье, но — заметно съежившийся от старости и аскетического при советской власти образа жизни). Чинно присел в предложенное кресло. Скрытно, но внимательно огляделся и тотчас же затеял маленькую склоку насчет Юрия, присутствие коего показалось ему, естественно, не обязательным и даже излишним. Работодатель, естественно, придерживался по этому поводу мнения прямо противоположного. Произошел следующий разговор, во время которого Юрий нейтрально помалкивал, продолжая быстренько изучать досье клиента («фотография в полный рост с загадочным интимом», как любил выражаться относительно

таких досье Работодатель).

— У меня, знаете ли, дело чрезвыча-айно деликатное, чрезвычайно...

— Разумеется, дорогой Тельман Иванович! За другие мы ведь здесь и не беремся...

— Тельм`ан, — поправил его клиент голосом раздраженным и даже капризным. — Меня зовут Тельм`ан Иванович, с вашего позволения.

— Прошу прощенья. И в любом случае вы можете рассчитывать у нас на полную и абсолютную конфиденциальность.

— Да-да, это я понимаю... Фрол Кузьмич мне вас именно так и аттестовал...

— Ну, вот видите!

— И все-таки... Здесь случай совершенно особенный. Дело это настолько щекотливое... Мне придется называть звучные имена, очень даже звучные... А немцы, между прочим, знаете, как говорят: что знают двое, знает и свинья, хе-хе-хе, я извиняюсь. Двое!

— Совершенно с вами согласен, уважаемый Тельм`ан Иванович. И с немцами — тоже согласен. Но ведь сказал же понимающий человек: «Два — любимое число алкоголика». А в Писании так и совсем жестко сформулировано: где двое вас собралось, там и я среди вас. И соответственно, я предупреждаю, просто обязан предупредить, что вся наша беседа записывается.

— Ах, вот даже как! Но в этом случае я вынужден буду, к сожалению...

И оскорбленный в лучших своих ожиданиях господин Епанчин принялся демонстративно собираться покинуть сей негостеприимный кров — задвигался, изображая сдержанное дипломатическое возмущение, зашевелился лицом и всем телом, начал приподниматься над креслом, но никуда, разумеется, не ушел, и даже спорить перестал, а только уселся попрочнее и произнес с покорностью:

— Ну хорошо, ну раз так... Раз иначе нельзя...

— Нельзя, Тельман Иванович! — бархатно подхватил Работодатель. — Никак нельзя иначе. Ноблес, сами понимаете, оближ. На том стояли и стоять будем, а что касается гарантий, то они абсолютны — здесь у нас тоже ноблес неукоснительно оближ. Вы можете быть совершенно уверены: ни одно сказанное вами слово этих стен не покинет. Без вашего, разумеется, специального позволения.

Господин Епанчин произнесенными заверениями, видимо, удовлетворился. Он снова в двух-трех беспорядочных фразах подчеркнул чрезвычайную и особливую щепетильность предлагаемого дела, снова без особой связи с предметом, но с явным нажимом, напомнил о таинственном

(для Юрия) Фроле Кузьмиче, рекомендовавшем ему Работодателя, как серьезного профессионала и в высшей степени порядочного человека, и только после этого, совершенно бессвязного и даже, пожалуй, бессюжетного вступления, принялся излагать наконец суть.

Суть эта (изложенная, напротив, отточенно гладкими, ясными, хорошо отредактированными и, может быть, даже заранее отрепетированными фразами) состояла в следующем.

Господин Епанчин, оказывается, был не просто видным коллекционером-филателистом, он был («доложу вам без ложной скромности») обладателем крупнейшей в СССР (он так и сказал — «в СССР») коллекции марок, включающей в себя выпуски всех без исключения стран мира, ограниченные, впрочем, одна тысяча девятьсот шестидесятым годом. Марки, выпущенные в мире после шестидесятого года нашего века, его почему-то не интересовали, но все, что было выпущено ДО ТОГО, составляло предмет его интереса и в значительной — «в очень значительной степени, что-нибудь порядка девяноста пяти процентов» — было в его замечательной коллекции представлено.

Среди многочисленного, прекрасной красоты, но, так сказать, «рядового материала», находится в его сокровищнице и некоторое количество «мировых раритетов», подлинных филателистических жемчужин, а правильнее сказать — бриллиантов чистейшей воды и неописуемой ценности. Каждый из этих бриллиантов знаменит, известен по всему миру в количестве двух-трех, максимум десяти экземпляров, и когда — редко, крайне редко! — появляется подобный такой на аукционе, то уходит он к новому владельцу по цене в многие десятки и даже сотни тысяч долларов.

И вот один из этих бриллиантов, самый, может быть, драгоценный, у него несколько месяцев назад пропал, а правильнее сказать, был варварски похищен. И он догадывается, кто именно совершил это хищение. Более того, он (Тельман Иванович) догадывается, когда — в точности — это произошло и при каких конкретных обстоятельствах. Однако доказать что-либо у него (Тельмана Ивановича) никаких возможностей нет, есть только обоснованные подозрения, и задача, которую он хотел бы перед Работодателем поставить, как раз и состоит в том, чтобы в этой деликатнейшей ситуации найти хоть какой-нибудь реально приемлемый выход и, по возможности, восстановить попранную справедливость, а именно: защитить законное право личной собственности — пусть даже и без наказания преступника, буде таковое наказание окажется затруднительным...

Любопытно: начал он говорить по заранее заготовленному и говорил поначалу казенно, бесстрастно и осторожно, словно по минному полю шел на ощупь, но постепенно разгорячился, история этого отвратительного, низкого преступления, этой глубоко личной несправедливой обиды разбередила старые раны, он сделался страстен и зол. «Как он только посмел, этот подлый вор? Как посмел он затронуть самое святое?..»

...Он, знаете ли, английские колонии собирает, а я — весь мир. Так вот МОИ английские колонии лучше его в два раза, и это его озлобляет, это его выводит из себя совершенно... Как же так: ведь он академик, миллионер, а я кто? Да никто. А моя коллекция в два раза лучше. Он этого уже не способен переносить, и он на все готов, чтобы меня опустить — не так, так иначе... Сначала слухи обо мне унизительные распространял, будто я в НКВД... в КГБ... Неважно, гнусности всякие. Интриги строил, чтобы меня из руководства Общества исключить. А теперь вот — пожалуйста! — докатился и до уголовщины...

...Это был душный августовский вечер, гроза надвигалась, было жарко, потно, Академик — грузный, одышливый мужчина — поминутно утирался роскошным шелковым платком, они пили чай за обеденным столом и говорили «о редких вариантах ретуши ранних марок Маврикия». Они были одни в квартире, Полина Константиновна накрыла им чай и ушла до понедельника (а происходило все в пятницу, часов в восемь-девять вечера). Окна были открыты — от духоты, — толку от этого было немного, но это — важное обстоятельство, потому что все началось, видимо, именно с предгрозового порыва ветра: ветер вдруг ворвался в комнату, ахнули с дребезгом тут же захлопнувшиеся створки окна, полетели со стола бумажные салфетки, он кинулся их (зачем-то) ловить, зацепил стакан, чайник, вазочку с конфетами, еще что-то, все полетело на скатерть, на пол, Академик с неприличным смехом (хотя чего тут, спрашивается, было смешного?) выскочил из кресла, спасая штаны от разлившегося чая...

...Нет, марок, разумеется, на чайном столе не было. Все альбомы и кляссеры оставались там, где они их рассматривали, — на отдельном столике в углу, где шкафы с коллекцией. Но вот что странно: почему-то и некоторые кляссеры тоже оказались на полу, хотя до них от места чаепития было не меньше трех метров, а скорее даже больше. Он не может толком объяснить, как это произошло. Он и сам этого не понимает. Словно затмение какое-то с ним внезапно тогда приключилось. Только что вот сидел он за чайным столом и ловил улетающие салфетки, и вдруг, без всякого перехода, сидит уже на диване у дальней стены, Академик с лязгом орудует щеколдами, запирая окна, а кляссеры — лежат на полу, четыре

штуки, и несколько марок в клеммташах из них выскочило и тут же рядом пребывает — на полу, рядом с журнальным столиком и под самим столиком.

...Нет, тогда он этому никакого значения не придал — испугался только, не попортились ли выпавшие марки. Но все оказалось в порядке, марки были целы и невредимы, они с Академиком тут же собрали их и положили в соответствующие кляссеры на нужное место... Нет, он уже не помнит, что это были за марки. Кажется, Британская Центральная Африка. Да это неважно — рядовые какие-то, по сто-двести «михелей», ничего особенного, поэтому и не запомнились.

...Вообще-то, по правде говоря, многие обстоятельства тогдашних событий ему не запомнились, и весь тот вечер в памяти до сих пор как бы затянут этакой смутной дымкой, и по поводу каких-то простейших вещей остались и остаются неясные недоумения. Например: был телефонный звонок сразу после аварийного чаепития, или ему это только кажется теперь? Вроде бы все-таки был. А может быть, и не было... Разогревали они с Академиком чайник по второму разу, или он, Академик, тут же после инцидента и удалился, сославшись на позднее время? Не вспоминается. Провал. Неясность. Вряд ли это важно для дела, но факт тот, что в памяти все это смотрится до странности нерезко, словно в расфокусированный бинокль.

...Он грязный, грязный тип! У него внуки в институте уже учатся, а он все за девками гоняется, старый козел. И язык у него грязный, что ни слово — похабщина. Можете себе представить — вдруг ни с того ни с сего сообщает мне: он у врача, видите ли, был, анализы какие-то делал, так у него все сперматозоиды, видите ли, оказались живые! А?! Какое мне, спрашивается, дело до его сперматозоидов? Грязный он, грязный, и все мысли у него грязные. И вор.

...Я вам сейчас скажу откровенно, что я сам об этом думаю: он меня чем-то отравил. Он же химик. Подсыпал мне в чай какую-то дрянь и, пока я лежал в беспамятстве, взял из коллекции, что ему захотелось. А кляссеры — на пол бросил: как будто они от ветра туда свалились... Не зря же про него ходит дурная слава, что он гипнотизер: является к человеку, якобы честно купить у него коллекцию, наведет на него дурь, тот и отдает ему за бесценок. Потом схватится, бедняга, — да только поздно, и ничего уже никому не докажешь... Тем более: академик же, лауреат! «Как вы можете даже подумать о нем такое?!. Ай-яй-яй!» А вот и не «ай-яй-яй». Очень даже не «ай-яй-яй»...

Юрий слушал все эти сбивчивые жалобы пополам с инвективами

почти отстраненно — он был близок к обмороку. Сердце билось с перебоями и уже даже не билось теперь, а лишь судорожно вздрагивало, как лошадиная шкура под ударами вожжей. Он отчаянно боролся с наползающей дурнотой, его мучила одышка, а в голове крутилась, как застрявшая пластинка, единственная фраза из какого-то романа: «И вот тут-то я и понял, за что мне платят деньги...» Пару раз он уже поймал на себе косой, сердито-обеспокоенный взгляд Работодателя, но отвечал на эти взгляды только раздраженным насупливанием бровей, а также злобными гримасами, в смысле: «Да пошел ты! Занимайся своим делом».

Такой сумасшедшей концентрации вранья давно ему встречать не приходилось, а может быть, не встречал он ничего подобного и вообще никогда. Серый-пыльный Тельман Иванович врал буквально через слово, почти поминутно, причем без всякого видимого смысла и сколько-нибудь разумной усматриваемой цели. Каждая его очередная лживость хлестала несчастного Юрия вожжой по сердечной мышце, поперек обоих желудочков и по коронарным сосудам заодно. Он уже почти перестал улавливать смысл произносимых Тельманом Ивановичем лживых слов и молил бога только об одном — не обвалиться бы сейчас всем телом на стол, прямо на всю эту свою регистрирующую и контролирующую аппаратуру, а в особенности — на Главную Красную Кнопку, об которую он уже указательный палец намозолил непрерывно нажимать.

...Вы меня спрашиваете, почему я ничего не предпринял. (Удар по коронарам: вранье — ничего подобного никто у него не спрашивал.) А что? Что мне было делать? Я, между прочим, еще как предпринимал! Какие только варианты не перепробовал! Лично к нему ходил — и знал же, что пустой это номер, но пошел! Как вам не стыдно, говорю! (Вранье.) В лоб его спрашиваю: «Где же ваша совесть, господин хороший?» (Вранье, ложь, ложь.) «Ведь вы же заслуженный, говорю, пожилой человек! О Боге пора уже подумать!» (Врет, врет, серый крыс — никуда он не ходил, никого в лоб ни о чем не спрашивал...)

— И что же он вам на это ответил? — Работодатель наконец включился (и как всегда — в самый неожиданный момент).

— Кто?

— Академик. Что он вам ответил на поставленные в лоб прямые вопросы?

— Ничего. А что он мог ответить? Молчал себе. Улыбался только своими искусственными челюстями.

— Не возражал? Не возмущался? Не угрожал?

Тут Тельман Иванович словно бы затормозил. Пожевал серыми

губами. Вытащил клетчатый платок, вытер лоб, губы, руки почему-то вытер — ладони, сначала левую, потом правую.

— Плохо вы его знаете, — проговорил он наконец.

— Я его вовсе не знаю, — возразил Работодатель. — Кстати, как, вы сказали, его фамилия?

— А я разве сказал? — встрепенулся Тельман Иванович. У него даже остроконечные ушки встали торчком.

— А разве не сказали? Академик... академик... Вышеградский, кажется?

Тельман Иванович ухмыльнулся только, с некоторой даже глумливостью.

— Нет, — сказал он почти высокомерно. — Не Вышеградский. Отнюдь.

— А какой?

— Я не хотел бы называть имен, — произнес Тельман Иванович еще более высокомерно, — пока мне не станет ясно, готовы ли вы взяться за мое дело и что именно намерены предпринять.

Однако Работодателя осадить и тем более нахрапом взять было невозможно. Никому еще (на памяти Юрия) не удавалось взять Работодателя нахрапом. Он ответствовал немедленно и с неменьшим высокомерием.

— Не зная имен, — сказал он, — я совершенно не могу объяснить вам, что я намерен предпринять, и вообще не могу даже решить, готов ли я взяться за ваше дело.

Тельман Иванович молчал, наверное, целый час, а потом шмыгнул носом и сказал жалобно:

— Я ведь с ним и сам без малого до уголовщины докатился. Вы не поверите. Серьезно ведь раздумывал подослать лихих людей, чтобы отобрали у него... или хотя бы, — лицо его исказилось и сделалось окончательно неприятным, — хотя бы уши ему нарвали... чайник начистили хотя бы... И главное — недорого ведь. Пустяки какие-то. Слава богу, Фрол Кузьмич отговорил, спасибо ему, а то вляпался бы я в уголовщину, вовек бы не расхлебался...

— И сколько же с вас запрашивали?

— Да пустяки. Пятьсот баксов.

— Хм. Действительно, недорого. С кем договаривались?

Тельман Иванович немедленно ощетинился.

— А какая вам разница? Зачем это вам?

— А затем, — произнес Работодатель наставительно, — что я должен

знать всех, без исключения, кто в эту историю посвящен. Без всякого исключения!

— Да никто в эту историю не посвящен...

— Ну как же — «никто». Фрол Кузьмич — раз...

— Да ничего подобного! — запротестовал Тельман Иванович и даже — для убедительности — привстал над креслом своим, застывши в позе напряженной и вовсе не изящной. — Я ему только в самых общих чертах... без имен... без никаких деталей... «Деликатнейшее дело. Затронуты важные персоны». И все. Что вы?! Я же все понимаю!

— Это хорошо. А как все-таки насчет бандюги вашего, ценой в полштуки баксов?

— Да я вообще ни с каким бандюгами не общался! Что вы! Просто есть знакомый мент один. Ему я вообще ничего не сказал, сказал только, что надо бы одного тут проучить...

— Академика.

— Да нет же! Просто одного типа. И все.

Это была правда. Во всяком случае, здесь не было ни грана прямого вранья — и на том тебе спасибо, серый пыльный человечек, подумал Юрий, вконец замученный сердечными экстрасистолами. Работодатель выждал секунду (не загорится ли красный) и продолжил:

— И в Обществе вы никому об этом не рассказывали?

— Еще чего! Конечно, нет.

— Друзьям?

— Нет у меня друзей. Таких, чтобы.

— Знакомым филателистам?

— Господи, нет, конечно.

— Сыну? Жен`е?

— Да перестаньте. Какое им до меня дело? — вздохнул Тельман Иванович. — У них свои заморочки.

— Но таким образом, получается, что об этой прискорбной истории не знает никто?

— Да. Именно так. Что я вам и докладывал. Никто.

— А почему, собственно? — спросил Работодатель вроде бы небрежно, но так, что Тельман Иванович сразу же напрягся и даже вцепился сизыми ручонками в подлокотники.

— Н-ну... как — «почему»? А зачем?

— Я не знаю — зачем, — Работодатель пожал плечами. — Я просто хотел бы уяснить себе. Для будущего. Как же это получается? У вас украли ценнейшую марку. Вы знаете кто. Вы догадываетесь, каким образом.

Проходит четыре месяца, и теперь оказывается: никаких серьезных мер вы не предприняли... никому о преступлении не сообщили... даже в милицию не обратились. Почему?

Это был интересный вопрос. Тельман Иванович не стал на него отвечать. Точнее — ответил вопросом:

— Я не понимаю, вы беретесь за мое дело? Или нет?

— Пока еще не знаю, — ответил Работодатель. — Пока еще я думаю, размышляю... А какую, собственно, марку мы будем разыскивать?

Тельман Иванович весь сморщился и моментально сделался похож на старую картофелину.

— Слушайте. Вам так уж обязательно надо это знать?

— Мину-уточку! — произнес Работодатель бархатным голосом. — А вы сами взялись бы разыскивать украденный предмет, не зная, что это за предмет?

— Да, да, конечно... — мямлил Тельман Иванович. Ему очень не хотелось называть украденный предмет. Ему хотелось как-нибудь обойтись без этого. — А разве нельзя просто указать: редкая, ценная марка? Очень редкая, очень ценная... Уникальная. А?

— Где «указать»?

— Н-ну, я не знаю... Как-нибудь так... Без названия. Описательно... Все равно же это — только для специалистов. Для профессионалов, так сказать... А так — зачем?.. Кому?..

Он говорил все тише и тише, а потом замолчал. Бормотать и дальше маловнятную чепуху было ему уже неприлично, называть предмет — не хотелось, а как со всем этим клубком противоречий быть, он не знал — сидел молча, склонив головушку на грудь и рассматривал сложенные на коленках ладошки.

— «Британская Гвиана»? — вдруг спросил, а вернее, негромко произнес Работодатель.

Тельман Иванович встрепенулся и сразу сделался бледен.

— Откуда вы знаете? — прошептал он спертым голосом.

Работодатель пожал плечами.

— Какая вам разница? Знаю. Догадался.

Некоторое время они смотрели друг на друга, не отводя взглядов. Работодатель — уверенно, с горделивым смирением ученика, одержавшего замечательную, но неожиданную победу над господином учителем. А Тельман Иванович — испуганно, даже затравленно, не понимая, поражаясь, медленно оправляясь от нанесенного удара и в ожидании новых ударов... Но он тоже был не из слабых, наш Тельман Иванович, его тоже

было так просто ни нахрапом не взять, ни тем более на пушку. Бледность его со временем прекратилась, исчезло выражение страха, да и все его состояние грогги пошло выветриваться. И вдруг — понимание пополам с легким презрением проступило на его лице.

— Да ничего вы не знаете, — произнес он облегченно и уже с пренебрежением. — Слышали звон да не поняли, откуда он. Вы же про одноцентовик красный думаете — нет, батенька, не туда попали! Эка хватил — одноцентовик! А впрочем, откуда вам знать. В детстве, небось, марки собирали?

— В детстве, — признался Работодатель. Теперь пришла его очередь сидеть, сокрушенно повесив голову и стыдливо отведя глаза. Ученик был поставлен на то место, где ему впредь и надлежало пребывать в состоянии внимания и прилежания.

Тельман же Иванович (господин учитель), сразу же сделавшись добрее и мягче после одержанной и очевидной победы, позволил себе разумную снисходительность и тут же рассказал, ЧТО это на самом деле была за марка. Впрочем, Юрий, от филателии бесконечно далекий, понял из снисходительных объяснений только самую разве что суть. Называлась марка «Британская Гвиана, первый номер». Как бы расшифровывая это лошадиное (из области рысистых испытаний) название, Тельман Иванович описал ее также, как «два цента на розовой бумаге». Таких марок на свете было не так уж и мало — целых десять штук, но все они, оказывается, были «гашеные», «прошедшие почту», а Тельман-Ивановичева марка была «чистая», «правда, без клея», и это обстоятельство («чистота» ее, а не отсутствие клея) являлось решающим: мало того, что она переходила в силу этого обстоятельства в категорию «уникум», так вдобавок еще никто, оказывается, не знал о существовании таковой, — никто в мире, ни один живой человек: она была великой и сладкой тайной Тельман Ивановича, символом его абсолютного над всеми превосходства и, похоже, осью всего его существования среди людей и обстоятельств...

Излагая все это, он даже серым перестал быть — он сделался розовым, звонким пионером-комсомольцем, он помолодел лет на тридцать-сорок. Он сделался счастлив. Он явно забыл, что марки этой у него больше нет. Он вообще все забыл, глаза у него теперь стали большие, блестящие и радостные, а ладошки его так и летали, как это и полагалось у вдохновленного поэта или трибуна. И все, что он говорил, было правдой.

— А откуда она у вас? — спросил Работодатель, и Тельман Иванович тотчас же замолчал, словно ему перехватили горло.

Работодатель терпеливо ждал. В комнате было так тихо, что Юрий,

кажется даже, слышал слабое сипение магнитофонной ленты в кассетнике.

— Зачем? Ну зачем вам это знать? — прошептал наконец Тельман Иванович — да с такой мукой в голосе, что Работодатель, похоже, несколько смягчился.

— Можно ведь без деталей, — проговорил он сочувствующе. — Как, что, когда — это неважно. Я хотел бы только знать, кто был последним владельцем? До вас?

— Не знаю, — сказал (выдавил из себя с очевидным трудом) Тельман Иванович.

(Правда, констатировал Юрий — не без удивления.)

— Как так? — сказал Работодатель. Он тоже был удивлен. — Как это может быть? Чтобы вы этого не знали?

Тельман Иванович молчал. Он опять молчал — снова серый, крысоватый, унылый, и снова рассматривал сизые свои ручонки, смирно сложенные на коленях.

— Ну, хорошо, — сказал Работодатель. — Ладно. Господь с вами. Не хотите — не надо. Обойдемся. А как все-таки зовут вашего академика? Да не упрямьтесь вы, в самом деле! Вы ведь уже все про него рассказали: академик, химик, марки собирает, крупный спец по английским колониям... Петербуржец. Неужели вы полагаете, что мы его теперь не вычислим? Да вычислим, конечно же, только лишний шум поднимем своими расспросами. Подумайте сами: ну зачем нам с вами лишний шум?

Тельман Иванович, видимо, был этой энергичной речью вполне убежден, но повел себя тем не менее несколько неожиданно. Он вдруг поднялся из кресла, наклонился над столом Работодателя и, сказав негромко: «Где тут у вас можно?..», принялся ему что-то царапать на четвертушке листка.

— Только не надо «ля-ля-ля». Я вам ничего не говорил! — объявил он не без торжественности и демонстративно двинул листок Работодателю под нос. Потом вернулся в кресло, посмотрел почему-то на Юрия (впервые за все это время, — с вызовом посмотрел, горделиво, «знай наших») и повторил: — Не надо «ля-ля-ля». Не сказано — значит не сделано!

Некоторое время Работодатель разглядывал его с видом, пожалуй, слегка ошеломленным, взял листок, прочитал написанное, удовлетворенно кивнул, а затем извлек из нагрудного карманчика тускло блеснувший «ронсон», выщелкнул длинный синеватый огонек, поднес к нему листочек и, подождав, пока огонь доберется до пальцев, бросил обугленные останки в медную пепельницу.

— Так? — спросил он у Тельмана Ивановича.

— Можно и так, — согласился Тельман Иванович как бы равнодушно, но на самом деле — очень довольный.

— Только так! — произнес Работодатель строго и принялся размешивать и растаптывать пепел огрызком карандаша.

— У меня сложилось несколько противоречивое впечатление о вашем деле, — сказал он. — Мне нужно подумать, прежде чем я приму окончательное решение. Поспешность здесь не нужна и даже вредна. Мой совет: никаких самостоятельных действий. И вообще никаких действий. Сейчас внесете моему секретарю двести у. е. — за консультацию. В течение двух дней я вам позвоню, мы встретимся снова и, может быть, заключим договор. Об условиях договора — тогда же, но учтите заранее: мы фирма дорогая.

Тельман Иванович печально кивал. Он был со всем согласен. Он, кажется, вообще больше не слушал, что ему говорят. И едва только Работодатель сделал паузу — значительную паузу перед тем как сформулировать самое деликатное, — Тельман Иванович вдруг сообщил:

— У меня отец был филателистом...

Работодатель вежливо замолчал, ожидая продолжения, но продолжения все не было и не было, минута прошла (это очень долго, когда в разговоре возникает минутная пауза, это мучительно долго — безнадежно глухая пропасть немого времени), потом пошла другая, и тут наконец Тельмана Ивановича прорвало.

...У него отец был филателистом. Не знаменитым каким-нибудь, нет, денег вечно не хватало, но зато самоотверженным и знающим, Тельман Иванович многому у него научился и вообще пошел по стопам. Так вот, отец привез из Германии, после войны, в качестве трофея, некоторое количество марок — время тогда было такое, многие целыми чемоданами привозили, и некоторые, ныне замечательные, коллекции начали произрастание свое именно тогда, из этих самых чемоданов. У отца же никаких чемоданов в помине не было — так, несколько альбомов и обувная коробка, набитая марками разных стран и времен. И вот много лет спустя, уже отца в живых не было, уже сам Тельман Иванович выбился в люди и стал известен в кругах специалистов, попалась ему под руки эта коробка, и решил он разобраться, что там за материал и не найдется ли там что-нибудь интересненькое.

...В коробке среди прочего обнаружился желтый, плотный конверт из-под фотобумаги «кодак», а в конверте этом — несколько десятков самых разных марок, в том числе и на обрывках конвертов. Вообще говоря, «марки на вырезке» (то есть аккуратно вырезанные из конверта таким

образом, чтобы остались тут же при марке почтовые штемпеля, служебные наклейки и прочая специфическая мутотень) — такие марки ценятся особо, но здесь, в желтом конверте, наличествовали только какие-то драные обрывки конвертов и открыток, грязноватые, иногда даже замасленные и совершенно неколлекционные на вид. Он собрал их в общую кучу и положил в кювету с теплой водой, чтобы отмокли от бумаги сами марки — в основном «рядовые немецкие княжества и кое-какая небезынтересная Швейцария». Каково же было его изумление, когда полчаса спустя обнаружил он в остывшей воде — среди обрывков размокшей бумаги и отклеившихся свободно плавающих рядовых марок — это ослепительное чудо на розовой бумаге, Британскую эту Гвиану номер один, в великолепном состоянии, прекрасно обрезанную, «экземпляр кабинет» или даже «люкс-сьюперб», чистую, негашеную, но, к сожалению, правда, без клея. Не исключено, между прочим, что изначально она была даже с клеем, как и положено быть чистой почтовой марке, да в теплой воде клей безвозвратно растворился... но возможно, что клея у нее не было никогда, как это встречается частенько у марок, выпускаемых в жарких тропических странах...

...Теперь можно только гадать, кто был предыдущим владельцем этого уникума. Ясно только, что был это человек осторожный и предусмотрительный, равно как и человек грамотный и хорошо понимавший, какое сокровище находится у него в руках. И в ожидании нелегких времен и дурных перемен он принял надлежащие меры — не без остроумия спрятал свою драгоценность: положил на небрежный обрывок старого конверта и сверху аккуратненько наклеил какую-нибудь обыкновеннейшую Баварию, скорее всего, двадцатых годов выпуска — чтобы размером была побольше, а привлекательностью — поменьше... Простейший расчет: если кто-нибудь и покусится на коллекцию, то рядом с красивыми золочеными «альбомами Шаубек» кого заинтересует и соблазнит ботиночная коробка, набитая второстепенными марками, и тем более в этой коробке — невзрачный желтый пакет из-под фотобумаги «кодак»?..

Рассказывая всю эту авантюрную, в манере Луи Буссенара, историю, Тельман Иванович был проникновенен и откровенен настолько, насколько это вообще в силах человеческих. И вся его история, как это ни удивительно, была правдой, на редкость чистой беспримесной правдой. За одним, впрочем, но довольно существенным, исключением: не было желтого конверта в коробке из-под обуви. Не было его там. Он попал к Тельману Ивановичу каким-то другим образом. Совсем другим. И Тельман

Иванович почему-то не пожелал рассказать, каким именно.

Лирическое отступление № 2 ОТЕЦ ТЕЛЬМАНА ИВАНОВИЧА

В большом и даже огромном кабинете (где все было огромное — кресла, электрический свет, стол, окна, занавешенные титаническими портьерами, портрет Ленина во всю стену) — находились два маленькие человечка, похожие чем-то друг на друга: оба были серые, с редкими серыми волосами, зачесанными назад, со щеками, навсегда изуродованными оспой, только один из них спокойно стоял у стола, и лицо его было неподвижно, а другой — сидел тут же, у этого же стола, в гигантском кресле, и весь, вместе с лицом, мучительно подергивался, словно кресло обжигало ему задницу. То ли встать ему хотелось руки по швам, то ли уменьшиться до нуля, вообще исчезнуть и оказаться в другом каком-нибудь месте, и мысли его так же лихорадочно и болезненно подергивались, как он сам. Он, разумеется, вглухую молчал и вообще старался не дышать. И молчал (долго, непереносимо долго молчал) второй человек — смотрел в простенок между окнами, в никуда, словно догадывался, что, посмотрев на человечка в кресле, может нечаянно убить его этим взглядом. Потом он сказал, тихо и почти неразборчиво:

— Есть мнение, что надо сделать хороший подарок нашему другу и союзнику господину Рузвельту. Мне сообщили, что он филателист. Занимается филателией. Это правда, товарищ Епанчин?

— Так точно, товарищ Сталин! — Человечек в кресле поперхнулся и судорожно откашлялся. — Извините... И говорят, что — страстный филателист!

Наступила новая долгая, изнуряюще долгая, мучительная пауза.

— А что это означает — «филателия»?

— Собирание почтовых марок, товарищ Сталин. С целью их коллекционирования, а также...

— Это я знаю. Я спрашиваю: что само это слово означает — «фи-ла-те-лия»? На каком языке?

— Это греческий, товарищ Сталин. А перевод... как бы это точнее выразится... Буквально?

— Конечно. Лучше всего буквально.

— «Нелюбовь к почтовой оплате»... Наверное, так будет точнее всего.

— Как вы сказали?

— «Нелюбовь к почтовой оплате», товарищ Сталин. А еще точнее:

«Любовь к неуплате почтового сбора»...

Стоявший человек сказал с удивлением:

— Глупость какая-то... — Он помолчал и добавил: — И вообще занятие глупое. Взрослый, умный человек, политик, а занимается глупостями. — Он снова помолчал. — А может быть, он никакой не умный? Может быть, все только считают, что он умный, а на самом деле — глупец?

И он засмеялся — тихо, весело и неожиданно, словно засмеялся вдруг известный всему миру портрет. И так же неожиданно снова помрачнел.

— А как вы думаете, советские марки у него в коллекции есть?

— Думаю, что есть, товарищ Сталин. Думаю, что у него очень хорошая коллекция советских марок.

— Все советские марки у него есть?

— Думаю, что нет, товарищ Сталин. Думаю, всех советских марок ни у кого на свете нет.

— Почему?

— Существуют редкости, которых всего пять-шесть штук известно, и даже меньше.

— Это хорошо. Это очень хорошо. Задача ваша определяется. Надо собрать полную коллекцию советских марок, и мы преподнесем ее господину Рузвельту. Как вы думаете, он будет доволен?

— Он будет в восторге, товарищ Сталин. Но это невозможно.

— Почему?

— Невозможно собрать полную коллекцию...

— Считайте, что это партийное поручение, товарищ Епанчин. Надо собрать. Срок — один месяц. Мы думаем, этого будет достаточно. Обратитесь к товарищу Берия. Он в курсе и поможет.

— Слушаюсь, товарищ Сталин, — сказал маленький человечек Епанчин, обмирая от ужаса.

...Но независимо от этого ужаса, мысль его уже заработала привычно. Консульский полтинник придется отдать свой, подумал он озабоченно. И ошибку цвета «70 руб.» без зубцов... Где взять перевертку Леваневского с маленьким «ф»?.. Она была у Гурвиц-Когана, он ее продал — кому? Должен знать. Знает. И скажет. Не мне скажет, органам скажет... Товарищу Берия скажет, подумал он с внезапным ожесточением, удивившим его самого: он почувствовал себя сильным и большим, как это бывало с ним иногда во сне...

Вот так, или примерно так, состоялся его единственный и последний в

жизни звездный час. Так, или примерно так, он рассказывал об этом сыну своему — маленькому, плаксивому, капризному, но умненькому Тельману Ивановичу. Но он ничего не рассказывал о том, что пережил, пока везли его в Кремль на огромной черной машине. И как героически сражался он в огромном кабинете с приступами медвежьей болезни. И как слег на другой день с сердечным приступом — от нервного перенапряжения.

«В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений».

...И уж конечно, ничего не рассказывал он о том, как, сидя на специальной квартире, четыре страшные недели лихорадочно составлял подарочную коллекцию для чертова американца из тех многих коллекций, которые приносил ему неприятный человек в штатском — иногда молчаливый, иногда почему-то болезненно разговорчивый, иногда сдержанный, а завтра вдруг развязный, вчера красивый (кровь с молоком), а сегодня никакой, — но всегда крайне неприятный в общении, и глаза у него всегда были волчьи, несытые, нацеленные и как бы приценивающиеся.

...Было, было что рассказать! Как в промерзшем насквозь, до последнего винтика, самолете летел вынутый среди ночи из постели неизвестно куда — оказалось, в Ленинград, на улицу Попова, в Музей Связи, где замерзала в ледяном, промерзшем до подвала, некогда роскошном доме Государственная коллекция — бесценное филателистическое сокровище под присмотром полумертвого хранителя, не похожего уже на человека, а скорее на черную мумию, запеленутую в три шубы и в извозчицкий тулуп...

...Как руки у него тряслись и делалось нехорошо, когда в принесенной штатским человеком очередной коллекции он узнавал коллекцию знакомую, сто раз виденную раньше, вылизанную до блеска его завистливыми глазами... и хозяин, естественно, вспоминался сразу же, но не как живой человек, а как уже покойник, хотя он догадывался, конечно, что никого они не убивают — просто конфискуют для нужд государства и соответствующую расписку дают... ну, сажают — в крайнем случае... в самом крайнем... Ему не хотелось об этом думать.

...Как потерял он однажды сознание, когда вместо привычного волка в штатском явился вдруг на спецквартиру какой-то чин в мундире и заорал с порога: «Саботируешь, сука, в рот тебе нехороший? Препятствуешь следствию?..» Оказалось, что он в списке указал неправильно фамилию одного филателиста, «с» написал вместо «ц», — откуда было ему знать, как эта сволочная фамилия пишется, в паспорт же он к нему не заглядывал... а они найти его не могли, весь Горький перевернули — нет такого, как в

землю провалился... Слава богу, все тут же выяснилось и обошлось одним неистовым этим криком да небольшим расстройством до конца дня...

Потом все кончилось. Его вызвали, поблагодарили, подписку взяли о неразглашении, а через несколько месяцев (война уже тоже кончилась) дали квартиру — правда, в Ленинграде, но зато хорошую, двухкомнатную, на третьем этаже (в Москве он жил в полуподвале с окнами на общественный туалет). А еще через полгода пригласили к большому начальнику, и тот, с улыбкой, вручил ему ордер на получение конфиската: разрешение получить конфискат в количестве «два экз.», на его собственный выбор. Как сотруднику, проявившему себя. («Вы же свои марки отдали, из своей коллекции, мы же знаем, не забыли...»)

...На складе конфиската сонный толстомясый старшина выбросил перед ним на прилавок штук двадцать альбомов... господи, это было как в прекрасном сне! Он выбирал и выбирал, листал, проглядывал, откладывал, принимал решение и тут же брал его назад... о сладкие муки выбора на халяву! А потом, уже решившись, уже выбрав, уже отложив, уже даже расписавшись в получении, — не выдержал, заныл, принялся просить, клянчить, канючить со слезами в голосе: ну, еще что-нибудь, ну вот хотя бы этот маленький кляссерчик (с подборкой «черного пенни», между прочим), малюсенький, его, наверное, и в описи-то нет... И представьте себе: толстомясый оказался человеком с сердцем в груди. Кляссерчика он, конечно, не дал, но выставил на прилавок несколько картонных коробок, по виду — из-под обуви, и предложил: выбирай, не жалко. И он выбрал. Чепуха там была какая-то, «Altdeutschland» на маленьких вырезках с гашениями, но тоже ведь — на дороге не валяется. Взял. Пусть лежат...

...Этих деталей он тоже никогда даже сыну не рассказывал и, уж конечно, ни слова никому не сказал, что до конца жизни так и проработал «на них» — консультантом по конфискату. И ни разу, между прочим, об этом не пожалел.

Глава третья ДЕКАБРЬ. ПО-ПРЕЖНЕМУ ВТОРОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК МАЛОЕ МОТОВИЛОВО

— «Чаю, чаю накачаю, кофию нагрохаю», — задумчиво пропел Работодатель на некий не вполне определенный, но безусловно варварский мотивчик.

— Это еще что такое? — спросил Юрий без особого интереса.

— А хрен его знает. Ситуация навеяла.

Они сидели за столиком для подписания договоров и пили чай, поданный и сервированный Мириам Соломоновной. Чай был безукоризненно горячий, рубиновый, цейлонский, в тонких стаканах с серебряными подстаканниками. К чаю предлагались песочные печенья «Нежность» и божественные плюшки домашней выпечки — Мириам Соломоновна, как всегда, была на недосягаемой высоте.

Юрий, впрочем, пил чай без всякого удовольствия и все время судорожно зевал. Ему не хватало кислорода после перенагрузки и хотелось прикорнуть минуток хоть на десять. Слечу когда-нибудь с нарезки, думал он обреченно. Ну и работку я себе подобрал, мама дорогая...

— Я все-таки не понимаю: у тебя что-то внутри щелкает, или как? — спросил вдруг Работодатель и поглядел пристально.

— Или как, — неприветливо ответил Юрий. Он выбрал себе плюшку поподжаристей, неохотно откусил, отпил из ложечки.

— Нет, но все-таки... — настаивал Работодатель. — Я и сам не лаптем деланный, слава богу, не жалуюсь, как-нибудь вранье от правды отличу, но не на сто же процентов, в самом деле.

— А я — на сто. Вот и вся между нами разница. Ты мне за эту разницу деньги платишь.

— Хорошо, хорошо. Деньги... Тебе бы все о деньгах... А ты объясни. Сколько раз уже обещал. Ну, вот что ты чувствуешь, когда он врет, какое при этом у тебя ощущение? Физически?

Юрий мучительно хрустнул челюстями, подавляя в зародыше очередной зевок. Ну как это можно объяснить, подумал он обреченно. И в особенности — здоровому человеку объяснить, у которого сердце — как метроном... Никак не объяснить. Да и незачем.

— Как будто жизнь уходит через плечи, — сказал он медленно. И тут

же сам себе удивился. Не хотел ведь говорить, а все-таки сказал. И совершенно напрасно, разумеется.

— Это что — цитата? — осведомился Работодатель.

— Нет. Это такое ощущение.

— Только не надо наводить хренотень на плетень.

— Да шел бы ты.

Поговорили. Некоторое время чаепитие продолжалось в демонстративно-недоброжелательном молчании. Потом Работодатель спросил нарочито деловым тоном:

— Завтра расшифруешь запись?

— Естественно. Может быть, даже сегодня.

— Сегодня уже не успеть, — проговорил Работодатель, словно бы извиняясь. — У нас сегодня еще один клиент. Причем очень серьезный. Ты как — выдержишь?

— Если он будет врать так же, как этот, — обязательно слечу с нарезки. Клянусь. Это было что-то особенное.

— Да-а, любопытный экземпляр. Не знаю что и думать.

— А я и не пытаюсь, — сказал Юрий, наливая себе еще полстакана. — Тьма кромешная. Не представляю, что ты будешь со всем этим делать.

— Да ничего, скорее всего.

— То есть?

— Да не крал у него никто этой марки.

— То есть?

Работодатель покончил со своим чаем, откинулся на спинку дивана, переплел голенастые ноги диковинным джинсовым винтом и занялся «ронсоном» и сигареткой — аккуратно закурил, пустил два аккуратных колечка в потолок, посмотрел на Юрия, прищурившись.

— Ты, главное, не углубляйся, — посоветовал он проникновенно. — Зачем это тебе? При твоих-то моральных принципах?

Мои моральные принципы, подумал Юрий. О боже! «Не бери чужого и не словоговори ложно». А в остальном: «Перекурим — тачку смажем, тачку смажем — перекурим». Роскошная нравственная палитра, снежные вершины морали...

— Перекурим — тачку смажем, — сказал он вслух, — тачку смажем — перекурим...

— Воистину так! — воскликнул Работодатель и, словно спохватившись, принялся затаптывать окурок в пепельнице. — Поехали. Нам еще пилить и пилить — сорок пять кэмэ по слякоти.

Однако никуда уехать им не удалось: без доклада, но зато в ватном

сером пальтугане до пят ввалился Борька Золотоношин, Агент Би, красноносый и живой как ртуть. Наскоро поздоровавшись за руку (лапы красные, свежемороженые, ледяные), он выхватил из-за пазухи пачку бумаг с загнувшимися уголками и сунул ее — с неразборчивым ворчанием — Работодателю, а сам, не садясь даже и, уж конечно, не раздеваясь, принялся цедить себе в наугад схваченный немытый стакан остатки цейлонского. Судя по нему, дождь на дворе кончился, оттепель тоже, и валил там теперь густой снег — снег этот тут же принялся на Борьке подтаивать и комками шлепаться на ковер, на столик, на диван, потому что Борька непрерывно двигался, перемещался, кипел, испарялся, и Юрий встал и перешел на свое рабочее место — подальше от всех этих физических явлений.

Работодатель проглядел бумаги быстро, но внимательно, как считывающая машина, вроде сканера, и уставился на Борьку выжидающе.

— Это всё? — спросил он.

— Говорит — всё, — ответил Борька, не переставая жевать и прихлебывать.

— Молодец, — сказал ему Работодатель. Он открыл дверцу стенного сейфа, положил туда бумаги, достал из недр небольшой пакетик (зеленый, перетянутый резинкой), сунул в боковой карман и снова запер сейф.

— Вызывать его будете? На ковер? — спросил Борька.

— Обязательно.

— Позвонить?

— Всенепременнейше.

— Прямо сейчас?

— Ни в коем случае! — сказал Работодатель. — Сейчас ты поедешь домой, примешь горяченький душик, пообедаешь, трахнешь свою Светланку...

— Она на работе, — сказал Борька, расплываясь в счастливой улыбке. — Она вчера на работу устроилась.

— Ну, тогда примешь еще один душик — холодненький...

— Да он же там на ушах стоит, Пал Петрович. Он же помрет в ожидании...

— Спорим, что не помрет? — предложил Работодатель. Он уже натягивал свой титанический плащ. — Позвонишь ему вечером, часиков в семь, не раньше, и назначишь на завтра, на десять, здесь. И пусть принесет остальное...

— Он говорит, что это — все.

— ПУСТЬ ПРИНЕСЕТ ОСТАЛЬНОЕ! — гаркнул Работодатель. — Так ему и передай. И таким же вот тоном. Пускай в штаны поднавалит —

Простатит Аденомыч неоперабельный!

«Простатит Аденомыч» — это была жемчужина дня, и Юрий с удовольствием поаплодировал, отдавая Работодателю должное. Однако Работодатель настроился уже на серьезный лад.

— Собирай писалку, — скомандовал он. — Да пошевеливайся, я уже одет, как видишь.

— Секретку или обычную? — спросил Юрий.

— Бери обе. На всякий случай. Обе пригодятся.

— Слушаюсь, командир, — сказал Юрий и принялся собирать регистрирующую аппаратуру.

А Борька-агент стоял со стаканом остывшего чая и отрешенно-задумчивым взором гипнотизировал единственную оставшуюся на блюде плюшку — так хамелеон гипнотизирует притихшую в ужасе муху перед тем, как слизнуть ее раз и навсегда.

В машине Юрий наладился подремать — расслабился, пристроив голову в щели между спинкой и стенкой, закрыл глаза и попытался думать о приятном. Как он идет в подвальчик «24 часа» и накупает там вкуснятинки для Жанки: карбоната, семги, осетринки горячего копчения... французский батон... маслица «Фермерского»... «икорки, понимаю»... И бутылку бефитера, и швепс-тоник, разумеется... Пусть это у нас будет пир духа, подумал он со сладострастием. Вечер плотских утех и радостных возлияний... Только вот если клиент попадется нехороший, ничего из плотских утех не получится — измотаюсь как жесть на ветру...

— А что за клиент? — спросил он, не раскрывая глаз.

— Небось, небось, — откликнулся Работодатель. — Клиент нормальный. Большой говорун.

— Но при этом — брехун?

— Надеюсь, нет. Иначе грош ему цена. Да и мне тоже, — добавил Работодатель самокритично.

— Действие происходит у него дома?

— Нет. Действие у нас развивается в стенах дома для престарелых и убогих имени господина Брызговицына. Слыхал про господина Брызговицына, Леонида Юрьевича? Долларовый мультимиллионер и благосклонный покровитель малых сих — бездомных собак, кошек, осиротевших крокодилов, а также окончательных калек. Феноменальная личность, но мы с ним не повстречаемся. Он сейчас в Дрездене, на ярмарке фарфора. А мы будем иметь откровенную и продолжительную беседу с господином Колошиным, Алексеем Матвеевичем. Алексей — божий

человек. Это — фигура! Сам увидишь.

Они стояли на площади Победы и пропускали транспорт, движущийся во встречном направлении по Пулковскому шоссе. Пушистый ласковый снежок сменился теперь свирепой крупой, ветер крутил ее столбом, и видно было в сереньком свете вяло помирающего денька, как опасно поблескивают наледи на асфальте, схваченном внезапным морозцем.

— И где это все будет у нас происходить?

— В населенном пункте Мотовилово.

— О, Мотовилово! Пуп земли русской.

— Нет, браток, — возразил Работодатель. — Пуп земли — это Большое Мотовилово, а мы с тобой едем в Малое.

Юрий снова закрыл глаза и расслабился. Малое так Малое. Хоть и вовсе — Микроскопическое. Микро-Мотовилово — это звучит даже недурно. Макро-Мотовилово и Микро-Мотовилово... Еще часа три, подумал он. Ну, пускай четыре, и все кончится, и я дома, и можно будет на все наплевать. Лишь бы клиент не оказался тяжелым. Пусть это будет... пусть это будет достойный старый джентльмен, жаждущий, скажем, проследить судьбу своего не вполне путёвого внука... Или, например, судьбу дочери, попавшей в сети организованного шантажа... Интересно, откуда у джентльмена из дома престарелых деньги, чтобы с нами расплатиться? «Мы фирма дорогая...»

— А кто он такой — этот твой Галошин? — спросил он, не раскрывая глаз.

— Не Галошин, — сказал Работодатель наставительно, — и не Калошин, а — Колошин. От слова «колоситься». «Раннее колошение хлебов...» Он — секретоноситель.

— То есть?

— То есть лицо, которому известны сведения, составляющие государственную тайну.

Услышав это, Юрий встревожился и раскрыл глаза:

— Еще чего нам не хватало! Зачем это тебе?

— Небось, небось. Все схвачено. Никто — ничего. На самом деле он у нас глубокий инвалид, бесконечно от всего далекий. Так что успокойся и дрыхни дальше. Нам еще пилить и пилить, а дорога — вон какая.

Дорога была — каток. Сумерки уже наступали — час между собакой и волком, — встречные машины включали фары, и лед мрачно поблескивал в их желтоватом пока еще свете. Все, кто ехал навстречу, ехали медленно, не ехали даже, а ползли — пробирались осторожно, словно бы ощупывая ближним светом дорогу перед собой.

— Щас спою, — проговорил Работодатель напряженно, и Юрий тотчас же сел прямо, ухватившись для надежности за скобу над дверью. Дрянь дело, подумал он. Работодатель вроде бы даже и не совершал ничего, никаких заметных действий, только газку, может быть, чуть добавил, чтобы совсем уж не остановиться, но машину вдруг повело, она грузно завиляла и пошла боком-боком-боком, словно краб по камню.

— «Вечерело. Серенький дымок...» — затянул жалобным высоким голоском Работодатель, нежнейшими движениями руля выправляя занос, — «...таял в розовых лучах заката...»

Каждый раз, когда они попадали на трудную, непроезжую или опасную дорогу, Работодатель принимался петь, и песни его всегда были в этом случае жалостливые, странноватые и, как правило, совершенно незнакомые.

— «...Песенку принес мне ветерок, милая, что пела ты когда-то...»

Вляпаемся сейчас в какой-нибудь «мерседес», думал Юрий, окаменело уставясь в роскошные красные фонари впереди ползущей иномарки. Вовек не расплатимся... Или в нас кто-нибудь вмажется, мэн крутой. С тем же результатом... А в кювет не хочешь? Хорошие кюветы, многообещающие, двухметровой высоты... (И серые подслеповатые равнодушные домики по пояс в снегу, справа и слева от дороги. И заснеженные мерзлые деревца. О этот свинцовый идиотизм деревенской жизни!..) Машину снова повело и снова без всякой видимой причины. Юрий еще крепче вцепился в скобу правой рукой, а левой уперся в торпедо — для прочности. «Для прочности, для легкости и для удобства стекания крови», — пронеслось через сознание ни с того, ни с сего, а Работодатель все тянул заунывно, все страдал, все жаловался: «Где ты и в каких теперь краях... я тебя так часто вспоминаю...»

Они ехали уже больше часа. Сделалось темно. Встречные огни слепили, а лед на дороге выглядел так, словно это была не дорога, а замерзшая река. Белая крупа поземки металась в лучах фар. Сзади чудовищный автобус-междугородник грозно и опасно нависал, сверкая огнями, повисел минуты две, а потом вдруг тяжело выдвинулся и угрюмо пошел на обгон. Юрий стиснул зубы. Давай-давай, железа много. Обгоняльщик тоже мне нашелся... Автобус шипел и ревел, повиснув теперь уже слева, а Работодатель замолчал и совсем окаменел за рулем — он еле полз по самой кромке шоссе, не решаясь ни поддать газу, ни — упаси господь — затормозить.

Потом созвездие красных и желтых огней вместе с огромной кормой сухопутного дредноута, обросшей грязной снежной коростой, ушло вперед,

повисело недолго рядом с приплюснутой (казалось — от ужаса) иномаркой и окончательно погрузилось в ночь и метель.

— «Гвоздики алые, багряно-рдяные дождливым вечером дарила ты...» — с облегчением затянул Работодатель, несколько раздервянев душой и телом.

Эту песню Юрий знал, а потому с готовностью и энтузиазмом тут же подхватил вторым голосом:

— «А утром снились мне сны небывалые, мне снились алые в саду цветы...»

В лучах фар впереди сверкнул синий указатель «М. Мотовилово 6 км», Работодатель снизил скорость до минимума и с величайшими предосторожностями повернул направо (хорошо хоть, что не налево!), на заметенную девственным снегом дорогу с неглубокой колеей. По обеим сторонам здесь высились восхитительно безопасные сугробы, за сугробами чернел шатающийся под ветром кустарник, а в лучах фар, слава богу, теперь не было ничего, кроме столбов крутящейся снежной крупы и серебристо-черной пустоты.

А если встретите ее на воле вы,
То не старайтеся собой увлечь —
Здесь за решеткою, в темнице каменной,
Лишь я любовь ее могу сберечь...

С последними словами этой древней тоскливой песни, сочиненной, говорят, знаменитым тюремным бардом еще времен Великих Посадок, подъехали они к настежь распахнутым, с покосившимися створками, воротам в дощатом высоком заборе. Забор уходил вправо и влево в непроглядную вьюжную тьму, так что видна была лишь пара десятков метров облезлых досок с уныло провисшей колючкой поверху.

Обширный двор внутри изгороди был пуст. В глубине светился разноцветными зашторенными окнами трехэтажный плоский дом с заснеженными автомобилями у подъезда. Отдельные деревья собирались справа и слева от дома в какое-то подобие лесочка. А под одиноким фонарем посреди двора стоял засыпанный снегом ссутулившийся человек в балахоне до пят с капюшоном (словно солдат с верещагинского триптиха «На Шипке все спокойно»), и носился вокруг него, волоча за собою поводок, пятнистый фокстерьер, похожий как общим видом, так и манерами своими на сосредоточенно энергичного кудрявого поросенка.

В светлом и пустоватом вестибюле висел некий незнакомый, но крепкий дух, не больничный какой-то, скорее, зоологический или ботанический, а может быть — просто сердечных капель в смеси с легким, словно бы мерцающим, запашком какого-то неопределенного говнеца. Тетка в зеленом халате сидела неподвижно в углу со шваброй поперек колен и с белым жестяным ведром у ноги, — без всякого интереса смотрела на них и молчала. За регистрационной стойкой никого не было, и никто даже не попытался остановить их, когда они — Работодатель решительно впереди, Юрий, озабоченно насупившись, следом — пересекли помещение и углубились в коридор, подсвеченный голубыми газосветными трубками.

Работодатель, видимо, уже бывал здесь, но ориентировался не так чтобы очень. Сначала он (поминутно поглядывая на часы) поднялся на третий этаж, ткнулся в какой-то сумрачный прокуренный кабинет без людей и без света, потом, поминая черта, снова спустился на второй, прошелся, читая таблички на дверях, вдоль всего коридора до самого застекленного тупика, за которым ничего уже не было, кроме метели и тоскливо раскачивающихся деревьев, резко повернул направо в неприметную дверь без всяких надписей и указателей и по слабо освещенной узенькой лестнице снова поднялся на третий этаж. Все это время Юрий следовал за ним молча и беспрекословно, дивясь только странным порядкам в этом странном доме престарелых: пустота-безлюдье, как в заколдованном царстве, везде понатыканы волосатые пальмы в толстых бочках, и — тишина, словно в храме божием.

Впрочем, дальше пошло еще страннее. Они вошли без стука в стеклянную, но закрашенную белой краской по стеклу дверь с табличкой (которую Юрий прочитать не успел: что-то вроде «дактилоскопия» или «отоларингология» промелькнуло и в памяти не задержалось). За дверью оказалась комнатушка — стол, стеклянные стеллажи (с лекарственными пузырьками) справа-слева, страшноватые медицинские схемы-расчлененки развешаны по стенам. За столом читал газету «Коммерсантъ» человек в белом несвежем халате, похожий на кого угодно — на палача, на мясника, на гардеробщика, — но никак не на врача и даже, пожалуй, не на санитара. Газету он тотчас же опустил и отложил в сторону, а сам стал смотреть на вошедших светлыми, редко мигающими глазами — круглоголовый, коротенькие волосы белобрысым ежом, тяжелая челюсть и массивные плечи профессионального вышибалы.

— Алексей Матвеевич нам назначил, — поспешно сообщил ему Работодатель с некоторой даже (как Юрию показалось) угодливостью и снова поглядел на часы. — Романов. Павел Петрович. Контора «Поиск-

стеллс».

Плечистый доктор опустил глаза, разбросал толстым пальцем на столе беспорядочные бумажки и тем же пальцем повел сверху вниз по какому-то — явно — списку. Видимо, обнаружив там царственные ФИО Работодателя, он легко поднялся и, подойдя к дверям в глубине кабинетика, два раза деликатно стукнул костяшками пальцев по филенке. Никто и никак ему вроде бы не ответил, но он легонько толкнул дверь и сделал Работодателю приглашающий жест: прошу.

Они вошли. Войдя, Юрий сразу же ослеп, обомлел и покрылся нервическим потом. В помещении стояла тьма и оглушающе горячий воздух, словно в деревенской бане по-черному. Освещена была только неестественно белая постель со скомканными простынями и человек посреди этих простыней — вернее, нижняя половина человека: ноги в кальсонах, босые и словно бы неживые, словно бы брошенные кое-как кем-то посторонним.

— Чего ж ты опаздываешь, голубок? — проскрипел из темноты сварливый голос. — Сказано было как? Сказано было: с четырех до пяти. А сейчас сколько? — Голос был с неприятной то ли трещинкой, то ли хрипотцой — слыша его, мучительно хотелось откашляться. — Мы так с тобой не договаривались. Сейчас вот отправлю тебя в обратный зад и буду в своем праве!

Работодатель, ничего на этот внезапный выговор не отвечая, извлек у себя из-за пазухи давешний зеленый пакетик, перетянутый резинкой, и аккуратно положил его на прикроватный столик среди стаканов, бутылок, бокалов и тарелок с засохшими объедками.

— Хм... — неприветливый человек в кальсонах немедленно смягчился. — Ладненько, — сказал он тоном ниже. — Плюнули и забыли. Что так задержался? Дорога плохая?

— Гололед, — подхватил Работодатель как ни в чем не бывало. — Еле добрались, честное слово. Думал, разобьемся...

— Не тот первый прибежит, кто быстрее бежит, — произнес хозяин постели назидательно, — а тот, кто раньше выбежит! Раньше выезжать надо было, тогда бы и не опоздал. Тогда бы и меня, старого человека, не заставил бы нервничать...

— Виноват, Алексей Матвеевич, — сказал Работодатель смиренно. — Более не повторится.

— Уж я надеюсь! — сказал хозяин заносчиво и спросил с отчетливой неприязнью в голосе: — А это кто с тобой? Он — с тобой, я полагаю?

— Со мной, со мной, — успокоил его Работодатель. — Это мой

сотрудник. Юра его зовут. Он будет вас записывать, Алексей Матвеевич. Для истории.

— Ха! «Истории для истории». Отчегё же. Можно и для истории, это значения не влияет...

К этому моменту Юрий уже попривык к темноте и стал помаленьку разбираться в обстановке. Теперь он видел, что комната велика (дальняя часть ее, та, что за кроватью, совершенно скрывается во тьме), есть поблизости, слева, большой овальный стол со стульями вокруг, какие-то титанические не то шкафы, не то буфеты вдоль стены... толстый ковер под ногами... черные квадраты окон, плотно закупоренных мохнатыми шторами... Все это было странновато (для дома престарелых), но страннее всего смотрелся (в рассеянном от простынь свете) все-таки сам хозяин: поблескивающий голый череп, обросший по бокам косматой черной волосней, косматая борода во все стороны, огромные черные очки на пол-лица (такие в начале века называли «консервами») — он мучительно напоминал кого-то, какого-то всем известного и крайне неприятного человека, и спустя немного Юрий понял — кого: перед ним возлежал на разобранной постели чеченский бандит и террорист Салман Радуев, лично-персонально, без своеобычной, правда, боевой фуражки с длинным козырьком, но зато — в кальсонах.

Потрясенный этим своим маленьким открытием, Юрий упустил сам момент представления, поклонился неловко и не вовремя и принялся расстегивать на себе куртку, одновременно озираясь в поисках подходящего седалища. Ан не тут-то было!

— На пол садитесь, на пол! — распорядился бандит, он же террорист. — На ковер! Ковер хороший, удобный, садись на попу... И раздеваться не велю! Нечего тут у меня блох трясти.

Совсем уже ошеломленный Юрий замер с пальцами на последней пуговице, а Работодатель — ничего: тут же, не говоря лишнего слова, скрестил свои длинные ноги и ловко уселся по-турецки в двух шагах от кровати, ничуть не смущаясь того обстоятельства, что голова его теперь оказалась как раз на уровне хозяйских кальсон. Юрий все еще колебался, но тут Работодатель так глянул на него (снизу вверх), что пришлось немедленно опуститься на корточки, а потом и перейти в позу лотоса — преодолевая хруст в суставах и мучительные боли в нерастянутых, совсем не приспособленных к таким внезапным подвигам, сухожилиях.

А странный (и страшный) хозяин уже говорил — словно с утра еще дожидался, никак все дождаться не мог и вот еле-еле дождался наконец такой редкой и желанной возможности. Его словно прорвало. Он говорил

непрерывно, жадно, но на редкость сбивчиво, перескакивая с одного на другое без всякой видимой системы, и спервоначалу очень трудно и даже почти невозможно было понять: о чем это он? О ком? О каких местах и временах?..

...Палата у них была огромная, широкая и длинная, может быть, старинная казарма или царских еще времен казенная больница: высоченные сводчатые потолки, полы, выстеленные расписным кафелем, тюремного вида окна — высоко, три с лишним метра, над полом, — и забраны двойной решеткой — одна изнутри, а другая снаружи, по ту сторону стекла. Шестьдесят восемь койко-мест, и почти все время — полный комплект нашего брата: шесть десятков гаврилоидов в возрасте от шестнадцати до шестидесяти.

...Холодно всегда было в этой палате, вечно они там все мерзли, как плешивые собаки, а им говорили: так и положено, цыц!.. Холодина, скучища, никакого женского персонала, санитары — сплошь мужики, солдатня, да еще и кормили впроголодь: «пятый стол», кашки-машки-какашки, а мясо вареное — по большим только праздникам: на октябрьские, да на майские, да на Новый год. Но кровати были — хорошие, с пружинными матрасами, деревянные, и чистое белье всегда, меняли два раза в неделю, халаты теплые, фланелевые, с полосками, кальсоны и рубахи, правда, похуже, чем здесь, солдатские, проштемпелеванные: «Шестое Особое Управление ННКВ». А что это за ННКВ — неизвестно, и никогда не было известно никому...

...Главное, от скуки все подыхали. Книжки читать — не тот был контингент, чтобы книжки читать. Прогулок не положено. Оставалось одно: перекуривать да языки чесать. Их всех, конечно, предупреждали строго, чтобы не трепались между собой. «Враг, блин, подслушивает». Но как тут можно было удержаться? И о чем еще людям разговаривать, кроме как о своих мучениях. Опять же — все ведь кругом свои. Какие тут могут быть, к растакой матушке, враги, когда я — питерский, а Вован-Кривоногий — из Чкалова, а Толька-Лапай — вообще даже из лагеря, сука приблатненная...

(Все это смотрелось почти как в нездоровом сне. Или, вдруг, налетало иногда, что это все на самом деле — театр. Тихая тьма. Неестественно резко освещенная сцена. Гениальный, ни на кого не похожий, актер на этой сцене... бесконечный и нарочито бессвязный монолог его, почти без жестов и совсем без мимики... Мертвенная неподвижность театра абсурда, и

только — вдруг — время от времени, без приказа, без намека даже на какое-то распоряжение, беззвучная, словно тень, и бессловесная, как призрак статиста, — женская фигура появляется по ту сторону постели, едва видимая в темноте, но в черном непристойно тонком платье на голое тело и подает диковинному этому рассказчику очередной бокал с темно-вишневым питьем... И — адова жара, воздух в легких, кажется, уже шипит, но почему-то все время мерзнет вытянутая — с диктофоном — рука...)

...Один был — кавказец, то ли грузин, то ли осетин, — он всегда молчал, а когда обращались к нему, только буровил в ответ поганым черным взглядом, так что и не порадуешься, бывало, что затеялся с ним разговаривать. Он круглые сутки только спал да жрал, кормили его отдельно от нас, держали на особой диете, но он не толстел и всегда был голодный, как волчара, смотреть было страшно, как пожирает он курятину вместе с костями или ложкой гребет свою кашу, — ни крошки никогда после него в тарелках не оставалось, а пайку ему давали двойную, а может быть, и тройную. Ну, и недаром, конечно. В этом мире ничего даром не бывает. Его брали на процедуры не часто, раз, много два раза в неделю, но уж обратно — привозили на каталке, сам идти не мог, и черно-синий становился он после этих процедур, что твой удавленник. Полежит пластом (тихо, без звука, даже дыхания, бывало, не слыхать) сутки, и снова — как зеленый огурец... И вот однажды вечером, все уже помаленьку спать укладывались, разговоры сворачивали, затихали один за другим — он вдруг поднялся с койки, огромный, как статуя какая-нибудь, и пошел, пошел, пошел, ни на кого не глядя, к выходу, где дежурный сержант задницу свою просиживал, в носу ковырял от скуки. Сержант этот вскинулся было (тоже не цыпленок, к слову сказать, мужик ядреный, как сейчас говорят — накачанный), но он его с дороги смахнул, как хлебные крошки со скатерти смахивают, — сержант этот без единого пука загрохотал по кафелю по проходу между койками да так и остался лежать, как Буратино, до поры до времени. А он, прямой, как шкаф, вышел на коридор, грохнуло там что-то, заверещало, будто кошку прищемили и — все. Больше мы его не видели никогда, как не было человека... Да и был ли он человеком, вообще? Не знаю, судить не берусь. То есть поначалу-то — был, конечно, как все, но вот что они потом из него сделали? Это, знаешь ли, вопрос!

...Был еще такой Костик, Костя Грошаков — маленький был шмакодявчик, черненький, армянчик такой... На самом деле никакой он был не армянин, но как прилипло к нему с самого начала — «Карапет» да «Аванес», — так уж и не отлипло до самого конца. Так вот с ним что

сделали? Он ходить перестал. То есть — в туалет. Ни писать, ни по большому делу. Совсем. Месяц не ходит, второй не ходит. Все это уже заметили, ржут, жеребцы, шуточки отстегивают, а чего тут смешного? Представляешь, на подводной лодке — экипаж, которому гальюн не нужен? Или космонавты, например? Полезная вещь, и ничего смешного... Потом его от нас перевели. Почему? Куда? Зачем? Явился однажды с процедуры, собирает личные вещи и объявляет: прощайте, ребята, переводят меня от вас, не поминайте лихом. Причем веселый весь, будто орден ему дали. Да и мы, надо сказать, тоже не слишком огорчились: пахнуть от него стало нехорошо последнее время, карболовкой какой-то, химией, причем особенно сильно — к вечеру...

(Странное дело! То ли адский черный жар, исходящий из глубин помещения был тому виною, то ли противоестественный холод, почти мороз, которым веяло от клиента, то ли сам клиент — окоченелый в неподвижности, оскаленный, заросший косматым волосом полупокойник, — то ли надтреснутый голос его... а может быть, манера говорить... а может быть, именно то, что он рассказывал... Все это создавало ощущение ирреальности и невозможности происходящего, атмосферу удушающего малярийного кошмарчика... И еще была в этой атмосфере — почему-то — вялая, серая угроза и необъяснимая опасность, словно не человек был перед тобою, непонятно почему словоохотливый рассказчик, а — невидимая бормочущая толпа... Почему толпа? При чем здесь толпа? Наверное, при том, что толпа людей — это уже не люди, это тоже такое особенное опасное животное, непредсказуемое и неопределяемое, никакого отношения не имеющее ни к человеку, ни к человеческому.)

...В большинстве своем были они все самые обыкновенные из обыкновенных. Ширяли их какой-нибудь дрянью по три раза в день, растягивали на станках из металлических серебристых трубок, крутили на этих станках разнообразно, пока кости из суставов не выползут... поили микстурами, таблетки заставляли глотать по пригоршне в день... держали — кого в полной темноте, кого, наоборот, при ярком свете, на жаре, а кого — в ванной со льдом... Варили. Бля буду, варили — вкрутую! Сам видел: в таких специальных чанах... Мне однажды две кишки сразу засадили — одну в глотку, другую — с нижнего конца, и так вот я и пролежал врастопырку чуть ли не полдня, думал, богу душу отдам совсем... Тольку-Лапая — кусали змеей, красной, живой, настоящей, он потом бредил всю ночь — про баб... Мы от всех этих процедур блевали, дристали, мочой

исходили, по сто раз в ночь бегали, волдырями шли по всему телу, кто — желтел, как при печенке, кто, наоборот, чернел, словно последний пропойца... Но, в общем-то и целом, оставались мы, как нас бог создал: дураки умнее не становились, а умные — глупее. Не менялись мы, и ничего с нами не происходило такого, о чем стоило бы поговорить за полбанкой вечерком. А нам и плевать! Денежки капают, каждый месяц — пять кусков на книжку, причем книжки эти — именные и всегда при нас. А время было тогда какое: «москвич», «горбатый» стоил тогда в магазине пять с половиной тысяч, свободно, а «волга» — двенадцать... Не было тогда «волги»? Ну значит, «победа» была, какая тебе разница?.. Так что за такие-то денежки мы и по три кишки принять в себя были готовы, и даже с благодарностью, было бы куда вставить. Между прочим, никого из нас силком туда не затаскивали — все добровольцы, все как один: «За Родину, за Сталина!»...

...Главный у них был — маленький, толстенький, розовый, чистенький такой, хорошо отмытый боровок. Волосы всегда прилизанные и словно бы мокрые, как из душа, на носу — пенсне, лапки белые, слабые, он их держал всегда одну на другой поверх брюшка, а брюшко вечно у него торчало из распахнутого халата. И усики квадратные под носом. Смешной такой, безобидный человечек. Зайчик такой. Но — видел насквозь. «Опять мастувбивовал, павшивец!..» Тоненьким своим противным голоском, и — с таким к тебе отвращением, будто ты куча говна. «Я тебя пведупвеждал или нет? Не давать ему мяса, павшивцу, до самых октябвьских...» Не знаю, что другим, а мне он всегда говорил, когда меня наизнанку в процедурной выворачивало: «Тевпи, казак, атаманом непвеменно будешь. Бегать будешь, как Нувми, а забивать будешь, как Бобвов». Бобров — это было понятно, экстра-форвард был тогда в ЦДКА, а Нурми — бегун какой-то, по-моему, финский, а может быть, и шведский...

(Работодатель слушал его, словно древнего скальда, поющего ему Эдду Младшую — в самопальном переводе на солдатский, — но иногда вдруг врывался в паузу и принимался одолевать вопросами.

— А как была фамилия Тольки-Лапая?

— Тольки-то? Лапая? Хрен его знает. Не помню. Может быть, Лапаев? Или Лапайский какой-нибудь...

— А за что он сидел?

— За кражу. Корысть наживы. Квартиру какую-то обнес и сразу же сел, расп..дяй с Покровки, даже проспаться ему менты не дали. Пятерку отхватил, а выпустили через два года — за примерное поведение и как

социально-близкого.

— Питерский?

— Ну. С Нейшлотского. Я там с ним потом бывал. Не знаю только, сохранился этот переулочек сейчас или уж нет — там большая стройка, помню, происходила — гостиницу строили, «Ленинград»...

— А Главного как звали?

— Слушай, настыряга, я ж тебе уже все это объяснял...

— Ну, а вдруг вспомнили. Неделя ведь прошла.

— Не могу я вспомнить того, чего не знаю и не знал никогда. Объясняю еще раз: солдатики звали его «товарищ полковник». Холуи, в глаза, — то же самое. А между собою называли его «Главный» или — «Папаша»...)

...Точно помню, случилось это седьмого марта. Я проснулся — меня кто-то трясет за плечо. А я после вчерашнего сеанса совсем больной, ничего не соображаю, и перед глазами — как тюлевая занавеска. А это меня расталкивает Толька-Лапай, очи как плошки, не бачут ни трошки: вставай Алеха, надо когти рвать, никого уж не осталось. «Как не осталось?!» А палата и в самом деле — пустая, никого нет, и койки не застелены, все брошено, как на пожаре. Я вскочил, а одежи-то нет! Не положено одежи. Белье да халат с тапочками. Куда в таком виде? А от нервов зуб на зуб уже не попадает. Кинулись мы с Толиком на выход — везде пусто! В операционной — пусто, в перевязочных — пусто, в процедурных — пусто, в комнате отдыха — пустота, на постах — никого... Выскочили в вестибюль — огромный, что твой вокзал, и опять же никого нет, только дверь выходная на сквозняке хлопает. И вот тут у меня наступило помрачение рассудка. В глазах сделалось темно, и я все забыл. Помню какой-то переулок булыжный... старые облупленные ободранные дома над головой... старуха какая-то черная на меня смотрит из подворотни... А когда полностью очухался, оказалось, что я уже на Толиковой малине, среди воров и бандитов... ну, это уже не так интересно.

...Что ты! Были очень странные! Например, помню, было двое... Один — мальчишка совсем, лет шестнадцати, — я и сам был тогда сопляк, но он даже мне пацаном казался, абсолютным шкетом. Звали его Денис, фамилию — не помню, а вернее сказать — не знаю. Лопоухий, шея — с палец толщиной, ручки тощие, а лапы — красные, как у гусака, и здоровенные. Щенок... А второго мы звали все — Сынуля. Не знаю уж, чей он там был сынуля, но его сам Главный так звал: «А тепевь, сынуля, довогуша моя, займемся вами певсонально...» Так вот этих двоих мучили

совершенно особенным образом. Вообще-то, что именно с ними делали, я не знаю, и никто из нас этого не знал. Они — кричали. День и ночь кричали, по нескольку суток подряд. Врачи около них бегают, перекошенные, со шприцами, с капельницами, туда-сюда, отгораживают их от нас в дальнем конце, да что толку — они же кричат, в полный голос, до смертного хрипа... Тогда их стали вообще увозить и держали где-то вдалеке, аж за второй процедурной, но, бывало, лежишь пластом в первой процедурной с кишкой в этом самом месте и слышишь, как он там криком кричит — через четыре стены и коридор. Не понимаю, как такую муку можно было переносить, и однако же, ничего — переносили, как миленькие. Человек — он на все способен. Пять дней вопит от непереносимой боли, пусть даже и в полной бессознанке, а потом сутки проспится — и снова как зеленый огурец. Только не помнит ничего, что с ним было эти дни... Я говорил тебе, что из них хотели там сделать? Нет? Ну и правильно поступил: нечего об этом трепаться. Вдруг — правда? Не дай бог, если правда...

(— ...А про дом, в котором вас держали? Про само здание? Неужели ничего не помните?

— Ничего. И не то чтобы не помню — не знаю. Привезли меня туда ночью, в закрытом фургоне... помню: какой-то двор, дождь проливной, черные стены вокруг, ни одного окна горящего... Даже сколько этажей там было, и того не скажу — не знаю. Загадка, полная тайн...

— А на прогулку вас никогда не выводили?

— Какая прогулка, милок? Когда? Между процедурами? Так между процедурами ты спишь нездоровым сном и смотришь кошмары про баб... Вот что я очень хорошо запомнил, так это вестибюль. Бывал на Витебском вокзале? Так вот точно такое же зало, кафель двухцветный под ногами, потолок — застекленный, и какие-то, вроде железные, ажурные решетки по стенам...)

...Вместо прогулок были у них заведены регулярные встречи с товарищем оперуполномоченным. Два раза в неделю плюс как потребуется. Кто что кому сказал, когда, зачем, и кто при сем присутствовал. Обычная система, очень удобная, между прочим, для сведения личных счетов. В Библии как сказано? Око за око, блин, зуб за зуб. Я человек мирный, но задевать меня никому не советую. Морды бить — это занятие для слабоумных. Я тебя помимо морды твоей так вдарю, что всю жизнь помнить будешь и десять раз задумаешься, чем меня в другой раз задеть...

...Нет, ни с кем он из них не видится. Откуда? Столько с тех пор прошло! Был, правда, интересный случай: приходит один, приводит свою — говорит — жену. Бабе лет пятьдесят и еще с довеском, а ему от силы лет тридцать, ну пусть даже тридцать пять. Баба красивая, надо признаться, но совсем плохая... ладно, не об том речь. А я смотрю не на нее, — я смотрю на него и глазам своим не верю: Дениска. Один к одному, в натуральную величину. «Дениска! Браток! Не узнаешь?» Он смотрит бесцветными глазами: ошибаетесь, говорит, я вас не знаю. «Как так не знаешь?! Денис?» Денис. «А я Лешка-Калошка! Лабораторию помнишь?» Нет, не помнит он никакой лаборатории, плечами только пожимает. «И Сынулю, что ли, не помнишь?» И Сынули никакого не помнит... Вижу же, что врет нагло, в упор, но ничего поделать не могу. И, главное, не понимаю: почему? Почему не признается? Боится? Так сколько лет прошло, никто ничего давно уже про те дела не помнит... Я даже злиться на него начал: не понял, говорю, чувства юмора! Тебе что — мозги в голову ударили?.. Но очень быстро спохватился: какой Дениска? Дениске сейчас под семьдесят должно быть, старый должен быть пердун, вроде меня... Родственник, может быть? Сынуля?.. Не признается и как сынуля. Полностью проглотил дар речи. Ладно, я от него отстал, а потом, много спустя подумал: неужели же и на самом деле получилось у Папаши? Неужели же он с тех пор так и не стареет, а злобу на меня держит, что я тогда про них с Сынулей куму доложил?..

...Что-то там произошло между ними. Что-то неблаговидное, стычка какая-то. Что-то он случайно подслушал: как они орали друг на друга в курилке, ослепшие и оглохшие от собственной злобы — куренок этот, малолетка, Денис, и Сынуля, человек уже на возрасте, солидный, казалось бы, не из крикливых, высокомерный барин, седой, плешивоватый, с огромным родимым пятном на ползатылка... Он подслушал и, видимо, стукнул на них куму, не по злобе даже, а просто чтобы барин этот не слишком много о себе воображал, буржуй недорезанный... А спорили они — о товарище Сталине, причем произносились какие-то странные, несусветные слова: «вытяжка из грибов жоучжи», «настойка на фиолетовых муцзинь», но это еще ладно, китайская медицина, а там были слова и похлеще: «мучения нечеловеческие», «проклятия», «бессмертие»...

Совершенно несвязная, не в лад, невпопад, история (как обычно) без начала, без конца, и Юрий не успел даже толком зацепиться вниманием за эти примечательные слова о «родимом пятне в ползатылка», как хозяин неожиданно, сам себя оборвав на полуслове, заскрипел вдруг почти с

надрывом:

— Всё, всё, всё! Валите отсюда. С песнями. Сеанс окончен. Какать сейчас буду. Хотите полюбоваться, как паралитик какает? Зрелище, достойное кисти пера. Самсон, раздирающий пасть манекену-пис...

И тут же ниоткуда, нипочему, без зова, без приказа, неслышно, появилась дебелая красавица в неприлично прозрачных шелках; и сам собой включился, засиял вдруг спектральными красками гигантский безмолвный телеэкран у левой стены; в руках у красавицы обнаружилось вдруг бело-фарфоровое чудо сангигиены; жаром пахнуло из черных недр комнаты совершенно уж нестерпимо; и Юрий, рта не успев захлопнуть, обнаружил себя в медицинском предбаннике, в атмосфере божественной прохлады и внезапной безопасности; и дежурный вышибала за столом показался ему старинным и до слез добрым знакомцем...

В машине они некоторое время молчали, и хотя дорога была по-прежнему дрянь, Работодатель не пел, а только тихонько посвистывал сквозь зубы. Потом Юрий вытянул из-за пазухи диктофон, отмотал немного назад и послушал неприятный голос с трещинкой.

— Как он тебе? — спросил Работодатель.

— Нормально. Четыре балла. Даже четыре с плюсом.

— Но один-то раз он — точно — наврал?

— Пожалуй. Как он остался в пустом здании.

— Именно, — согласился Работодатель с удовольствием. — И знаешь, почему я догадался? В прошлый раз он мне эту историю совсем по-другому рассказывал: будто его вывезли в крытом фургоне за город и там выбросили, прямо в снег...

— Угу. И еще эта история про Дениску... который к нему пришел со своей женой...

— Ну?

— Тоже какая-то... неубедительная... Подвирает он там, не пойму только в чем... Ладно. Слушай, ты что, много раз с ним уже общался?

— Да. Сегодня — в третий раз.

— И что, он так и не вспомнил, как звали этого... ну... Сынулю этого? Барина?

— Силецкий, — быстро ответил Работодатель, и сразу сделалось очевидно, что — врет. Он и сам это понял, засмеялся и сказал: — Не вспомнил. Или не захотел вспомнить. В самом деле, клянусь... А почему ты спрашиваешь?

— У меня знакомый есть, — сказал Юрий по возможности небрежно.

— У него тоже такое же вот пятно на ползатылка.

— Да? — Работодатель быстро на него покосился. — И сколько же ему лет, знакомому твоему? — спросил он, тоже небрежно.

— Лет шестьдесят, наверное. Или шестьдесят пять.

— Нет. Это не тот. Не получается. Тому должно быть сегодня лет сто и еще с хвостиком. — Он снова посмотрел, на этот раз откровенно пристально. — Хотя вообще-то, с другой-то стороны, если подумать... Познакомишь?

— Вряд ли, — сказал Юрий, спокойно выдерживая его знаменитый взгляд. — Зачем это тебе? Только зря тревожить старого человека.

Работодатель промолчал. Юрий достал второй диктофон, секретный, проверил запись — здесь тоже все было в порядке. Ладно, подумал он. Потом. Все потом. Не хочу сегодня думать вообще. Ни о чем. К чертям.

— А кто он вообще такой, этот твой Алексей Матвеевич? — спросил он.

— Как? Ты так и не понял? Это же Алексей Добрый. Великий целитель. Ты что, газет не читаешь?

— Не читаю. И радио не слушаю.

— И рекламу тебе в ящик не бросают?

— И рекламу не читаю. И телик я не смотрю. Серый я, чего и тебе от всей души желаю... А от чего он исцеляет?

— От всего, — сказал Работодатель тоном щедрого хозяина.

— И на хрен он нам с тобой сдался?

— Не нам, — сказал Работодатель. — Это — заказ.

— Какой заказ?

— Выпотрошить. Он много чего знает, этот Лешка-Калошка. Ты же сам видел.

— А кто заказчик?

Работодатель ответил не сразу, но все-таки ответил:

— Аятолла, — сказал он. — Извини.

Опять Аятолла, хотел сказать, но, конечно, не сказал Юрий. Неужели не понятно, что — нельзя. Опасно. Да и попахивает. Баксы не пахнут? Еще как пахнут. Если принюхаться. Но если не принюхиваться специально, тогда, разумеется... Тогда не пахнут. Я не хочу работать на Аятоллу, понятно тебе? На Павла Петровича Романова — с удовольствием. На себя, любимого, — пожалуйста. А на Аятоллу — не хочу. Тошнит. И не только от страха.

Они уже въезжали в город, белый от свежего снега и черный от теней, ртутного света и мокрого асфальта. «А за окном белым-бело, это снегу

намело... А за окном черным-черно, это ночь глядит в окно...»

Работодатель остановился у подвальчика «24 часа», не сказав ни единого слова в поучение, отслюнил шестьдесят баксов двадцатками и умчался, сделав на прощанье ручкой. «До завтра. В десять ноль-ноль, как штык, на рабочем месте — будем потрошить еще одного дяденьку с бородой...»

Да хоть с рогами. Юрий спустился в подвальчик и набрал там на сорок баксов всякого. (Все в подвальчике были его старые знакомые и принимали у него хоть баксы, хоть дойче-марки, хоть юаровские рэнды — по специальному курсу, разумеется, но такова уж селяви...)

Руки у него были (на американский манер) заняты двумя титаническими пакетами, и чтобы не рисковать драгоценными бутылками, он, добравшись до двери дома, нажал на кнопку звонка подбородком. Жанка, слава богу, прискакала тут же, распахнула дверь, и он по квадратным глазам ее моментально понял: что-то не так.

— Что?

— Вадим там твой... — сказала Жанка тихонько и как бы с испугом. — Знаешь, он, по-моему, совсем не в себе, честное слово.

— О господи!.. — сказал Юрий, но более с облегчением, нежели с раздражением или неудовольствием.

Вадим, как вернулся из своей дурацкой экспедиции на Северный Кавказ, так с тех пор и пребывал в состоянии, для него совершенно необычном. Он стал какой-то тихий, невзрачный, незаметный — до такой степени, что порой казался даже вовсе невидимым простым глазом. Он, впрочем, и раньше был таким, довольно-таки малопримечательным, но теперь его словно стерло, как старый пятак. Он стал стариком. И кто-то из ребят отметил (с некоторым даже испугом), что Вадим теперь временами поразительным образом теряет контроль над своим лицом и становится тогда вообще похож на растерянного и даже угодливого старичка-бомжа. Да что с тобой, скотина? — спрашивали его. Что у тебя болит?.. Он вяло огрызался цитатами из телевизионных реклам. Мариша, не выдержав этого зрелища распада и деградации, затащила его в знакомую частную поликлинику, где, впрочем, нашли его физически здоровым, но психически подавленным (что и без них было всем очевидно) и порекомендовали курс каких-то сволочных инъекций, от которых Вадиму, кажется, стало только еще хуже.

Сейчас он спал в кресле перед включенным — без звука — телевизором, и лицо его было еще более жалким и убогим, чем обычно, рот

полураскрыт, а опущенные серые веки судорожно подергивались. Юрий обнюхал его — спиртным не пахло. Ладно, пусть дрыхнет. Пока. А там посмотрим.

Он вернулся в кухню, где Жанка уже орудовала вовсю — шуршала замаслившейся оберточной бумагой, вскрывала пакеты, раскладывала снедь по тарелкам, что-то там нарезала — розовое и жирное, хлопала холодильником, брякала вилками-ножами — тоже, видимо, проголодалась, старушка моя, и взалкала выпить. (Интересно, можно так сказать: взалкала выпить?) Ему оставалось только откупоривать бутылки и готовить джин-тоник, первую порцию, самую смачную. Шпокнули взламываемые баночки тоника, зазвенел лед в прозрачной синеве божественного напитка, они чокнулись толстыми стаканами и выпили, и сразу же в усталой голове весело зашумело, и мир сделался вполне приемлем, и даже более того — уютен и хорош. Мир стал добр, но требователен — срочно требовалось повторить...

Когда зазвонил телефон, они были уже целиком от мира сего — добры и дьявольски хороши. Жанка, не очень-то уверенно ступая, удалилась трепаться, как выяснилось, с Маришкой и о какой-то кулинарии — обсуждался рецепт торта «Аристократ». Юрий же вдруг обнаружил себя чокающимся с возникшим из ничего Вадимом, который хорошенько, видимо, отоспался в мягком кресле и теперь готов был соответствовать, — даже порозовел в предвкушении.

Произошел странный разговор.

— Ты за кого голосуешь? — спросил вдруг Вадим, тыкая вилкой в распадающийся кусок осетрины горячего копчения.

— В каком смысле?

— Ну, на выборах.

— На каких выборах?

— Блин. Ты что — газет не читаешь?

— Да, не читаю! Не читаю я газет! Что вы все ко мне привязались? Не читаю, и вам не советую!

— Я могу изменять будущее, — сказал вдруг Вадим и, сказав, выжидательно уставился.

— Ну? — сказал Юрий, не дождавшись никакого продолжения.

— Что — ну? Могу? Или нет?

— Не знаю, — сказал Юрий честно.

— Так слушай, мать твою! Я — МОГУ — ИЗМЕНЯТЬ — БУДУЩЕЕ. Это правда? Или нет?

— Брат, — сказал Юрий. — Господи! — Он наконец понял, что от него

требуется, но ведь он же ничего не мог сейчас. — Слушай, брат, давай лучше выпьем еще по одной. Ей-богу...

Вадим, весь словно вздернутый — прямой, напряженный, — смотрел на него непонимающе, а потом облизнул губы и расслабленно обмяк.

— Ну да... — пробормотал он. — Ты же поддатый, я забыл совсем... Извини. Понимаешь, мне показалось, что я уже могу... мне спросонок показалось. Такой хороший был сон.

Лирическое отступление № 3 ГЛАВВРАЧ, ПАПАША СЫНУЛИ

— Кто там у тебя все время орет? — спросил Большой Начальник, болезненно от собственного вопроса перекосившись. Похоже, у него болела голова после вчерашнего. А может быть, газы совсем замучили. Он явно и откровенно страдал метеоризмом. Кроме метеоризма, у него было еще огромное жирное лицо — репа хвостом вверх, — и белесое, как репа, и с темными пятнами, словно репа эта местами подгнила. Глаза на этом лице смотрелись как некое биологическое излишество.

— Испытания идут, товавищ геневал, — объяснил главврач со всей доступной ему предупредительностью. — Полным ходом. Не пвекващаясь ни на час. Товавищ геневал.

— А заткнуть его никак нельзя?

— Можно, конечно же. Но это, сковее всего, пов'ведит экспевименту.

— Какому эксперименту?

— Тому самому, товавищ геневал, — сказал главврач со значением.

Репа смотрела на него, мигая человеческими глазами, и находилась как бы в напряженном размышлении... И вдруг раздался длинный сипящий звук, и завоняло как в сортире. Видимо, напряжение превысило некий допустимый предел.

— Я извиняюсь, — произнесла репа с простодушным облегчением.

— Вам показан актививованный уголь, товавищ геневал, — заметил главврач, но товарищ генерал не стал развивать эту интересную тему.

— Вы, доктор, уже шестой месяц эти свои эксперименты ставите, — сказал он, перейдя вдруг на «вы». — А где результаты?

— Везультаты обнадеживающие, товавищ геневал.

— Вы мне шестой месяц толкуете про результаты ваши. Обнадеживающие. А где они?

— Очень сложная задача, товавищ геневал. Никто в миве...

— Знаю, знаю! — Большой Начальник помолчал, а потом произнес с нажимом: — Если бы где-нибудь это умели, мы бы, товарищ профессор, и без тебя бы обошлись. Понял?

— Так точно.

— Вот так. — Начальник снова помолчал, прислушиваясь. — А чего он, вообще-то, орет? Непонятно.

— Больно, — объяснил главврач. — А пвименять паваллельно

болеутоляющие пвепаваты...

— То есть как — больно? Кому — больно?

— Подопытному. Добвовольцу. Это очень болезненный пвоцесс, товавищ геневал... (Начальник слушал, приоткрыв рот с золотыми зубами. Белесые щеки его медленно розовели. Пунцовели. Багровели.) В этом вся пвоблема, к сожалению. Собственно, пвоцесс нами уже отваботан, по квайней мере, в пев'вом пвиближении, но вот сопутствующие...

Тут начальник стал окончательно цвета свежего мяса и заорал. «Курва недобитая, картавая! — орал он. — Вредитель недо..анный! Б..., сука белогвардейская! Ты понимаешь, кому ты свои препараты сраные готовишь? Ты понимаешь, кто их принимать будет, б...дина пухломордая, пидор гнойный, мудила, говно еврейское!.. Семейственность, понимаешь, развел в учреждении и вредительством занимаешься? Встать, полковник, когда разговариваете с генерал-лейтенантом!..»

Главврач с готовностью поднялся и терпеливо, руки по швам, слушал выговор, дожидаясь возможности оправдаться. Не то чтобы он привык, обычно с ним разговаривали вежливо и даже почтительно, но этот репоголовый пердун всегда орал, нравилось ему орать, и он всегда находил повод, к чему придраться, чтобы всласть поорать. Разрядиться. Метеоризм — поганая штука, мучительная и унижающая. И полный идиот, к тому же. Бабка говорила: на копейку луку, а на рубль бздуку, — это о нем, и в прямом смысле, и в переносном... Вот, кажется, и все — иссяк. Успокоился. Сейчас предложит сесть...

— Садитесь, товарищ главврач, — сказал Начальник утомленно. — Вы и сами понимаете, что такое положение недопустимо. Надо что-то предпринимать.

— Конечно, товавищ геневал-лейтенант. Именно над этим мы и вавотаем сейчас.

— Правильно. Так держать. И если нужны какие-нибудь лекарства... микстуры, препараты, — немедленно докладывайте, мы обеспечим.

— Слушаюсь.

Начальник некоторое время осторожно и даже с нежностью ощупывал себе щеки белыми золотоволосыми пальцами, потом спросил:

— Но в основном, вы говорите, дело продвигается?

— Так точно. Главная задача уже вешена.

Начальник кивнул, глазки у него вдруг сделались как щелочки.

— И как же эта штука у вас работает? Я никак не представлю себе, что это. Защита от болезней? Или?.. — Он так и не решился выразить словами, что именно «или», и только руками показал нечто неопределенно опасное.

— Я не уполномочен обсуждать эти вопвосы, — сказал главврач сухо и мстительно добавил: — С вами.

Это произвело должное впечатление. Товарищ генерал-лейтенант снова пукнул — смачно, от души, — и тогда главврач поднялся, извлек из стеклянного аптечного ящика тюбик активированного угля и протянул его через стол.

— Всячески вам векомендую, — сказал он поощряюще.

«В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений».

Глава четвертая ДЕКАБРЬ. СРЕДА НОЧЬ ПАТРИАРХА

«...Его зовут Стэн Аркадьевич Агре. Имя, казалось бы, необычное, но только для нашего нынешнего деидеологизированного безвременья. На самом деле Стэн — это «СТалин-ЭНгельс». У него, между прочим, был когда-то еще и старший брат, которого звали Марлен: Маркс плюс Ленин. А вот откуда взялась у него, совершенно русского человека, такая экзотическая фамилия, мне выяснить пока не удалось. Знающие люди объясняют, что «агрэ» на санскрите значит «первый» или даже «наивысший», по-грузински это — «вот» («Вот какой рассеянный...»), а на иврите «агра» (ударение на последнем слоге) означает «налоги». Вот и все, что удалось мне выяснить об этом предмете. То есть — ничего.

...Я согласился сейчас писать о нем не потому, что испугался вас. Не надо преувеличивать. И уж конечно, не потому, что хочу помочь вам. Вообще — не потому, что усматриваю в этом занятии хоть какой-нибудь корыстный или прагматический смысл. Я начал эти записки потому, что, кажется, понял окончательно: после меня в мире не останется ничего, кроме этих записок. Более того: и после НЕГО самого не останется ничего, кроме этих моих записок. Да, пожалуй, еще — нескольких слухов, теперь уже напоминающих легенды. Да великого множества интервью, не дающих никакой информации, а только раздражающих воображение и порождающих новые слухи и новые легенды.

О нем до сих распускаются странные слухи и распространяются сочные легенды. Полагаю, в вашем департаменте их кто-нибудь старательно собирает, сортирует (высунув набок язык) и дотошно анализирует. Вполне допускаю даже, что часть этих слухов придумано и распространено именно вами... Но две легенды я здесь приведу. Одну — потому, что она кажется мне совершенной, отшлифованной в пересказе до состояния готовой новеллы. А вторую — потому, что сам был свидетелем события и имею возможность на этом примере наблюдать, как скромно-затрапезная куколка факта

трансформируется в роскошную бабочку легенды.

Итак, история первая. Действие происходит году этак в девяносто четвертом, не позже девяносто пятого. Идет троллейбус, по дневному времени — малонаселенный, народ сидит. Всё тихо, мирно. На заднем сиденье расположился неопределенной конфигурации дядёк, про которого одно только и можно поначалу сказать, что он — с большого пролетарского бодуна. Скорее всего, именно поэтому сидит он в полном одиночестве, и ему, видимо, скучно. И он начинает говорить, а точнее — возглашать.

— На следующей остановке, — провозглашает он, — выйдут двое, а войдет один...

— А вот на следующей никто не выйдет, а войдет мама с ребенком...

— А на следующей — выйдут четверо, а войдут трое...

На все эти объявления спервоначалу мало кто обращает внимание, но однако довольно скоро народ обнаруживает, что все непрошеные эти предсказания странным образом сбываются. Все. До единого. И абсолютно точно.

— ...На следующей трое выйдут, а двое войдут — мужчина и женщина.

Точно.

— Какая там следующая? Московский? Двое выйдут, двое войдут...

Absolutely!..

Рты помаленьку раскрываются, глаза выкатываются. Теперь уже все его слушают, словно какого-нибудь Жванецкого, кроме какой-то блеклой девицы, углубившейся в лакированный детектив. Прочие же внемлют жадно, со сладким ужасом, причем никто оборачиваться на него не рискует, только уши у всех настропалены, как у битых котов.

— ...А на следующей войдет один, и один выйдет.

Точно: один входит (и сразу же, между прочим, со страхом настораживается — туда ли он попал и что тут за дела происходят?), но вот не выходит — никто! Троллейбус стоит с открытыми дверями, часики тикают, уже несколько злорадных рыл поворачивается к похмельному пророку, уже створки дверей начинают смыкаться, но тут тусклая девица захлопывает вдруг свое чтиво и с воплем «Ой-ей-ей!» (или что-то в этом же роде)

продирается сквозь соседа по сиденью и без малого застревает в дверях, но успевает-таки выскочить. По троллейбусу проносится задавленный вздох. Все ждут, что будет дальше, но дальше ничего не происходит: пророк молчит, героически сражаясь с абстинентным синдромом. А когда троллейбус останавливается в очередной раз, он поднимается со своего места — маленький, неряшливый, криворотый, — спускается на ступеньку, чтобы выйти, и напоследок объявляет:

— В девяносто шестом выберут Ельцина, а в две тыщи шестом будет ядерная война с террористами...

Это — про него. Хотя он вовсе не маленький, а скорее уж рослый, не неряшливый, а очень даже ухоженный, и никогда не напивается до похмелья. (Он вообще не любит быть пьяным. «Чего это ради я буду напиваться? — спрашивает он сумрачно. — Мне и так весело».) Я прекрасно помню времена, когда все еще были живы и даже здоровы, он частенько тогда пребывал в веселом расположении духа, не пренебрегал выпить стаканчик и с удовольствием расслаблял себя шутками. Теперь-то он не шутит. Никогда. А на тех, кто в его присутствии позволяет себе пошутить, смотрит. Внимательно. Словно ждет продолжения.

Вторая история незамысловата и в значительно меньшей степени канонична. На некоего (святого) человека нападает толпа развлекающихся подростков, нанюхавшихся какой-то дряни, а может быть, просто — в целях оттяга. Его окружают, прижимают к садовой решетке и принимаются было мучить, но тут он мощно возглашает, обращаясь к главарю: «Не медлите! Завтра же найдите книгу. Автор — имя рек. Название — имя рек штрих. Ищите!» Потрясенные (чем, собственно?) юные раздолбаи отпускают его немедленно на волю, а главарь и в самом деле принимается искать книгу. Названную книгу он, сами понимаете, так и не находит, но зато пристращается к чтению и делается — во благовременье — порядочным и даже выдающимся человеком.

Чрезвычайно любопытны в этой вполне безвкусной истории — варианты книг и авторов. Чаще всего называется Библия: Апокалипсис или Екклезиаст. Иногда — книги по естественным наукам, скажем: «Курант и Роббинс! «Что такое математика?»! Глава первая, параграф четвертый, «Диофантовы уравнения»!..» А иногда — совершенно неизвестные и, видимо, фантастические, нигде не существующие, например: Артур Майлз, «Как стать

собой»... Но самое любопытное не это. Самое любопытное, что он обращается к поганому хулиганишке на «вы». Во всех вариантах этой истории, которые я слышал. И это тоже — про него. Он — единственный известный мне человек, который всегда и всем говорит «вы» — даже десятилетнему пацану.

Что же касается самой истории, то на самом деле все было не так. Он поехал к себе на четвертый этаж в лифте, а мы с Тенгизом и Маришей решили размяться и пошли пешком. Эти двое козлов торчали площадкой выше, видимо, уже давно (судя по количеству окурков), и как только он стал открывать калитку в решетке, они напали на него и успели ударить несколько раз. Чего именно они хотели, так и осталось невыясненным, но во всяком случае ничего плохого они больше сделать не успели — мы подоспели, и Тенгиз взял их в оборот. Я кинулся поднимать его с полу, но он уже и сам вставал, цепляясь за решетку, — белый, свирепый, кровища течет по лицу, глаза, как у звероящера. «Дайте его сюда», — приказал он Тенгизу, показывая на того козла, что был пожиже, и сам подался вперед, к этому козлу вплотную, наклонился к его козлиному уху и что-то сказал ему, — никто из нас не услышал, что именно. А потом он велел Тенгизу отпустить их, и они ушли, еле передвигая ноги, как покорные паралитики. А тот козел, что был пожиже, спустившись на три ступеньки, вдруг обернулся и спросил (с огромным недоумением): «А зачем?» — «Идите-идите. Потом поймете», — ответил он, и на этом история, собственно, и закончилась, а начались перевязки, антистолбнячные уколы и прочая лабуда из ведения нашей Мариши.

Есть еще история, как он оживил человека — девяностолетнего старца, который тихо угасал на руках рыдающей родни, а очухавшись, вдруг возопил: «Дядя Стэн! Это же я — Щуренок! Вы меня на коленке подкидывали, помните?..»

Вообще подозрительно много историй про людей, которые старше его возрастом или, как минимум, такие же немолодые, но помнят его с детства — со своего собственного детства — именно таким, каков он сейчас. Я сам присутствовал при подобном случае, когда он привел (в приступе последнего отчаяния) свою жену, Татьяну Олеговну, к какому-то великому целителю, а тот, его увидев, возопил: «Сынуля! Ты что, меня не узнаешь, что ли? Я же Лешка-Калошка!» Из его слов получалось, что они оба лет

пятьдесят назад сидели в одной камере, или что-то в этаком же роде. Странная какая-то история, если учитывать, что он никогда и ни по какому поводу не сидел и что — по словам целителя — «совсем за эти годы не переменился». Это за пятьдесят-то лет? Правда, целителю этому — грош цена, ничем он Татьяне Олеговне не помог...

Впрочем, о его прошлом вообще мало что известно. Сам он никогда ничего о себе не рассказывает. И никогда ни о чем не вспоминает. Может быть, ему нечего вспоминать? Или, может быть, он все позабыл и существует теперь только в настоящем и будущем? Когда я однажды спросил его напрямик, рискуя даже нарваться на высокомерное его неудовольствие, он ответил мне неожиданно спокойно и даже с каким-то удивлением: «Но мне и в самом деле нечего рассказать о своем прошлом. Там нет ничего, кроме многочисленных проб и ошибок. Мне не нравится все это вспоминать. Удачные пробы давно уже сделались моим настоящим, а о неудачных я рассказывать не хочу — стыдно. До сих пор стыдно. Достаточно того, что я не повторяю ошибок».

Это неправда. Он ПОВТОРЯЕТ ошибки. Он совсем не Господь Бог, он даже не гений, он — интерпретатор. Вот его собственные слова: «Поймите же, я не творец. Я всего лишь интерпретатор. Я ничего не создаю, все уже создано, без меня и до меня. Я — лишь НАЗЫВАЮ».

Я совершенно оставляю в стороне истории и легенды со смертоубийствами, увечьями и прочими злодействами. Вот сейчас ходят слухи (и даже в газетах об этом писали), будто участились случаи, когда киллеры пользуются нервно-паралитическим ядом. Или каким-то особенно страшным газом, убивающим почти мгновенно. Обнаруживаются трупы граждан (как правило — весьма состоятельных, даже богатых: коммерсантов, владельцев всяких там АО, ОАО и ООО, нефтяных магнатов, воротил игорного бизнеса), у которых жизнь вдруг прекратилась вследствие внезапной остановки дыхания. У меня в регулярной статистике — три таких случая за последние два года, но я помню, такое бывало и раньше. Находили их в машинах, в подъездах, на лестничных маршах, иногда рядом со своими телохранителями, которые тоже пострадали, но очухались и ничего толком не могут сказать: шли себе за боссом как положено, вдруг стало трудно дышать, в глазах — темнота,

обморок, очнулся: труп — и пахнет кругом горелой бумагой... Так вот это все — не про него. Он брезглив. Я бы сказал даже — он брезгливо добр... «Не хотел бы прослыть старомодным, но: жизнь — священна», «Не нами данное не нам же и отнимать», «Смерть больше любой проблемы»... И так далее...

По утрам он читает газеты. (Он выписывает четыре газеты разных направлений, и еще одну — «Общую» — ему вот уже несколько лет выписывает некий доброхот, полагающий почему-то за благо оставаться неизвестным.) Читает жадно. Пыхтит. Покряхтывает. Вдруг начинает остервенело ковырять в носу. Елозит локтями по расстеленным полосам, мнет их безжалостно, а потом принимается бездумно разглаживать сухими своими белыми ладонями. Щелкает ножницами. Вырезает заметки. Или таблицы. Или куски текстов.

Совершенно невозможно понять, что именно его интересует. Всё. «Врожденный запрет братоубийства» (статья Конрада Лоренца). «Настоящее и будущее литературы» (обзор за год). «Операция ГРИФ» (как Скорцени пытался ликвидировать Эйзенхауэра в декабре 1944 года). «Осада "Уотергейт"» (скандал, из-за которого обвалился Никсон). «"Ад" и "Рай", затерянные в океане» (о Галапагосских островах). «Поиски ответа на трудный вопрос» (по поводу полового воспитания детей и подростков). «Капитуляция лейтенанта Оноды» (история самурая, в одиночку продолжавшего воевать на Филиппинах аж до 1972 года). «Средний возраст — 900?» (популярно о проблеме долгожительства). «Признания убийцы» (откровения террориста Баруха Наделя, организовавшего убийство графа Бернадотта). «Толпа одиноких» (о рокерах, блузон-нуарах и прочих таких же)...

Но прежде всего — статистика. Самая разнообразная. «Удельный вес военных расходов в ВНП США»... «Текучесть кадров: причины и предупреждение»... «О проблеме рождаемости и демографическом неведении»... «Интеллект ученых Кембриджа»... «Поколение 2000 года»... «Продуктивные районы океана»...

Вырезки распихиваются по папкам, тесемочки завязываются, разрезанные и помятые листы швыряются в корзину. Не могу вспомнить ни одного случая, ни единого, чтобы он хоть как-нибудь воспользовался всеми этими сведениями. Он никакой

эрудит, памяти у него совсем нет, или он ею ленится пользоваться. Память его — это я. Для того меня и держат, дабы помнил все, что вдруг и зачем-то понадобилось. Только нечасто, ох, как редко, возникает во мне такая нужда. Обычно же меня используют не как банк данных, а как самую обыкновенную записную книжку. «Когда я должен встретиться с этим кретином из «Дейли ньюс»?..» «Я хочу видеть Маришу, свяжитесь с ней и назначьте на среду, на пятнадцать тире шестнадцать...» «Мы забыли ответить Институту прикладной астрономии? Забыли. Очень мило. Набросайте текст с вежливым отказом, я подпишу...» С тем же успехом он мог бы завести себе перекидной календарь. Это обошлось бы ему гораздо дешевле. Но тут, я полагаю, все дело в том, что помыкать перекидным календарем неинтересно, да, пожалуй, и вовсе невозможно.

Кроме газет и журналов он не читает ничего. Он давно уже, и глубоко, погрузился в тот возраст, когда беллетристику не читают совсем, и вообще читают мало, а если уж читают, то литературу, так сказать, «фактическую» — словари, энциклопедии, исторические опусы или самые неожиданные учебники.

Живет он один, вот уже четыре года. У него есть жена, Татьяна Олеговна, сильно больная женщина, но вот уже четыре года, как она переселилась в специальную клинику и, видимо, навсегда. Он ездит к ней по понедельникам и, вернувшись, каждый раз, черный и злобный как дракон, шипит мне: «Всё! Больше я туда не поеду. И напоминать мне не смейте! Всё!..»

Еще у него есть сын. Ему на вид лет тридцать. Живет сейчас, если мне не изменяет память, в Австралии, держит антикварный магазин. Рослый белокурый (ни в мать, ни в отца) красавец с манерами номенклатурного барина и с сильнейшим английским акцентом. Несколько раз в год приезжает, у них какие-то общие, мне непонятные, кажется, филателистические дела. Но главным образом, он (я имею в виду — сын) давно и безуспешно охотится за Тенгизовыми старинными часами. С ума сходит по этим часам, с каждым приездом предлагает за них все больше и на ломаном своем русском (каша во рту) умоляет папочку (Daddy) помочь Тенгиза уговорить. Daddy вежливо уклоняется, Тенгиз — тоже, и через полгода все повторяется сначала. Кроме этих часов, по-моему, ничто с сыном его не связывает. Чужие, вежливо

безразличные друг к другу люди.

К животным он тоже вполне равнодушен. Но у него живет черепаха по имени Старуха. Шуршит мятой бумагой по углам. Смотрит старушечьими бессмысленно-зоркими глазами, словно видит что-то за горизонтом событий. (Легко могу представить себе, как глухой осенней ночью, запершись в пустой своей шестикомнатной квартире, он берет ее на ладонь, гладит пальцем прохладную гладкую кость панциря, заглядывает в мертвенно-неподвижные глазки и — помирает от тоски и одиночества.)

Квартира гигантская, старинная, с крепко выдержанными запахами прошлого. Потолки — четыре метра с хвостиком, лепнина (морские боги, водоросли, наяды, нереиды), проводка наружная, на старинных фарфоровых роликах, могучие люстры в гостиной и в кабинете, а спальни (их две) обшиты дорогим деревом, и окна там — разноцветные витражи, изображающие желтое солнце над коричневым горизонтом.

Есть еще дальняя комната, маленькая комнатушка без окон, по сути дела, чулан, заставленный стеллажами. Там стоит компьютер, всегда включенный (всегда работающий в программе CROSSYST — представления не имею, что это за программа), и сквозняки жутковато раскачивают развешанные поверх стеллажей бесчисленные шерстяные вязаные хвосты, длинные, узкие, в пять рядов петель, серо-черные, словно вшивые косы кочевника. Здесь всегда полутемно, страшно, как на капище, и душно пахнет пылью и паутиной.

Есть ли у него друзья? Интересный вопрос. Я и сам хотел бы понять, есть ли у него друзья. Друзья — это люди, которых ты любишь «за все», за все без исключения. По сути — как самого себя, ибо только с самим собой ты всегда можешь о чем угодно договориться, яростно отхлестать по щекам, а потом простить, плача от нежности. Так вот, таких у него нет. У него есть мы, но мы не друзья ему, мы ему, скорее, дети, но — любимые. Но — не на равных. Но — без которых нет смысла существования. Но — ступенькой пониже. Словно вымученная, выстраданная книга — для писателя, статуэтка — для скульптора, бриллиант — для мастера. Можно радостно и нежно любить драгоценный камень, извлеченный тобою из грубого нечистого алмаза, но нельзя с этим камнем дружить.

К нему — время от времени — приходят. Как правило, это

старые люди, как правило — старики, очень редко — старухи. Иногда это бывают довольно странные визиты. Но самое странное, что никто и никогда (за редчайшими исключениями) не приходил к нему дважды. Хотя почти каждый раз видно, что это старинные знакомцы, «вась-вась», «ба, какие люди!», «сколько-лет-сколько-зим!».

Чаще прочих бывает у нас Академик. Человек-гора. Куинбус Флестрин. Огромный, пузатый, ручищи, плечищи, ножищи, щеки, как два пирога. Он его так и называет: Академик. И еще — иногда — Лауреат. Он и в самом деле академик (физико-химик, нефтяник), очень известный в своих кругах, и лауреат самых немыслимых премий: в прошлом году, например, получил весьма престижную премию саудовского короля — немыслимую кучу баксов (за вычетом налоговых сумм, разумеется). Но с сэнсеем они говорят отнюдь не о физике с химией, и даже не о нефти, а о почтовых марках и о деньгах. Только о почтовых марках и деньгах. Сэнсей жалуется, что денег постоянно не хватает и что предложили ему вот давеча «Четвертый Номер» (не бюстгальтера, разумеется, а какой-то очень ценной марки — «на вырезке с московским гашением»), а он вынужден был отказаться, нищета проклятая. На что Академик отвечает ему что-нибудь о том, что не в деньгах, мол, счастье, и в свою очередь жалуется, как он давеча (на деньги саудовских королей) купил несколько хороших марок у одного старого маразматика, а тот возьми и передумай и теперь вот требует «все назад» и грозит милицией, общественностью и даже якобы на все готовыми якобы «братками»... Разговоры о деньгах мне понятны и даже интересны: деньги — это всегда интересно. Но когда речь у них заводится о марках!.. Тенгиз утверждает, что они оба — большие знатоки. Возможно. Во всяком случае, я в их разговорах о марках не понимаю абсолютно ничего.

— ...Это безводные?

— Нет, с водой.

— Горизонталки?

— Три горизонталки, а на вырезке — вертикалка.

— Угу. Хорошая калоша... Тройка. Это Кронштадт, кажется? Жалко, что смазана.

— Уж какая есть. Не я ставил.

— А крупнозубых у него нет?

— Есть единичка, чистая, в квартблоке.

— А пятерки нет?

— Гашеная. Штрайф из трех...

И так далее. Отдайте это вашим шифровальщикам.

Есть один очень странный посетитель. Однажды заявился без звонка — не молодой, не старый, красно-коричневый, словно курительная трубка, и так же провонявший никотином, по последней моде плохо выбритый (эн-дневная щетина), маленький, но страшный и какой-то весь неестественный, как Божий грех. Я не хотел пускать его, но он только глянул на меня глазами Дракулы (не знаю, что это значит: исподлобья, радужка — сплошной зрачок, а белки в кровавых прожилках), — глянул и представился наждачным голосом, неприятно картавя, что, мол, агент социального страхования и обязан срочно побеседовать с достопочтенным господином Агре, имея в виду его же, Стэна Аркадьевича, насущную нужду... Не Дракулу он напоминал (бог с ним, с Дракулой, что я про него знаю?), а старика Пью, слепого убийцу из Стивенсона. Мне стало страшно, до омерзения, до потери личности, и я его пропустил.

Оказалось, что они знакомы, и, видимо, давно. Битый час толковали о чем-то неудобопонятном, какие-то дурацкие анкеты обсуждали, заполняли вместе, грызлись по поводу ответов на совершенно идиотские вопросы. («Прожил большую часть жизни в крупном городе? Да-нет»... «Регулярный уход за зубами? Да-нет»... «Физические упражнения: нерегулярные, регулярные умеренные, регулярные активные...») Я почти не слышал их — я только пялился на страхагента как загипнотизированный. Смотреть на него без содрогания, почти физического, было мучительно трудно, не смотреть же совсем — невозможно. И я смотрел, ничего почти не слыша и не понимая. Но потом стали возникать имена, как правило, незнакомые, но вдруг мелькнули и знакомые: Костомаров, Хан... (Какой такой Хан? Тенгиз?) Тут достопочтенный Агре поднялся величественно и произнес: «Попрошу вас ко мне!» (Как будто до сих пор они были не у него, а на лестничной площадке.) И они удалились в чулан и еще добрый час бубнили там о чем-то, время от времени резко покрикивая друг на друга, а затем вновь появились: страхагент впереди (с довольным видом и уже не такой страхообразный, какой был изначально), а достопочтенный Агре — следом, весь

перекошенный лицом и с фужером коньяка в руке. Этот коньяк он потом, сидя на рабочем месте, еще полчаса после ухода Социального Страхования, молча потягивал, словно оттаивал, словно отходил от сильного стресса. А когда я осмелился спросить, в чем собственно дело и кто это был, он ответил: «Ангел Смерти это был», — и снова занялся своим фужером. И я ему поверил. Почти. Потому что не поверить было, знаете ли, довольно трудно, а поверить — совершенно невозможно...

Я привел здесь этот эпизод, чтобы продемонстрировать: пользы от меня вам будет немного — ничего интересного вы о связях его от меня не узнаете, как ничего об этих связях не узнал я сам за десять лет беспорочной службы.

Что касается его клиентов, то десятки и десятки их прошли передо мною, все они совершенно официально занесены были в соответствующие файлы, и файлы эти могут быть представлены в любой момент — по соответствующему запросу, скажем, Налогового управления. Десятки и десятки, главным образом, мам и бабушек со своими отпрысками... Попадаются среди них и папы с дедушками, но это вариант — более редкий, почти экзотический. Жадные родительские глаза в жадном ожидании чуда — сегодня, сейчас, желательно — в середине сеанса... Испуганные детские, испуг в которых так быстро и трогательно заменяется испуганным интересом, а потом и обстоятельной деловитостью, и вот перед тобою — сосредоточенно сопящий пацан, словно занятый каким-нибудь сногсшибательным, чудесно пахнущим, новым с иголочки дареным конструктором... И вечный страдальческий вопль: ну почему же нельзя девочку?!!

Он и сам не знает толком, почему он не может работать с девочками. С девочками, с девушками, с матронами... Он сказал как-то (не мне, но в моем присутствии), что видит людей как бы на просвет — прожилки, сложнейшая ячеистая структура, нити, шевелящееся, цветное с богатыми оттенками, сложно организованное месиво, — но совсем не видит женщин: они для него все — как сплошные терракотовые, бирюзовые, графитовые, малахитовые сосуды, — они непрозрачны, хотя и невероятно, почти божественно, красивы... Но: любоваться — да, работать с ними — нет. И это при том, что родители девочек особенно — невероятно, удивительно, неправдоподобно! — настырны...

Он скромен. Этого у него не отнимешь. Он невысокого о

себе мнения — и на словах, и на деле. Величайшим и непростительным грехом своим он считает лень и категорическое неумение заниматься тем, что ему неинтересно. Когда я пристаю к нему в том смысле, что надо, мол, наконец и поработать! — он отвечает мне из Екклезиаста: «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья — размышляй...» Но на самом деле он так не думает. Просто налетающие приступы творческого ступора мучают его, словно какая-нибудь экзема, — от которой не умирают, но и никогда не вылечиваются до конца.

Я знаю, он не любит думать об этой своей экземе. Ему скучно и тошно об этом думать. Ему (как мне кажется) вообще — и уже довольно давно — скучно и тошно существовать. С тех пор, наверное, как он пережил свой двадцать второй приступ профессиональной импотенции и понял вдруг, что эти приступы теперь — навсегда... Это, по-моему, единственное, что страшит его и беспокоит по-настоящему.

Он, наверное, и сам не помнит уже, когда это произошло впервые и окончательно. Наверное, это было как открытие в себе семени смерти: вдруг понимаешь впервые и окончательно, что ты смертен и ждать осталось не так уж и долго — ну пятнадцать лет, ну двадцать... А ведь только вчера ты полагал себя (а значит, и был) бессмертным! Что такое двадцать лет жизни по сравнению с бессмертием? Что такое скупые дозы... разовые взрывы... счастливые пароксизмы вдохновения, сделавшиеся отвратительно редкими, в сравнении с тем ликующим сознанием мощи, которое сотрясало тебя еще совсем недавно, какой-нибудь десяток лет назад... Ощущение беспредельного всемогущества. Ощущение Бога в груди — вот здесь, под самой ямочкой, под ключицами, где теперь — с некоторых пор — не бывает больше никаких ощущений, кроме, разумеется, тупой ишемической боли, если вздумаешь, как встарь, догнать уходящий автобус...

Я вижу, как желчно завидует он людям, которые могут реализовать свой профессионализм в любой момент, когда им только этого захотелось. Художникам завидует. Музыкантам. Акробатам.

Захотелось акробату сделать сальто назад — напружинил мышцы, присел, вскинул тело, перевернул себя в воздухе и снова стал на ноги — прочно и точно, как влитой. Или — ударил по клавишам и родил мелодию, которой только что не было и

которая вдруг стала быть... Главное — в тот самый момент, как только тебе захотелось... пришло в голову... зачесалось... Несколько раз он при мне (по разным поводам) повторял: «Я знаю, почему так много людей охотно занимаются колкой дров — по крайней мере, сразу видишь результат своей работы...» Это не его слова, это цитата, я только не помню, откуда.

И он очень сочувствует сочинителям всех родов. Потому что сочинительство — это есть изобретение не существовавшего без тебя, до тебя и помимо тебя. Изобретение, повторяющееся вновь, и вновь, и вновь — в конечном счете открытие знания о человеке, который перед тобой — сидит, и ничего не понимает, только глаза на тебя таращит, и в голову даже не берет, что все уже СЛУЧИЛОСЬ, что ты видишь перед собою уже не его, глазами лупающего, не оболочку его бренную, а суть, подноготную, душу. Сущее его и будущее, на многие годы вперед, аминь...

Я, как вы видите, постепенно приближаюсь к главному, к его работе, приближаюсь как бы по неуверенной шатающейся спирали, приближаюсь, но все никак не могу приблизиться, потому что не знаю, как поточнее о ней рассказать.

Здесь нет никаких тайн! Сам он охотно и без какого-либо внешнего или внутреннего принуждения рассказывает о своей работе всякому, кто его об этом спросит. Иногда мне кажется, что он и сам пытается разобраться в себе и в том, чем он занимается, — именно пытается, тужится, тщится — как правило, неуклюже, иногда — не без изящества, но всегда — безуспешно.

Мне кажется замечательным и странным, что охотно соглашаясь на интервью с газетчиками и журналистами, он словно нарочито и выборочно отказывает всем мало-мальски авторитетным изданиям. «Московские новости» — решительное «нет». «Известия» — нет. «Коммерсантъ» — нет, нет и нет. «Московский комсомолец» — н-нет. «Аргументы и факты» — пожалуй... а впрочем, нет, извините, нет... Зато какой-нибудь «Логос и Космос» — с удовольствием! «Голос Неведомого» — да, да, завтра в двенадцать. «Черная аура» — пожалуйста!..

(Я понимаю, помимо всего прочего, его работа его же и кормит, реклама нужна ему, как хлеб насущный, хотя бы только для того, чтобы поддерживать определенный уровень жизни. Я не говорю уж о задачах высоких и целях неназываемых... Впрочем, если подумать, на кой ляд ему реклама, если мы имеем по пять-

шесть заявок в неделю и разборчивы, словно до неприличия раздраженный Ниро Вульф? Но он обожает получать гонорары за свои интервью. «Ха! — восклицает он, полный радостного удовлетворения. — Сто баксов! Не село не пало! Ай да мы, ай да мы — работнички заработливые!..»)

Вот, например, кусок из его интервью корреспонденту желтоватого журнальчика «Багровое утро магии».

— ...Значит это все-таки чудесный дар?

— Дар — да. В том смысле, что — от Бога. Не пито не едено. Из немыслимого переплетения хромосом. Но почему вы говорите: «чудесный»? Инстинкт, побуждающий синицу в некий момент времени заинтересоваться прутиком, подобрать его, тащить куда-то на дерево, еще не зная куда, а потом вдруг каким-то образом — каким? — понять: вот сюда, вот в эту развилку, только в нее и никуда больше... Это — чудо?

— Но это... как бы... чисто инстинктивная деятельность...

— А ученый, среди ночи, в полусне-полубреду, вдруг понявший, что надо тензор энергии-импульса приравнять, черт его побери, к тензору масс, и тогда все встанет на свои места и Вселенная обретет новый смысл? Это не инстинкт? Только не говорите мне, что это — разум! Я специально спрашивал у математиков, у физиков. Разум нужен, чтобы объяснить открытие, сделать его понятным для окружающих, а главное, для себя. Само же открытие к разуму никакого отношения не имеет. Оно возникает из пустоты, с белого потолка, из указательного пальца... А врач, который по выражению лица, по тоскливым глазам, по цвету кожи на ладонях ставит точный диагноз?

— Ну, это просто опыт... накопленная с годами информация...

— У компьютера информации может быть и поболее, но что толку от нее, если нет программы? А какая программа работает в голове этого врача? Кто ее заложил туда? И откуда следует, что эта программа — в голове? А может быть, она в клетках всего тела сразу? А может быть, в душе?..

— Да, но без информации любая программа бессильна...

— А кто вам сказал, что я обхожусь без информации? Мальчишка сидит передо мной, я вижу его руки, пальцы, краску на щеках, шевелящиеся его уши... Я слышу его запах. Голос. Сами слова, которые он произносит, ответы его на мои вопросы,

и как именно он на них отвечает... Да здесь столько информации, что любой компьютер спасует... А ведь я даже не знаю, что мне из этого нужно, а что нет! Программа решает без меня. Такая же программа, может быть, как в маленьком горячем тельце синички, только гораздо более хитроумная... А впрочем, откуда нам знать? Может быть, как раз наоборот — гораздо более примитивная и совсем тупая.

— То есть, вы просто задаете вопросы?..

— Например. Например, я просто задаю вопросы. И слушаю ответы. НАБЛЮДАЮ ответы. В этих ответах есть все, что мне нужно... Только вот вопросов становится все меньше и меньше, к сожалению.

— И любой мальчишка...

— Любой мальчишка. Строго говоря — любой человек вообще. Любой человек — это ходячая могила таланта.

— И вы раскапываете эту могилу?

— Грубо говоря, да. Но не раскапываю, а — вскрываю.

— И вы уверены, что при этом делаете его будущее счастливым?

— Представления об этом не имею. Я не делаю людей счастливыми. Я не делаю людей лучше. Я только ищу у них таланты, и выбираю самый мощный, тот, что доминирует.

— А если таланта нет?

— Не знаю, что тогда. Но до сих пор такого не случалось. Может быть, мне не всегда удается найти ГЛАВНЫЙ талант, но какой-нибудь ОДИН талант я до сих пор находил всегда... Полная бесталанность — это, видимо, очень редкий талант...

Так оно все и есть. Он задает вопросы. Мальчишка сидит перед ним, более или менее вольготно развалясь в специальном ласковом кресле по одну сторону стола, а он, скрючившись на полумягком древнем стуле (с прямой резной спинкой) по другую сторону стола, лязгает ловкими спицами и задает вопросы. А иногда поет и требует, чтобы ему подпевали. Или читает стихи. Или их придумывает. Или вдруг принимается решать логические задачки. Масса вариантов, и никогда заранее неизвестно, какой именно вариант он выберет. Он и сам этого, по-моему, не знает...

Любимое его занятие во время этой работы — вязать длинные шерстяные косы, абсолютно ни к чему не применимые. Три клубка — черная, белая и серая шерсть. Он ведет свой...

опрос? урок? диалог? — щелкает спицами, не глядя, коса растет, ползет у него из-под пальцев, а потом он ее либо распустит (бормоча с придыханием какие-то сумрачные шаманские проклятия-заклинания), либо торжественно пронесет через всю квартиру, как боевую хоругвь, и повесит в чулан, где таких уже — десятки...»

Дочитав распечатку до этого места, он, не глядя, отложил ее в сторону — поверх накопившегося за месяц на журнальном столике слоя книг, и рукописей, и газет, и мятых писем, и коробочек из-под снотворного, и таких же распечаток на дорогой голубоватой бумаге, — поднялся в постели и сел, спустив босые ноги на пол. Необходимо было сходить.

В квартире стояла привычная глухая тишина, но через несколько секунд он стал слышать сухое тоненькое потрескивание, издаваемое торшерной лампочкой, готовящейся перегореть. Потом на фоне тишины и этого потрескивания появился некий новый звук, — он не сразу догадался, что это в ванной плохо закручен кран и течет вода в рукомойник. А потом снаружи проехал грузовик, заухал железом по колдобинам, и тишина исчезла, словно бы оскорбленная, — раздосадованно спряталась в коридоре, в глубине дома, в чулане. Он сунул ноги в шлепанцы и прошаркал по коридору в туалет.

Потом он зашел в ванную и долго там мылил руки, разглядывая свое лицо в зеркале над рукомойником. Что-то с этим лицом было не в порядке, что-то было в нем не так, как всегда, и тут он вдруг обнаружил, что бровей у него совсем не осталось. Он поспешно сдвинул очки на нос: бровей почти не было. То есть они и раньше у него были, прямо скажем, не как у Брежнева и даже не как у Никсона, но теперь вместо правой торчали три одинокие дикорастущие волосины, а от левой остался вообще только какой-то жалкий серый пушок.

— Да, — сказал он громко и откашлялся. — Не как у Никсона.

Ритм ему понравился, и, вытирая руки полотенцем, он спел на мотив кукарачи: «Не как у Ник-сона, не как у Ник-сона...» Полотенце было несвежее. Под шлепанцем крякнула и хрустнула вылетевшая из своего гнезда кафельная плитка. Он наклонился вставить ее на место и увидел в углу под батареей Старуху. Черепаха мирно дрыхла, подобрав лапы и толстый свой короткий черный хвост. Тут же валялись и ее какашки, похожие на вывалившиеся из какого-то текста крупные запятые.

— Черт знает, в каком состоянии дом! — сказал он громко. Тишина

вдруг перестала нравиться ему. Ночная ватная тишина. Ватная, но зато — приватная. Личная. Персональная... Бесплотные сумерки звуков. Тени звуков. Призраки... Это было одиночество, вот что это было такое.

Он почувствовал озноб и торопливо натянул старый вязаный халат, запахнул полы, туго препоясался шелковым шнуром. Халат попахивал... Халат попахивает. Полотенца — несвежие. Кафель везде повываливался. Ванна — рыжая, унитаз — серый. Не как у Ник-сона... Он вернулся в спальню, сел на постель и, не ложась, взял в руки распечатку. Там оставалось не прочитано еще страниц десять, он проглядел две последние.

«...Рукопись его: мельчайшие буквы-бисеринки, ровная как по линеечке, скрупулезная вязь, арабески — вовсе это даже не похоже на текст, кажется, и в голову никому не могло бы прийти — читать такое. Рассматривать — да: в лупу, задерживая дыхание, как рассматривают древний орнамент, как филателист изучает любимую марку. Но уж никак не читать. Однажды я осмелился спросить его: «Что вы пишете, сэнсей? Мемуары?» Произошел странный разговор, точнее — монолог. Сначала он несколько раз повторил: «Мемуары... Хм, мемуары... Мемуары?..» — он словно дегустировал это слово. А потом произнес со странным и неожиданным пренебрежением: «Но ведь мемуары — это же... вы же понимаете, Роберт: это — нечто прошлое. Это уже состоявшееся. Я же вам не историк какой-нибудь. Какое мне дело до прошлого. Я пишу будущее...» Он так и сказал: «пишу будущее». Просто. Простенько. Со всею откровенностью. И ничуть не красуясь. Как художник сказал бы: «Я пишу пруд». Как бухгалтер сказал бы: «Я пишу квартальный отчет». Не знаю, что он имел в виду. Рукописи его я, разумеется, не читал. Только однажды, случайно, через плечо его, увидел две строчки на новой странице: «Если ты хочешь, чтобы через сто лет что-то в этом мире изменилось, — начинай прямо сейчас. Божьи мельницы мелют медленно».

Тридцать часов я потратил и тридцать страниц настучал (на клавиатуре, разумеется; я имею в виду «настучал на клавиатуре компьютера»), чтобы только лишь повторить то, что уже тридцать раз разные люди говорили вам раньше. Я ничего не знаю о нем. Никто и ничего не знает о нем. У него словно нет прошлого. Он ниоткуда. И он — никто.

Восторженный циник Тенгиз считает его последним Чародеем на нашей Земле, и вот этот последний из чародеев возомнил себя способным вернуть племя исчезнувших волшебников — людей, знающих свой главный талант, а потому бескомплексных, спокойных, уверенных, самодостаточных, добрых. Он плодит их десятками ежегодно и никак не поймет (или не хочет поверить?), что жизнь идет следом, как свинья за худым возом, и подбирает, перемалывает их всех своими погаными челюстями: дробит, мельчит, ломает, корежит, покупает, убивает...

Вадим, разумеется, мнит его «делателем будущего». Для него он — Мойра мужеска пола. У древних: Клото — прядет нить судьбы; Лахесис — проводит человека через превратности; Атропос — перерезает нить. Так вот сэнсей — един в трех лицах. Он не знает будущего, он его делает. Щелкает серебряными спицами, вяжет черно-белые шарфы судьбы...

Не помню точно, кто, кажется, Мариша красиво говорила о горьком аггеле — исполнителе воли Бога на Земле. О раздавателе наказующих ударов и ласковых наград. Но мерзостей в мире много, а доброты — так мало. И вот все молнии давно уже растрачены, а наград — полный шкаф: раздавать их некому и не за что... Не раздавать ли теперь их всем подряд — ведь каждый грешник есть и праведник тоже? Нет ведь во всей Вселенной никого, кроме мечущегося, замученного, страдающего и побеждающего человека...

А вот Матвей, этот певец рациональных фантасмагорий, считает его пришельцем, прогрессором сверхцивилизации. Получается довольно стройно. Они тщатся хоть что-то изменить в ходе нашей истории. Уже давно всем известно, что изменить ничего нельзя, однако отдельные безумцы все еще пытаются, не жалея ни себя, ни других. И Татьяна Олеговна, жена его, — оттуда же, из них же. Когда заболела, отказалась вернуться, шел 1991 год, не до того было, вот и сожрала ее болезнь, а потом сошла с ума — забыла, где находится, — говорит на своем языке, перестала узнавать мужа... Вообще эти прогрессоры здорово поработали в 19-м веке: энергичная попытка решительно двинуть вперед технологию, смягчая технический прогресс мощным развитием гуманитарии (Пушкин, Достоевский, Толстой, Диккенс, Дарвин, Фрейд и пр.). Но все равно — ничего не вышло

— победила животная инерция толпы. Изменить ход истории нельзя. Можно только попытаться изменить Человека. Но как? Что в нем поменять и на что? Сделать всех добрыми? Но доброта ведь делает пассивным. Сделать умными? Но это возможно не с каждым, как не каждого получится натренировать бегуном-разрядником. Сделать терпимыми? Так нет же ясной грани между терпимостью и равнодушием — терпимость, на практике, есть равнодушие в девяти случаях из десяти...

Не знаю. Греческие боги частенько вмешивались в ЛИЧНУЮ жизнь смертных, но никогда даже не пытались повлиять на ход человеческой истории, на прогресс. А теперь вот и людей стало слишком много — боги не успевают уследить за всеми и за каждым. Я вообще не верю в Бога и в богов. Я не верю, что существует разумная сила, способная влиять по своему усмотрению на мою жизнь. Но я верю, что бывают на свете очень странные люди. Я просто знаю это.

КОНЕЦ ВТОРОГО ВАРИАНТА

9 декабря».

Дочитав до даты, он сложил распечатку поаккуратнее, поднялся и прошел в кабинет. Включил люстру. Включил настольную лампу. Положил распечатку на стол, но сам садиться не стал — прошел к окну и некоторое время смотрел на заснеженную улицу и черный дом напротив. «А на дворе белым-бело — это снегу намело... А за окном черным-черно — это ночь глядит в окно...»

Вернулся к столу, опустился на полужесткое сиденье резного стула с прямой высокой спинкой, взял шариковую ручку и сразу же стал писать — выводить, чертить, разрисовывать свои арабески — тут же, пониже даты, благо свободного места хватало.

«Теперь стало значительно лучше. Но надо постараться, чтобы получился совсем гнусный, вонючий старикашка.

1. Иногда его схватывает позыв на низ (это называется императивным позывом), он все бросает и мчится в сортир.

2. Когда питается — весь подбородок замаслен.

3. Халат никогда у него не стирается, попахивает козлом.

4. Еще что-нибудь. Подумайте.

Не забывайте, что Ваше умение «помнить все без исключения» должно быть им хорошо известно. Поэтому обратите внимание на Ваши неудачные выражения типа «если не ошибаюсь», «не помню точно, кто», которые в свете названного факта выглядят для внимательного читателя странновато и малоестественно...»

Он написал еще с абзаца:

«Не надо так много об обстоятельствах личной жизни. Это бесполезно...»

Но тут же перечеркнул эти слова крест-накрест и приписал:

«А впрочем, пишите, как хотите».

Посидел, вертя ручку в пальцах, и вдруг тихонько запел, отбивая ритм ребром ладони:

Несите меня бережно, несите меня бережно,
Ведь я защитник родной страны.
Благодарите! Благодарите! Благодарите!..

— Где храбрец? — крикнул он, прерывая ритм и тут же снова подхватывая его:

Его несут к печи, его несут к печи...
Где трус?
Бежит доносить, бежит доносить, бежит доносить!..

Он оборвал себя и быстро приписал в самом низу:

«Не надо имен. Я никакой знаток чекизма-кагебизма, но я понимаю одно: они о нас знают ровно столько, сколько мы сами говорим о себе и пишем. А значит, чем меньше мы говорим и пишем, тем меньше они о нас знают».

Потом он перечитал все только что написанное и положил ручку.

— Я не трус, — произнес он убежденно. — Я просто

предусмотрителен. А точнее — стараюсь быть таковым. Так что «несите меня бережно»!..

Глава пятая ДЕКАБРЬ. ЧЕТВЕРГ РОБЕРТ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПАЧУЛИН ПО ПРОЗВИЩУ ВИНЧЕСТЕР

Сегодня мы вышли на работу особенно не в духе. Даже не побрившись, что служит у нас признаком самого категорического неприятия реальной действительности. Сопели с раздражением. Массировали свое красно-коричневое пятно на затылке — видимо, ко всему вдобавок, и затылок еще ломило вследствие атмосферных перепадов и нехватки кислорода в городе и области.

На своего верного и единственного секретаря-референта мы посмотрели мельком, неприязненно поджав губы, кивнули ему как бы в рассеянности и сразу же полезли в архив. При этом мы изволили напевать на мотив кукарачи какую-то ритмическую белиберду: «Ни-ка-ку-ник са-на, ни-ка-ку-ник са-на...»

Было девять часов две минуты. Не дождавшись от начальства доброго слова, я снова сел за свой стол и на всякий случай вывел на принтер расписание сегодняшнего утра. Сеанс был назначен на десять, и пароль был «аятолла». Детали не сообщались, однако стояла пометка: «С отцом и с сопровождающим». Понимай, как захочется. Я понял так, что кроме папани (а не мамани, — и это уже само по себе явление скорее редкое) мальчишку будет сопровождать еще некто — например, казначей с чемоданом зеленых. Что было бы весьма и весьма своевременно. У нас в казне оставалось денег на один месяц (при наших-то потребностях), а в списке предстоящих пациентов числилось всего двое, причем одна из них была — девочка, дохлый номер.

В девять тридцать ровно позвонили в дверь, я поглядел на сэнсея и, поскольку ни указаний, на даже намека на указания не последовало, пошел открывать. Недоумевая. Впрочем, тут же выяснилось, что это не пациент пришел раньше назначенного времени, а какие-то двое мальчишек, шмыгая соплями, просят клей «Момент» — шина у них спустила, велосипедная. Я без всякой жалости послал их этажом выше (или ниже, по их собственному выбору) и вернулся на рабочее место, где в ответ на вопрошающий взгляд доложил обстановку.

Мы изволили усмехнуться. Это была особенно ненавидимая мною усмешка — Усмешка Подавляющего Превосходства. За такой усмешечкой

обычно следовала краткая, но исчерпывающая лекция на тему: «Поразительно, как нынешняя молодежь плохо разбирается...» Поразительно, как мало разбирается нынешняя молодежь, да и молодежь вообще, в окружающей ее реальности (было произнесено в манере зануды-Хирона, поучающего малолетку-Геракла). Эта ваша велосипедная история — замечательно характерная реплика дремучих представлений начала века. Даже ему (Хирону) известно, что нынешние сопляки используют клей «Момент» исключительно для того, чтобы его нюхать. Они его нюхают, паршивцы (сказано было мне). Ловят кайф. Что еще за велосипеды, сами подумайте, в разгар декабря?.. Какое сегодня число, кстати?

Я (с каменным, надеюсь, лицом) сообщил ему, какое сегодня число, а заодно — день недели и московское время, после чего разговор наш естественным образом прекратился и каждый занялся своим делом. Он — листал древние вырезки из газеты «За рубежом», а я думал о двух мальчишках, которые (синие от холода и сопливые, отравленные и жаждущие новой отравы) обходят сейчас квартиру за квартирой и выпрашивают «Момент», чтобы потом в подвале каком-нибудь, провонявшем кошками и бомжами, словить свой дешевый кайф — сладостный и тошнотворный, как сама наша вонючая жизнь, в скобках — житуха.

В десять ноль четыре раздался звонок, и сэнсей проворчал: «Еще бы минута, и я бы приказал гнать его в три шеи. Вовремя прийти не способны, новороссы...» Я отправился открывать. В дверной глазок наблюдались по ту сторону решетки три фигуры: одна очень большая, черная, вторая значительно поменьше — элегантно серая, а третья совсем маленькая, черненькая с беленьким. Я открыл дверь и вышел к решетке.

Главный у них был, конечно, человек в сером костюме, дьявольски элегантный, с матово-бледным (как у графа Монте-Кристо) лицом и совершенно змеиной улыбкой на блестящих (словно бы намакияженных) устах. Который в черной обтягивающей коже — огромный качок, рыжий, лысый, конопатый и круглоголовый, — тот несомненно был у них «сопровождающий». А собственно пациентом был, разумеется, пацаненок: мальчик лет семи, а может быть, и десяти (я не специалист), — в строгом черном костюме, белая сорочка с галстучком, блестящие лакированные туфельки, держится за папанину ручку и выглядит противоестественно и даже, на мой взгляд, неприятно, как и всякий ребенок, одетый нарочито по-взрослому.

Без сомнения, это были «они», но я, как человек педантичный и склонный все формализировать, открывать им решетку не стал, а только

поздоровался со всей доступной мне вежливостью:

— Добрый день. Чем могу служить?

— Здравствуйте, — отчетливо выговорил пацан-джентльмен, а человек со змеиной улыбкой щегольнул безукоризненными зубами и, не теряя зря времени, произнес пароль:

— Аятолла приветствует вас, милостивый государь мой! — и добавил, уже от себя, как бесплатный довесок к паролю: — Мир дому сему и всем его добрым обитателям!

Я отпер им калитку в решетке, после чего рыже-конопатый брахицефал немедленно удалился — не произнеся ни единого слова, погрузил себя в кабину лифта и так грохнул, мудила, дверцей, что весь дом содрогнулся. «О боже!» — сказал я не удержавшись, а серый элегантный папаня только руки развел, всем видом своим изображая полнейшее сочувствие пополам с искреннейшим раскаянием. В правой руке у него при этом обнаружилась какая-то длинная черная остроконечная палочка, наподобие школьной указки. Но не указка, разумеется. Странная такая палочка — слишком уж остроконечная на мой взгляд...

Я препроводил их в прихожую, где раздеваться они не стали, поскольку снимать им было с себя нечего (естественно — прямиком сюда из лимузина, где всегда тепло, сухо и пахнет кедром). Здесь я их оставил перед большим нашим зеркалом, огромным и мрачным, как дверь в чужое пространство, а сам заглянул в кабинет и кивнул сэнсею — в том смысле, что все о'кей. Сэнсей кивнул в ответ, и я их ввел — пацан впереди, папаня следом, — а сэнсей уже дожидался, возвышаясь над своими компьютерами, кварцевыми полусферами и горами папок, на фоне распахнутых дверец грандиозного архивного шкафа, — тысячи папок подслеповато глядели оттуда плоскими рыжими, синими, белыми и красными обложками своими, и запутанные щупальца тесемок шевелились, потревоженные сквознячком, и каждому сразу ясно становилось, что и речи быть не может — найти в этом хранилище прошлого хоть что-нибудь полезное простому обитателю настоящего.

Надо признаться, в таком вот ракурсе и с таким видом (возвышаясь, утопая костяшками пальцев в ворохах газетных вырезок, в багровом своем свитере, обширном и одновременно обтягивающем, с немигающим взором из-под нависающего безбрового лба) сэнсей не мог не производить известного впечатления, и он его, да, производил. На всех. Даже на меня. К этому зрелищу невозможно было привыкнуть, как никогда я не привыкну к трагическому пожару заката или, скажем, к страшному свечению Млечного Пути в черную зимнюю ночь.

— Здравствуйте! — ясным голоском (как учили) провозгласил малоразмерный джентльмен, а родитель его издал что-то вроде «рад видеть...», но тут же прерван был свирепо-величественным жестом, как бы выметающим его из поля зрения, а я уже был тут как тут — подхватил под элегантный локоток, нежно, но с твердостью, направил в кресло, усадил, сделал глазами «тихо! помалкивайте, please!» и бесшумно проскользнул на свое место, так что джентльменистый малец остался посреди кабинета один. Ему сразу же сделалось страшно и неудобно, даже вихор на темечке встопорщился, он завел за спину крепко сжатые кулачки и совсем не по-джентльменски почесал их один о другой.

Сэнсей осторожно уселся и сделал ладони домиком, как дяденька на плакате «Наш дом — Россия». Вдохновение приближалось. Глаза у сэнсея сделались ореховыми, а голос низким — теплым и мягким, словно драгоценный мех.

— Как вас зовут, молодой человек?

— Алик.

— Оч-хор, Алик. Замечательно. Подходите, садитесь. Кресло мягкое, удобное... Вот так, превосходно, устраивайтесь, как вам удобнее... Меня зовут Стэн Аркадьевич. Можно по-американски — просто Стэн. Сейчас мы будем с вами играть в одну полезную игру. Я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Понятно?

— А зачем?

— Алик. Вопросы задаю только я. А вы только отвечаете. Отвечаете все, что вам захочется, но — обязательно. Договорились?

— А если непонятно?

— Алик. Вопросы задаю только я. Больше никто. Отвечать можно все, что захочется, понятно вам или непонятно — это совершенно несущественно. Главное, чтобы на каждый мой вопрос получился бы ваш ответ. Начнем?

— Да.

Сеанс начался. Сэнсей откинулся на спинку кресла и спросил (небрежно, без всякого нажима):

— Где храбрец?

— Его будут в печку сажать, — немедленно откликнулся Алик и радостно заулыбался, ужасно довольный, что у него так быстро и ловко получилось.

Я давно уже привык к странным вопросам. И к странным ответам я привык тоже, но это, видимо, был случай, неожиданный даже для сэнсея. Он молчал, разглядывая радостного Алика со странным выражением: то ли

ему сделалось вдруг интересно, то ли он вообще был ошеломлен.

— А где трус? — спросил он наконец с недоверием в голосе.

— Побёг всех закладывать!

Сэнсей помолчал и осведомился вкрадчиво:

— Джека Лондона почитываем?

— А кто это?

Но сэнсей не стал задерживаться на Джеке Лондоне (рассказ «Зуб кашалота» в переводе Клягиной-Кондратьевой).

— Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? — спросил он требовательно.

— Рыцарь.

— Какой рыцарь?

— Железный. Блескучий. С копьем.

— А как он скачет?

— Во всю ивановскую! — радостно выпалил находчивый юный джентльмен.

Я слушал их вполуха, а сам смотрел на элегантного родителя и только диву давался поразительному его равнодушию к происходящему. Поначалу он, надо сказать, заинтересовался: глазки заблестели, сел он пряменько и, полуоткрыв змеиный рот, с любопытством переводил взор свой с сэнсея на мальчишку и обратно, явно пытаясь понять, что происходит, — обычная реакция свежего человека на наши экзерцисы. Но потом, довольно скоро, отчаялся, видимо, что-либо понять, поскучнел, потускнел, откинулся в креслах и принялся задумчиво играть со своей зловещей указкой — ловко, виртуозно, неуловимо для глаза то отправляя ее в небытие, то снова возвращая из ниоткуда, словно это была у него волшебная палочка. Странный, однако, родитель. Хотя видывали мы и не таких, конечно.

— ...Что сделала эта кошка?

— Она съела тигра.

— А что сказала кошка?

— Я победила тигра! Я съела тигра!

— Откуда взялся тигр?

— Он там был. Светлогорящий.

— Тигр, о тигр светлогорящий в глубине полночной чащи? Этот?

— Нет. А тот, который любит все.

— Не тигр, а Тигра?

— Да! Я победила Тигру! Я съела Тигру!..

Сэнсей уже вязал — щелкал спицами, высоко поднимал руки, продергивая нити, но глядел он только на мальчишку и не видел он сейчас

никого и ничего, кроме мальчишки. И не слышал. И не замечал. Можно было бы, например, уронить на пол компьютер, или запустить на полную мощь «Полет валькирий», или, скажем, подраться с родителем — сэнсей ничего бы этого не заметил, только голос повысил бы да задрал бы до потолка свои голые брови.

Вообще-то я все понимаю: вопросы — это серьезно. В конце концов, с вопросов начинается все-все-все в этой жизни. Например, вся наука. Это любой дурак знает. Даже последний дурак знает, что правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа... Не будем спорить о цифрах, половину — вряд ли и далеко не всегда, но — заметную долю, да, несомненно, содержит. Однако сэнсей-то не ставит ПРАВИЛЬНЫХ вопросов! Правильно поставленные вопросы его совершенно не интересуют. Было время, когда я часами сидел, уставясь в стену, и перебирал в памяти какой-нибудь сеанс, мучительно пытаясь уловить стратегию, или хотя бы тактику, или хотя бы мимолетный смысл в этой череде вполне бессвязных фраз с вопросительной интонацией. И не находил ничего.

— ...У папы черные глаза, у мамы черные глаза, а у сына — серые. Верите, что такое может быть?

— Верю.

(Они уже играли в «веришь-не-веришь».)

— А что у папы серые глаза, у мамы серые глаза, а у сына черные, верите?

— Не-а. Не верю.

— Правильно не верите. А что кузнечик слышит ногами, верите?

— Верю.

— А что есть такие утверждения, что их нельзя ни доказать, ни опровергнуть, — верите?

— Верю!

— Умница. А пример привести можете?

— Могу. «Бог создал все». Ничего не докажешь.

— Хм... А что Бог существует, верите?

— Верю.

А я вот — нет... A propos: я СОВЕРШЕННО не помню тех вопросов, которые задавал он мне двадцать лет назад, когда мама привела меня к нему на тестирование. У меня абсолютная память (бывает абсолютный слух, а у меня — абсолютная память). Я помню все. Помню, что сеансов было четыре. Помню, как была одета мама во время каждого из этих сеансов, и тогдашний коричневый шлафрок сэнсея (с пятном от

мороженого на левом обшлаге) тоже помню прекрасно. Даты помню, и соответствующие дни недели помню, и погоду помню — температуру воздуха, атмосферное давление, скорость ветра... А вот вопросов не помню. И совершенно не помню своих ответов.

...Может быть, он ищет гёделевские вопросы (приходит мне иногда в голову) — те самые вопросы, на которые нельзя ответить ни «да», ни «нет», не погрешивши при этом против истины? Сомнительно. Но если даже он их и в самом деле ищет, то — зачем?.. Он постоянно жалуется, что ему не хватает вопросов. Но некоторых вопросов он не задает никогда. Например, великий вопрос любой современности: «Почему — я?» Вопрос-вопль. Вся наша ойкумена стоит на нем, как Петербург на болотах... Довольно трудно, правда, представить себе контекст, в который встраивается этот вопрос. Но какое ему дело до контекста?..

«...Мы переходим сейчас в новую фазу культуры, в которой ответом на вопросы будут не утверждающие высказывания, а новые, более глубоко сформулированные вопросы». Это написал В. В. Налимов в своем философском трактате «Канатоходец». Не знаю, не знаю. Почему-то все современные философы оставляют у меня впечатление безответственных говорунов. Никакой солидности. Никакой, понимаете ли, обстоятельности. И даже спецтерминология (испытанное оружие классиков) им не помогает — только возрастает протестное ощущение, что тебя, кроме всего прочего, еще и дурят. Что-то кашпировское вдруг обнаруживается в серьезном тексте, что-то чумаковское...

— ...Кому это принадлежит?

— Его все равно нет.

— Кому это будет принадлежать?

— Кто первый придет.

Так. Начитанный мальчик. Конан Дойла он тоже почитывает. «Обряд дома Месгрейвов», перевод Д. Ливщиц. Но цитирует неточно. Надо было: «Тому, кто ушел» и «Тому, кто придет»...

— В каком месяце это было?

— В летнем месяце.

Надо было: «В шестом начиная с первого». Но все равно — очень и очень недурственно. Какая смена подрастает. Конкуренция, Боб Валентиныч, конкуренция! Рынок.

— Где было солнце?

— Над елкой.

— Где была тень?

— Под палкой.

— Сколько надо сделать шагов?

— Десять и десять, а потом еще пять и пять...

— Что мы отдадим за это?

— Все, что у нас есть, все и отдадим.

Сэнсею вдруг надоел «Обряд Месгрейвов», а может быть, этот сюжет попросту исчерпал себя, — он вдруг резко поменял тему.

— Голова буйвола, рога его и четыре ноги прошли через окно. Почему же не проходит его хвост?

— Потому что зонтик раскрылся!

— У всех есть родина. Какая родина у тебя?

— Утром я ел рисовую кашу, а на обед будет суп с фрикадельками и блинчики с абрикосовым вареньем.

— Чем мои руки похожи на руки бога?

— Играют на пианино.

— Почему мои ноги напоминают ноги осла?

— У нашего Барсука они разного цвета...

Это были какие-то незнакомые мне тексты. Или, может быть, он принялся придумывать вопросы сам — такое тоже бывало, хотя и не часто.

— ...Что надо делать по двенадцать часов в сутки?

— Этот вопрос я по стеночке размажу!

— Что такое Будда?

— Такая специальная палочка.

— Вот как? А что такое чистое тело Дхармы?

Тут пацан вдруг задумался. До сих пор он отвечал, словно блиц-партию разыгрывал, а тут замолчал, насупился и неуверенно проговорил:

— Это грядка. С клубникой...

Сэнсей, кажется, не слушал его больше. Он быстро спросил:

— Его слуги — Шакьямуни и Майтрея. Кто он такой?

— Гражданин города Петербурга, страшный дурак Юрий Бандаленский! А слуги его — заметчики, потому что все замечают.

Тут у родителя за пазухой заверещал мобильник. Родитель его выхватил, как Джеймс Бонд выхватывает свою «беретту» из наплечной кобуры, а сам метнулся из кресла вон, к двери, от людей подальше — вести свои дико секретные сверхделовые переговоры. Я отвлекся на него, на характерную его позу: «Новый русский разговаривает по мобильному телефону», — аллегорическая фигура начала тысячелетия, сюжет для нового Родена... А когда вернулся к текущим событиям, то обнаружил, что игра в вечер вопросов и ответов прекратилась, они играли теперь в «вечер поэзии»:

— ...Дожди в машины так и хлещут, — читал мальчишка с упоением, — деревья начало валить. Водители машин трепещут, как бы старух не задавить...

Сэнсей в ответ ему прочитал про кошку, которая «отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит». А мальчишка ему отбарабанил считалку: «Жили-были три китайца: Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони. Жили были три китайки: Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лимпомпони. Поженился Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе, Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони...» А сэнсей с наслаждением преподнес ему свое любимое:

При-ки-бе-ке-жа-ка-ли-ки в и-ки-збу-ку де-ке-ти-ки,
В то-ко-ро-ко-пя-кях зо-ко-ву-кут о-ко-тца-ка:
«Тя-кя-тя-кя, тя-кя-тя-кя, на-ка-ши-ки се-ке-ти-ки
При-ки-та-ка-щи-ки-ли-ки ме-ке-ртве-ке-ца-ка...»

Мальчишка сдался и спросил: «Чего это такое?» — «А вы сами догадайтесь», — предложил сэнсей. (Спицы так у него и мелькали, пыльно серая коса вязания свисала аж до самого пола.) Мальчишка несколько секунд думал, сосредоточенно шевеля губами, а потом вдруг весь засиял, как именинник: «Прибежали в избу дети!..»

— Молодца! — гаркнул сэнсей и поднялся, обеими руками бросивши вязание на стол. — Все! На сегодня — все. Э-э-э... — оборотился он к элегантному родителю, и тот немедленно выскочил из кресел. — Оставьте адрес... — сказал ему сэнсей. — Впрочем, зачем? Я знаю ваш адрес... Письменное заключение я пришлю по е-мейлу. Предварительное, разумеется. Следующий сеанс — через пять дней, во вторник, в то же время. И проследите, чтобы мальчик все это время ничего не читал. Любые игры, телевизор, кино, музыка, но — ни единой книжки, пожалуйста. До свидания, сударь. До свидания, Алик. Роберт, будьте добры...

Мальчик подал папочке ручку, и я повел их обоих к решетке. Конопатый брахицефал был уже тут как тут — громоздился посреди лестничной площадки, отсвечивая черным и рыжим. Мальчик вдруг сказал:

— Эраст Бонифатьевич, а можно мы сейчас заедем в зоомагазин?

Видимо, я непроизвольно зыркнул по сторонам в поисках этого Эраста Бонифатьевича (какой еще Эраст Бонифатьевич? откуда взялся?), и, видимо, серый-элегантный заметил мое недоумение. Он усмехнулся (вылитая гюрза!) и произнес снисходительно:

— Вы заблуждались, Роберт Валентинович! Я вовсе не Аликов папа... — И сейчас же Алику: — Конечно, конечно. Куда захочешь, душа моя... — И снова мне: — Ин локо парентис, всего-навсего. Ин локо парентис!

Я это скушал со всей доступной мне покорностию и отпер решетку, стараясь как можно тише лязгать ключами. В конце-то концов, какая мне разница: папаня он джентльменистому пациенту или всего лишь заменитель? Главное — сумма прописью. Впрочем, я прекрасно понимал, что и сумма прописью — это еще далеко не главное.

Когда я вернулся, сэнсей сидел на своем месте, прямой, как дипломат на приеме, и заканчивал вязанье.

— Ну? — сказал он мне нетерпеливо. — Какие впечатления?

— Это, оказывается, вовсе не отец его... — начал было я, но тут же был решительно прерван.

— Знаю, знаю! Я не об этом. Как вам мальчишка?

— Забавный, по-моему, мальчишка, — сказал я осторожно.

— Забавный?! И это все, что вы находите мне сказать?

— Почти.

— Что — «почти»?

— Почти все, — сказал я, уже горько сожалея, что вообще ввязался в этот разговор. Ясно было, что сэнсей воспламенен, а в этом случае лучше держаться от него подальше. Чтобы не опалить крылышки.

— Вы заметили: я спросил его, кто такой Будда...

— Да, и он ответил, что это «такая палочка».

— А вы знаете, какой ответ корректный? «Палочка для подтирания зада». Знаменитый ответ Юнь-мэня в коане из «Мумокан»...

— По-русски, если можно, пожалуйста.

— Неважно, неважно... «Что такое Будда?» — «Палочка для подтирания зада». — «Что такое чистое тело Дхармы?» — «Клумба пионов»...

— А он сказал: «грядка с клубникой»...

— По-вашему, все это забавно?

— Я не точно выразился. Это не забавно, это — странно.

— Почему странно?

— Я не верю в телепатию, сэнсей.

— При чем здесь телепатия? Какая, в задницу, телепатия! Вы ничего не поняли. Он говорил мне то, что я хотел услышать! В меру своих сил, разумеется.

— Да, сэнсей, — сказал я покорно.

— Что — «да»?

— Он говорил то, что вы хотели от него услышать. Не понимаю только, чем это отличается от телепатии. В данном конкретном случае.

Он не ответил. Швырнул спицы в стол, поднялся, высоко поднял убогое свое вязанье и стремительно, как молодой, двинулся вон из кабинета, и пыльный серый хвост взвился, словно странная языческая хоругвь, следуя за ним.

— Обедать! — гаркнул он уже из коридора. — Мы сегодня заслужили хороший обед, черт их всех побери и со всеми концами!..

Я поджарил ему любимое: казенные «бифштексы из мяса молодых бычков». С вермишелью. И с корейской морковкой на закуску. И соевый соус подогрел. И поставил на стол томатный сок с солью и перцем. Все это время он сидел на своем месте — в уголке дивана у окна и смотрел сквозь меня, делая бессмысленные гримасы, похожий не то на академика Павлова, не то на пожилого шимпанзе, а может быть, сразу на них обоих. Чтобы отвлечь (и развлечь) его, я рассказал анекдот про кавказца перед клеткой гориллы-самца («Гурген, это ты?..»). Он хихикнул и вдруг приказал подать водки. Я, потрясенный (белый день на дворе, впереди еще часов шесть работы...), молча выставил бутылку «Петрозаводской» и любимую его стопочку с серебряным дном.

— «Кровавую Мэри»! — провозгласил он. — Сегодня мы с вами заслужили «Кровавую Мэри». Будете?

— Нет, спасибо, — сказал я.

— Зря. Нет ничего лучше, как посреди трудового дня, наплевав на все правила и установления, выпить кровавым потом заработанную стопку «Кровавой Мэри»!

Я помалкивал, смотрел, как он творит свой любимый коктейль в два слоя («выпивка-закуска») и слушал рассказ о могучей дискуссии, которая давеча разразилась в Интернете: делать «Мэри» в два слоя или же, напротив, размешивать; как стороны в течение недели обменивались мнениями, случаями из жизни и цитатами из классиков; и как (по очкам) победили сторонники смешивания.

— ...Вот вам классический пример, Робби, когда тупое, грубое, невежественное большинство одерживает незаслуженную победу над врожденной интеллигентностью и хорошим вкусом!

Он выпил с наслаждением, сощурившись облизнулся и подцепил вилкой пучок морковных стружек.

— Мальчишке, может быть, понадобится опекун, — объявил он без всякого перехода. — Ваше мнение?

У меня не было мнения. Я не совсем понимал, почему, собственно,

мальчишка вызывает такие восторги. Ну, начитанный мальчик. Ну, даже телепат. Да ради бога. Что мы здесь — телепатов не видали, в этом доме?..

— Маришку? — спросил я наугад. Он только глянул на меня укоризненно, и я тут же заткнулся.

Потому что у нее четверо собственных детей и еще совершенно беспомощный муж — по прозвищу Недоеда. («Недоеденный паук» — намек на обыкновение некоторых членистоногих дам поедать своих самцов сразу после или даже во время интимных игр. Недоеда у нее второй муж. А первый тоже не был съеден, как мы все сначала полагали: в незапамятные времена он — прямо по анекдоту — ушел от нее, но не к другой женщине, а к другому мужчине.) А она — директор-воспитатель-менеджер-спонсор-ангел-хранитель интерната для слабоумных детей. Квартира ее — тут же, при интернате. Адский рай — шум, гвалт, смесь слабоумных и вполне здоровых детишек, рев, смех, сопли, все чем-то заняты, по полу — рулоны обоев через всю комнату (для рисования картинок), куклы Барби, разноцветные пирамиды, неумолкающие трубы и барабаны, сверкают мониторы компьютерных приставок, веревочные лестницы свисают с потолка, — и через все это с благожелательной улыбкой на длинных устах шествует Недоеденный Паук, пробирается к себе в норку, где он кропает детские стишки и рассказики для журналов, упорно, но беспобедно соревнуясь с Григорием Остером, Хармсом, Эдуардом Успенским и прочими корифеями («Лягушка квакает, сияет ночь, и утка крякает — чия-то дочь...»). Больше он не умеет ничего, так что у Маришки на самом деле не четверо, а пятеро детей... Плюс весь интернат.

Сэнсей сделал себе второй коктейль, полюбовался стопочкой на просвет и («В малых дозах водка безвредна в произвольных количествах...») выпил, — основательно крякнул и потянулся за морковкой. Я смотрел, как он ест свои любимые котлетки, изящнейше и даже грациозно управляясь с вилкой и ножом. Он ничего не говорил, но я знал, что он все еще ждет ответа.

— Матвея, может быть? — спросил я.

Я знал, что Матвей не годится, но больше я никого предложить ему не мог. К сожалению, Матвей из тех, кто любит человечество, но совершенно равнодушен к отдельным его представителям и в особенности же — к детям. «Чистый, как хрустальный бокал, талант математика». Мальчик Мотл. Велмат — Великий Математик. Классический еврей, узкогрудый, сутулый, бледный, горбоносый, с ушами без мочек — безукоризненная иллюстрация к Определителю Еврея из газеты «Народная правда». Он попал к сэнсею на прием довольно поздно — в возрасте тринадцати лет, и

сэнсей подарил ему тогда книгу Юрия Манина «Кубические формы». (Книга эта начинается словами: «Любой математик, неравнодушный к теории чисел, испытал на себе очарование теоремы Ферма о сумме двух натуральных квадратов».) В четырнадцать лет мальчик Мотл решил так называемую «Вторую задачу Гилберта» (правда, как выяснилось, уже решенную задолго до него), а в пятнадцать — «Восьмую задачу», никем еще в те поры не решенную. В университет его приняли прямо из восьмого класса без экзаменов и сразу на второй курс. При этом было нарушено несколько советских законов и сломлено сопротивление неописуемого множества советских бюрократов. Открывающиеся перспективы ослепляли, два восхищенных академика, начисто лишенные почему-то антисемитской солидарности, двигали его, не щадя своей репутации, и, разумеется, в конце концов заслуженно на этом погорели. Их (и его самого) подвело утрированное у вундеркинда до абсурда чувство социальной справедливости. Вместо того, чтобы добивать (в тиши кабинета) почти добитую уже гипотезу Гольдбаха, он принялся вдруг подписывать заявления в защиту узников совести и сочинять страстные послания советскому правительству а-ля академик Сахаров. Но он-то был не академик Сахаров. Он не умел делать бомбы, он только умел доказать, что количество так называемых пар простых чисел бесконечно. Этого оказалось недостаточно. Излишне восторженные академики были предупреждены о служебном несоответствии, а сам мальчик Мотл объявлен был — для начала — невыездным, потом отовсюду вычищен, моментально превратился в профессионального диссидента, забросил математику и наверняка сгнил бы в конце концов в тюрьме либо в психушке, но тут, слава богу, подоспела перестройка и компетентным органам стало не до него. Он уцелел, но уже — в новом качестве. Талант борца за справедливость оказался в нем сильнее таланта математика. И теперь он — сутулый, вечно голодный и лохматый, как шмель-трудяга, — организатор и вдохновитель нескольких микроскопических партий и не думает ни о чем, кроме блага народного, которое понимает не слишком оригинально: «Раздави гадину!» — и все дела...

Сэнсей подобрал на вилку остатки вермишели, запил томатным соком и — в знак благодарности — тихонько спел (в мой адрес):

— Ой, найився варэников, водыци напывся, опрокинув макитерку, богу помолывся!.. Матвея, говорите? — переспросил он, утирая губы салфеткой. — Велмата нашего, никем не превзойденного? Велмат в своей нынешней ипостаси годен только на то, чтобы штурмом брать цитадели коррупции. А также — бастионы социального зла. Из него опекун, как из

господина Робеспьера. Огюстена Бона Жозефа.

Я молчал. Я не знал, кого ему еще предложить. Новенькие были мне почти незнакомы, а из дедов предлагать было некого. Я убрал посуду в мойку и поставил чайник — вскипятить воду для кофе. Потом я сказал:

— А почему вы вообще думаете, что ему понадобится опекун?

— Я не сказал «понадобится»! — возразил он, раскуривая сигарету. — Я сказал: «может быть».

— А может быть, и нет.

— А может быть, и нет, — согласился он. — Я уже не об этом. Я уже о другом...

И он замолчал, глядя в окно, затягиваясь время от времени и с силой выдувая из себя дым — он словно отплевывался дымом. Я подождал продолжения, потом помыл посуду, протер влажной губкой стол и расставил толстенькие чашечки коричневого фаянса. Он продолжал молча курить, и я занялся кофе.

— Ни черта не получается, — сказал он наконец. — Я так обрадовался сегодня этому мальчишке. Вы не видите, Робби, и, наверное, не можете этого видеть, но я-то знаю точно: мальчишка — экстракласс, он всех нас за пояс заткнет, дайте только срок. Он — УЧИТЕЛЬ!

Я внимал ему с самым (надеюсь) почтительным видом. Он, разумеется, верил тому, что сам говорил. Но я-то знал, что это, само по себе, ничего еще не значит. Просто очередной приступ оптимизма. У нас бывали и раньше приступы оптимизма. Как правило, они у нас кончаются приступами угольно-черного пессимизма. Такова жизнь. Приливы-отливы. Подъемы-спады. Восходы-закаты. Черно-белое кино.

— Не верите... — сказал он осуждающе. — Ладно. Дело ваше. Я не о том. Я вот о чем. Он — учитель, и ему не нужны никакие опекуны. Но я почему-то вдруг подумал: ну, а если бы опекун понадобился? Если бы нужен был позарез! Сегодня. Сейчас. Где нам его взять? Из кого выбрать? А? Не знаете? И я не знаю...

Он ткнул окурком в блюдечко — с ненавистью, словно это был глаз заклятого врага.

— Вы ленивы и нелюбопытны. Бог подал вам со всей своей щедростью, как никому другому, а вы — остановились. Вы стоите. В позе. Или — лежите. Вы сделались отвратительно самодостаточны, вы не желаете летать, вас вполне устраивает прыгать выше толпы, вы ДОВОЛЬНЫ — даже самые недовольные из вас...

Он попытался снова закурить, но тут уж я был начеку. Он отдал коробку сигарет без сопротивления, даже не заметив.

— Богдан? Любимчик, да, не спорю — любимчик. Благоносец. Кладезь добра... Где он теперь — этот наш кладезь добра? Коралловый аспид! Гадюка рогатая. Подойти страшно. Я боюсь с ним разговаривать при встрече, вы можете себе это представить?

— У него сейчас уже есть опекуемый, — напомнил я на всякий случай, но он меня не слушал.

— Кладезь добра... Боже, во что вы все превратились! А Тенгиз? «Бороться со злом, — видите ли, — все равно, что бороться с клопами поодиночке: противно, нетрудно и абсолютно бесполезно». И поэтому не надо больше бороться со злом, а давайте лучше таскаться по бабам или устраивать эстрадные представления для новороссов... Юра Костомаров честно и бездарно зарабатывает на хлеб насущный, Полиграф наш Полиграфыч... Андрей-Страхоборец — старик. В пятьдесят лет он — старик! Что с ним будет через сто? Через двести? Руины? И ведь это все — драбанты, спецназ, старая гвардия! Деды! А молодые ни к черту не годятся, потому что ничего пока не умеют. Они знай себе галдят: «Дай, дай!..» О проклятая свинья жизни!..

— Вы еще Вадима забыли, — сказал я. — Resulting Force.

— Вот именно. Резалтинг-Форс. Только почему вы решили, что я его забыл?

— Мне так показалось.

— Я никого не забыл, — он явно не хотел говорить о Вадиме. — Я помню вас всех. Я вас во сне вижу, если хотите знать. Что же, по-вашему, я не понимаю, что вот вы, лично вы, Роберт Валентинович Пачулин, лорд Винчестер, попросту гниете здесь, при мне, на тепленьком местечке, без доступа воздуха? И я знаю, кто в этом виноват!

— Проклятая свинья жизни.

Он посмотрел на меня, высокомерно задрав безволосые брови.

— Вы полагаете, я не прав?

Я пожал плечами и занялся кофейной посудой.

Конечно же, он был прав. Как и всегда. Я мог бы еще добавить всякого к тому, что он здесь наговорил. Я много еще грустного мог бы к этому добавить... Роберт лорд Пачулин, по прозвищу Винчестер... К чертям. К собакам. Не хочу об этом думать... Но почему все это — так? Ведь все мы ДОВОЛЬНЫ! Мы же все вполне удовлетворены... Проклятая свинья жизни.

— Но, сэнсей, — сказал я, — ведь мы все довольны. Можно сказать, с нами все о'кей... Разве не этого вы хотели?

Он ответил мгновенно:

— Конечно, нет! Я вовсе не хотел, чтобы вы были довольны. Я даже не

хотел, чтобы вы были счастливы. Если угодно, я как раз хочу, чтобы вы были НЕ довольны. Всегда. Во всяком случае, большую часть своей жизни... Я хотел, чтобы вы были ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ. Ощущаете разницу? — Он поднялся, тяжело опираясь на столешницу. — Ладно. Спасибо за обед. Пойду поваляюсь немножко. А вы — уж пожалуйста — сделайте распечатку. Прямо сейчас. Там были прелюбопытнейшие повороты!

Он удалился к себе в апартаменты, а я засел за компьютер и принялся восстанавливать рабочий диалог. Никаких «прелюбопытнейших поворотов», естественно, я в этом диалоге не обнаружил, если не считать случаев, когда пацан выдавал свои ответы совсем близко к опорному тексту, и еще мне понравился «гражданин Петербурга, страшный дурак Юрий Бандаленский». При случае обязательно преподнесу этот перл Юрке-Полиграфу, это будет «стрёмно» (как любит произносить мой непутевый племянник, ударник капиталистического труда).

В четыре часа позвонил Вадим и тусклым голосом попросил сэнсея, если можно, конечно.

— Он разлагается. На диване. Тебе срочно?

— Да нет... Не обязательно.

Он уже в четвертый раз звонил сэнсею, каждый раз «не обязательно», и каждый раз ничего не получалось. По-моему, сэнсей явно не хотел с ним встречаться. А он этого не понимал. (Я, впрочем, тоже.)

— Ты как, вообще? — спросил я на всякий случай.

— Никак. Ты придешь?

— Куда?

— К Тенгизу.

— Когда?

— Завтра, к семи. Все собираются.

— Первый раз слышу.

— Тебе что, Тенгиз не звонил?

— Нет.

— Ну, значит, позвонит еще, — равнодушно пообещал Вадим и повесил трубку.

Несколько минут я думал о нем и опять ничего не придумал, и тут, действительно, позвонил Тенгиз и в обычной своей отрывистой манере сообщил, что «завтра... у меня... в девятнадцать. Сможешь?»

— А в чем дело? — спросил я на всякий случай: вдруг что-нибудь изменилось.

— Надо.

— Что-нибудь изменилось? Новые обстоятельства какие-нибудь?

— Увидишь, блин. Надо же что-то делать. Выборы на носу.

— Ладно, — сказал я без всякого энтузиазма. — Надо значит надо. Тем более давно не собирались. С собой приносить?

— А как же, блин! Что за дурацкий, блин, вопрос!..

— А других, по-моему, не бывает, — сказал я, глядя на экран монитора. — Умные давно кончились. Да и с ответами затрудненка.

(На экране у меня было:

«— Чем мои руки похожи на руки бога?

— Играют на пианино.

— Почему мои ноги напоминают ноги осла?

— У нашего Барсука они разного цвета...»)

— Ты лучше скажи: у тебя тачка — как? Бегает? — спросил я его, вспомнив про понедельник.

— Н-ну, с утра бегала, блин... Но была бледная!

— В понедельник сэнсея везти, ты не помнишь, конечно, блин.

— А, блин... Действительно. Третий понедельник. К которому часу подавать?

— К десяти — сюда. Я тебе еще напомню, не беспокойся.

— А чего мне, блин, беспокоиться? Это ты беспокойся. Это ты у нас лорд, блин, Винчестер.

Он дал отбой, а я вдруг понял, что думаю о нем. Не о работе, и не о понедельнике, и не о несчастном Вадиме, а о нем. И о себе. О нас всех, будь мы все неладны.

...Сверхбоец, Психократ, Великий Мэн. Красавец, лентяй, яростный еще совсем недавно плейбой, а теперь — безнадежно утомленный борьбой со злом страстный филуменист. Собирает спичечные этикетки! Тенгиз! Гос-споди!.. Да возможно ли такое? Возможно. Увы. Сейчас он годен разве что удалить препятствие: заставить кого-нибудь «забыть», например. Только и осталось от него, что чугунный взгляд исподлобья, да веки надвинутые на половину глазного яблока, да брезгливые губы. Люди, по его нынешним понятиям, — все, без исключений — полное говно. Мерзкие хари. Слюнявые пасти. Гнойные глазки. Мокрые лапы. Вонючие подмышки и подштанники... Черный матершинник, каждое второе слово «блин». Натужный бабник, баб своих меняющий еженедельно. И при этом — безнадежно влюбленный в лживую, кокетливую шлюшку. На эту его «Олюшку» (женщину легкомысленную и даже, пожалуй, развратную)

почему-то совсем не действуют психократические Тенгизовы пассы, и, наверное, именно поэтому он влюблен в нее, как гимназист — смотрит в рот, стелится ковриком, прощает (не видит) измены, умоляет пожениться и завести ребенка. Не знаю более душераздирающего и непристойного зрелища, чем Тенгиз, умоляющий эту шлюшку панельную пойти с ним на Пласидо Доминго. Можно себе представить, что она с ним делает в окрестностях постели... Сэнсей, бедолага, только догадываться может, какое основное у Тенгиза занятие теперь: халтура эта позорная в частных психдиспансерах и вытрезвителях, где он «лечит внушением» расслабленных, проспиртованных и наркозависимых. А иногда, совсем уж без затей, занимается этим же самым и просто на дому, за хорошие деньги, ready cash, благо, что квартира у него хорошая, двухкомнатная...

...А Андрюха-Страхоборец — не просто старик, сэнсей, всевидящий вы наш. Он — мерзкий, поганый, въедливый, зануда-старикашка. Хотя и смотрится при этом, словно картинка из «Vogue» — пестро-лакированная, душистая, лизнуть хочется. «Его боится сама бабушка Старость и сама госпожа Смерть». Возможно, сэнсей, возможно. Струльдбругов, помнится, тоже Смерть, так сказать, бежала, но они не становились от этого симпатичнее... Почему бесстрашие порождает именно бессовестность? Бессовестность, безнравственность и вообще — равнодушие, холодное, словно задница проститутки. Тайна сия велика есть. Человек будто слетает с последних тормозов. «Ничего не боится». А бояться — при прочих равных — видимо, должен... «Страх божий».

...А Богдан-Благоносец заделался бухгалтером в каком-то АО или ТОО, я не понял деталей, да и не захотелось уточнять. И ему там нравится. Благоносцу! Фирма производит леденцы «Матушка Медоуз», спрос на них обалденный, Богдан ходит — пузо вперед, и когда ему говорят: «Ну ты, бухгалтер», он важно поправляет: «Я тебе не бухгалтер, я ГЛАВНЫЙ бухгалтер!..» Когда в последний раз дарил он свое пресловутое «благо»? Кому? Да он их всех терпеть не может, он зол на них, как Господь на Дьявола...

...А Юрка-Полиграф служит при частном сыщике, определяет искренность-ложность показаний хныкающих свидетелей и почти не пьет, потому что под балдой теряет способность отличать правду от вранья.

...А про Костю-Вельзевула сэнсей вообще не вспомнил. Между тем, наш Повелитель Мух занимается (за деньги!) уничтожением («уговариванием») тараканов, истреблением подвальных комаров и «выпроваживанием» крыс. Очень хорошо, оказывается, можно также заработать, вытравливая плод у домашних кошек — всего в два сеанса,

совершенно безболезненно и абсолютно безвредно для здоровья. Пятнадцать баксов, не пито не едено.

...И все ДОВОЛЬНЫ! Никто из нас не жалуется. И не думают даже! Проклятая свинья жизни!

Снова зазвенел телефон.

— Папа, — пропищало из трубки. — С тобой мама хочет поговорить...

— Подожди! Ляпа!.. — завопил я, но в трубке была уже моя любимая Номер Два. Она хотела знать, куда я опять засунул эту проклятую сберкнижку. «А как ты думаешь, золотая моя чешуйка, куда человек может засунуть свою сберкнижку? Попробуй поискать в холодильнике». — «Знаешь что, шутник ты мой хренов!..» — «Изумруд мой яхонтовый, деван лез анфан!..» — «Сберкасса сейчас закроется, а ты тут меня шуточками обшучиваешь...» Я срочно доложил, где хранится эта проклятая сберкнижка, и тут же снова остался один.

И оставшись один, я вдруг (совершенно некстати и даже недостойно) подумал, что если бы вот сегодня, не дай бог, конечно, но все-таки, моя Сашка, перламутровая моя пуговка, ушла бы от меня к этому своему горному орлу Володе Хергуани, я бы, черт меня побери совсем, остался бы, подлец, и жив, и цел, как ни кощунственно это звучит: скрипел бы зубами, залетел бы в запой, наверное, но в конце концов вполне бы уцелел, бедолага. Но вот если бы она при этом забрала бы у меня Валюшку!..

...Мою Копуху. Валяху мою. Мою Кутю... С серыми трогательными глазами — и это при том, что у папы и у мамы глаза темные и нисколько не трогательные... Никогда не вопит, не орет, не выгибается. А когда обидели ее — тихо и горько плачет, и в такие минуты я готов отдать ей все, что у меня есть, и все неразрешенное — немедленно разрешить...

...Нет, какое это все-таки счастье, что она у меня девчонка, и что никогда мне не надо будет решать эту проклятую дилемму: вести или не вести ее на прием к сэнсею! Хотя иногда — редко, ночью, когда не могу заснуть и лежу с открытыми глазами — я понимаю с холодным ужасом: наступит время и — поведу, поведу как миленький, и буду жалким голосом умолять сэнсея, чтобы сделал исключение, и принял, и поговорил, и приговорил... Потому что я не знаю, что такое — быть «достойным уважения» (чьего там еще уважения? зачем?), и что такое «счастье», я тоже не совсем понимаю, но зато я точно знаю, какая это мука — неудовольствие от жизни, я все время вижу эту суконно-унылую тошноту вокруг себя, и я не потерплю, чтобы моя Кутя, моя Валяха, моя Тяпа погрузилась бы в эту суконную, унылую, тошную тошноту. Пусть уж лучше она будет ДОВОЛЬНА, что бы это ни означало.

Лирическое отступление № 4 «ЧИЯ-ТО ДОЧЬ» И НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

«...Родители девочек особенно — невероятно, удивительно, неправдоподобно! — настырны...»

Эти, например, приходили уже четыре раза. Первый раз — втроем (полный комплект: папаня, плюс маманя, плюс любимая дочурка, она же «подросточек-девица»), второй раз — вдвоем (папахенс плюс мамахенс) и еще дважды — маман единолично. Папочка — фигура неопределенная, без имени-отчества и фамилии, но несомненный, впрочем, госчиновник, муниципального уровня. Маманя же, Элеонора Кондратьевна, — женщина того типа, что с самых юных лет выглядят «хорошо сохранившимися». Она из породы бойцовых дам, обитающих в райкомах, профсоюзах и собесах — бой-баба высочайшего класса и невероятной пробивной силы. Баллиста. Катапульта. Стенобитная пушка. Единорог. Да только не на таковских напала: сэнсей стоял, словно Великая китайская стена под напором кочевников.

...Неприятная девочка — выломанная, тощая, неприветливая, с темным взглядом исподлобья. Роберт получил задание напоить ее какао, пока в кабинете происходят деликатные переговоры. (Запись включить, беседу не слушать, развлечь ребенка и быть на подхвате.)

Ребенок без всякого энтузиазма копал грязноватым пальцем в вазе с печеньем. Выбирал, откусывал и бросал обратно. Крошки сыпал на скатерть. Бумажки от конфет ронял на пол. Роберт, разозлившись, приказал подобрать — подобрала, положила на край блюдца и уставилась темным взглядом, словно запоминая гада навсегда. Потом (выхлебав две кружки какао) выбралась из-за стола (молча) и уперлась лбом в оконное стекло — стояла неподвижно минут двадцать, наблюдая, как мальчишки гоняют шайбу на детской площадке. Очаровательное существо двенадцати лет от роду и без единого располагающего просвета в облике... Чтобы разрядить обстановку, Роберт ей спел:

Одна подросточек-девица
Бандитами была взята,
Принуждена им покориться,
Была в мансарде заперта...

(Старинный комический романс. Там с девочкой вытворяют разные ужасы в манере девятнадцатого века — морят голодом и холодом, заковывают в кандалы, бросают в океан, однако же — после каждого куплета припев: «Но поутру она вновь улыбалась перед окошком своим как всегда, рука ее над цветком изгибалась, и из лейки лилась вновь вода». Неугнетаемая и непотопляемая девица. Очень смешно.) Не помогло. Все тот же темный взгляд «из-под спущенных век» был ему наградой. Бормоча под нос классическое «...и утка крякает, чия-то дочь», он прибрал со стола и стал терпеливо ждать окончания переговоров.

...Сэнсей, разумеется, отказался с ней работать. Объяснение было предложено стандартное (предельно вежливое): у меня не получается работать с девочками, увы. Благодарю вас за щедрое предложение — нет. Но дело оказалось не так просто. Немедленно и вдруг (на другой же день) появился в доме жуткий страхагент, и они спорили битый час о непонятном и неприятном. В ход шли сплошные эвфемизмы, и Роберт понял только, что страхагент предрекает гадкой девочке огромное будущее, а сэнсей отказывается это будущее ковать. «У меня здесь вам не скотоводческая ферма. Я не умею выводить породу. Я только умею замечать то, что уже есть. А то, что я здесь замечаю, мне не нравится. Категорически!..» Что-то нехорошее виделось ему в этом неприятном ребенке. Какое-то обещание зла. И страхагент, собственно, этого в`идения не оспаривал. Он только полагал, что обещание имеет место не «зла», а «пользы» — титанической пользы для этого мира («вашего мира», говорил он) — «заевшегося, опаскудевшего, упертого чавкающим рылом в тупик»...

Такого еще не бывало: сосредоточенное наступление на сэнсея длилось две недели. Родители — страхагент, снова родители и снова страхагент. Сэнсей выстоял.

...Когда в последний раз Роберт проводил страхагента к выходу и вернулся в кабинет, мрачно сидевший за столом сэнсей спросил его вдруг: «Вы можете себе представить этого человека кругленьким розовеньким поросеночком с усиками квадратиком и с картавым говорком капризного гогочки?» Роберт задумался и сказал: нет, не получается, воображения не хватает. «И у меня тоже, — признался сэнсей. — Что с нами делает время!.. А вы можете представить себе меня — стройным как тополь и с черной тучей волос на голове? Из-под которой не видно, между прочим, этого чертова подзатыльника, даже и догадаться о нем невозможно?» Могу, честно сказал Роберт, хотя и не сразу понял, о каком «подзатыльнике» идет

речь. «Льстец, — сказал ему сэнсей без улыбки и вдруг процитировал Монро (почти дословно): — Человек не меняется на протяжении жизни, он просто становится все больше похожим на самого себя...» Это прозвучало убедительно, и Роберт решил не спрашивать, кого он имеет в виду — себя или страшного страхагента... И в чем здесь дело с этой дурной девочкой, он тоже решил лучше не спрашивать — пусть все идет своим чередом, в любом случае, сэнсей наверняка знает, что должно быть, а что нет.

...Но может быть, как раз в том-то все и дело, что мы не работаем с женским полом? (Позволил он себе подумать тогда.) Сто двадцать семь математиков-физиков у нас получилось (или сто двадцать восемь? — если считать и Велмата, который возник еще в доисторические времена). И лишь только трое врачей, все как один — кардиологи (почему, кстати?). Сто двенадцать инженеров-управленцев-технарей-изобретателей... По мелочам: гуманитарии, искусствоведы там, журналисты, один писатель... И ни одного политического деятеля. И — главное — ни одного учителя. Ни единого! Ведь Маришка не учитель, Маришка — детсадовская воспитательница и вообще — Мать. А больше девочек в наборе никогда и не было...

Глава шестая ДЕКАБРЬ. ТОТ ЖЕ ЧЕТВЕРГ ГРИГОРИЙ ПЕТЕЛИН ПО ПРОЗВИЩУ ЯДОЗУБ

Когда Вадим замолчал, Гриша-Ядозуб некоторое время продолжал еще стоять у окна, глядя во двор. Во дворе ничего интересного не наблюдалось — хищные костлявые мужики в бандитских вязаных шапочках разгружали там фургон с какими-то огромными кубическими коробками. На Вадима смотреть было бы гораздо интереснее: греющее душу зрелище полностью уничтоженного человечишки. Унылого и коленопреклоненного. Раздавленного. Однако эстетически правильно было стоять вот так: спиной, не глядя и как бы даже не видя. В этом была «драматургия». Он спросил (все еще не оборачиваясь):

— Ну, и что ты от меня хочешь?

— Не знаю, — сказал Вадим с тоской. — Я во все двери толкаюсь. У меня выхода нет.

— А все-таки? Чем я тебе могу помочь — слабый больной человек?

— Да ладно тебе, Гришка. Все всё давно знают.

— Что именно они знают? Что, собственно, они могут знать?

— Ну — не знают. Ну — догадываются.

— По-моему, мы никогда с тобой не были такими уж друзьями, — сказал Ядозуб. — Или я ошибаюсь?

— Откуда мне знать? Я к тебе всегда хорошо относился. Это ты со мной рассорился, неизвестно почему...

Ядозуб повернулся наконец и посмотрел нарочито пристально. Он увидел бледное маленькое личико с красными пятнами на щеках. Унылый нос. Приоткрытый рот с неуверенной полуулыбкой. Просящие глаза — совершенно как у голодного пса и быстро-быстро мигают. А между прочим, именно этот вот человечек придумал ему кличку Ядозуб. Тенгиз предлагал звучное, но очень уж экзотическое — «Олгой-хорхой», однако «Ядозуб» в конечном счете победил — в честной конкурентной борьбе. И правильно. Кличка простая, но хорошая, точная...

— А где он живет — Аятолла? — осведомился Ядозуб со всей возможной благожелательностью.

— Не знаю.

— А Эраст этот твой Бонифатьевич?

— Не знаю я ничего, — сказал Вадим с тоской.

Ядозуб снова отвернулся к окну. «Ваша поза меня удовлетворяет». Он, поганец, конечно, даже не помнит ничего. Для него это было тогда всего лишь маленькое привычное удовольствие — процитировать, якобы к месту, любимого классика и перейти к очередным делам. Любимое это его дурацкое занятие: приспосабливать к случаю разные цитаты. Дурацкие. Ему ведь даже и в голову не приходило тогда, как это было для меня важно: блокадный архив, шестнадцать писем из Ленинграда в Вологду и обратно. Никогда больше ничего подобного мне не попадалось. И не попадется уж теперь, наверное, никогда...

— Ладно, — сказал он, выдержав основательную, увесистую, как булыжник, паузу. — Я тебя понял. Я подумаю.

— Да уж подумай, сделай милость.

— Сделаю. Милость — сделаю. «Ваша поза меня удовлетворяет». Так, кажется, у классиков?

Восхитительно бледная дурацкая улыбочка была ему ответом. Теперь этот любитель цитат имел то несчастное выражение глаз, какое бывает у собак, когда они справляют большую нужду.

— Не понимаю, правда, что я тут могу сделать. Все эти намеки твои — глупости. Так что ты губу не раскатывай... А этот ваш Интеллигент, он что за птичка такая в виде рыбки?

— Да ничего особенного. Профессор. Членкор. Честный человек, вполне приличный.

— Я видел его по телику. Породистый конь.

— Да. Безусловно... У него, между прочим, штаб-квартира тут, у тебя же в доме, за углом.

— А-а... То-то я смотрю, там стада «мерседесов» всегда, как на водопое... Слушай, так в чем же дело? Если он такой у тебя вполне приличный — напрягись! Присядь, надуйся и организуй ему соответствующий рейтинг.

Вадим снова улыбнулся собачьей своей улыбочкой (похожей теперь уж вообще на предсмертный оскал) и ничего не ответил.

— Ладно, — сказал Ядозуб. — У тебя всё? Тогда иди с богом. Привет мамане. Она у тебя пока еще жива, я полагаю?

Он увидел гнев, и бешенство, и ярость, и желание ударить (ногой, в пах, с носка), но ничуть не испугался — некого ему здесь было бояться. Наоборот, он испытал острое наслаждение, тем более острое, что точно уже знал: ничего он делать для этого засранца не станет, палец о палец не ударит, пусть получает свое. Все, что ему причитается по жизни. Jedem das

seine.

Когда Вадим ушел (со своей бессильной яростью, с тоской своей смертной, с перепрелым своим ужасом перед завтрашним днем), он сел за стол, включил яркую лампу и придвинул поближе папку с письмами.

> «Уважаемый Николай Димитриевич! Шлю сердечный привет и спешу известить Вас, что я нахожусь в центре кратера вулканического извержения. Тут национальная болезнь настолько развивается, что грозит запрудить трупами Северный Кавказ. С уважением...»

Открытое письмо в Петроград, датировано 7 февраля 1918, с ятями еще и с ерами, но без подписи. Неужели уже понятно ему сделалось, что такие посланьица лучше не подписывать? Вряд ли. Но, судя по тексту, прозорливый человек и не без юмора... Достоин известного уважения, хотя наверняка — белая кость, высокомерная сволочь дворянского происхождения... Просрали державу.

> «Господину Директору Курсов Десятников земельных улучшений для увечных воинов. Уволенного вовсе от военной службы рядового 8го Стрелкового полка Сергея Николаевича Чеповского, жительст. раз. Кабаклы 927 вер. Омской жел. дор. Я получил от Вас извещение о начале курсов и проспект, отправленные 21 дек. 917 года, я получил 14 февраля 918 г., мне надо быть в Петрограде 20 фев, что к сожалению я за такой срок не мог явиться, но ввиду переживаемого момента в России, и труднаго почти не возможного проезда по ж. д. я не выезжал; но покорнейше прошу, если курсы не состоялись, а в будущем будут, то непременно известить меня своевременно, я явлюсь.
>
> *Сергей Чеповской».*

Сбоку, на свободном местечке, аккуратная и обстоятельная пометка:

> «1918 года февр. 16 дня отправл.».

Да-а-а. Этот уж точно ничего не понял еще. Уволенный от службы рядовой. Скорее всего, контуженный какой-нибудь, а может быть, и безрук-безногий. И не зажиточный, нет — в панике и отчаянии ищет возможности

хоть как-то обустроить жалкое свое будущее, и не понимает, козявка, что нет у него будущего, нет и быть уже не может... «В центре кратера вулканического извержения».

> «15 мая по старому. Дорогая Нюся! Сообщи пожалуйста в добром ли ты здоровье и не сидишь ли по приказу большевиков где-нибудь в подвале Смольного? Зная их манеру начинать с конца т. е. сначала схватить и посадить, а затем уже искать причину почему садить, то мы и опасаемся не случилось ли и с тобой такой штуки...»

Без всякого сомнения — жирная, дебелая корова. Мещанка. Дура. Ни единой собственной мысли в голове. Если выжила, двадцать лет спустя с такой же идиотской самоуверенностью повторяла за газетами, что «правильно их стреляют... органы не ошибаются, а дыма без огня не бывает»...

> «...Живем не важно, но еще не умерли от голода, хотя и был один момент, когда мы решили, что нам пришел капут. Живем собственно как студенты, всегда случайными деньгами. Вещи продаются очень дешево, ибо наши покупщики почуяли как вороны нашу нужду, а им значит поживу и не дают хоть сносную цену. Как на грех седло не покупается, а это главный козырь в наших руках. Если бы оно продалось то отец не медля поехал бы в Москву хлопотать о пенсии. А то если предоставить естественному ходу вещей то можно будет прождать и еще года или до своей кончины от голода...»

Седло какое-то. При чем здесь седло? Может быть, они из помещиков, и осталось у них от прежнего выезда одно лишь роскошное седло. С чепраком. Смотри «Три мушкетера». Впрочем, маловероятно: какая пенсия может быть для помещика в восемнадцатом году? Но с другой стороны, откуда в мещанской или, скажем, чиновничьей семье седло?..

> «...Хорошо бы нам выхлопотать пенсию и уехать скорее отсюда. Уж очень дорогие здесь продукты. Скоро вот продукты будут нам не по карману. Хотя по газетам судя, куда мы собираемся там уже началась холера, но это нас не пугает, ибо от холеры можно умереть или нет, а уж голод то не

помилосердствует...»

Не-ет, никакой голод вас не возьмет. И уж никакая холера, конечно. Вечные. Вечные! Будьте вы неладны, с пенсиями вашими и с вашими продуктами.

> «...Что будет, Нюся, что только будет дальше если еще будет этот год неурожай. Все людское зверье поднимется и станет грызть друг друга тогда. Ну да на все воля Господняя...»

Это уж точно. И про зверье точно, и про волю Господню. Сколько же лет... сколько веков вы это повторяете: воля Господня, воля Господня. Удобрение.

> «...Дело в том что хозяин наш всем и каждому говорит, что квартирантами он тяготится, что стоит ему посидеть день и пошить как вся плата за квар. пополнится. А ему важен покой собственной персоны. Но конечно он все это лжет и пренахально, ибо такого скупца и спекулянта я еще не видывала. На днях еще продал картофель тете Катерине за меру 45 руб. а сам платил своим род. за нее 25 руб. Это той тете Катерине, за которой посылали в 3 ч. ночи прося ея обмыть покойницу жену. А послушать его речи, так это прямо святой...»

Штамп на письме:

«Тверь, 28.5.18».

Без малого век миновал, а что изменилось? Картошка подешевела. А может быть, и нет. Это смотря что такое «мера»... Так, теперь у нас почтовая карточка. Вот странно: вся мухами засижена. Что они ее, на стенку вешали, что ли?

> «Ваня, привези одну керосиновую лампу, одну оставь для себя и для Нюши. Нюша просит оставить с ея вещами маленькую подушку. Бачил в Сар. не поехал и пожалуй вовсе не поедет...»

Отправлено 2.11.18 из Москвы в Петроград. Где они теперь, эта Нюша и этот таинственный Бачил? А керосиновая лампа, очень может быть, и цела. Впрочем, нет, вряд ли. Кто станет хранить керосиновую лампу? Разве

что какой-нибудь вконец сдуревший коллекционер.

> «Милая Лета. Поздравляю тебя с прошедшим днем ангела. Лета, спасибо тебе за сухари, они очень нужны, т. к. я теперь получаю паек меньше. Отпусков у нас не дают (такое свинство), а то я бы прикатила. Пришли, если можешь, картошки. Поцелуй за меня, только обязательно, Мииксю и Волика. Борусу Ал. привет.
>
> *Леля*».

Эта открытка отправлена в Петроград из Орла, 26.7.19. Сухари, картошка, паек... Они вообще о чем-нибудь еще говорили тогда между собой? Ведь, между прочим, война идет. Генерал Деникин, рейд Мамонтова, Буденный Первую конную организует... На самом деле не Буденный, а совсем другой человек, впоследствии ликвидированный за ненадобностью, но не в этом же дело... А, да на хрен их всех! Получили то, чего заслуживали. Все. Все до одного... А это еще что за ракообразное?

> «Estimata sinjoro! Mi tralegis Vian anonceton kaj kuragas skribi al Vi...»

Писано из Иркутска в Cerveny Nostelec, Чехословакия, и это уже декабрь двадцать первого. Это мы отложим в сторону. В языках не сильны, нет, совсем не сильны: немецкий со словарем. Странно, как открытка, отправленная в Чехословакию, попала в этот сугубо российский архив?

> «Верунчик дорогой, стоим в Армавире. Денечки жаркие, как предыдущие, но очень хорошо. Набегают легкие облачка, ласкающий ветер. Я побывал в городе на рынке и очень разочарован ценами. Черешня 8 — 15 милл фунт. Какая маленькая разница с Петроградом! Малина 15 милл. В Крыловском масло было не дорого (2 ф — 25 милл), но к сожалению не во что было взять. В бумаге оно расплавилось бы. В другой раз надо собираться в дорогу иначе. С собою провизии брать очень мало, но брать сосуды для молока, масла. Взятая мною провизия почти вся испортилась. Котлеты выдержали 1 день, пирожки дня 2, колбаса вся погибла. Бросать ужасно жаль особенно то, что сделано заботливыми ручками. Целую крепко...»

Послано из Армавира в Петроград, 22.6.23, уже отъелись, уже котлеты

жрут, масло фунтами. Пирожки... Как с гуся вода! Будто и не было ничего — ни голода, ни войны, ни катастрофы. Все проходит! Одни котлеты вечны — сделанные заботливыми ручками...

Он пристроился к компьютеру, чтобы занести все данные по конвертам и открыткам в базу, но тут Тимофей объявился вдруг из своего логова — сначала положил горячую морду на бедро, а потом, оставшись без ответа (в скобках — привета), ткнул носом под локоть, крепко и настойчиво. Ядозуб посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Животное. Обоссался уже?» — «Еще нет, но — скоро», — откликнулся Тимофей, усиленно вращая обрубком хвоста, попискивая и страстно дыша. Потом он, задрав тощую задницу, прилег на передние лапы и так замотал головой, что черные уши его разлетались как лохмотья на ветру и слюни полетели во все стороны. Надо было и пора выводить. С семи утра человек не ссамши. Не то что некоторые, привилегированные, которые по два раза в час...

Он отправился в сортир, и Тимофей, разумеется, последовал за ним как привязанный, и все время, пока он кряхтел там над горшком и тужился, преодолевая патологические свои затруднения, он слышал, как за дверью нетерпеливо и нервно цокают когти о линолеум и раздается мучительный писк, отчаянно-тонкий, почти ультразвуковой, и он улыбался, представляя себе лохматое дурацкое животное, помирающее сейчас от отчаяния и горя, что не может видеть воочию богоподобного хозяина своего, давателя пропитания и опору мира сего. Смешной пес, ей-богу. Хорошие люди — собаки. В отличие от людей. Собаки — хорошие люди, а вот люди, как правило, — паршивые собаки...

Потом он приготовил похлебку — навалил от души большой ложкой в Тимофееву миску и поставил на специальную скамеечку, чтобы животное, вернувшись с променада, сразу же могло бы насладить себя любимой жрачкой. И только после этого снял с гвоздя поводок и занялся приготовлениями к выходу уже вплотную.

— Интересно мне знать: почему этот сопленосец называл тебя Тимофей Евсеичем? — приговаривал он вслух, приспосабливая поводок к ошейнику. — Какой же ты Евсеич? Ты у нас какой-нибудь Рексович. Уж как минимум — Артемонович...

Артемонович не возражал — он рвался гулять и был согласен на любой вариант.

Перед выходом он погляделся в зеркало. Поправил берет. Приласкал горстью восьмидневную щетину. Остался вполне доволен собою и осторожно приоткрыл выходную дверь. Маловероятно было столкнуться здесь с опасностью, но, как известно, самые неприятные случаи в жизни

именно маловероятны. Осторожность еще никому не повредила... Там, в чужих теперь владениях, было тихо, и стоял привычный уже не то аромат, не то смрад загадочных благовоний. В коридоре до самого поворота никого не было видно, лампочку никто, в натуре, и не подумал ввинтить, так что освещен был только сам поворот за угол — но не электрическим светом, а желтоватым, колеблющимся, — видимо, там опять жгли лампады.

Он вышел в коридор и, придерживая беззаветно рвущегося с поводка Тимофея, принялся тщательно запирать дверь на свою территорию. Здесь, за этой дверью, у него все было свое: свои шесть с половиной квадратных метров, и своя кухонька с газовой плитой, и свой санузел со своей страшненькой на вид, но вполне годной к употреблению ванной. Когда-то здесь жила прислуга. Как же ее звали на самом деле? Анастасия Андреевна ее звали, вот как, а он звал ее Асевна и любил больше всех на свете. Она была большая, мягкая, добрая, и около нее всегда замечательно пахло тянучками... Собственно, никого, кроме нее, он, пожалуй, никогда не любил, так что и сравнивать, пожалуй, было не с кем...

(Он подумал о ней сейчас совершенно случайно, по ассоциации, которая была недоступна сознанию, потому что сознание его было занято одной мыслью и одной только — вполне обычной — воображаемой картинкой: пилот космического корабля, соблюдая все меры предосторожности, покидает свою крепость и выходит в чужой и опасный мир. Картинка эта родилась в его воображении очень давно, он уже не помнил себя без этой картинки: космический корабль потерпел аварию на другой планете, пилот доживает век свой за стальными стенами, а там, снаружи, кипит, варится, булькает, исходит вонючим паром чужая и смертельно опасная жизнь, порождающая страх и ненависть. Страх — всегда, ненависть, к сожалению, лишь изредка...)

Пока он возился с замками (замков было три плюс специальное стопорное устройство для надежности), из-за поворота бесшумно появилась вдруг фигура в белом и остановилась там, в деликатном отдалении, — странная и даже жутковатая в колеблющемся свете невидимой лампады. А он вдруг услышал монотонное пение, на самом пределе слышимости, и не пение даже в привычном смысле этого слова, а как будто в несколько голосов полушепотом читали нараспев что-то ритмичное.

— Здравствуйте, — сказал он на всякий случай в адрес белой фигуры и получил в ответ беззвучный поклон со сложенными у груди руками. Узкоглазое темное лицо было неподвижно и не выражало ничего, кроме абсолютного нечеловеческого спокойствия. Он подождал две секунды, но

более ничего не происходило, да и не могло происходить: арендную плату они внесли (строго в соответствии) четыре дня назад, а больше предмета для общения у них не было, да и быть не могло, и он вежливо сказал: «Саёнара», мгновенно исчерпав свои познания в японском на добрую четверть.

Он всегда был вежлив с этими людьми, но на самом деле они не нравились ему — точно так же, как все и прочие люди на этой земле. Вдобавок он совсем не понимал их, что удивительным образом рождало не уважение и не интерес даже, как можно было бы ожидать, а скорее только дополнительную неприязнь и даже некоторое презрение. Мысленно он всегда называл их япошками, хотя вовсе не уверен был, что имеет дело именно с лицами японской национальности и что ему когда-нибудь понадобятся припасенные некогда и зачем-то впрок: «коннити-ва», «вакаримасен» и совсем, казалось бы, в этой ситуации неуместное «ватакуси-ва табе тай». Однако эти узкоглазые платили деньги, хорошие деньги за те четыре комнаты, где он жил когда-то с родителями и куда теперь вход ему был запрещен. Не потому запрещен, что загадочные арендаторы не хотели бы его там видеть — может быть, они как раз и не имели бы ничего против того, чтобы пригласить, познакомиться поближе, обласкать, может быть, даже попытаться приобщить его к этому своему пению шепотом, к странно пахнущим своим лампадам и к белым одеяниям, — а потому запрещен был ему туда вход, что он сам себе его запретил, раз и навсегда отрезав себя от того, что было когда-то, и оставив от прошлого только комнатку Асевны с личным своим сортиром и персональным вход-и-выходом, который в прошлом назывался «черный ход».

Он, осторожно прислушиваясь и оглядываясь, спустился по черной лестнице, которая была на самом деле не черной, а грязно-серой, с грязными окнами во двор (которые не мыли со времен советской власти), с прихотливо изуродованными, скрученными каким-то невероятным силачом железными клепаными перилами (пребывающими в этом первозданном виде еще со времен блокады), с заплеванными и вдумчиво (казалось — старательно) замусоренными ступеньками и с застарелыми презервативами, присохшими к разрисованным стенам. Это была лестница-помойка, лестница-нужник, лестница-музей, то, что в южной России называется «зады». Впрочем, он к этому давно уже привык, а Тимофею здесь даже нравилось или, как минимум, было интересно: он читал эту лестницу, как любознательный человек — свежую многостраничную газету из породы желтоватых. Кроме того, пес имел обыкновение начинать свои мочеиспускательные процедуры уже прямо здесь, не дожидаясь улицы, и

делал это с удовольствием, хотя и без надлежащей основательности. Хозяин ему в этом не препятствовал, но и не поощрял — просто спускался по ступенькам, не задерживаясь и не давая человеку возможности вложить в процедуру всю душу, до самого донышка. На Тимофея здесь была вся надежда: он чутко не любил незнакомых, и никакой бомж, никакой посторонний бандюга не имел шанса уклониться от его неприязненного внимания. Впрочем, по черепу на этой лестнице можно было получить и от хорошо знакомого человека — например, от Кости-драника с четвертого этажа...

Во дворе уже больше не разгружали фуру, и не было там жилистых бандитов, а только две полузнакомые тетки с помойными ведрами у ног (одно полное, с верхом, другое — только что опустошенное) обсуждали повышение цен на электроэнергию в десяти шагах от мусорной цистерны. Он с ними, от греха подальше, поздоровался, они тут же ответили небрежно и без всякого интереса проводили глазами. Они знали его с титешнего возраста и все косточки его, до самой последней, крохотной, уже давно были перемыты и обсосаны.

Оказавшись на бульваре, он предоставил наконец Тимофею свободу постоять с задранной правой задней столько времени, сколько это необходимо для полного удовлетворения, а сам между тем внимательно оглядел окрестности. Час Собаки уже наступил, но в поле зрения, слава богу, ничего по-настоящему опасного не наблюдалось. Был там мраморный дог, вышагивающий словно собственный призрак рядом со своей элегантной хозяйкой, этакой накрашенной сукой в мехах и с неестественно длинными ногами; была знакомая старая овчарка с отвислым пузом и провалившейся спиной; и еще какая-то мелочь мелькала между деревьями: извечно унылая такса длиной в полтора погонных метра, визгливая, но безопасная болонка с шестого этажа и еще какая-то, черненькая, незнакомой породы и вообще незнакомая, с хозяином в виде шкафа, с ножищами, словно у Идолища Поганого. Главного врага, черного терьера Борьки, видно пока не было и, даст бог, не будет сегодня вообще. Он со своим омерзительным новороссом иногда пропадал на несколько дней совсем, а иногда гулял в другое, не как у всех нормальных собак, время.

Задерживаясь у каждого дерева, они прошествовали до самого конца бульвара, ни с кем не подравшись и вообще тихо-мирно-индифферентно. Тимофей шел без поводка: он был не из тех, кто уносится вдруг в полном самозабвении — пусть даже за самой привлекательной дамой. Он так боялся снова потеряться, что даже не отбегал дальше второго дерева, а если это и случалось ненароком, то тут же останавливался и ждал, совершая

ритуальные вращения обрубком хвоста. Смешной пес, ей-богу. Здорово, надо полагать, натерпелся он от предыдущих своих хозяев, а может быть, просто забыть не мог ужасов безпривязного своего существования в большом городе, равнодушном, как поребрик, и жестоком, как голодная смерть.

Он совсем было уже собрался развернуться на сто восемьдесят (тем более что природа, а точнее — проклятая аденома уже напоминала, что «пора вернуться в хазу, к родному унитазу»), но задержался, обнаружив за углом, видимо, в районе той самой штаб-квартиры, о которой говорил закаканец Вадим, небольшую, но вообще-то нетипичную здесь толпу обывателей, запрудившую все пространство тротуара и даже разлившуюся отчасти на мостовую. Блестящие крыши своеобычных «мерседесов» плавали в этой толпе, как островки в половодье. Что-то там происходило. Митинг какой-то. А вернее сказать — встреча с кандидатом в губернаторы: рослая фигура в светлом пальто имела там место — возвышалась над толпой, обращаясь к ней с верхней ступеньки у парадного входа в офис, широко помавая над нею распростертыми руками. И доносился оттуда голос, — слов было не разобрать, но слышно было даже с расстояния в полста метров, что голос — сытый, бархатистый и раскатистый, словно у незабываемого доцента Лебядьева (теория функций комплексного переменного), провозглашающего свои знаменитые принципы выставления отметок на экзаменах: «Кто безукоризненно ответит на все вопросы билета и на все дополнительные вопросы, тот получает пя-а-ать... Кто безукоризненно ответит на все вопросы билета, но слегка запнется на дополнительном вопросе, тот получает четы-ы-ре...»

Он ощутил мгновенную вспышку ненависти и — почти неуправляемо, ноги сами понесли — пересек улицу, чтобы приблизиться... Зачем? Он не сумел бы объяснить зачем, даже если бы вздумалось ему это кому-то объяснять. Он должен был услышать и увидеть ЭТО. И все. Вблизи. В подробностях. Должен. Как всегда в подобных случаях, не было ни одной связной мысли в голове и никаких ясно осознаваемых или хотя бы на что-то знакомое похожих желаний. Физиология. Транс. Ноги шли сами собой, а в голове крутилась несвязица, изрекаемая отвратительно бархатным голосом: «...Сегодня мы с вами начали позже, а потому надлежит нам закончить раньше...» (Все тот же Лебядьев, который был крутым на факультете партийно-общественным деятелем и перманентно опаздывал к началу собственных лекций.) Он даже не слышал ничего, ни единого слова. Он видел только, как открывается и закрывается благородных очертаний аристократическая пасть с безукоризненными зубами. И сверкают влажно

вдохновенные очи. Он видел бисеринки измороси на белоснежном ежике, белые широкие ладони, помавающие в профессионально точном ритме неслышимой речи... (У него всегда было великолепное зрение, он, как легендарная мамаша Тихо Браге, видел простым глазом фазы Венеры и способен был кучно посадить все пять пуль в «восьмерку» точно на одиннадцать часов.) А сейчас ему показалось вдруг, что он даже обоняет этого человека — запах дорогого одеколона вдруг налетел, здоровый крепкий запах энергичного крепкого мужчины, не знающего унизительных болезней, не знающего никаких болезней вообще, а заодно не знающего низменных чувств и обыкновенных для обыкновенного человека животных желаний.

Ненависть вспыхнула и принялась расти в нем как гнойная опухоль — безболезненно, но быстро. Ее, оказывается, уже порядочно накопилось за последние полгода, но до этого момента она жила в нем тихо, безобидная и безопасная, как застарелая скука, а сейчас вот вдруг пробудилась, и принялась пожирать пространство души, и запульсировала там, выдираясь на волю, зеленовато-желтая, ядовитая и опасная, как боевой хлор. Она душила. Хотелось кричать, а она застревала в горле — не давала дышать и жить. Хотелось вонзить ее в это белое, холеное, тренированное, вечно здоровое тело, как белая кобра вонзает кривые зубы свои, чтобы ворваться в жертву ядом. Убить.

Смутно он помнил и понимал, что — опасно. Вокруг слишком много народу. Охранники с сумрачно-напряженными лицами шарят глазами, а один уже уставился и смотрит в упор, старея лицом, уже приготовившись, уже целясь... Это не остановило бы его. Его и выстрел в горло не остановил бы сейчас, наверное, — подступало, вздувалось, напрягалось, готовилось взорваться, прорваться, вспыхнуть, словно чудовищный, противоестественный, сверхъестественный оргазм... вот сейчас — вылетит ядовито-желтым, удушающим, выжигающим, стометровым языком... еще немного... вот сейчас... нельзя, нельзя, опасно, двое уже смотрят... И тут вдруг подступило снизу, схватило мгновенно и остро (у врачей это называется — «императивный позыв»), и ненависть мгновенно поникла, растворилась обессиленно, ушла на дно, ушла в ничто, а ноги — опять же сами собой — понесли его прочь, домой, скорее, еще скорее, сейчас польется, все, не выдержать, все, все... И оказавшись в подворотне, он судорожно, в постыдной спешке, кое-как расстегнулся — лицом к стене, в неестественной и дурацкой позе, на одной почему-то ноге стоя, прямо на виду у какой-то дамы с дочкой — и застонал от срама, натужно и с болью опорожняясь.

Вот и все, думал он с привычной горечью. Вот и все. Вот и все... Где Тимофей? Тимофей был здесь же — стоял рядом в самой своей неприветливой позе и наблюдал за маминой дочкой. Он не любил детей и не доверял им. «А что это дядя делает? — спрашивало между тем дитя ясным голоском. — Дядя заболел?» Не заболел дядя. Дядя сдох. Дядя обмочил штанину изнутри и чувствует себя полным и безусловным говном. А тот, вальяжный, безукоризненный и любимый массами, даже ничего не заметил. Охранники — да, заметили, явно что-то заподозрили, хотя, конечно, так и не поняли что к чему, а барин этот демократический даже и не почувствовал ничего. Глухарь на току.

...Вернуться, подумал он с вялой злобой. Вернуться и добить гада... Он знал, что не вернется. Сегодня — нет. Завтра. Потом. Он вдруг почувствовал — поверх бессильной тоски — неожиданный прилив энтузиазма: появилось что-то, о чем надлежало помнить, о чем стоило теперь содержательно думать. Не только о том, где бы раздобыть старый архив, желательно блокадных времен, а еще и о том, каково это будет, когда они снова встретятся. На каком-нибудь митинге, например. Там же выборы, кажется, происходят у них? Вот и прийти на встречу с избирателями. Избиратель я или нет?.. Я избиратель. Я имею право избирать. И я избрал. Его. Пусть молится теперь — я его избрал... Он вспомнил, что говорил давеча засранчик Вадим, и хихикнул: не отломится тебе ничего, засранчик ты мой, не выберут его никогда, потому что я его выбрал, а ты — знай себе надейся, засранчик, ты получишь то, что тебе только и причитается по жизни — горестное разочарование. Ибо сказано: разочарование есть горестное дитя надежды...

Дома он прежде всего переоделся. Штаны и трусы бросил в стиральную машину. Машина была уже набита, и был набит, причем с верхом, ящик для грязного белья. Значит, сегодня надо будет заняться стиркой. Мы люди простые, у нас прислуги нет, не держим мы прислуги, сами стираем, сами готовим, сами полы моем... Правильно, животное? Сожрало кашу? То-то же. Мяса сегодня не будет. Мясо будет завтра...

Телефон зазвонил неожиданно громко. Особенно громко именно потому, что неожиданно. Семь часов. Кто бы это мог быть? «Полковнику никто не зв`онит...» Оказалось — Тенгиз. Психократ. Он побаивался Тенгиза. С этой зверюгой свирепой следовало держать ухо востро. Этот не шутит и шутить не любит...

— Олгой-хорхой? Приветствую тебя.

— А, господин Психократ, лично? Ты еще жив?

— Не дождешься, Олгоша. Он же — Хорхоша. Слушай, ты Димку

Христофорова давно видел?

— Сегодня видел. Отвратительное зрелище.

— Значит, ты в курсе?

— В курсе чего именно?

— В курсе его проблем.

— Да. К сожалению. Всю жилетку мне своими соплями залепил.

— Понятно. Так вот, имею тебе сообщить. Мы собираемся у меня завтра, в девятнадцать часов...

— Кто это — «мы»?

— Драбанты. Деды. Все.

— А я здесь при чем?

— Не п...и, Григорий! Это серьезное дело. Это нас всех касается. Сегодня — Димка, завтра — ты.

— Это ты не... это самое... Ради меня вы уж никак не стали бы собираться.

— Уверяю тебя, стали бы.

— Да вы же все меня терпеть ненавидите!

— Не преувеличивай, Олгоша. Не преувеличивай своего общероссийского значения. Ты человек малопривлекательный, это, блин, верно, но ты — один из нас, и никто этого обстоятельства пока не отменял. Да и не сможет отменить...

Проще было не спорить. Проще было — соглашаться, а потом делать по-своему.

— Ладно. Убедил. Я подумаю. В девятнадцать часов, говоришь? А завтра у нас что — пятница?

— Да. Завтра, у меня, в девятнадцать часов.

— Я подумаю.

— И не п...ди!

— Постараюсь. А ты — живи. Если получится.

— Я же тебе уже сказал, блин: не дождешься!

Тенгиз положил трубку на рычаг осторожно, словно она была тончайшего фарфора, и шумно выдохнул через нос.

— Жуткий тип, — сказал он.

— Придет? — спросила Ольга.

— Не знаю. Вообще, он меня побаивается, так что, может быть, и придет.

— А ты его разве не побаиваешься? — Она внимательно разглядывала себя в зеркале, будто видела впервые после долгого перерыва.

— Есть немного.

— Но почему? Я с ним как-то разговаривала по телефону. Вежливый. И совсем безвредный, если судить по голосу.

— Да. Но внешность обманчива, как сказал еж, слезая с сапожной щетки.

— Не пошли, пожалуйста. А какой у него талант?

— Он замечательно умеет ненавидеть.

— Значит, ваш сэнсей и ненависти учит тоже?

— Сэнсей никого и ничему не учит. Он только открывает ворота.

— Как-это-как-это?

— Человек смотрит и видит: перед ним забор. Или даже — стена. Каменная. А сэнсей говорит: вот дверь, отворяй и проходи...

— Ну?

— И человек проходит.

— А как же ненависть?

— Он вошел не в ту дверь. Это была ошибка.

— Сэнсей ошибается?

— Да. И не так уж редко. Он дал Гришке «Американскую трагедию», а Гришка вместо этого прочел «Путешествие на край ночи».

— Не понимаю.

— А никто не понимает. Сэнсей, думаешь, сам понимает? Хрена с два.

— Ты можешь без крепких выражений?

— Вообще-то могу, но зачем?

— По просьбе трудящихся.

— Слушаюсь. Голос трудящихся — голос божий.

— Расскажи лучше про этого своего Олгой-хорхоя. Что это, кстати, значит — Олгой-хорхой?

— «Олгой-хорхой» в переводе с монгольского значит «страшный червяк». Есть такая легенда, будто он водится в пустыне и убивает на расстоянии — то ли ядовитым газом, то ли электрическим разрядом.

— А при чем здесь твой Гриша?

— Слушай, княгиня, зачем тебе все это знать?

— Мне его жалко, — сказала Ольга.

— Вот тебе и на. Ты же его не видела никогда.

— Вот и расскажи.

— Он маленький, толстый, всегда небритый человечек с неподвижным взглядом. Очень неопрятный.

— С плохими зубами?

— Не помню. Кажется. Он не имеет обыкновения показывать зубы.

— И не улыбается никогда?

— По-моему, никогда. С чего это ему улыбаться? Он один как перст — ни родственников, ни друзей...

— Почему?

— Родственники все померли, а друзей он разогнал.

— Зачем?

— А как ты думаешь, приятно общаться с человеком, который при встрече всегда спрашивает: «Ты еще жив?» С изумлением.

— Не знаю. Наверное, неприятно. Но он же не всерьез это спрашивает?

— Откуда мне знать, может быть, и всерьез. Было время, он входил в компанию, но потом отошел. Просто перестал появляться. И звонить перестал. Сделался сам по себе. Сидит в своей каморке, как каракурт в норе, и читает чужие письма.

— Зачем?

— Хобби у него такое. Скупает старые семейные архивы. Бродит по свалкам, по разным помойкам, собирает старые письма. Как бомж. Если стоит дом, предназначенный к сносу, он тут как тут, наш Олгой-хорхой, с мешком и с фонариком... Спелеолог хренов.

— Ты его здорово не любишь, правда?

— А за что его любить? За то, что он всех нас ненавидит?

— Ну и что? Ты тоже всех ненавидишь.

— Неправда. Меня просто тошнит иногда. А вот он — да — ненавидит.

— Откуда ты взял?

— А вот ты приходи ко мне завтра — посмотришь.

Ольга сделала гримасу.

— Нет.

— Что — нет?

— Не приду. Мне с вами не нравится.

— Почему, кстати? Давно хотел спросить.

— Сама не знаю. Мне с вами жутко. Или противно. Или жутко противно.

— Вот странно! Ведь это все нетривиальные люди. Что ни личность, то фигура.

— Ладно. Я не хочу об этом говорить. Расскажи еще лучше про своего Олгоя-хорхоя.

— Он как раз из нас самый, наверное, серый. Совершенно не знаю, что еще о нем рассказывать.

— А кто у него родители?

— Они померли все. Мать — ему еще года не было. Отец — лет уж тридцать, наверное, как помер. Выдрал его однажды ремнем, дико, со злобой, за какую-то мелкую пакость, и сам же тут и отрубился. Сердце. Он у него был нетривиальный человек — знаменитый архитектор, строил виллы для начальства, лауреат, академик, партайгенацвале. Пил по-черному всю жизнь. Человек могучих страстей и слабого здоровья. Любимое присловье у него было: «Всё на свете херня или залепуха»...

Он замолчал, сходил на кухню, извлек из холодильника банку джин-тоника, откупорил, хлебнул, а потом, спохватившись, спросил: «Хочешь?» Она нетерпеливо мотнула волосами и сказала:

— Рассказывай дальше.

— Да я не знаю ничего толком. Ну, остался он с мачехой. Ему, скажем, десять лет, а мачехе — двадцать. Судя по всему была она неописуемая красавица и вполне законченная блядь... Извини, но из песни слова не выкинешь. Пережила своего архитектора на двадцать лет, пила по-черному, а под конец жизни еще и кололась. Жила одна в пяти комнатах, продала в конце концов всё — все ковры, все хрустали, до последнего стула, — оставила после себя голые стены и Гришанин закуток, где он ютился с какой-то старухой, с прислугой, она ему была что-то вроде Арины Родионовны... Да ну его к черту, лапа, иди ко мне.

— Не смей называть меня лапой!

— Что это вдруг?

— Потому что это твой Роберт придумал.

— Хорошо. Я буду тогда называть тебя ногой. Ножкой. Нога моей судьбы. Прощайте, други, навсегда, страдать я боле не могу: судьбы рука сломала любви ногу...

— Господи, как я от тебя устала!.. Подвинься.

— М-м-м?

— Нет. Не хочу. Прекрати.

— Головка болит?

— Все болит. Я, между прочим, целый день стирала... Отстань.

— Вымрем!

— Ничего, не вымрем. Одна знаменитая ваша Мариша обеспечит воспроизводство, и с лихвой.

— Ну, не знаю. У Маришки трое. Или четверо? Не помню. Пусть даже четверо. У Эль-де-преза — двое. У Роберта — один. У Юрки-Полиграфа — ноль, и ничего не предвидится. У Димки — ноль...

— Зато у Андрей Юрьевича!..

— Да, это верно. Но они у него все незаконные.
— А какая разница?
— Никакой. М-м?..
— Отстань, я тебя прошу. Лучше посуду помой.
— Ей-богу, вымрем! Вот увидишь, нога души моей!..

Лирическое отступление № 5 ОТЕЦ ЯДОЗУБА, или БОЛЬШИЕ ДЕТИ — БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Он вернулся домой рано, снял пиджак, аккуратно повесил его на плечики и сказал жене (не глядя, распутывая галстук): «Водки». Она метнулась в столовую, вернулась со стопочкой на подносике (три четверти стопки, пикуль на блюдечке, салфетка углом). Он брезгливо принял стопку, выплеснул ее на ковер, сам прошел к буфету и налил полный фужер. Выпил в три глотка. Всосал воздух через побелевшие ноздри. Постоял неподвижно несколько секунд, потом спросил (по-прежнему не глядя): «Дома?» — «Дома», — сказала жена шепотом. Она уже, безусловно, все знала: позвонили, доложили, обосрали своим радостным сочувствием с ног до головы...

Через всю квартиру, ступая тяжело (словно весь день грузил мешки на станции), прошел по коридорам, распахнул дверь с табличкой (украденной где-то в присутственном месте) «ПРОШУ СТУЧАТЬ», вошел в комнату и остановился у порога, не закрывая за собой дверь: намеревался только два слова сказать и сейчас же уйти (ненависть душила, пополам со стенокардией).

Наследник занимался любимым делом: перебирал старые бумаги. Старыми бумагами было все в комнате завалено, словно это не комната подростка, а сраный какой-нибудь архив домжилуправления. И пропахло все старой бумагой, а у стены стояли, перекосившись, два рыжих облупленных чемодана — давеча притащил с какой-то свалки, с клопами и тараканами.

На отца он глянул мельком и спрятал глаза — лицо, только что розовое и азартное, сразу сделалось неподвижно и словно бы пожелтело.

Он хотел сказать мальчишке только одну фразу, но такую, чтобы в ней было все. «Ты понимаешь хоть, в какую яму меня свалил? — металось беспорядочно в голове у него. — Что теперь со мной сделают эти говнюки, понимаешь?» И — вдруг — всплыло: «Ох, ему и всыпали по первое! По дерьму спеленутого — волоком...» Это он Галича вспомнил. Нашел время и место вспоминать Галича! Но уж очень это было точно и про него: «Раздавались выкрики и выпады, ставились усердно многоточия, а потом, как водится, оргвыводы: мастерская, выговор и прочее...» Мемориалу

моему — конец, вдруг понял он с пронзительной ясностью. Впервые понял и принял это как неизбежную данность. Покаюсь я, не покаюсь, осудю, не осудю этого мелкого паразита, — мемориал мне теперь не дадут. И ничего больше не дадут никогда. До конца жизни буду частные заказы клепать. Конец архитектору Петелину — полный и окончательный п..дец внакладку.

Но сказать, как тут же выяснилось, было нечего. Нечего ему было сказать этому желтолицему толстенькому подростку, у которого два деда не вернулись с Отечественной и который в компании дружков (уже третий год подряд, оказывается) праздновал день рождения Гитлера. В компании у него были: сын первого секретаря райкома; сынок зампредседателя горисполкома; племянник директора завода, члена бюро обкома... И всем им сказать было бы нечего, даже если бы они все оказались внезапно здесь, перед ним.

— Ну почему — Гитлера? — сказал он наконец спертым голосом. — Объясни, я этого не понимаю.

— Потому что — двадцатое апреля, — сказал сын Главного Архитектора неожиданно охотно и даже глаза на Главного Архитектора поднял, и глаза эти были честные, круглые, но со странной желтизной.

Впрочем, ответа главный архитектор все равно не понял.

— Ну и что из того, что двадцатое? — спросил он.

— День рождения, — объяснил наследник и мельком улыбнулся.

Видимо, ему понравилось, как удачно он ответил. Видимо, он сам себе вдруг понравился — здесь и сейчас. Видимо, он совсем не понимал своего положения. Гаденыш. Вша.

— Ты что, не любишь евреев? — спросил он — просто по инерции. Чтобы не ударить. Чтобы не размазать гаденыша по стене.

— А кто их любит? — лениво, вразвалочку ответил наследник. И рот скривил презрительно. На отца он не глядел теперь совсем и, может быть, именно поэтому не понимал, что происходит. — Они сами себя терпеть не могут, — добавил он. Как бы между прочим.

— У тебя же мать была наполовину еврейка, — сказал главный архитектор Петелин.

— А я-то здесь при чем? — возразил наследник и добавил с отвращением: — Это — ваши дела. Разбирайтесь.

Тогда Петелин-старший шагнул к нему через всю комнату, уже не помня себя. Все перед ним сделалось желтым, стены поплыли, в ушах возник механический не то вой, не то дребезг, — и он — как на рогатину, как на пулю — налетел вдруг на желтый немигающий *светящийся* взгляд. Его словно ледяным гноем окатило, и он оказался на полу, на спине,

затылком и спиной в обломках развалившегося стула, а грудь ему — словно резало ножом, последние минуты пришли, он это понял сразу же и принял, согласился принять, как последний и окончательный приступ катастрофического невезения последних дней.

Он попытался подняться, заелозил ногами, руками, оперся кое-как на ковер, который ходил под ним ходуном. Невыносимо воняло горелой бумагой, душило вонью, дышать было совершенно нечем, а в голове бродила какая-то несообразная чушь. «Желтый дьявол», бродило почему-то там. «Зубы желтого...» «Зубы желтого обломаны...» (Название какой-то трилогии из далекого детства, что-то патриотическое, про самураев и пограничников, про озеро Хасан и сопку Безымянную...) Он мучительно возился на полу, все еще надеясь встать, и смотрел на наследника, потому что ничего другого не было у него в желтом тумане перед глазами. Как наследник шарит лупой по очередной дряхлой бумажке. Как бережно бумажку свою поднимает и смотрит ее на просвет. Как улыбается мерцающей своей, слабой, но довольной улыбкой...

...Видимо, ему удалось подняться: он обнаружил себя в коридоре — еле передвигая онемевшие ноги, он полз вдоль стены, распластавшись по ней грудью, срывая одну за другой гравюры в багетах за стеклом, развешанные на уровне лица.

...Потом была еще гостиная, где он лежал на ковре, рядом со столом красного дерева, скомканная скатерть — под головой, жена со шприцом, розовые губы шевелятся, глаза стеклянные от слез, молодая еще совсем, девчонка, всего шесть месяцев как женился, ее еще драть и драть... «Желтый, — сказал он, и это были его последние слова. — Зубы желтого. Зубы желтого обломаны».

Глава седьмая ДЕКАБРЬ. ПЯТНИЦА НЕКОТОРЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

...Ну и ночка получилась, распронаетить-ее-пополам-с-дерьмом!.. С такой вот энергичной, но малоинтеллигентной фразой на устах или, правильнее было бы сказать, — в мыслях своих проснулся (очнулся? очухался? оклемался?) Матвей Аронович Вул, более известный среди друзей и знакомых как Велмат, то есть Великий математик. Утро еще не началось по-настоящему, однако же ночь (жуткая ночь, бредовая ночь) уже основательно призадумалась, и звезды над дальней лесопосадкой побледнели в предчувствии неизбежного рассвета. Было семь утра. Уныло-тухлая капель прекратилась совсем, но и мороза настоящего пока еще не наступило, только прихватило тоненьким ледком края луж на дороге, а сосульки, свисающие с крыши, сделались больше и выглядели самоуверенно — не то что вчерашним вечером.

Комнату за ночь выстудило основательно. Бедняга Вадим пластом лежал на кровати, уткнувшись носом и лбом в стену, одеяло поверх него выглядело плоским, как будто ничего под этим одеялом не было, только торчала из-под — одиноко и трогательно — босая нога с грязноватой ступней и огромной костлявой пяткой. Тулуп валялся на полу, распахнув лохматые внутренности.

...Жуткая ночь. Чадная ночь. Когда они приехали сюда, Вадим все время мерзнул, его била крупная дрожь, по лицу катился пот, а руки были ледяные, словно гусиные лапы. Он все время подбрасывал и подбрасывал дрова в печку, в конце концов в комнате сделалось невыносимо жарко, тянуло по дому угаром и дымом, а он все равно мерзнул, и трясся, и подбрасывал, и в конце концов натянул на себя овчинный тулуп, который Матвей специально достал для него из дедовского сундука. Но и тулуп этот не помог ему тоже...

И он был пьян. Он был пьян уже с вечера, когда Матвей заехал навестить его — на всякий случай, голос Вадима не понравился ему по телефону: пьяный, надтреснутый голосишко вдребезги раздавленного бедой человека. De visu Вадим оказался еще даже хуже, чем его голос по телефону. Не было Вадима. Совсем. Перед Матвеем вихлялся и ерзал, поминутно теряя равновесие и чуть не падая со стула, расхристанный,

потный, белолицый с красным сопливым носом человечек, отдаленно напоминавший, правда, Вадима, но не Вадим, а поганенькая на него карикатурка, какую и злейший враг бы не придумал. Он был дома один, и он был вдребезги пьян — давно и горько, словно пил уже добрую неделю смертным запоем (хотя вчера еще по телефону был вполне человекообразен и даже шутил в обыкновенной для себя манере).

«А Софья Ефимовна где?» В ответ на этот вполне невинный и даже естественный вопрос он еще более перекосился лицом, многозначительно помотал пальцем у Матвея под носом (в смысле: «Не-ет, голубчик... не получится у тебя... и не надейся даже...»), а потом и вовсе показал фигу, — чтобы никаких уже сомнений в отрицательном ответе не оставалось. Матвей сначала не понял, почему такие тайны, но понял, однако, сразу же, что мамы Вадимовой дома нет, давно нет, и, видимо, не скоро будет, а поэтому придется ему, Матвею, здесь сидеть, сидеть и сидеть, потому что оставлять Вадима в таком виде одного было бы попросту безответственно, а Матвей, при всех своих недостатках, полагал себя человеком ответственным. Поэтому — остался и допил вместе с Вадимом большую бутылку синеватого терпкого водянистого дерьма, а потом еще одну бутылку дерьма (какую-то древнюю наливку из затхлых запасов), и — ночка полетела.

...Слава богу, хоть в собеседниках Вадим не нуждался. Он все время говорил сам, сам к себе сочувственно прислушивался, сам над своими рассказами хихикал, сам себя перебивал, пару раз принимался плакать, но сам же эту свою слабость и пресек без всякой пощады.

Три — совершенно не связанные — истории причудливо переплетались в его бормотании. Одна, видимо, вполне реальная, — про страшного дьяволоподобного человека, про Сатану с жалом вместо указательного пальца — знакомая уже Матвею кавказская история про угрозы и требования (но теперь из нее, в частности, получалось, что Вадиму не просто грозили — как он рассказывал об этом раньше, — а еще и пытали его какой-то поганой пыткой). Вторая история — без начала и конца, про то, как некая сильно разогретая компашка выходит из чайной (на Бермамыте? в Каменномосте? — в общем, все там же, на Кавказе) — выходит, выходит и все никак выйти не может, до такой степени все нажрались, а некоего Мишку вообще выносят на плече, он блюет толстой бурой струей, и большой охотничий кинжал (между прочим, не зарегистрированный) вылетает у него из ножен у пояса и с лязгом скачет по каменным ступенькам... Все довольно правдоподобно и даже вполне жизненно, не понятно только — к чему и зачем. А третья история была

совсем странная. Там фигурировала палатка, горы (опять же), пасмурная ночь с дождем, неприятный какой-то человек по имени Тимофей, который дрыхнул на раскладушке рядом... а может быть, и не дрыхнул вовсе, а только притворялся, что дрыхнет... И вдруг поблизости от ихней палатки каким-то волшебным образом образуется еще одна палатка... а в ней — посторонний человек... ниоткуда... никто... мертвый... убитый, избитый и изуродованный до смерти... А потом появляются еще какие-то люди, двое, тоже невесть откуда взявшиеся, плачущие над трупом и произносящие смутные угрозы, но не в адрес Вадима, а вроде бы в адрес этого самого Тимофея, который знай себе лежит на боку в своем спальнике и трусливо притворяется спящим... Странная, малоправдоподобная, явно выдуманная зачем-то (зачем?) история без сколько-нибудь определенного конца, да и без определенного начала, пожалуй...

В большой комнате Вадимовой квартиры, где все было разбросано, попорчено, загажено, потоптано, где горела верхняя люстра, а торшер лежал на боку рядом с диваном, где накурено было, совершенно как в киношном сортире, стояла атмосфера болезненного бреда и застарелого страха, давно уже превратившегося в привычный ужас... Темный ужас. Бледный ужас... «Что такое темный ужас начинателя игры...» (крутилось у Матвея, совсем потерявшего управление и представления не имеющего, что со всем этим делать). «И бледный ужас повторяли бесчисленные зеркала...» Он только хватал Вадима за потные скользкие руки, на давая ему еще что-нибудь разбить, повалить, разгромить, растоптать...

...Вдруг звонил телефон — глухо, задавленный диванными подушками, — неожиданный, словно внезапный человек на пороге. «Кто это? Мама? Мама, я же просил не звонить! Все в порядке у меня, просто насморк... Мама я же просил не звонить. Не звони больше...» И, повесив трубку, сразу же, без перехода, уже Матвею: «Просил же: не звони! Прослушивается же все... Теперь они ее засекли. Спрятал, называется...» Новая сигарета, трясущаяся рука с зажигалкой, красные скошенные глаза. «...Убьют — ладно. Это еще не так страшно. Плевать. Но ведь пытать будут. Искалечат, суки, изуродуют. В инвалидную коляску посадят на всю оставшуюся жизнь...»

— ...Я маленький человек, ты понимаешь это? Маленький. Мне ничего не надо, я ничего не прошу и тем более не требую. Да, бывает со мной... Бывает. Знаешь, как это бывает? Я вдруг вижу как бы связь вещей... дорогу вижу... по которой все катится, как по рельсам... Но ведь ничего же больше этого! Почему им мало? Почему они хотят, чтобы я делал невозможное? Это же так понятно: если человек видит дорогу, это же не значит, что он

может ее проложить... А это даже не дорога. Это труба — бетонная, тесная, у меня от нее клаустрофобия начинается... Маленький я, поймите вы, Христа ради. Маленький...

Слово «маленький» повернуло его на сто восемьдесят градусов, он вдруг всполошился: где маленькая? «На утро же оставалась маленькая. Специально оставил. Ты взял? Отдай, не будь гадом! Верни, ну, пожалуйста, ну я тебя прошу... Матвей, чтоб ты сдох, блин, отдай маленькую, евр-рей, сука...» Полез за диван, отпихнул поваленный торшер, нашел бутылек, обнял ладонями, прижал к щеке, как любимого котенка... Матвей попытался уложить его баиньки, но куда там! Его вдруг понесло на кухню: варить кофе. Кофе ему, бедолаге, срочно понадобился. Слышно было сначала, как у него там посуда летит на пол, а потом вдруг потянуло по квартире газом. Оказалось: включил все конфорки, ни одну не зажег, стоит с джезвой в руках и, весь перекосившись от ужаса, смотрит в кухонное окно на двор, где какие-то (вполне мирные, и женского пола в том числе) люди то ли загружаются в черную «волгу», то ли, наоборот, выгружаются из.

Было уже основательно заполночь, когда Матвей принял решение увезти его отсюда на хрен. Подальше. Пусть хоть отоспится спокойно, на природе. Поразительно, но Вадим не возражал. Даже наоборот, сам тут же побрел в прихожую одеваться, лукаво приговаривая: «А вот хрен вам... не достанете... Сегодня четверг, а завтра уже пятница... хрена вам за щеку...» В машине он сразу же заснул, словно выключили электричество, и спал самым благополучным образом, тихо и крепко, но на подъезде уже к Хвойному проснулся, а на даче началось все сначала, включая беспорядочное бормотание по поводу кавказских дел (выдуманных и реальных), а также истерические попытки разыскать забытую и оставленную в городе маленькую...

Матвей оделся и вышел на воздух. Надо было сходить в сарай, пополнить запасы дров в доме, но он задержался на крыльце, изо всех сил вдыхая и выдыхая чистейший воздух, колючий от мороза и свежий, как хвойная лапа прямо из леса. Морозная тишина лежала над миром, даже собак не было слышно, и мертво светились сквозь елки окна соседнего слева особняка, где, по обыкновению, весь свет был включен и при этом ни единой души, ни малейшего движения видно не было, словно не особняк это был, а заколдованный дворец.

Все было как всегда. Матвеев «жигуленок» — в полном порядке — стоял там, где и полагалось ему стоять, тихонечко мигая красной точкой

включенной сигнализации. В доме справа уже, видимо, народ пробудился — толстый белый дым поднимался из печной трубы, — но и там все было тихо и недвижимо. А чего ты, собственно, ожидал, Жорж Данден, подумал Матвей, спускаясь с крыльца. Филера, примерзшего плечом к телефонному столбу напротив? Или, может быть, толпу бандитских «мерседесов», сгрудившихся перед воротами? Не смеши людей. Не так все это делается. Если делается вообще, кстати. Странная какая-то история, есть в ней некая раздражающая избыточность. Чрезмерность какая-то... Он попытался уловить быстро промелькнувшую трезвую (очень ценную в этом бредовом хаосе) мысль, но не поймал ее, упустил — она ушла в муть и мрак подозрительных артефактов. Теперь надо ждать, когда она снова вынырнет. Ничего, время есть, подождем. Сегодня еще только четверг... пардон, пятница. Пока еще только пятница, и сегодня мы все встретимся у Тенгиза и найдем решение. Если оно есть.

Он притащил и уложил в прихожей три вязанки дров, растопил печку в комнате, пошел на кухню и поставил на газ полчайника воды. Потом пошарил по сусекам. Еды не то чтобы не было совсем, но была она вся какая-то безнадежно далекая от окончательной готовности к употреблению. Сырье. Даже не полуфабрикаты, а именно сырье: мука, крупа, свекла, морковка... Впрочем, в холодильнике обнаружились куриные яйца. В трех экземплярах. Но с хлебом было совсем плохо: каменная полубуханка ржаного, вся в мрачных трещинах, словно среднеазиатский такыр.

Когда он вернулся в комнату, чтобы подбросить дров в печку, Вадим уже сидел в постели, накинув на плечи тулуп, и рассматривал в маленькое зеркальце свою распухшую физиономию со смешанным выражением отчаяния и крайнего отвращения.

— Слушай, — сказал он. — Сегодня среда или четверг?

— Пятница сегодня.

— Врешь!

— Зуб даю.

— Так сегодня нам к Тенгизу идти?

— Всенепременнейше.

Вадим застонал и принялся мять себе щеки и лоб, словно пытался таким образом привести все это свое хозяйство в порядок.

— Ну, а как насчет хеджирования портфеля гэ-ка-о с помощью фьючерсов? — спросил Матвей осторожно. Это был контрольный вопрос.

Несколько секунд Вадим молчал, но потом ответил все-таки — неохотно, но в соответствии с нормами и обычаями:

— Увы. Могу гарантировать только личное участие во вторичных

торгах гэ-ка-о о-эф-зэ из дилингового зала.

Слава богу, мысленно произнес Матвей и присел перед печкой с кочергой наизготовку.

— Как я был вчера? — спросил Вадим.

— По-всякому. Хорош тоже был. Иногда.

— Много всякого наплел? — спросил Вадим смущенно.

— О да. Не без того.

— «Иногда лучше жевать, чем говорить», — сообщил Вадим, как бы демонстрируя свое благополучное возвращение в мир реальностей, и тут же осведомился: — А пожевать ничего не найдется в этом доме? Солененького бы чего-нибудь, а?

— Соль есть, — сказал ему Матвей. — Килограмма два. Сейчас организуем. Имей в виду, мне к двенадцати надо в Зеленогорск, на семинар. Поедешь со мной или здесь останешься?

— Я подумаю, — сказал Вадим.

...До полудня Тенгиз успел принять троих «расслабленных» и, заряженный мучительным отвращением к себе и ко всему этому миру, отправился на Дондурееву улицу, дом шесть. Напротив там было кафе, и весь народ из логова Аятоллы имел обыкновение в этом кафе обедать. Тенгиз занял столик у окна и заказал чахохбили из баранины, зелень и хачапури. Выпить? Минералку, пожалуйста. Любую. С глубины пять тысяч метров? Очень хорошо, давайте с глубины...

За окном была чистая тихая улочка без автомобилей и почти без прохожих, — сухой асфальт мостовой, плиткой выложенные тротуары без единого окурка, — а по ту сторону: светло-желтый двухэтажный особнячок с трогательными башенками на крыше, с двумя широкими (приветливыми) проездами во внутренний двор по обе стороны от роскошного парадного, сияющего безукоризненными стеклами и резьбой по черному дереву. И — ни одного человека охраны в пределах видимости. И даже своеобычных слепо настороженных телекамер. И, уж разумеется, никаких — на стене рядом с подъездом — досок с золочеными буквами, рекламных плакатов, неоновых надписей по краю крыши и прочих купеческих банальностей. Строгий, но приветливый частный дом очень богатого человека. Ни одной машины у подъезда, но зато в глубине двора их усматривается несколько, и все — роскошные.

Пока Тенгиз неторопливо поедал чахохбили, во двор въехала одна черная машина (кажется, «роллс-ройс», а впрочем, хрен их теперь разберет), и один человек с кейсом пришел (откуда-то справа) пешим ходом

и совершенно беспрепятственно проник в здание через парадный подъезд. И по-прежнему — ни малейших признаков охраны в камуфляже или даже хотя бы швейцара какого-нибудь ветхозаветного (в галунах от шеи до пят) так и не обнаружилось.

Все это смотрелось довольно-таки странно, но, впрочем, и не более чем странно. В конце концов, Аятолла устами народа объявлен был человеком, который никого не боится и которого, наоборот, боятся все. Все без исключения. От и до.

...Кроме меня, подумал Тенгиз со злобным удовлетворением. И кроме Андрея Юрьевича нашего, разумеется... Кстати, неужели он не боится даже зубодеров, Страхоборец хренов? Быть того не может. Надо будет обязательно его спросить. Ага. И он в ответ расскажет самый свежий анекдот про зубодеров и коротко хохотнет — хохотком своим ледяным, от которого странно зябнет и съеживается сердчишко каждого смертного... или, может быть, душонка?

Между тем, роскошные двери парадного подъезда распахнулись, извергнув из себя первую порцию клерков. Тенгиз медленно цедил ледяную воду, потревоженную кем-то на глубине пять тысяч метров, и смотрел, как они идут, рассыпаясь веером, — кто направо, кто налево за пределы видимости, а кто — прямехонько сюда, под гостеприимные кровы специализированного заведения с громокипящим названием

«ШАШЛЫКИ — ЧЕБУРЕКИ».

Один за другим появлялись они в дверях, все — по-легкому, без пальто и без шапок, все они были здесь завсегдатаи: неспешно занимали хорошо знакомые насиженные места, оживленно обмениваясь гастрономическими замечаниями, а иногда без всякого стеснения перекликаясь через весь зал, по-дружески заговаривали с официантами, заказывали «как обычно, Володя», и Тенгиз поймал на себе несколько вопросительных и даже, пожалуй, настороженных взглядов, а двое амбалов прямо с порога поглядели на него и вовсе неприязненно: видимо, он захватил ихний хренов персональный столик. Однако, запнувшись у порога лишь на секундочку, они все-таки подошли, разрешения, как это водится между приличными людьми, не спросив, по-хозяйски энергично отодвинули стулья напротив Тенгиза, снова поглядели на него с откровенным недружелюбием, а когда он остался к этим взглядам отстраненно равнодушен (сидел себе, полузакрыв глаза, откинувшись на спинку, и потягивал свой экзотический напиток), перестали его магнетизировать и

по-хозяйски кликнули официанта Толю по прозвищу (надо думать, а не по фамилии все-таки) Марадона.

Несомненно это были охранники («охранные структуры») — могучие молодые парни с одинаковыми башками на конус, стриженные по-борцовски и с борцовскими же покатыми плечами длиною семьдесят пять сантиметров каждое. Впрочем, они были похожи друг на друга только самыми общими своими очертаниями да, пожалуй, еще и повадкой, но никак не более того. Тот, что уселся напротив, был красивый малый, смуглый, беловолосый, с черными писаными бровями шире плеч, с худощавым лицом аскета и киногероя. Другой же смотрелся отнюдь не столь авантажно: морда у него была, как румяная двухпудовая гиря, бока и брюхо выпирали из пиджака, он был не столько даже могуч, сколько жирен — светлоглазый хряк, мясо с жиром, гуманитарный тупик эволюции...

Они заказали чанахи в горшочках и были обслужены молниеносно, словно на кухне там уже заранее, с самого утра ждали: сейчас вот придут Хряк с Красавчиком, так надобно немедленно... сию же минуту... без задержки... Тенгиз смотрел, как они яростно глотают из своих горшочков, рвут кусками лаваш, откусывают от пучков зелени — жадно, в темпе, азартно, — словно делают хорошо знакомую и любимую работу; дождался, пока они покончат с чанахами и возьмутся за чебуреки, поданные им с пылу с жару, и за баночное пиво «Туборг», — возьмутся в точности так же жадно, азартно и умело, и так же молча... Он их готовил, доводил до необходимой кондиции, осторожно, исподволь, так, чтобы ни они сами, ни — упаси бог! — кто-нибудь со стороны ничего не заметил бы, а когда момент наступил, он выключил Хряка и одновременно включил Красавчика, как более на вид сообразительного и годного к употреблению. Тот сразу же охотно и быстро заговорил, словно давно у него наболело, словно давно уже дожидался он такой вот редкой возможности — многословно и даже витиевато, приличествующим образом понизив голос, рассказать хорошему человеку о самом насущном, о своем, о теплом.

Речь его, как ни странно, оказалась неожиданно правильной, вполне интеллигентной, почти без вульгаризмов и совсем уж без своеобычной теперь сплошной безвкусно-бессмысленной матерщины. Впрочем, говорил он какую-то чушь, про беспросветность нынешнего его бытия, про джунгли быта, про трудности свои с потенцией, которые возникли у него последнее время из-за нервных, видимо, перегрузок, — Тенгиз прервал его без всякой жалости и спросил небрежно, на месте ли сейчас хозяин. Оказалось: нет, на месте его пока не видели, но ведь, с другой стороны, судите сами, откуда ему, Красавчику, знать — на месте начальство или в

отъезде, он, Красавчик, человек на фирме небольшой, живет по приказу, знаете, как говорится: «Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли», — он ведь вообще хозяина толком не видел, можно сказать, ни разу, если не считать, конечно, случая, когда он ему докладывал про обои... Про какие еще обои? Про моющиеся, с драконами, божественно красивые, японские... или китайские?.. Ладно, сказал ему Тенгиз. Не надо подробностей. А где он сидит, хозяин, как к нему пройти? Оказывается — сидит хозяин на втором этаже, за Белым залом, но пройти к нему просто так нельзя, надо сначала записаться... у секретарши... там секретарша у него всегда на посту — замечательно, говорят, злое..учая баба, простите за выражение...

Тут углубленный в себя Хряк вдруг вынырнул из временного небытия (разбуженный, видимо, крепким словечком) и спросил хрипло и с неприязнью:

— А чего это ты вдруг раззвонился тут? Звонарь недодолбанный.

Тенгиз только взглянул на него исподлобья, и Хряк тут же отступился. Замолчал. Отсосал из банки — основательно, словно воздуху набирал перед тем, как нырнуть. И нырнул. И его здесь снова не стало. Можно было спокойно работать дальше, но, к сожалению, Красавчик уже иссяк. Да и не знал он ничего. «Мы с Коляном — дежурим по стоянке. Наше дело — машины. Подогнать, откатить. Прозвонить, осмотреть. Оберегать. А в доме мы ведь никогда, по сути дела, и не бываем. Вам бы следовало не с нами, а с кем-нибудь из клерков поговорить. Вон девочки сидят — из бюро...»

Тенгиз отпустил его. Он отпустил их обоих, и они тотчас же поднялись, аккуратно поставили стулья на место, попрощались, неумело поклонившись, и пошли себе, посасывая на ходу из своих банок, — огромные, тяжелые, бездарные... Но Красавчик при этом смотрелся все-таки очень даже недурственно: хорош, не просто громоздок, а элегантно-спортивен и даже красив, — смотреть приятно. Но человечек явно никакой, да и тупой при этом, как колено горничной. И господь с ними обоими...

Девочки из бюро, между тем, к лязгом и дребезгом обрушили что-то у себя на столе, кувшин какой-то с соком, — стол моментально залило, потекло на пол, полетели в стороны вилки-ложки, — девочки, заливаясь смехом, вскочили, спасая наряды и сумочки, официант Марадона уже спешил к ним, ничуть не сердясь и весь в готовности услужить и обслужить, а девочки огляделись, увидели свободные места и со щебетанием перепорхнули к Тенгизу, так ничего в происшедшем не поняв и уже вполне готовые к немедленному употреблению.

Впрочем, он подождал, пока Марадона перенесет им с разгромленного

столика их чуть надкушенные хачапури, и новый кувшинчик им организует, и уберет остатки пиршества охранных структур, — а они тем временем всё оживленно перехихикивались друг с другом «и щебетали, щебетали, щебетали... дуры проклятые» (в полном соответствии с любимым Андрей Юрьевича анекдотом про молодожена и про его впечатления от нового образа домашней жизни). На Тенгиза они не обращали внимания, казалось бы, совсем, но он знал, что они внимательно и вполне профессионально обследуют его и колеблются по его поводу (достоин ли он внимания — или так, пенек придорожный), и он не стал дожидаться, пока они сделают свой выбор, а сам взял их в оборот, да так, что у них только ребра хрустнули, и в течение десяти тихих, интимно-доверительных, почти любовных минут они по очереди рассказывали ему все, что они знали, и все, о чем только могли догадываться, и все, о чем слышали, но сами в это не очень-то верили...

...Яркие, как тропические бабочки, и такие же безмозглые. «Крылышками бяк-бяк». Совершенно обе никакие и по имени никто. Утомительно-великолепные самочки, гнусненько-божественные сосуды для сброса известных излишков жизнедеятельности наслаждающегося организма... Кошечки. Упоительно смердящие ядовитые кошечки. Двуногие роскошные машины для многократного соития... Он закрыл глаза, чтобы отогнать наваждение, и они, обе, тотчас же освободившись, затихли испуганно, словно прислушиваясь к отзвукам собственного бессмысленного и опасного щебетанья, куриные мозги их, ничего не поняв, ощутили черную угрозу, им стало страшно, неуютно — студеная зима ворвалась вдруг к ним в откровенные вырезы платьев и заледенила их, покрыла гусиными пупырышками роскошную атласную шкурку... Они, не сговариваясь и не доев едва начатое, сорвались с мест и отчаянно помчались к выходу, размахивая яркими сумочками на длинном ремешке, только что не переходя на панический бег, не замечая и не слыша ничего вокруг себя, не видя весело-изумленных взглядов жующих сослуживцев, не слыша их шутливых вопросов и желудочно-сортирных намеков...

Он и не подумал их удерживать. Он узнал уже все, что ему было надо. Или почти все. Скажем так: многое и достаточно. Потому что всего не знает даже сам Аятолла.

Он посмотрел через улицу на приветливый дом богатого человека. Человека и властелина... Пойти прямо сейчас, подумал он. И сделать все самому. Резко. На раз-два. Он представил себе последовательно: как он входит, куда поворачивает, по какой лестнице поднимается, что говорит и кому... Получившееся кино, показалось ему вполне правдоподобным и даже

достоверным. Прямо сейчас. Даже не одеваясь (куртку оставить здесь же в гардеробе — сказать, что скоро вернусь). Покончить с этим делом, раздавить гадину, и можно еще будет успеть к пятнадцати тридцати в диспансер на Бармалеевой... Он поймал взглядом Марадону и пригласил его к себе — расплатиться. Воду с глубины пять тысяч метров он так и не допил. Не осилил. Вода как вода, и чего только в ней люди находят.

...В это самое время Андрей Юрьевич Белюнин (имеющий среди друзей прозвище Страхоборец) держал стрелку с Корнеем Аверьяновичем Есауловым, известным в определенных кругах, главным образом, как Корень, а также — Есаул. Беседа происходила в новой, абсолютно пустой многокомнатной квартире нового, только что отстроенного элитного дома, переговорщики сидели на больших ящиках из-под какой-то роскошной аппаратуры (кроме упаковочных ящиков в квартире не было ничего, но зато ящиков этих было здесь великое множество), оба курили «Мальборо», а пепел стряхивали на брошенную между ними прямо на пол обширную газету «День Икс».

Голоса в пустой огромной квартире звучали странновато, вроде бы даже реверберации временами возникали, пахло свежестью, краской, лаком, все вокруг блестело и отсвечивало — рамы, филенки дверей, богатый пол, выложенный каким-то совсем уже немыслимо роскошным трехцветным паркетом. Хозяин всему этому благовеликолепию соответствовал вполне: серое с иголочки пальто до щиколоток, галстук цвета бордо (с черной искрой), бледное аристократически вытянутое лицо, выбритое идеально, вдохновенные русые кудри под молодого Бетховена — перед Андреем сидел несомненно русский дворянин в десятом поколении, дитя тургеневских усадеб, чудом сохранившийся элитный экземпляр, — только вот глаза выдавали его, осторожные, неспокойные глаза опытного хищника вполне от мира сего, причем в самой грязной и страшной мира сего ипостаси.

Впрочем, все это были игры неспокойного воображения. Просто Андрей знал, кто перед ним, и это знание накладывало вполне естественный отпечаток на восприятие. И правильно делало, что накладывало: ухо с этим Есаулом надобно было держать востро. Предупрежден значит вооружен.

— А что же сам Александр Александрович со мной не связался? — как бы между делом спросил Есаул, вроде бы разглядывая дымящийся кончик своей сигареты, а на самом деле внимательнейшим образом, искоса, наблюдая за собеседником.

— А он в отъезде. Далеко отсюда. Очень далеко.

Есаул кивнул, давая таким образом понять, что ответом удовлетворен, и сейчас же спросил снова, — и снова как бы между делом:

— А как вы с ним познакомились, Андрей Юрьевич? Если не секрет, разумеется.

— Разумеется, не секрет. Мы с ним вместе искали Шамбалу.

— Нашли?

— Нет. Не успели. «Пришел лесник и всех выгнал к чертовой матери»... Анекдот! — поспешно объяснил Андрей в ответ на короткий, мгновенно уколовший его настороженный взгляд (словно осиное жало скользнуло вдруг из полосатых ножен). — На самом деле пограничники налетели и, не говоря худого слова, выдворили нас вон вместе со всем нашим скарбом и с разрешительными документами в придачу. Китайские погранцы — это серьезно, могу вас уверить.

— О да! — согласился Есаул с таким видом, будто всю свою сознательную жизнь имел дело именно и только с китайскими пограничниками. (Хотя, если подумать: бог знает, с кем он только не имел дела, этот примечательный человек, за невозможно долгие, неправдоподобно долгие свои тридцать шесть лет... может быть, и с китайцами тоже.)

— Так чем же все-таки я могу быть вам полезен? — спросил он и, легко наклонившись, тщательно погасил свой окурок о газету.

— Александр Александрович рекомендовал мне вас как человека, который знает все и обо всех.

Есаул коротко поклонился.

— Благодарю вас. Но это вы уже говорили. Что — конкретно — вас интересует?

— Александр Александрович представил вас также как человека, который требует конфиденциальности, но и сам гарантирует полную конфиденциальность.

— Безусловно. Итак?

— Меня интересует человек, которого все зовут Аятолла.

На этот раз Есаул ответил не сразу. Видимо, совсем не это ожидал он услышать, — длинное лицо его стало как будто бы еще длиннее, казалось, он был разочарован услышанным. Или встревожен. Или, возможно, обижен?..

— Надеюсь, я не задел вас этой своей просьбой? — спросил Андрей. — Если да, то...

— Нет-нет, нисколько. Но понимаете ли вы сами опасность такого

рода вопросов?

— Понимаю, — сказал Андрей, успокаивающе улыбаясь.

— Боюсь, что нет, — возразил Есаул жестко. — Однако, впрочем, это совсем не мое дело. Итак, что именно вас интересует?

— Вообще-то меня интересует все, но я понимаю... вам нужны конкретные вопросы... Хорошо, начнем с самого начала. Имя?

— Его зовут Хан Автандилович Хусаинов.

— Вот странное сочетание имен! Татарин?

— Возможно. Но родился он в Ленинграде в тысяча девятьсот семидесятом. Отец был известным декоратором, рано умер, Хан рос без отца. Кончил военмех, специалист-электронщик. В бизнес вошел на компьютерах, сейчас занимается всем на свете: электроникой, машинами, станками, нефтью, держит сеть ресторанов...

— Игорный бизнес?

— Нет.

— Наркотики?

— Нет. Ничего противозаконного. Никогда. Принцип.

— Женщины? Мужчины?

— Нет. Жена, маленький сын, души в нем не чает. Примерный семьянин и считает это нормой.

— Слабости?

— Смотря что считать слабостями, — возразил Есаул.

— Верно. Как насчет семи смертных грехов?

Есаул задумался.

— Чревоугодие, пожалуй, — любит покушать, вкусно и много.

— Болезни?

— Здоров.

— Фобии?

Есаул вдруг засмеялся.

— Есть такое. Боится пауков, жуков, тараканов — до смерти боится! Как ребенок.

— Ясно. Арахнофобия. Дело житейское. Пьет?

— Только грузинское, полусухое. «Твиши», «Ахашени», «Хванчкару», «Киндзмараули»...

— Как товарищ Сталин.

— Он мало похож на товарища Сталина.

— Однако же основной принцип его благополучно исповедует: «Нет человека — нет проблемы».

Есаул покачал головой.

— Не доказано, — произнес он. — Ни одного случая не известно, чтобы он физически убирал соперников своих... конкурентов... да и вообще — кого-либо. У него совсем иная методика.

— Вот как? И какая же?

— Я бы сказал: щадящая. Он вызывает человека к себе и беседует с ним. Как, о чем — никто еще не рассказывал. Но после беседы человека этого уже не узнать. Другой человек.

— Вполне миролюбивый?

— Вообще — другой. В частности, вполне миролюбивый.

— И все время улыбается. Как та девочка.

— Какая девочка?

— Послушная. Которая на стройке всегда носила каску. А непослушный мальчик — не носил. И на них упали строительные леса. Мальчика — всмятку, а она — идет себе и только улыбается...

— Да. Помню. «С тех пор так и ходит в каске и все время улыбается...» Ну что ж. Похоже. И даже очень.

— Страшные вещи вы мне рассказываете, Корней Аверьянович.

— Сами же напросились, Андрей Юрьевич.

— Ну а если, будучи приглашен, человек вдруг уклонится от такой чести?

— Не знаю. Таких случаев пока не наблюдалось. Впрочем, гарантировать не могу. Просто не знаю. Нет такой информации.

— Хорошо, — сказал Андрей. — То есть ничего хорошего, но все очень интересно и полезно. А как у него насчет хобби?

— Ну, главное его хобби — это работа. Но есть и какие-то дополнительные увлечения. Например, он собирает старое оружие — мечи, доспехи, пистолеты...

— У меня есть два старинных пистолета, — сказал Андрей. — От предков достались. Очень старые, пушкинских времен, а может быть, и еще старее. Один даже со штыком.

— Со штыком? Зачем?

— Ну как же: выпалил, промахнулся — коли бусурмана штыком.

— Понятно... Да, это то самое. Вы собираетесь их ему продать?

— Возможно.

— Хм.

— Ну, может быть, не продать, — сказал Андрей легко. — Может быть, подарить.

— Богатая идея, — заметил Есаул, раскуривая новую сигарету.

— А вы не смейтесь. Вы, небось, бог знает что обо мне подумали, а

ведь я всего-то и хотел бы: встретится с ним, поговорить, подружиться, попросить кое о чем.

— Это как раз несложно, — возразил Есаул. — Дондуреева, шесть. Там его офис. Там он бывает каждый божий день, включая субботу и воскресенье, с десяти до шести. Ради бога: приходите, записывайтесь на прием...

— Так просто?

— Проще простого.

— В любой день?

— В любой день. Если он, конечно, вообще в городе.

— Это замечательно, — сказал Андрей. — А где он живет?

— Дома он не принимает. Никогда и никого.

— Ах, вот как... А все-таки?

— Обратитесь в справочное, — холодно сказал Есаул.

Некоторое время они молчали. Есаул курил, время от времени поглядывая на Андрея со спокойным ожиданием. У него сейчас был вид человека, который долго колебался, принял наконец определенное решение и теперь был готов сидеть здесь и ждать хоть до ночи. Впрочем, это были, по-прежнему и несомненно, все те же игры раздраженного воображения.

Андрей вытянул из нагрудного кармана длинный узкий конверт и с полупоклоном предложил его Есаулу. И вот тут произошла заминка. Долгую секунду, а может быть, и целых две, Есаул смотрел на конверт, оставаясь в неподвижности, и Андрей, разумеется, сразу же вспомнил, что было ему сказано по этому самому поводу: «...но если не возьмет, тогда — молись. Тогда тебе лучше сразу уезжать отсюда и куда-нибудь подальше, за бугор, в Тасманию...» Есаул протянул наконец руку и принял конверт (не заглядывая внутрь, сунул его в карман пальто, словно сдачу с десятки). А Андрей тем временем вспомнил и начало фразы: «Если он возьмет гонорар, это вообще-то еще ничего не значит, но если не возьмет...»

— Благодарю вас, — сказал Есаул вежливо. — Надеюсь, вы удовлетворены?

— Вполне.

— Может быть, у вас есть еще вопросы?

— Пожалуй, что и нет.

— Тогда послушайте бесплатный совет: оставьте эту затею.

— Какую затею?

— Не знаю. Вам виднее. В любом случае — оставьте. Ничего не получится. Не вы первый, не вы и последний.

— А почему вы думаете, что ничего не получится?

— Ну, например, потому, — сказал Есаул, — что я, разумеется, сообщу ему об этой нашей беседе.

— Ха! — сказал Андрей, развеселившись. — Ловко! А как же — конфиденциальность? Была ведь обещана полная конфиденциальность.

— Я предупреждал вас, что вы задаете опасные вопросы.

— Не бывает опасных вопросов, бывают опасные ответы.

— Верно. Но в данном конкретном случае это одно и то же.

— Слава богу, что вы ничего обо мне не знаете, — сказал Андрей. — Вы опасный человек, Корней Аверьяныч. Вы — опасней моих вопросов и уж заведомо опасней своих собственных ответов.

— Почему вы решили, что я ничего о вас не знаю? Я знаю о вас все, что необходимо, и вдобавок еще много совсем ненужного.

— Да? Например?

— Я знаю, сколько вам на самом деле лет. Сколько раз вы были женаты, сколько у вас детей, сколько внуков. Я знаю, как вы искали Шамбалу. Гора Кайлас. Долина Смерти. Обитель Голодного Черта... Все знаю. Как раскапывали Кала-и-Муг и чем у вас там все кончилось. Как ныряли за «Черным Принцем»... Долго перечислять. Вы человек бесстрашный, но при этом очень расчетливый, отсутствие страха сочетается у вас со звериной, прошу прощения, точностью поступков: вы инстинктивно выбираете каждый раз самый правильный маршрут, самый ловкий финт, чтобы миновать опасность. Отлично поете и недурно бренчите на гитаре... И еще многое. Продолжать, нет?

Андрей выслушал все это, сохраняя вид, самый что ни на есть доброжелательный и в то же время ироничный. Вместо же ответа он процитировал:

— «Женился Иван Дурак на Василисе Премудрой, и стала она Василиса Дурак...»

— Да-да, об этом я тоже слышал: большой знаток анекдотов.

— Oh, yes! Здесь я на коне.

Есаул пожал плечами.

— Тогда расскажите самый последний, — предложил он.

— Последний? — переспросил Андрей, улыбаясь.

Есаул не ответил. Молча смотрел прозрачными глазами, которые у него вдруг сделались неподвижные, как у фотографии.

— Пожалуйста, — сказал Андрей. — Собирают это грибы Ленин с Дзержинским. И вдруг за деревьями появляется еще какой-то грибник. Ленин хватает Дзержинского за шинель и кричит: «Феликс Эдмундович! Батенька! Что же вы смот'гите. Ст'геляйте же ско'гее!» Дзержинский — ба-

бах! Ленин подбегает к трупу, переворачивает его ногой и говорит с удовлетворением: «Наве'гное, меньшевик!»

Есаул улыбнулся — исключительно из вежливости.

— Какой же это последний? У этого анекдота седая борода росла, когда я еще под стол пешком путешествовал.

— Наверняка. Я его рассказал исключительно по наитию.

— То есть?

— Словечко ваше — «последний» — навеяло, знаете ли.

Есаул снова улыбнулся и снова без всякой охоты.

— Да. Вы не робкого десятка, Андрей Юрьевич.

— Безусловно. Истинно так, Корней Аверьянович: совсем не из робкого. Так и передайте.

На этой оптимистической ноте стрелка благополучно завершилась. Без никаких жертв и разрушений. И можно было теперь со спокойной совестью отправляться к Тенгизу. Он уже опаздывал, но это уж как водится. Все опаздывают. Никогда не опаздывает только тот, кто ничего не делает...

Глава восьмая ДЕКАБРЬ. ВСЕ ЕЩЕ ПЯТНИЦА КОМАНДА В СБОРЕ

К назначенному времени никто, разумеется, без опоздания не пришел. Первыми — опоздав всего на десять минут — явились: Маришка, нагруженная кошелками со съестным, и Костя-Вельзевул с двумя бутылками «Кристалла». В квартире, однако, никого не оказалось, и, поцеловавши замочную скважину, они привычно расположились на лестничной площадке у мусоропровода и выкурили по сигаретке. Разговаривали, главным образом, о предвыборных скандалах, а также о странном поведении доллара. Электоральные предпочтения у них не совпадали. Маришка намеревалась голосовать за Интеллигента, а Костя считал Интеллигента занудой, рохлей и треплом. Он был — за Генерала. По Скалозубу соскучился, сказала ему Маришка с сердцем. «Он в две шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит»... Ну и давно пора, возражал непримиримый Костя. И в две шеренги нас всех давно пора, и успокоить не мешало бы. Растявкались, понимаешь. Моськи... Длинный, тощий, весь из углов, локтей, рычагов и шарниров, в своем вечно-зеленом пальто до пят, — он был похож не столько на Вельзевула, сколько на Дуремара. Да он и был, в определенном смысле, Дуремар. Только Дуремар любил пиявок, а Костя — вообще всех малых сих. Без какого-либо исключения. (Пиявок он тоже любил. А они — его.) Но больше всего он любил (обожал, уважал, ценил, всячески воспевал, только что не лобзал) членистоногих. Например — тараканов. Он часто и с удовольствием повторял: «Каждый отдельный человек умнее таракана, это верно, но каждая человеческая толпа безмерно глупее любой стаи тараканов».

Богдан (он же Благоносец) присоединился к ним в самый разгар электорально-энтомологической дискуссии на тему «Возможны ли выборы у тараканов, а если да, то как это должно выглядеть?». Он кивнул Вельзевулу, приложился губами к теплой Маришкиной ручке, пахнущей сладко и уютно, как домашняя пастила, и, прервав поток Костиных разглагольствований, на всякий случай представил своего спутника: «Вова. Опекуемый», — поскольку абсолютно не помнил, с кем из дедов он своего опекуемого уже знакомил, а с кем еще нет.

Как и следовало ожидать (Богдан уже успел к этому привыкнуть), опекуемый Вова произвел на присутствующих свое обычное впечатление. Разыгралась сцена. Опекуемый Вова неуклюже раскланивается, и огромная

серо-белого меха шапка тут же съезжает ему на глаза. Он поправляет шапку судорожным движением толстой как полено руки — разумеется, именно той самой руки, в которой держит он полиэтиленовый пакет с бутылками, — и бутылки крякают в пакете, да так опасно, что Костя, рассыпая искры из сигареты, дергается было их спасать, но, слава богу, все обходится благополучно. Все напряженно улыбаются, Маришка произносит нежнейшим из своих голосков: «Да мы ведь знакомы уже... Вовочка, хотите жвачку?», Костя же Вельзевул (для него все это в новинку) молчит, и ясно, что внешность (равно как и манеры) опекуемого Вовы продрали его до самых печенок.

(...Даун. Абсолютный беспримесный даун. Гигантские нелепые ножищи, отвислая жопа, как у старого бегемота, унылые, всегда безнадежно опущенные плечи, ручищи-лапищи... И жирное белое лицо с раскосыми глазами — вечно полуоткрытый рот и стеариновые щеки, налитые молодым салом. И постоянный около него тяжелый дух, словно от лошади. И бабий невнятный голосок. И мучительное неумение связывать слова... И фантастическая неуклюжесть движений... Образцово-показательная уродливая жертва беспощадно-равнодушной трисомии по двадцать первой хромосоме... И сумрачный, бесценный, жестокий дар — глубоко-глубоко под этой тошнотворной оболочкой, на самом дне странной его души.)

— Можешь благополучно успокоится, — сказал Богдан, глядя на Вельзевула с усмешкой. — Вова абсолютно безопасен. Он даже полезен иногда. Вова, как у дяди Кости со здоровьем?

— Камни! — тут же откликнулся дядя Костя. Он не любил терять инициативы и никогда не терял. — Камни, а под камнями — рачок.

И поскольку Вова ничуть на это не отреагировал и смотрелся как человек, смутно представляющий себе, о чем здесь идет речь и вообще какое нынче число, Костя тут же принялся пересказывать свой разговор с последней любимой девушкой. (Диалог типа: «Кто такой Брэдбери?» — «Психиатр». — «???!!!» — «Ну знаю, знаю, писатель...» — «И что же он написал?» — «Записки сумасшедшего»...)

— Нет, — сказал Вова неожиданно. Он, оказывается, не слушал про Брэдбери, и смотрел он только на Богдана. — Ничего этого нет. Но будет грипп. Завтра.

Костя замолчал на полуслове.

— Вот видишь, — сказал Богдан, с удовольствием наблюдая за быстро изменяющимся спектром Вельзевуловой мимики. — А ты боялся.

— Костя! — сказала Маришка, немедленно встревожившись. —

Значит, ты сейчас бациллоноситель? Кошмар! — Она порылась в обширной своей сумке и, как фокусник кролика, извлекла оттуда длинную марлевую повязку. — Надень.

— Еще чего! — возмутился Костя.

— Надень немедленно!

Тут лязгнула дверь лифта, и появился наконец хозяин — в роскошной черной хромовой куртке, мрачный как туча и неприветливый, как таможенный инспектор. Он глянул полуприкрытыми своими тяжелыми глазами на собравшуюся компанию, посмотрел на часы и проговорил неразборчиво: «Ну всё, всё. Пошли в дом...» И все послушно побрели к нему в дом.

В маленькой прихожей возникла обычная толкотня и суета, все мужики двинулись галантно принимать у Маришки дубленку, а Вова, опекуемый, снял с себя титаническую шапку сам и стоял с нею посреди суеты, всем мешая и не умея ничего полезного предпринять. И не успели они все толком разоблачить себя, как зазвенел дверной звонок и запоздалый гость пошел косяком.

Андрей-Страхоборец объявился, безукоризненно точный в движениях души и тела, и вообще безукоризненный, как человек коммунистического будущего (или — аристократического прошлого, если вам будет угодно). Он расцеловался с Маришкой, прочим сделал ручкой и тут же рассказал свежайший анекдот про хакера и его ДНК. Тенгиз, едва дождавшись окончания анекдота, буркнул ему: «Встречался?» — и Страхоборец, глядя в упор ясными глазами, откликнулся почему-то на мове: «А як же ж!» — у них, как всегда, были свои дела, впрочем, сегодня можно было без труда догадаться, какие именно.

А тут и виновник торжества прибыл (несчастный, весь словно в лихорадке, непрерывно улыбающийся, как раз и навсегда заведенная игрушка) — Вадим Христофоров-Кавказский, он же — Резалтинг-Форс, мученик своего таланта, а с ним и «временно его сопровождающий» Матвей, озабоченный, безобразно плохо выбритый и даже, кажется, сутулый более обыкновенного. Увидевши эту парочку, Богдан внутренне поджался, но, видимо, только он один. Остальные принялись, наоборот, шуметь, галдеть и суетиться еще больше, хотя это у них, безусловно, тоже была лишь реакция на ту же парочку, только другая, более истерическая.

В гостиной, всю середину которой занимал старинный стол, как всегда покрытый тяжелой скатертью, было по обыкновению сумрачно, почти темно (только уличный оранжевый фонарь за полузадернутыми шторами на обоих окнах), а когда кто-то включил самодельную люстру, похожую на

космическую станцию отдаленного будущего, на стенах возникли, загорелись, затлели картины: черно-красный шемякинский герцог Альба уставился на гостей с ледяною неприязнью, и повеяло привычной тоскливой скукой с желто-синей улицы из «Прогулок двадцать первого века» Игоря Тюльпанова, и маленький Иуда сгорбился пред ликом гигантского Христа на большом полотне, где прочие одиннадцать апостолов спали расслабленно и безмятежно, синевато-зеленые, блеклые, похожие на протухающие куриные тушки... Разбирался ли Тенгиз в живописи — это был вопрос спорный, но подбор картин у него имел место, безусловно, своеобразный — на свежего человека эта маленькая галерея действовала оглушающе, а человек привычный, едва только бросив рассеянный взор, сразу же понимал вдруг, что опять кое-чего не заметил здесь раньше и опять чего-то недопонял...

К Вельзевулу все это рефлексирование отнюдь не относилось: похожий в своей марлевой повязке на хирурга перед решающей операцией, он тут же кинулся за Маришкой на кухню, а вот опекуемый Вова — тот да, тот — остолбенел. Юноша не приучен был к такому искусству. Впрочем, вряд ли он приучен был хоть к какому-нибудь искусству. У него папа был потомственный алкоголик, а мама — владелица трех овощных магазинов, крутая бабища из породы несгибаемых русских кариатид, сиречь атлантов женского полу...

...Стоящий по всей квартире галдеж вдруг усилился: прибыл Юрочка-Полиграф, румяный, рослый, толстощекий, с веселыми усиками щеточкой. «Полундра! — раздавалось ему навстречу. — Ахтунг-ахтунг, ас Костомаров в воздухе!.. Водки ему, срочно! Пока не поздно, водки, умоляю...» И уже несли из кухни стакан водки, и несчастный Костомаров уже послушно принимал его и бестрепетно поглощал, проливая алмазную влагу на кашне и на обшлага полуснятого с плеч пальто.

— Выглохтал? Слава богу! Теперь хоть можно разговаривать по-человечески...

— Слушай, Юрка, только честно: а сэнсей как — тоже врет? Ну хоть иногда?

— Да все врут, брат, можешь быть уверен...

— Так уж и все?

— Все как один. Только это не имеет никакого значения, потому что никто никого все равно не слушает.

— Хорошо сказано, однако!

— Это, к сожалению, не я, брат. Это называется «закон Либермана»...

— Которого Либермана?

— А хрен его знает, брат. Одного из.

— А разок?!

— Буду рад.

— А пару?

— Умру от счастья.

— А три?

— Можно четыре.

— А пять?

— Как дома побывать!

— А шесть?

— По уставу не положено...

И прочие прибаутки-фенечки ДМБ-восемьдесят-пять.

...Расселись, с грохотом двигая тяжелые дедовские стулья, распределились в привычном порядке вокруг стола (полуживого от стеснительности Вову загнали в дальний угол под напольные часы — чтобы никому не мешал, — и там он навсегда закоченел с полуоткрытым ртом и вытаращенными глазами); уже разливалось спиртное, и ножи брякали об тарелки, и тянулись через стол за закусками руки, удлиненные серебряными вилками из семейного старинного сервиза; все оживились (или сделали вид, что оживились), все галдели кто во что горазд, все казались голодными (а возможно, и были голодными на самом деле), и все было совершенно как обычно, как встарь, когда собирались, просто чтобы беспредметно погалдеть и вкусно поесть.

...Боже мой, подумал Богдан. Как же я все это любил раньше! Совсем недавно ведь, и пятилетки даже еще не прошло. Этот веселый общий гам, дым сигарет, звякание приборов у накрываемого стола, и запах гренок с луком и сыром, которые уже запекает в духовке Маришка, и предсмертное пшиканье откупориваемого пива, и толкотню по всей гостиной («Извини, брат». — «Ничего страшного, брат, топчи меня и дальше такого-сякого...») — весь этот милый гармидер, всю эту раблезианскую, почти даже олимпийскую атмосферу предвкушения божественной Жрачки Духа и Тела... Ничего теперь не осталось, кроме раздражения, и желания уйти, похожего на тягучую ишиасную боль, и стыдной мысли: ладно, пусть, еще два, ну — три часа, и все это кончится, и можно будет отправиться домой...

Галдели как всегда, совершенно как обычно, будто ничего особенного не случилось, — ни о чем и обо всем одновременно. О фигурном катании. О последнем сериале (который никто не смотрел, но почему-то все при этом были в курсе). О ценах на нефть. О литературе, разумеется. И о философии. Мы спокон веков обожаем погалдеть насчет литературы и

философии.

— ...Изъятие себя извне!

— Это еще что такое?

— Не помню. Вычитал где-то. «Эдипальность как изъятие себя извне».

— Юнг какой-нибудь?

— Очень даже может быть. Там было что-то про ребенка мужского пола, который хочет скомпенсировать каким-то хитрым образом нехватку фаллоса у своей родной матушки.

— Жалко Винчестера нет — он бы тебе настрогал цитат.

— Ничего, брат. Во-первых, он не столько их строгает, сколько идентифицирует. А во-вторых, мы и без Винчестера обойдемся: «Постмодернизм метафоризировал всеобщую метонимию авангарда-тоталитаризма».

— Круто. Красиво сказано. Сам выдумал?

— Нет. Это — оттуда же.

— Бросьте, у каждой науки — свой язык.

— Однако же, есть наука, а есть — «созерцание стены». Брат.

— Или еще лучше: есть физика, а все остальное — коллекционирование марок.

— Попрошу не касаться коллекционирования марок! Филателия — это святое.

— ...Я давеча полистал Ясперса — «Философскую автобиографию» — и ничего, ну ничегошеньки оттуда полезного не почерпнул. Кроме того, что Хайдеггер был, оказывается, нацистом. Откуда немедленно следует: в каждом море Ума обязательно найдутся острова Глупости. Но это я, положим, знал и раньше...

— Не «Глупости», а «Гнусности».

— Брось. Какая в данном случае разница?

— Не говори, брат! Еще какая. Как между карьерным дипломатом и карьерным самосвалом.

— Все равно: есть наука, а есть — «созерцание стены».

— ...Это Гильберт, кажется, сказал про какого-то бедолагу: «У него-де не хватило воображения для математики, и он стал поэтом». Погорячился, великий человек. Тут дело ведь не в количестве воображения, а в качестве. Это все равно что сказать про Беккенбауэра: у него не хватило силенок, чтобы стать тяжелоатлетом, и он пошел в футболисты...

— А кто такой Беккенбауэр?

— О боже! С кем мне здесь приходится общаться!

— Я давеча в одном доме уговаривал тараканов. Девчушка. Лет

шестнадцати, очаровательная, как умывающийся котенок. Я стал ее клеить. Вижу — не врубается. Я спрашиваю: «Вы что, не знаете, кто такой Брэдбери?» Знаю, говорит: психиатр...

Галдели, впрочем, не все. Тенгиз по-прежнему оставался мрачен и молчалив. Глотал охлажденную водку, запивал минералкой, совсем не закусывал, только смотрел в пустую тарелку, а когда поднимал глаза, выпуклые, мрачные, с тяжелыми красными веками, мало кто выдерживал этот взгляд — неуютно становилось и зябко и хотелось сделать вид, что никакого этого взгляда не было, просто маленькое недоразумение возникло, а сейчас вот все разрешится и разъяснится наилучшим образом. И красив он был — страшен и великолепен одновременно, словно врубелевский демон. «Красав`ец и здоровляга, и уж наверн`ое не еврей...» Дрянь дело, думал Богдан, поглядывая на него украдкой. Видимо, совсем ничего не получается. Видимо, кусок этот нам совсем уж не по зубам. А может быть, у него просто что-нибудь опять не ладится с княгиней Ольгой?.. Впрочем, княгиня просто терпеть не может нашу Маришку, вот почему ее здесь нет. И не надо. Господь с ней, без нее даже лучше...

А Маришка была как всегда очаровательна (словно умывающийся котенок). Васильковые глаза. Грудной, с хрипотцой голос. И чудный смех, которым она награждала, словно орденской лентой. Своих дорогих паршивцев. Своих любимых мальчиков. Она точно знала, что мальчики не подведут. Никогда не подводили — и теперь не подведут. А если кто-то дрогнет, она тут же окажется рядом и подставит плечо. Или улыбнется ему. Или просто скажет: я здесь... Откуда в ней эта непостижимая вера в нас? Ведь мы же на самом деле абсолютно бессильны перед мерзостью, перед любой злобной силой. Я не говорю уж про гангстеров и про сексотов, — перед обыкновенным хулиганьем бессильны! Вот ты, Благоносец хренов, — можешь ты отбиться от пары гопников? Дать в рыло? Заехать гаду по яйцам? Зла ведь никогда у меня на это не хватает. А она все равно в нас верит. И эта вера, она так дорого стоит, что ее почти уже невозможно приобрести. Как любовь. Как здоровье. Как талант. Неужели мы и в самом деле лучше, чем выглядим?.. «В конце концов, все зависит только от нас самих!..» Увы. В том-то и дело. Я бы предпочел, чтобы все зависело от кого-нибудь понадежнее...

...А герой дня Вадим был изжелта-бледен и дурен, глаза красные и заплыли, рот — кривой, словно его непрестанно тошнит и он вот-вот вырвет прямо на скатерть. («Так вот ты какой — человек третьего тысячелетия!..») Хлопотливый Матвей очень нежно его опекал, настоятельно пододвигал закуску, бегал в кухню за минералкой, подбирал

за ним падающие на пол вилки-ножики, — видимо, фундаментально и основательно напугал его Вадим своими бабскими фокусами, и Великий Математик уже и не знал теперь, чего еще ему следует опасаться. Зрелище это было, скорее, тошнотворное, но к своему удивлению Богдан испытал по этому поводу что-то вроде укола ревности: никогда не видел он Велмата таким заботливым и таким внимательным, он даже представить его не мог таким — этого ядовито-ехидного умника, всегда совершенно беспощадного и к себе, и к другим, и ко всему нашему нелепо-идиотскому миру. Да-а, а Вадим вот оказался — сущая размазня. Сопля зеленая. Тьфу... Или он все-таки актерствует? Быть того не может. А впрочем... Ничего мы друг о друге не знаем, да и знать не умеем, и так — всю жизнь. Открытие за открытием, и все открытия — почему-то поганые. Открываются расписные ворота души, и несет оттуда вдруг такой тухлятиной, что хоть святых выноси...

— М-м-м! Маришка! (Хрум-хрум.) Какие гренки! Божественно!..

— А это что такое? Бифштексы?

— Не тормози! Бифштексни!

— Это не бифштексы, брат. Это ГОВНАТРУБ.

— Чево-о-о?!

— Говядина натуральная рубленая, брат. Извини, брат.

— Слушайте! Прекратите жрать. Боба еще нет!

— Боба ждать — знаешь... Боб человек подневольный: когда отпустят, тогда и придет. И ни минутой раньше...

— Ты только закусывай, пожалуйста. Я тебя умоляю, Вадим, не надирайся. Подожди...

Дзынь-дзынь-дзынь — ножом по краю рюмки. Тенгиз. Решил, что пора, и возбудился к действию.

— Господа! Леди и джентльмены! Внимание! Вы что сюда — жрать пришли? Прекратите обжираловку, блин! Сначала — дело!

— Вот и именно! (Это Вадим. Уже на взводе и уже даже — с перебором.) Объявляется дело Вадима Христофорова, погоняло — Резалтинг-Форс! Пр-рашу! Вот стою я п'р'д вами, словно голенький...

— Да помолчи ты, ради бога! Отдай стакан!.. Не умеешь ведь пить, жопа с ручкой, совершенно...

— Д-да! Но зато я умею напиваться!

— Тихо! Заткнитесь все! Начинаем. Обстоятельства дела всем известны? Я полагаю, всем...

— Вове не известны.

— Вова перетопчется. Я к дедам обращаюсь: все в курсе?

Деды были в курсе. Все. Некоторые слышали эту историю уже

неоднократно — и от Вадима, и друг от друга. Всем и все было понятно. И никто не знал, что надо делать.

— У меня вопрос к Димке, — сказал Богдан. — Они прорез`ались последнее время? Или нет?

— Откуда мне знать, — проговорил Вадим, пьяно растягивая слова. — Они у меня телефон пр-рслушивают, суки...

— Когда ты их видел в последний раз? — терпеливо настаивал Богдан.

— «Не в этой жизни...» — Вадим истерически хихикнул.

— Отстань от него, — сказал Богдану озабоченный Матвей. — Что ты пристал к человеку? Не знает он ничего больше. И не соображает.

— Вижу-вижу, — сказал Богдан и замолчал.

Ничего у нас не получится, подумал он. Мы либо безразличны, либо бессильны. Бессильные мира сего... Но вот что поразительно: ведь я, кажется, завидую ему. За ним охотятся, от него чего-то еще ждут, он нужен кому-то, или мешает кому-то, или может быть кому-то полезен. Трепло, слабак, размазня, но представляет ведь собою некую ценность, причем, похоже, немалую. А я вот — пуст. И никому не нужен. Как высосанная банка из-под пива...

Вадим между тем стремительно надирался. Матвей хватал его за руки, отбирал стакан, отставлял подальше бутылки — ничего не помогало. Казалось, Вадим буквально цель перед собою поставил: надраться вглухую, — как можно основательнее и как можно быстрее. А скорее всего, так оно и было на самом деле. Может быть, он устал быть трезвым. «...Все, кто вам дорог, достойны самого лучшего... — провозглашал он, никого не слушая и ничего не слыша. — Я просто мою голову и иду... Что вы вообще можете понять? Слышали про такого: Эраст Бонифатьевич зовут... Педераст Бонифатьевич... Если бы у меня была под рукой двустволка, я бы набил этой суке морду...» — и он заливался смехом, кашлял смехом, задыхался смехом, беспорядочно раскачиваясь всем телом, словно воздушный шар на ветру.

— Отдай стакан, говорю!..

— Да отстань ты от него, в самом деле!

— Заткнись. Ты что — не видишь, что он вытворяет?.. Сидеть!

— Св-в'боду Вадиму Христофорову!..

Тут напольные часы (мрачная черная башня, отсвечивающая лаком и медными виньетками) подали голос — всхрапнули и ударили, глухо, с благородно-сдержанной мощью, так что все тотчас же замолчали, словно вдруг заговорил среди них старший, — да так оно и было, по сути дела: часы эти были старинные, немецкие, привезенные в свое время из Ваймара,

в счет репараций. Они размеренно отработали свое «хр-р-баммм!» восемь раз подряд, вздохнули напоследок и стихли. И Юра-Полиграф традиционно произнес с демонстративным благоговением: «Ей-богу, клянусь, встать хочется!..» И все переглянулись, и заулыбались, и почему-то всем сделалось хорошо.

...Всем, кроме Вадима, конечно, которому хорошо стать не могло уже ни при каких обстоятельствах. Ему теперь могло стать только плохо, и ему таки стало плохо, и Матвей с Маришкой поспешно увели его в ванную, а остальные вновь загомонили — главным образом, для того, чтобы заглушить мучительные звуки, доносящиеся оттуда.

— ...Вэл'вл!

— Что, горе мое?

— Перестань врать!

— Никогда! Настоящих жуков больше не осталось. Я еще застал жуков-носорогов. Oryctes nasicornis. Под Лугой их было довольно много. Но вот жука-оленя живого не видел ни разу. Сейчас все они исчезли навсегда. Бронзовка обыкновенная — Cetonia aurata — заделалась редкостью. Жужелицы крупной на огороде не встретишь...

— А в Японии, между прочим, жуков до черта. Их там разводят.

— Сравнил! Япония войну проиграла. Тоталитарным государствам полезно проигрывать войны — они от этого сразу идут на поправку.

— Мы тоже проиграли войну.

— Верно. Но во-первых, гораздо позже. А во-вторых — явно идем на поправку.

— Что-то не видно.

— Видно, видно. Но жуков нам уже теперь не вернуть. Разве что в Японии станем закупать. Но нет худа без добра: у нас появились удивительные тараканы!..

— Полундра! Не надо про тараканов!

— Слушайте, жлобьё, мы будем языком болтать или мы будем, блин, делом заниматься?..

— ...Открывает жена. Руки опущены, подбородок открыт...

— Недурно. Но мне больше понравилось про новоросса. Выходит из Эрмитажа и говорит: «Ну, что ж. Не бог весть что, конечно, но ничего, ничего — чистенько...»

— «Машка, женушка моя дорогая! Родила? Сколько? Трое? Мои есть?..»

— ...А ты представь себе «Ревизора» с точки зрения чиновника. История про то, как мелкий проходимец и негодяй обманул приличных и

порядочных людей...

— ...Слушай, вот интересно, что было бы, если бы у Николая хватило сообразительности дать Александру Сергеевичу сразу камергера вместо камер-юнкера?

— Между прочим, я только к старости узнал, что Ольга, оказывается, была сестра Татьяны...

— Господи! А кто же она тогда была, по-твоему?

— Ну, не знаю, брат. Приятельница. Подружка. «Скажите, девушки, подружке вашей...»

Потом Маришка снова появилась, растерянная и встрепанная, и сразу же, не садясь, налила себе минералки и жадно выпила.

— Ну и ну, — сказала она и опустилась на ближайший стул.

Андрей произнес с недурным французским прононсом:

— Monsieur Christoforoff va s'animaliser.

Кто понял — промолчал, кто не понял — тем более. А Вельзевул осведомился деловито:

— Уложили?

— Там с ним Матвей... — ответила Маришка невпопад. — Ребята, он так долго не протянет, надо что-то делать, честное слово. Богдан, ты не хочешь им заняться?

— Нет, — сказал Богдан так резко, что все сразу же замолчали и теперь смотрели на него. Даже Тенгиз. Даже опекуемый Вова.

— Извини меня, конечно, но почему? — спросила Маришка беспомощно. — Это же сейчас — совершенно очевидно — твой клиент.

— Я предпочел бы не давать объяснений, — сказал Богдан таким тоном, чтобы разговор прекратился. И разговор прекратился.

— Что ты выяснил? — спросил Тенгиз, переведя тяжелый взор свой на Страхоборца. — Ты узнал что-нибудь?

— Да. Я узнал, что Аятолла замечательная личность и что у него есть два слабых места.

— Целых два? — сказал Юра-Полиграф. — Да он у нас просто слабак!

— Первое: он любит жену. Второе — он любит сына.

— О боже! — сказала Маришка нервно.

— Сын маленький? — осведомился Юра.

— Да. Десять лет.

Некоторое время все молчали, уткнувшись в тарелки, и только Маришка оглядывала всех по очереди, постепенно закипая.

— Это не для нас, — сказала она наконец решительно.

— Но он-то этого не знает, — возразил Страхоборец.

— И думать на эту тему не хочу, — сказала Мариша. — И вам не разрешу. Забудьте. Прямо сейчас.

— «Гордость составляет отличительную черту ее физиономии», — произнес Юра-Полиграф, безусловно, кого-то цитируя.

— Хорошо, хорошо, — сказала ему Мариша нетерпеливо. — Но я на эту тему даже разговаривать не желаю.

— Ну, вот что, золотко мое, — сказал Тенгиз, глядя ей в лицо. — Либо мы тут будем обливаться соплями, блин...

— Да, мы будем обливаться соплями! И всё! Нет темы для разговора!

— Ты скажи это Димке... — мрачно предложил Тенгиз, отводя, впрочем, глаза.

— Скажу, не беспокойся. И он со мной согласится. Со мной, а не с тобой.

Ну, это, положим, дело темное и отнюдь не очевидное, подумал Богдан, но в дискуссию вступать ни с кем не стал, а только спросил Тенгиза:

— Подобраться к нему вплотную можно?

— Можно, — сказал Тенгиз.

— Так за чем же дело стало?

Тенгиз не отвечал, как бы находясь в затруднении. Все смотрели на него и ждали.

— Слишком уж легко к нему подобраться, — сказал наконец Тенгиз медленно. — Мне это не понравилось.

— То есть?

— Я прошел к нему в офис свободно, блин, как в собственный сортир. Гада не оказалось на месте, но все равно — легкость эта... эта вседозволенность... там же охраны должно быть, как в Кремле. Тут что-то явно не так, блин. Так не бывает. Мне показалось, что это западня. Капкан для дураков.

Появился Матвей, запыхавшийся, но веселый.

— Слава тебе господи, — сказал он. — Задрыхнул наконец... Ну, что вы тут без меня решили?

— У него есть еще одна слабость, — сказал Страхоборец, уклоняясь от ответа на этот вопрос. — Он страдает арахнофобией.

— Это еще что за зверь такой? — осведомился Юра.

— Он боится пауков, жуков, мокриц и все такое прочее.

— О! Это интересно! — оживился Вельзевул. — И сильно боится?

— Было сказано: до смерти. Как ребенок.

— Отдайте его мне! — сказал Вельзевул радостно. — Где он живет?

Адрес?

— Он живет в Царском Доме. Тебя туда не пустят.

— Ничего! Тенгиз проведет.

— Хрена, — сказал Тенгиз. — Царский Дом, знаешь, — там все на автоматике...

— Ну, нет, и не надо, — легко согласился Костя. — Чего мне там у него в квартире делать, в конце-то концов? И так прекрасно обойдусь.

Все смотрели на него с ожиданием, а он сиял и радовался, даже на стуле подскакивал от удовольствия, — он уже понял решение, Дуремар заполошный, да и не так уж трудно было сообразить, что именно он задумал, только выглядел этот его замысел дураковато и несерьезно на фоне сложившихся обстоятельств — инфантильно и легкомысленно, как и все Вельзевуловы замыслы. Потом он вдруг перестал сиять, сморщился, отчаянно чихнул в торопливо сложенные ладони — и тотчас же, под грозным взглядом Маришки, полез в карман за марлевой повязкой.

— Накаркал ты мне, Вова, — гнусаво сказал он, укоризненно моргая слезящимися глазами. — Опекуемый хренов, куда только твой опекун смотрит...

Богдан сказал:

— Опекун все-таки хотел бы окончательно понять, о чем здесь у нас идет речь. Мы же знаем Димку сто лет. Он же выдумщик, артист, почему я должен ему верить?

— Ну, знаешь! — сказал Матвей, ошеломленный и возмущенный одновременно.

— Нет уж, позволь! В прошлом году он устроил нам спектакль по поводу падения дойче-марки. В позапрошлом году мы все как идиоты...

— Перестань, Благоносец. Не срамись, — Матвей, весь скривившись, налил себе водки. — Не знаешь — не берись и судить. Видел бы ты его этой ночью.

— А что такого особенно произошло этой ночью?

— Не хочу рассказывать. Он подыхает от страха, понимаешь?

— Нет. Не понимаю. Где гарантия, что он не разыгрывает перед нами очередной свой водевиль? Что я — Димку не знаю?

Матвей на это ничего не сказал, а только скривился еще больше и выпил свою водку, не закусывая и даже как бы не заметив.

— Я ему верю, — сказала Маришка.

— Я тоже, — сказал Тенгиз, как бы нехотя.

— Ты, Благоносец, по-моему, просто ищешь предлога уклониться, — сказал Андрей-Страхоборец, вежливо улыбаясь. — Подчеркиваю: по-

моему. Извини. Без обид, ладно?

— Ладно, — сказал Богдан.

— Ты же видишь, на что он похож...

— Вижу. На переполненный нужник.

— Ну, допустим. Но разве это не твоя работа?

— Допустим. Наверное, я должен его осушить. Но — не буду.

— Это — твои проблемы, — сказал Страхоборец, вежливо улыбаясь. — У нас — свободная страна...

— Он одинок, как я не знаю кто, — сказал Матвей с проникновенностью, совсем ему не свойственной. — Он знаешь мне что сказал? Представь, говорит, километровый столб посреди степи. На одной табличке у него: одна тысяча тридцать пять кэмэ, а на другой: три тысячи сто сорок четыре. И я стою около этого столба. Один.

...Что вы понимаете в настоящем одиночестве, подумал Богдан с каким-то даже мрачным удовлетворением. Сказал бы я вам, что такое настоящее одиночество. Это когда никого не хочется видеть. Никогда. Но сказал он другое:

— И за километраж ты тоже ручаешься?

— И за километраж я ручаюсь тоже, — сказал Матвей вполне серьезно.

Богдан решил не развивать эту тему. Хотя ему очень хотелось спрашивать и дальше. А помните (хотелось ему спросить), как он всех нас почти убедил, что появилась в Питере банда «чистильщиков»? Это он их так называл: чистильщики. То ли новая секта, то ли — даже — новые люди, зигзаг эволюции. Они, видите ли, очищали город от скверны, в первую очередь от лжецов, — отлавливали их и драли ивовой лозой — церемониально, с приговором, в специальных тайных помещениях, надевши белые маски. А лозу по старинным рецептам выдерживали в уксусной эссенции... И ведь Юрка-Полиграф без малого поверил тогда, что еще год-другой и останется он без работы...

...А как он придумал и сообщал всем по большому секрету: в городе исчезают люди. Не первый год уже. И — в количествах. Их отправляют в будущее. По какому-то странному, неудобопонятному принципу. А дело-то все в том, оказывается, что обнаружен летальный ген человечества, который распространяется как пожар, и вот теперь пытаются спасти хоть кого-то, хоть немногих... Маришка, между прочим, поверила и сейчас же рванулась искать этих спасателей, чтобы похлопотать о своем детдоме...

Ладно. Как хотите. Я и сам не уверен, что он сейчас разыгрывает с нами спектакль. Он выдумщик, конечно, но не Тальма все-таки, Франсуа

Жозеф, и даже не Смоктуновский, Иннокентий... И вообще меня от него тошнит...

В этот момент с потолка (или с люстры?) камнем упало нечто тяжелое, многоногое, живое — грянулось с костяным стуком о край сахарницы, отскочило, перекувырнулось и понеслось стремительно по скатерти, сумасшедшим зигзагом, огибая бутылки, чашки и бокалы. Это был, несомненно, таракан — огромный, Богдану показалось — с кулак величиной, никогда он таких не видел... черный, отсвечивающий красным, стремительный, он слаломным зигзагом промчался по столу и — словно ласточкой с берега — прыгнул на колени Вельзевулу и тотчас же исчез, будто его никогда здесь и не было, будто это некое омерзительное видение шарахнуло всех по глазам и тут же пропало без следа. Никто не успел испугаться по-настоящему, но все дружно и с шумом отшатнулись, а Маришка коротко взвизгнула и вместе со стулом стремительно отъехала к стене.

«Мать-твою-наперекося!..» — произнес Тенгиз, вскакивая на ноги, грянул хор возмущенных голосов, в котором особо выделялся отчаянный вопль Маришки: «Убирайся, он по тебе ползает, брысь с глаз долой, чтобы я тебя никогда не видела!..», Вельзевул делал успокаивающие жесты, рассылал обеими руками воздушные поцелуи, и даже сквозь повязку видно было, как самодовольно он ухмыляется, а когда вопли и проклятия поутихли, он зловеще пообещал: «Этот гад будет у меня кричать «капиви»...», но все были так злы и раздражены, что никто даже не спросил, что он этим хочет, собственно, сказать. Впрочем, и так все было ясно — по одной лишь интонации.

Вельзевула заставили встать со стула, распахнуть куртку, расстегнуть рубаху, потрясти портками. Экстремисты требовали, чтобы он разделся догола. Повелитель Мух помирал со смеху: «Да нет его здесь! Да он же уже в подвале... Что он — дурак, что ли?» В разгар суматохи раздался звонок в дверь, объявился Роберт, строгий и неулыбчивый, как и всегда, его усадили в единственное полукресло, налили водки, Маришка принесла из кухни парочку еще теплых бифштексов. Богдан смотрел, как обхаживают лорда Винчестера, и старательно отгонял от себя тухлые мыслишки о «близости к телу», а равно о свечении отраженным светом. Вздор все это. Боб — высокомерен без заносчивости и строг без жестокости. Вполне достойная личность, на самом деле, да сэнсей и не стал бы держать около себя недостойного. И он почему-то вспомнил вдруг, как Тенгиз сказал Роберту в сердцах: «Ты же у нас символ супер-гипер-благопристойности. Ты, блин, даже когда пистон ставишь, только о том и думаешь, как бы сохранить при

этом максимально возможную благопристойность...» Роберт тогда в ответ вполне благосклонно хмыкнул — видимо, нарисованная сценка показалась ему не столько обидной, сколько забавной. Нет-нет, он славный, наш лорд Винчестер, только слегка пересушен...

— Как там наш сэнсей? — спросил Богдан из вежливости. Кто-то же должен был это спросить.

— Сэнсей в полном порядке, — лаконично ответствовал Роберт, поедая бифштекс.

— Указания? Пожелания? — подключился уже основательно поддавший Юра-Полиграф. — Приказы?

— Вольно. Можете отдыхать.

Роберт явно не собирался распространяться на эту тему, что, впрочем, не противоречило обыкновению.

— Подлинная деликатность всегда незаметна, — прокомментировал ситуацию Андрей-Страхоборец и осведомился: — Тебе рассказать, о чем мы здесь договорились?

— Обязательно. Только — вкратце.

— Еще бы. Разумеется, вкратце. Тенгиз, расскажи человеку.

Тенгиз сказал:

— Значит, так. Я предлагаю следующий вариант. Выборы в воскресенье. В воскресенье, прямо с утра Димка переселяется сюда, ко мне. Пусть поживет пока здесь, так мне будет спокойнее. В понедельник я выхожу на Аятоллу и имею с ним беседу. Далее будем действовать по обстоятельствам. Ты, Вельзевул, должен быть к этому времени полностью готов. Успеешь? (Вельзевул кивнул.) Хорошо. Есть у меня еще и запасной вариант, но сначала, Боб, скажи, в какой степени мы можем рассчитывать на сэнсея?

— Ни в какой, — сказал Роберт, подбирая соус корочкой.

— То есть? Ты что — так с ним и не поговорил?

— Нет. Я поговорил с ним. В последний раз — час назад. Мы не можем на него рассчитывать.

— Но почему, блин? Что он тебе сказал?

— Дословно?

— Давай дословно.

— Он сказал: «Отличная штука — команда. Всегда есть возможность свалить вину на кого-нибудь другого».

— Что это, блин, значит? — спросил оторопевший Тенгиз.

— Это так называемое «Восьмое правило Фингейла». Если тебе от этого легче.

— И все?

— И все, — сказал Роберт-Винчестер и потянулся к остывшим уже гренкам на огромном фамильном блюде кузнецовского фарфора. — Слушай, Матвей, — продолжил он без всякого перехода. — Давно тебя хотел спросить. Можно назвать геделевским утверждение «Вселенную создал Бог»?..

Богдан не стал слушать дальше. Ему было неинтересно знать, является ли это утверждение геделевским, тем более что он смутно представлял себе, что это означает — «геделевское», и был совершенно уверен, что Вселенную создал не Бог. Он поднялся, вылез из-за стола и поманил за собою опекуемого Вову. Надо было работать. Он мало что умел делать в этой жизни, но то, что он умел, он делал лучше многих. Может быть, лучше всех.

Он прошел в спальню. Вова грузно топал след в след, тяжело сопя, как ломовая лошадь. Однако в сопении этом уже слышался рабочий азарт: опекуемый предчувствовал работу, а работать он тоже любил. Хотя и мало что пока умел.

Вадим лежал на боку, свесив руку до полу, зеленоватое лицо его было смято подушкой, и весь он выглядел как раздавленное животное. Сейчас это был просто бурдюк, наполненный отчаянием, бессилием и смрадным страхом. Но он же вполне здоров, возразил Вова. Это тебе только кажется, ответил Богдан. Он несчастен, а несчастье это болезнь. Более того, это лоно всех болезней на земле. Несчастье не лечится, возразил Вова. Оно проходит само собой, как дождь. Или не проходит, сказал Богдан. Или не проходит, согласился Вова. Но тогда оно перестает быть несчастьем и становится образом существования...

— Правильно поступает тот, — процитировал Богдан, — кто относится к миру, словно к сновидению. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Говорят, что наш мир ничем не отличается от такого сна.

Однако Вова тоже читал «Книгу самурая». И тоже ценил ее.

— Но с другой стороны, — возразил он немедленно, — даже чашка риса или чая должна браться в руки должным образом, без малейшей неряшливости и с сохранением бдительности.

Богдан усмехнулся и преподнес опекуемому свое любимое:

— Не нужно быть все время настороже, — сказал он. — Нужно просто считать, что ты УЖЕ мертв.

— Это правило не для нас, — сказал Вова, как бы обидевшись. — Это — для них.

— Для нас тоже, Вова. Для нас тоже... Ладно. Приступим?

— Попробуем, — сказал вдумчивый и осторожный Вова и присел перед Вадимом на корточки, оттопырив необъятный свой зад молодого дегенерата.

Глава девятая ДЕКАБРЬ. СУББОТА ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ

— Он не музыкант! — нетерпеливо повторил сэнсей (в третий раз). — Он совсем не музыкант и никогда не станет музыкантом.

— Но он же не расстается со скрипочкой! — настаивал папаня. — Мы купили ему скрипочку, и он прямо готов с ней спать...

— С игрушечными машинками он ведь расстался со временем? И с железной дорогой, не так ли?

— Но это же совсем другое дело! Тогда он был дитя.

— Он и сейчас дитя, — сказал сэнсей. — Не делайте из него взрослого. Если бы он был взрослый, я бы за него не взялся.

— Но ведь педагог сказал, что у него абсолютный слух!

— Господин Фираго, у меня тоже абсолютный слух. Но я не музыкант. Более того, у меня абсолютный нюх, но я не служебная собака.

— Это совсем другое дело.

— Вы читали мое заключение?

— Конечно! Мы читали его как священное писание.

— Вы поняли, что там написано?

— Там написано...

— Там написано, что мальчик по природе своей, — по сути своей, понимаете? — по организации психики, по настрою души, по структуре подсознания — систематизатор. Он талантливый архивист, коллекционер, может быть, будущий Линней или Менделеев... А вы хотите сделать из него лабуха. Чтобы обслуживать второразрядные свадьбы. Или вообще пиликать с шапкой на полу — в переходах метрополитена.

— Но согласитесь, Стэн Аркадьевич, если приложить усилия... Если бы вы все-таки взялись...

— Усилия здесь ни при чем. Я не могу сделать хорошего музыканта из хорошего архивариуса! Я вообще никого и ни из чего не делаю. Черт возьми, я же объяснил вам с самого начала! Я только говорю: вот дорога, по которой ему лучше всего идти...

— Если это потребует дополнительных занятий, мы готовы увеличить гонорар до необходимых...

— Вы ни черта не понимаете, Фираго. Вы меня не слушаете. Сколько вам лет, сорок?

— Сорок два.

— Сделайте себе еще одного ребенка. Может быть, получится музыкант. А сейчас — я занят. До свидания. Роберт, произведите расчет с господином Фираго.

И он умчался, яростно крутя головой, растягивая на ходу ненавистный парадный галстук. Роберт сейчас же поднялся, руки по швам, — демонстрируя таким вот образом необходимое почтение. Не то чтобы так у них было заведено, но на клиентов это должно было производить — и производило — соответствующее впечатление. Вот и сейчас господин Фираго тоже судорожно подскочил на месте — круглый и розовый, как надутый шарик — и даже сделал попытку поклониться в адрес стремительно удаляющегося мэтра. Господин Фираго был бизнесмен, а значит, уже наверное не полный осел, — но он, видимо, просто никак не мог уразуметь, что есть вещи, которые невозможно купить. «Если приложить усилия. Если постараться. Если очень хорошо постараться и приложить все необходимые усилия...»

— Вы думаете, мне его не переубедить? — озабоченно спросил он у Роберта. — Если, например, очень постараться?

— Я бы вам не советовал, — отозвался Роберт, тоже озабоченно. Со всей доступной ему озабоченностью. — Можно перегнуть палку. Давайте лучше пока ограничимся уже достигнутым. А там видно будет.

Это была безотказная проверенная идея. Главное — построить в воображении клиента перспективу, остальное начнет совершаться как бы само собою.

— То есть, вы думаете, через месяцок-другой?..

— Правильнее: через полгодика-год, — сказал Роберт, вынимая из принтера распечатку счета-договора.

— Ну что ж... — Перспектива обрисовалась, процесс пошел. — Наверное, вы правы. Я готов положиться на вашу компетентность. Вы известите меня, когда это потребуется?

— Мы еще не раз с вами увидимся, — пообещал Роберт. — Мы теперь в прочном контакте. Наверняка понадобятся дополнительные консультации. И неоднократные. Так всегда бывает... Вот ваш счет. Как вам удобнее — чеком или наличными?

Господину Фираго оказалось удобнее наличными. И почему-то — дойче-марками. При том, что аванс он выплачивал, помнится, английскими фунтами. Видимо, он что-то как-то таким вот образом выгадывал. Он, видимо, был из тех, кто постоянно выгадывает четверть процента. Это был его модус операнди, плавно преобразовавшийся уже в модус вивенди. Наверное, это способствовало его процветанию. Наверное, он был богат.

(«Мерседес», мордастый шофер-охранник, бумажник, плотно набитый кредитными карточками и валютой.) Но при всем при том он был все-таки еще и дурак.

— Позвольте мне... — сказал он, протягивая Роберту радужную бумажку (кажется, двести марок). — В знак признательности... и с особой благодарностью...

Роберт мельком глянул на бумажку и, поджав губы для значительности, стал смотреть господину Фираго в лицо, — но не в глаза ему, а ниже, в румяные нервно шевелящиеся губы. Наступила минута острой неловкости, и длилась она секунд десять.

— Все! Понял! — господин Фираго поднял руки (в одной бумажник, в другой — бумажка). — Намек понят и усвоен! Все деньги — из одного окошечка, правильно, разумно. Был бестактен. Забудем, договорились?

Забудем? Роберт мысленно усмехнулся. Ну нет.

— Договорились, — сказал он. И почувствовав в тоне своем некое невольное пренебрежение, высокомерие даже какое-то барское, поспешно добавил: — Нет проблем. Дело житейское.

И тут в лице господина Фираго, в румяном этом глуповатом личике фарфорового поросенка, что-то неуловимо изменилось, и сам он изменился весь — как бы выпрямился и сделался даже выше ростом. Роберт, удивившись и насторожившись, приготовился уже выслушать горделивую тираду (в защиту незапятнанной чести и достоинства), но господин Фираго, напротив, понизил почему-то голос и спросил вдруг:

— А мы с вами как, не мешаем маэстро? Не слишком здесь галдим?

Словечко «галдим» в устах его прозвучало совершенно неожиданно и неуместно, да и сам вопрос показался Роберту как бы из другой пьесы, словно Сальери-Смоктуновский заговорил вдруг в манере Юрия Никулина.

— Не думаю, — сказал он озадаченно. — Не думаю, что он нас вообще слышит... Но орать при этом, разумеется, не следует, — добавил он на всякий случай.

— Ни боже мой. Наоборот. А как здесь у вас насчет «жучков»?

— Каких жучков?

Господин Фираго менялся на глазах. Куда девался розовый надувной шарик с поросячьими манерами? Перед Робертом стоял озабоченный и внимательный джентльмен, склонный, правда, к полноте, но при этом вполне элегантный и даже значительный.

— Я, собственно, имею в виду записывающие устройства, — пояснил он деловито. — Как тут у вас насчет?

— Не знаю, — сказал Роберт, от удивления рассердившись. — А в чем,

собственно, дело?

— А в том дело, что я хочу поговорить с вам сейчас о довольно интимных вещах. Можно? Или лучше не рисковать?

У Роберта мелькнула было мысль, что с папаней случился приступ мании преследования пополам с манией величия, однако господин Фираго эту мысль немедленно развеял.

— Вам большой привет от Германа Тихоновича, — сказал он, еще основательнее понизив голос и глядя Роберту прямо в глаза — зрачки в зрачки, совершенно так, как некогда делал это сам Герман Тихонович. И хотя Герман Тихонович в своей роли смотрелся, безусловно, гораздо более убедительно, но и у господина Фираго получалось тоже очень даже недурно.

Так, подумал Роберт, почувствовавши неприятный холодок в подвздошье. Начинается. Квартал прошел, и ничего, оказывается, не кончилось. Эти не отпускают: четвертак за вход, четвертной за выход...

— Спасибо, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал по возможности ровно, но, видимо, то ли с голосом у него, то ли с лицом что-то сделалось не в порядке, потому что господин Фираго вдруг усмехнулся (не без тонкости) и продолжил:

— Герман Тихонович просил меня узнать, как продвигается ваша рукопись. Три месяца уже прошло, хороший срок, роман можно успеть написать.

— Я не романист, — сказал Роберт, с трудом побеждая в себе желание облизнуть губы. Сухие губы клейким языком. Мерзость какая.

— Само собой, — тут же согласился сотрудник Германа Тихоновича, он же — в недавнем прошлом — папаня. — Само собой, кто бы спорил. Но — все-таки? Это не я, это Герман Тихонович интересуется. Когда все-таки можно ждать обещанного?

Тут, разумеется, напрашивалось «обещанного три года ждут», но это было бы слишком уж жалко, мелко и злобно. И беспомощно.

— Я предпочел бы говорить на эти темы с самим Германом Тихоновичем, — сказал Роберт.

— Понятное дело! Но раз уж я здесь, то как ему передать?

— Так и передайте, — сказал Роберт со всей возможной твердостью. — Слово в слово.

— Господи, да вы не волнуйтесь! — воскликнул господин Фираго. — Не хотите — не надо. Конечно, так и передам. Слово в слово. Что вы, в самом деле, Роберт Валентинович! Даже с лица спали, ей-богу. Работайте себе спокойно, мы не спешим. Никто вас не торопит. Главное, лишь бы

дело делалось...

Роберт не ответил, и господин Фираго тут же совсем отступился, заспешил, снова сделался папаней — озабоченным и слегка дураковатым, стал прощаться, суетясь фарфоровым личиком. Роберт, держа каменное лицо, проводил его в прихожую, подал пальто, шарф, шляпу. Кейс. Господин Фираго пыхтя упаковался, спросил озабоченно: «Значит, вы полагаете, он меня еще вызовет?» — и, не дожидаясь ответа, двинулся на выход, да так споро и энергично, что Роберт еле поспевал отпирать перед ним двери. Попрощались у решетки. «Очень на вас рассчитываю, Роберт Валентинович, по моему делу. Если будет малейшая возможность, попытайтесь его подвигнуть, так сказать... Мальчик не расстается со скрипочкой...» Роберт кивал. Ему очень хотелось что-нибудь сказать напоследок (для передачи Герману Тихоновичу персонально), что-нибудь веское, значительное что-нибудь, но он не знал, что именно. В голове у него вертелось только: «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?..» Это было бы и крепко, и веско, но абсолютно не соответствовало ситуации. Поэтому он не сказал ничего. Он даже не попрощался.

Потом он вернулся на рабочее место, извлек из нижнего ящика стола папку с рукописью и бездумно перебросил несколько страниц. Попытался было читать, но тут же оказалось, что он ничего перед собою не видит, кроме поросячьего личика папани с внимательными глазами Германа Тихоновича. Сволочьё. А чего ты, собственно, от них ожидал? Что оно все само собой потихонечку изноет и рассосется? Нет, миленок: четвертак — вход, четвертной — выход. Но ведь я и четвертака вам не платил, вы меня бесплатно к себе запустили. Профес-с-сионалы... Он вынул из папки последнюю страницу и перечитал примечания сэнсея. Четыре пункта. Хотя нет, строго говоря, три.

> «1. Иногда его схватывает позыв на низ (это называется императивным позывом), он все бросает и мчится в сортир.
> 2. Когда питается — весь подбородок замаслен.
> 3. Халат никогда у него не стирается, попахивает козлом.
> 4. Еще что-нибудь. Подумайте».

Думал. Но ничего новенького так и не придумал. Противно было. И думать было противно, и придумывать. А, главное, не понятно было, зачем, елки-палки, все это понадобилось и для чего?

> «Не забывайте, что Ваше умение «помнить все без

> исключения» должно быть им хорошо известно. Поэтому обратите внимание на Ваши неудачные выражения типа «если не ошибаюсь», «не помню точно, кто», которые в свете названного факта выглядят для внимательного читателя странновато и малоестественно...»

Потом — еще полуабзац, перечеркнутый крест-накрест, но разобрать текст можно без особого труда: *«Не надо так много об обстоятельствах личной жизни. Это бесполезно...»* А ниже приписано: *«А впрочем, пишите, как хотите»*.

Собственной Его Императорского Величества рукой начертать соизволил... Зачем ему это надо? Зачем-то надо. Никакого представления не имею зачем. А вот мне бы надо было сразу же отказаться. Наотрез. Без размышлений. «Нет», — и все разговоры. Что бы они мне сделали? За границу бы не выпустили? Так я туда и не рвусь, мне и здесь неплохо... Плевать я на вас хотел. Не прежние времена на дворе... Но порядки, похоже, старые, подумал он с горечью. «Новый год, порядки старые, холодной проволокой ржавою наш лагерь окружен, кругом глядят на нас глаза легавые, и сталь холодная блестит со всех сторон...» Ну-ну-ну, сказал он себе. Не до такой же степени, все-таки... Правильно, не до такой. Не смертельно, но зато — тошнит. Меня. А его? Неужели же его — не тошнит?

Он поднялся и, на всякий случай ступая осторожно, чтобы не скрипеть и не шуршать, прошел по коридору. Спальня: дверь настежь, форточки настежь, шторы опущены, тихо, пусто. Гостиная: дверь настежь, тихо, темно, торшер выключен. Сам лежит на диване в любимой позе: газета поперек живота, горбатый длинный нос уставлен в потолок, одна тапочка свалилась на ковер. Спит. Глаза закрыты.

— Что-то случилось? — тут же спросил сэнсей. Глаза у него, оказывается, были, наоборот, вполне открыты, просто смотрели с прищуром, но очень внимательно и с интересом.

— Они опять на меня вышли, — сказал Роберт.

Сэнсей несколько секунд молчал, потом спросил (или объявил?):

— Господин Фираго.

— Да. Спрашивал, как идет работа над рукописью.

— То-то он меня доставал, как умел. Я еще подумал: что за осел нам попался, прости господи. А он просто хотел, чтобы я выкатился побыстрее... И что вы ему сказали?

— Сказал, что не буду с ним разговаривать. Пусть начальство вызывает.

Сэнсей с кряхтением поднялся и сел, нашаривая потерянный тапочек. Газета съехала на пол, он не обратил на нее внимания.

— А что это вы с ним так сурово, Робин?

— А как было надо?

— Ну, не знаю... Удовлетворили бы законное любопытство сотрудника компетентных органов. Рассказали бы, как идет работа: заканчиваю-де, как только, так сразу... Подневольный же человек, зачем его так уж сурово отшивать.

Роберт, сделав два шага, нагнулся, подобрал газету, сложил по возможности аккуратно и пристроил на журнальном столике среди бумаг. Потом он сказал:

— Затошнило меня, сэнсей, вот и все.

Сэнсей произнес (словно максиму процитировал):

— Они знают о нас только то, что мы им сами говорим. Вот пусть и знают. То, что мы с вами им говорим.

— А зачем им вообще что-нибудь о вас знать?

— Работа у них такая. Сволочная. Но интересная! Скажете, нет?

— Не знаю, — сказал Роберт. — И знать не хочу. Меня от них тошнит.

— Нормальная реакция нормального человека, — сказал сэнсей с одобрением. — Вы абсолютно здоровый и нормальный человек, Робин. С чем я вас и поздравляю.

— То есть, вы по-прежнему настаиваете, чтобы я...

— Настаиваю, Робин. Самым решительным образом. Это пойдет на пользу силам мира и прогресса. Вы уж мне поверьте.

Было ясно, что он опять ничего толком не объяснит и не намекнет даже. И было ясно — как день, — что у него есть цель, есть план, есть замысел. И придется ему споспешествовать. Раз уж вообще взялся на него работать.

— Что у нас сегодня на обед? — спросил сэнсей.

— А что бы вы хотели?

— Рыбный суп. И бутерброды из черного хлеба с аджикой.

Роберт не удержался, расплылся в улыбке, как довольный младенец.

— Жутко вредно!

— А наплевать. Все вредно. Поправьте меня, если я ошибаюсь: «Все, что есть приятного в жизни...»

— «Все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо незаконно, либо ведет к ожирению». Первый постулат Пардо. Ладно, убедили. Будет вам рыбный суп с черным хлебом с аджикой.

— С хлебом с маслом и с аджикой!

— С маслом и с аджикой.

Сэнсей удовлетворенно вздохнул, снова лег навзничь и сложил ладони на груди.

— Замечательно, — сказал он. — Тогда я еще погоризонталю. После обеда сон серебро, а до обеда — золото!

Роберт не стал спорить.

Он вернулся к себе, на рабочее место, и сейчас же позвонили в дверь. Никому не было назначено на это время, и Роберт, заранее насупившись, пошел смотреть, кто там еще пожаловал. Оказывается, пожаловал несчастный Вадим Резалтинг-Форс, уже вполне протрезвевший, но — в своей штопаной серой штормовке, в кепчонке своей кожаной — похожий не то на бомжа, не то на студента-пропойцу, — замерзший, скукоженный, красноносый и мокрый.

— Я — к сэнсею, — объявил он прямо с порога в ответ на изумленно-неприветливый взгляд Роберта.

— Сэнсей занят.

Он словно ждал этого.

— Ну, я тогда просто с тобой посижу. Можно? Или ты тоже занят?

И такая жалкая готовность принять самое худшее, такая раздавленная гордыня, такая безнадежность пополам с жалобной заносчивостью прозвучала в этом вопросе, что Роберт, сам того не желая, посторонился и пропустил его в дом.

В прихожей он велел ему раздеться, повесить штормовку на плечики, велел кеды отсырелые снять и надеть гостевые тапочки, завел в туалетную, дал полотенце — вытереть морду. Вадим подчинялся беспрекословно и даже с готовностью, и Роберт подумал, что давно уже не видел такого Вадима: тихого, покорного, послушного. Видимо, вчерашнее «очищение подпространства души» сделало свое светлое дело.

Сначала он хотел отвести его в дежурку, а потом решил, что это будет слишком близко к сэнсею, и выбрал кухню. Тем более что скоро все равно надо будет готовить обед.

На кухне Вадим, как благовоспитанный мальчик, уселся на табуретку — ладошки под себя, — и они поговорили. Вполне светски.

— Чайку заварить?

— Чай-кю?

— Да, чайкю. Заварить?

— А какой у тебя?

— «Крепкий».

— Ну, уж я надеюсь, что не жидкий...

— Да нет. Называется так: чай «Императорский. Крепкий».

Вадим задумчиво спел:

— «Чай «Великий Тигр» каждый выпить рад...»

— Понятно. Может, кофей-кю?

— «Кофе пить будем и державу подымем!..»

— Хм. Ты сегодня в хорошей форме. Может, водочки?

— Нет, — сказал Вадим решительно. — Хватит с меня. Тем более я теперь человек внутренне чистый. Зачищенный, так сказать. Кстати, ты видел, как он это делает?

— Богдан? Нет. Не видел никогда. А что?

— Так. Интересно было бы посмотреть. «Зачистка», как никак, не хрен собачий. «Зачищение подпространства».

— Не знаю, не видел, — повторил Роберт. — Знаю, что он ушел к тебе со своим воспитуемым, с Вовой с этим, а потом через полчаса вышел, очень мрачный, и сказал: «Все, хватит с него, засранца...» То есть — с тебя.

— А Вова что сказал?

— А Вова не сказал ничего. У Вовы был такой вид, будто он вообще смутно представляет, где он находится и который на дворе год.

— Сильная штука — эта зачистка, — сказал Вадим. — Я ничего не помню. А проснулся — будто это не я. Будто выздоровел от какой-то застарелой пакости... Представляешь?

— Нет.

Вадим покивал, глядя мимо Роберта в окно.

— Будто совсем новый человек, причем даже — малознакомый. Мощная штучка — наш Богдаша. А я, надо признаться, никогда в него по-настоящему не верил. Думал, все это так, залепуха. Для старух... — Он помолчал. — Впрочем, в любом случае все это — ненадолго. Увы.

Роберт на захотел уточнять. Да он и сам знал, что — ненадолго.

— А Матвей где? — спросил он. Просто так спросил. Чтобы переменить тему.

— Я от него улизнул.

— Правда? А я думал, он внизу, у себя в машине сидит.

— Он наверняка сидит где-нибудь у себя в машине, но вряд ли внизу... А зачем он тебе?

— Да так. Поговорить хотел.

— А ты поговори со мной, — предложил Вадим. С самым серьезным видом.

(О чем? — сейчас же захотелось Роберту спросить. О чем нам с тобой сейчас разговаривать? Жаловаться друг другу, какие мы несчастные —

полураздавленные жертвы рэкетиров?..)

— А что ты в этом смыслишь? — сказал Роберт вместо этого.

— В чем?

— «Вселенную создал Бог» — это геделевское утверждение или нет?

— Что значит — геделевское?

— Ну такое, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Вадим посмотрел, искрививши рот, а потом пробормотал:

— Мне бы твои заботы.

И тогда Роберт вдруг решился. Какого черта? Пусть знает. Он же до сих пор надеется на что-то, приперся вот — унижаться...

— Ты зря сюда приперся, — сказал он. — Сэнсей не станет нам помогать, причем по двум даже причинам. Во-первых, он явно хочет, чтобы мы сами решили эту твою проблему. Без него.

— Понятно. А во-вторых?

— А во-вторых, Аятолла его клиент.

— Врешь, — сказал Вадим, и глаза у него снова сделались вчерашние — глаза неудачливой нищенки, только трезвой.

— К сожалению, нет. Не вру. Так что придется тебе рассчитывать только на себя.

Теперь Вадим смотрел на него с внезапным удивлением.

— Слушай, ты — жестокий человек. Почему? Или ты меня за что-нибудь не любишь?

— Да ничего подобного, — сказал Роберт нервно. — Просто мне надоело смотреть, как ты мыкаешься без всякого толку. Не поможет тебе никто, забудь. Мы — не способны, а он — не захочет.

— Ну, спасибо, — сказал Вадим медленно. — Утешил товарища. Спасибо тебе, родной мой и дорогой...

Роберт не стал дальше разговаривать. Он повернулся к Вадиму спиной и выдвинул (с грохотом) овощной ящик. Выбрал четыре картофелины покрупнее, бросил их (с грохотом) в мойку. Потянулся за ножом. На душе было погано, словно он сделал какую-то ненужную и совсем бесполезную пакость. Хотя на самом-то деле давно уже надо было ему сказать все, как оно есть. Правду. Горько-соленую. Правда вообще — штука малоаппетитная, а иногда и вовсе несъедобная... Вот пусть он и переваривает эту свою горько-соленую, несъедобную. Тут уж ничего не поделаешь — ему теперь все равно с этим жить...

И тут он вдруг обнаружил, что за спиной у него сделалось как-то необычайно тихо. Словно там никого больше не было. Словно Вадим (совершенно бесшумно) встал вдруг и ушел. Исчез. Испарился. Он быстро

поглядел через плечо. Вадим сидел в прежней позе (ладошки под задницей), только голову втянул в плечи и нахохлился как больной воробей. Глаза у него были широко открыты, но, похоже, он ничего перед собою не видел.

— Эй, — тихонько позвал его Роберт.

— Эге ж... — так же тихонько откликнулся Вадим.

— Ты чего это?

— А что? — выражение Вадимова лица отнюдь не переменилось. Он разговаривал словно во сне.

— Тебе плохо, что ли?

— Нет, — сказал Вадим. — Мне хорошо. — Он вдруг улыбнулся, и это выглядело странно и даже страшновато, словно улыбнулся неживой предмет. — Рожа исчезла! — объявил он вдруг.

— Какая рожа?

— Красная, — сказал Вадим, по-прежнему словно во сне. — Генеральская. С усами.

Роберт схватил ближайший чистый стакан, быстро плеснул туда минералки и сунул Вадиму под нос. Тот отшатнулся.

— Перестань! — сказал он возмущенно, высвободил из-под себя руку и с досадой отстранил стакан покрасневшей ладошкой. — Со мной все нормально. Ты не понимаешь: рожа исчезла. Полгода она передо мной маячила, как приклеенная, днем и ночью, а сейчас я поглядел — а ее нет!

— А что есть? — спросил Роберт на всякий случай.

— Ничего нет. Пусто... — он вдруг отобрал у Роберта стакан и жадно выхлебал его до дна. — Ф-фу, даже в пот ударило. Надо же...

Он хотел еще что-то добавить и даже рот уже раскрыл, но говорить не стал, а вместо этого резко повернул голову — ухом вперед — к двери в коридор, и тогда Роберт тоже услышал приближающиеся оттуда тяжелые шаги и шаркающие щелчки шлепанцев по паркету. Как мой Кот-Федор, подумал он. Надо будет записать в донесение: «Он может двигаться бесшумно, как сквозняк, а иногда шумит и топает, словно горожанин в лесу...» Кот-Федор. Тот тоже умеет, при желании, изобразить лошадь: топ-топ-топ-топ...

Сэнсей появился в дверях, благостный, домашний, в пижаме.

— А, — сказал он, улыбаясь. — Вадим Данилыч! Лично! Рад вас приветствовать у наших пенатов. Обедать будете?

Вадим поднялся, но сделал это как-то странно, с паузой, — словно сначала подниматься не хотел вовсе, а потом все-таки раздумал и, так уж и быть, поднялся. И говорить ничего не стал в ответ на приветствие, только

поклонился... И не поклонился даже — кивнул коротко, как кивают при случайной встрече нежелательному знакомцу. Сэнсей сказал:

— Что-нибудь неладно? Что именно?

— Будто вы не знаете! — возразил Вадим. Дерзко. И даже ладони засунул в карманы джинсов, но сейчас же вынул их обратно. — Я к вам два месяца пробиваюсь. Легче к президенту попасть на прием.

Сэнсей перестал благодушно улыбаться.

— Да. К президенту легче. Но ведь вы пробились? Слушаю вас.

— Да чего уж теперь слушать, — продолжал дерзить Вадим. — Поздно уже!

— Вот как? Поздно?

— Поздно.

— То есть я — могу быть свободен?

— Да ради бога! Вы же всегда свободны. У кого сила, у того и свобода.

— Благодарю вас, — сказал сэнсей кротко, и это была жутковатая кротость. Ледяная. От этой кротости мороз шел по коже. По крайней мере, у Роберта. А этот дурак молодой словно не видел ничего и не слышал: руки судорожно по швам, кулачишки сжаты, большие пальцы по-детски оттопырены — сейчас ляпнет что-нибудь такое, что его тут же и выдворят. Как Ядозуба в свое время выдворили — разом и навсегда. Роберт с лязгом уронил в мойку самый большой (разделочный) нож, но это ни черта не помогло. Истерика уже накатила.

— А это уж как вам будет угодно!.. — выкрикивал Вадим в запале, не видя ничего и не слыша. — Вы ведь всегда в стороне!.. И при этом всегда правы, правильно? Мы ведь при вас только кормимся... вы нас прикормили, видите ли, и мы при вас теперь состоим...

(Что за чушь несет этот оборзевший кретин? Что он имеет в виду и каким местом думает?..)

— ...А вы — на горе! Вы всегда на горе! Со скукой наблюдаете коловращение жизни. Мы тут все коловращаемся как проклятые, а вы изволите наблюдать!..

— ...А мы ведь — голые, мы без шкуры даже, с нас шкуру это самое коловращение содрало. Ничего! Поколовращаемся и новую нарастим! Так ведь по-вашему?.. Боги молчат, значит — не возражают. Ведь искусство есть всегда беспощадный отбор озарений...

— ...А вы знаете, каково это, когда тебя отбирают? Когда ты один-одинешенек, и никто тебе не поможет — ни друзья, ни родственники, ни учитель, на которого надеешься как на самое последнее?..

— Знаю, — серьезно сказал сэнсей, и Вадим замолчал и только

всхлипнул, словно бы от отчаяния.

— «Иди один и исцеляй слепых, — процитировал сэнсей (вполне серьезно, совсем без иронии, которая оказалась бы здесь вполне уместна), — чтобы узнать в тяжелый час сомненья учеников злорадное глумленье и равнодушие толпы...»

Вадим молчал, но кулаки его вдруг разжались, и руки повисли свободно.

— Пойдемте, Вадим, — сказал ему сэнсей. — Я вас понял, но надо все это обсудить спокойно. По возможности не стоя, а сидя... Мы не очень надолго, — сказал он Роберту. — На полчасика. Извините.

И они ушли, оба: сэнсей, легкий как одуванчик, а Вадим следом за ним — уже ссутулившись, уже покорно, — вялый, словно сдувшийся воздушный шарик. Связь с кабинетом была включена, можно было повернуть верньер и услышать, о чем они там говорят, но Роберт не стал этого делать. Воображение у него всегда было жиже памяти, и представлял он себе только, как Вадим валяется в ногах, просит прощения за грубости и дерзости и умоляет помочь, а сэнсей сидит над ним словно Будда и изрекает свои коаны. Чтобы уничтожить эту малопривлекательную картинку, он ожесточенно принялся за картошку, потом за морковку, а потом стал вскрывать консервы с горбушей в собственном соку. Картинка исчезала, снова появлялась, снова затуманивалась, никак от нее не удавалось избавиться, а потом вдруг включилась громкая связь и сэнсей сказал:

— Вадим уходит. Проводите его, пожалуйста, Робин.

Он уменьшил газ под кастрюлькой и пошел провожать. Вадим уже натягивал серые свои отсырелые кеды, упершись задом в стену, лицо у него от неудобной позы было красное, он пыхтел, но не выглядел ни жалким, ни убитым. Более того — он выглядел довольным. И слава богу. К черту подробности! Жертв и разрушений нет, — о чем еще может в этом мире мечтать мирный обыватель, не претендующий на управление историческими процессами?.. И все-таки он не удержался.

— Ну? Поговорили?

— Если можно так выразиться, — отвечал Вадим, с трудом разбираясь, где у штормовки зад, где перед.

— И что он тебе сказал?

— Напоследок?

— Давай — напоследок.

— «Ты обрел мой костный мозг».

— Понятно. А перед этим было объявлено: «Время настало. Почему

бы тебе не сказать, чего ты достиг?»

— Да, что-то в этом роде. Только он никому не говорит «ты». Даже мне.

— Это не он. Это Бодхидхарма. Мы последнее время увлекаемся дзэн-буддизмом.

— Да, как и вся страна побежденного социализма...

Они уже стояли у решетки, и Роберт гремел ключами, отпирая калитку. Когда калитка отворилась, он процитировал:

— «Наконец дошла очередь до Хуй-кэ. Он почтительно поклонился и молча застыл. Учитель сказал: «Ты обрел мой костный мозг»...» Ты тоже почтительно поклонился и молча застыл?

— Нет, — сказал Вадим, нажимая кнопку лифта. — Я сказал ему, что рожа исчезла.

— И что же это означает?

— Что я повернул ее. Трубу большого диаметра.

Он откровенно сиял. Он был горд. Роберт признался:

— Ни хрена не понимаю. Но я рад за тебя, Хуй-кэ. Рад, что у тебя наконец захорошело, Хуй-кэ.

— Не выражайся! — сказал Вадим и шагнул в кабину.

...Пока он шел к станции метро «Московская», пока шарил по карманам, наскребая на билет (все деньги куда-то вдруг провалились, в какое-то совсем уж незапомнившееся «никуда»), пока спускался по эскалатору (бегом, как в далеком детстве, с риском для себя и окружающих, под тревожные возгласы и окликания забеспокоившейся дежурной внизу), пока ждал поезда в мокрой толпе и пока ехал, стиснутый мокрой толпой в позе смирно-руки-по-швам, — все это время он заставлял себя не думать и все равно думал: «Как? Как я это сделал? Или оно сделалось само? Или ничего не сделалось, а я просто с ума съезжаю от страха?..» Почему-то ему было ясно, что искать понимания «как?» — не надо. Это неполезно. Это даже опасно. Кто-то предупредил меня об этом еще раньше. Кто-то из наших... Кто? Правильно, давай лучше вспоминать: кто это был такой, умненький-разумненький Буратино, кто сказал мне: «Брось, не мучайся, это либо произойдет само собой, либо не произойдет совсем...» Никак не вспоминалось, кто это был, хотя сохранились в памяти и интонация, и уверенный взгляд: «...а тогда мы тебя прикроем». За последний душный и тошный месяц много было сказано уверенных слов и сделано самоуверенных утверждений, но запомнился почему-то только один этот разговор, — может быть, потому, что ему предлагалось ничего не делать, а

только спокойненько плыть по течению. В сторону Стикса...

Перед родной парадной, под самым оранжевым фонарем, стояла знакомая «копейка», грязная, словно мусорный контейнер. И из нее уже торопливо выкарабкивался возмущенно глядящий Матвей, и вот уже знаменитый возмущенно-недоуменный вопрос прозвучал:

— Ты где был?!

— Пиво пил, — ответил Вадим немедленно и сам же засмеялся — так ловко все это получилось, но тут ему стало не до смеха: Матвей, оказывается, не просто так здесь стоял, его поджидая, он рвался к нему в дом, он хотел присутствовать, охранять, наблюдать и вообще держать ситуацию под контролем.

Не надо под контролем, попытался втолковать ему Вадим. Все уже устроилось. Все о'кей... «Но позволь! Мы же договорились... Тенгиз же ясно сказал!..» Да в интимные отношения я вступал с твоим Тенгизом! Не надо вам меня больше охранять, можете вы это понять?.. «Как это так — не надо?..» А так: вольно, р-р-разойдись! Нет, Матвей этого понять не мог. Он, потерявши Вадима из виду, полдня мотался по улицам, чуть ли не в морги уже звонил, переполошил всех знакомых, побывал в двенадцати злачных местах и местечках, а потом еще торчал добрый час здесь, под фонарем, ожидая неведомо чего... Не мог он поверить, что все труды его пропали напрасно.

— Дурак, — сказал ему наконец Вадим. — Можешь ты хотя бы понять, что ко мне женщина должна прийти сейчас? На хрен ты нам с ней нужен, спрашивается?

— Какая еще женщина? — спросил подозрительный Матвей.

— Людмилка. Помнишь Людмилку? Манекенщицу?

— Помню Людмилку, — признался Матвей, все еще пребывая в тисках страшных подозрений, но уже значительно помягчев.

— Я ей еле дозвонился, договорились на сейчас, неужели не понятно?

— Что-то ты не очень сейчас похож на Дон Жуана, — сказал Матвей, сверля его прокурорским глазом.

— Это почему еще? На что ты намекаешь? Очень даже похож. И не порти мне удовольствие, пожалуйста. Вали отседова.

В конце концов удалось отвязаться. Вадим взбежал по лестнице, отпер дверь в квартиру и — остолбенел на пороге. Он совсем забыл, что вытворял здесь двое суток назад, и на мгновение в панике вообразил, что это ОНИ побывали тут — мстительные и злобные, как гарпии, подлые и беспощадные. Паника была внезапна и сокрушительна, словно взорвалось что-то у него внутри, он чуть не упал — ноги подкосились, — но тут же

очухался и все вспомнил. Прошел в комнату, поднял и поставил (среди хаоса и мусора) перекосившийся торшер (мамин любимый), огляделся, осторожно ступая по разбросанному, прошел к окну, выглянул сквозь задернутые тюлевые занавески. Матвей отнюдь не уехал — он все еще стоял возле своей мусоровозки, — задрав голову, глядел на его окна. Этот не уедет, нет. Этот не уедет никогда. Он будет терпеливо ждать, чтобы проверить: прибудет ли названная Людмилка, когда прибудет, одна ли, на какое время?.. Урюк под контролем...

Он огляделся, нашел телефонный шнур, проследовал вдоль него до аппарата, погребенного под старыми журналами «Знание — сила» вперемешку с папками с рукописями, набрал номер. (Телефон — на удивление — работал.) Людмилкин хриповатый голосок произнес высокомерно: «Вы разговариваете с автоответчиком. Оставьте сообщение после короткого сигнала». Короткий сигнал прозвучал, но Вадим не стал оставлять никакого сообщения. Да подите вы все в жопу! Он шваркнул трубкой по аппарату, поднялся с корточек и еще раз огляделся. Жуть! Срам! Мерзость запустения!.. Ненавижу... Он был по натуре своей аккуратист и терпеть не мог любого беспорядка. Может быть, именно поэтому, напившись и потеряв человеческий облик, он всегда такой отвратительный беспорядок учинял. По принципу доктора Джекила, он же — мистер Хайд... Спасибо, что хоть полы не заблевал в расстройстве чувств при потере личности...

Добрый час он старательно, скрупулезно и даже с неким сладострастием убирал авгиеву конюшню. Матвей внизу, видимо, утомившись ждать (а также, видимо, вспомнив о наличии второго входа на лестницу — со двора), уехал наконец. Когда Вадим покончил с разбросанными журналами, поднял и поставил на место книжную стенку, Матвей позвонил и осведомился, как он там. На вершине блаженства, ответил Вадим. «Точно?» Абсолютно. «Имей в виду, — сказал Матвей, — я все время дома и машина под парами. Если что — так сразу!..» А как Тенгиз? Он тоже под парами, сказал Матвей. Спасибо, ребята, но ей-богу ничего больше не надо, сказал Вадим. Все устроилось. «Как?» — спросил Матвей. Само собой, ответил Вадим. «Но если все само собой устроилось — еще чудесней!» — процитировал Матвей и повесил трубку.

Тут Вадим спохватился и позвонил к тетке в Наклажную. Мама подошла, и они поговорили. У мамы все было в порядке, слава богу, только ангина пока еще не прошла, а в остальном все в порядке. И у Вадима все было в порядке. Во всем мире стоял сплошной, беспросветный и полный порядок, оставалось только передвинуть на место диван, уехавший на

середину комнаты, и расставить по местам рассыпавшиеся книги, устилающие пол, как пестрая стая мертвых птиц...

И в этот момент Вадим вспомнил. Вспомнил, кто говорил ему: не трепыхайся и не напрягайся, все произойдет самой собой или не произойдет совсем. Это же, конечно, Андрей Белюнин ему сказал. Страхоборец. В первый же раз, когда он, весь трясясь и в отчаянии, прибежал к нему жаловаться и просить защиты. «Не унижай себя надеждой. Все произойдет самой собой или не произойдет совсем. Просто считай, что ты уже мертв, и тогда никто и ничего с тобой сделать не сможет...» Он вспомнил это, и ему снова стало страшно, как и тогда, хотя теперь, казалось бы, бояться было уже нечего. Длинное породистое лицо брезгливо глядело на него с того конца тоннеля, освещенное почему-то только слева — золотистым ровным светом. Да ведь я еще вдобавок и богат теперь, подумал он вдруг. Но сразу же отогнал от себя эту мысль, как преждевременную и потому — опасную.

...А в это самое время Андрей Юрьевич Белюнин (по прозвищу Страхоборец) сидел на кухне своего приятеля Сережи Вагеля, известного (среди драбантов) также под кличкой Эль-де-през. Неспешно обменивались нейтральными репликами (главным образом насчет хоккея), сосали пиво из длинных холодных банок и наблюдали искоса за действиями малолетнего сынишки Эль-де-преза, сидящего тут же на собственном стуле за тарелкой еды. Сынишка сражался со своим ужином. Диспозиция была такая: в левой руке он держал большой, однажды надкусанный ломоть хлеба, в правой — вилку с насаженной на нее четвертинкой котлеты, и еще полкотлеты вместе с горкой картофельного пюре неаппетитно стыло в тарелке. Кроме того, приблизительно четверть котлеты и некоторое количество хлеба пополам с пюре находилось у него за щекой, отчего миловидное, черноглазое (в мамочку) личико выглядело болезненно асимметричным.

Мама со старшенькой в данный момент плавали в бассейне, а папа Эль-де-през старательно и бездарно исполнял строгий наказ: «Изжарить котлеты, разогреть пюре, накормить Существо, дать ему столовую ложку пертусину и в восемь часов — спать». Однако существо кормиться не желало. У существа вообще никогда не бывало аппетита, а уж если кормлением занимался папаня, процедура приема пищи превращалась в котлетомахию и в сущий цирк.

— Жу-уй! — в очередной раз не вытерпев, распорядился Эль-де-през нарочито занудным голосом. — Жуй и глотай. Горе луковое.

Луковое Горе совершило несколько торопливых движений челюстями, ничего не проглотило и снова застыло в неподвижности, почти уже

трагической.

— Не желает, — объяснил Эль-де-през. — Не желает, и все тут. В отказе стоит.

— А может быть — пусть? — осторожно предположил Андрей, понизив на всякий случай голос.

— То есть как это — пусть? А кто жрать за него будет?

— Проголодается — сам попросит.

— Что ты в этом понимаешь? — сказал Эль-де-през с усталым пренебрежением. — Папаня аховый...

Андрей плотно зажмурил глаза и поднял обе руки (ладонями вперед) в знак того, что молчит, сдается и вообще заткнулся навсегда, а Эль-де-през произнес решительно, адресуясь уже не к нему:

— Значит, так. Прожевать и проглотить то, что за щекой! Потом — доесть что на вилке, половину пюре, и я тебя отпускаю. Договорились?

Горе Луковое быстро-быстро закивало и сейчас же принялось жевать — образцово-показательно, всем телом: даже зубами прищелкивая по ходу дела, даже на стуле подпрыгивая и усиленно размахивая вилкой с куском котлеты. (Может быть, в надежде, что кусок слетит на пол, и проблема решится тогда как бы сама собою?)

— Пива еще хочешь? — спросил у Андрея опытный отец, поднимаясь к холодильнику. — Есть «Туборг», между прочим.

— Спасибо, мне достаточно.

— Ух ты, какие мы твердокаменные!

— А знаешь, как товарищ Сталин товарища Молотова называл?

— Знаю: твердокаменный ленинец.

— Угу. Почти. Он называл его «каменная задница».

— Ну да? И что — с осуждением? Или — одобрительно?

— Скорее, одобрительно.

— Вот странная вещь, — заметил Эль-де-през глубокомысленно. — Кого ни послушаешь, у всех товарищ Сталин всегда в хорошем настроении, добрый и шутит...

— Это называется «селекция наблюдений», — объяснил Андрей. — Просто те, кто видел его в плохом настроении, — не выжили, и их рассказов история нам не сохранила.

— Может быть, — согласился Эль-де-през. — А может быть, он и в самом деле был неплохой мужик? А?

— Вроде твоего хозяина?

— Ты кого имеешь в виду? — спросил Эль-де-през, сразу же профессионально насторожившись (словно кто-то в толпе сунул вдруг руку

во внутренний карман пиджака).

— Что значит — «кого»? У тебя так много хозяев?

— А-а-а... Нет, мой хозяин в порядке. Грех жаловаться. Печальный человек с длинными волосами.

Андрей посмотрел на его с удивлением.

— Да ты поэт! Как сказано, однако: «Печальный человек с длинными волосами»!

— Да это не я сказал, вообще.

— А кто?

— Неважно.

Тут Андрей поймал на себе внимательный взгляд черноглазого Существа, и хотел было подмигнуть ему ободряюще... или скорчить какую-нибудь гримасу посмешнее... или хотя бы губы свои сочувственно этак поджать... Но — не решился. Поостерегся. Дети его недолюбливали, и он это знал. Что-то в нем их настораживало: они старались не разговаривать с ним, уклонялись от игр и не принимали его шуток. Это его огорчало, но не так уж чтобы слишком. Неприятно, конечно, когда такой вот симпатяга глядит неприязненно и с опаской, но бывают ведь ситуации и похуже, не так ли?.. Например, когда на тебя неприязненно смотрит какой-нибудь дьяволоподобный питбуль.

— Значит, так, — решительно объявил папа Сережа, перехвативший этот обмен взглядами, но понявший его совершенно неправильно. — Будем все-таки лопать или будем в гляделки с дядей Андреем играть?

— Соку хочу, — объявило Луковое Горе, уклоняясь от прямого ответа на поставленный вопрос.

— Так. Желание законное. Подливаю соку. Пей. Но после — немедленно глотай то, что у тебя за щекой, и черт с тобой, давай сюда эту котлету, и хлеб можешь оставить, положи на тарелку, я все уберу, только вот этот кусок котлеты доешь... который на вилке. Договорились, нет?

Это было похоже на полную и безоговорочную капитуляцию, каковой оно, по сути, и было. Андрей великодушно пропустил разгром опытного и умелого папы Сережи мимо внимания и спросил:

— Ну, хорошо. «Печальный рыцарь с длинными волосами». А поподробнее?

— «Печальный человек». Цитируешь, так цитируй.

— Виноват. «Человек». И что он, спрашивается, за человек? О нем же легенды ходят. Это все правда?

— Смотря что именно.

— Что он из людей делает овечек, например.

— Это как?

— Приходит к нему человек, — объяснил Андрей. — Мафиози какой-нибудь. Людоед. А выходит — смирный как овечка. Вегетарианец.

Эль-де-през покачал головой.

— Первый раз слышу.

— Что у него квартира — Эрмитаж пополам с Лувром. Сплошь увешана старинным оружием, латами там разнообразными, ятаганами...

— Не знаю. Дома у него никогда не был.

— А ты его вообще — видел когда-нибудь? — спросил Андрей мягко.

Эль-де-през только фыркнул с презрением, потом поднялся и, не говоря ни слова, вышел вдруг из кухни — неестественно бесшумный и легкий — при такой-то массе. Андрей посмотрел на Горе Луковое и — не удержался все-таки — скорчил ему рожу в том смысле, что такие вот дела, друг мой — какой у тебя папаня, оказывается, нервный и легковозбудимый... Впрочем, контакта никакого не получилось: парнишка отвел глаза в сторону — и даже откусил от остатков котлеты, чтобы только не общаться с неприятным дядей. (Правая щека у него сразу сделалась еще больше.)

Эль-де-през вернулся (так же внезапно и так же бесшумно) и сунул Андрею под нос цветную фотографию неописуемой красоты: лето, зелень, роскошный белый лимузин аномальной длины, и какие-то люди рядом — стоят у распахнутых дверец.

— Это кто по-твоему? — спросил Эль-де-през с невыразимым презрением.

— Ты.

— А это?

— Не знаю.

— Он. Между прочим, заметь: рядышком. Вась-вась.

— Понял. Сражен. Сдаюсь.

...А ведь и в самом деле: «Печальный человек с длинными волосами». Бледное, слегка одутловатое лицо, уголки губ опущены, глаза чуть прищурены от солнца (в руках — темные очки). Все вокруг улыбаются, зубы напоказ, а он — нет. Ему — грустно. Или, может быть, скучно. Какой-то он... несовременный! Вот точное слово: несовременный. Несовременная одежда — подержанная и мешком. Несовременное лицо... Выражение лица несовременное... И эта общая печальная расслабленность...

— А женщина кто?

— Супруга. Алена Григорьевна.

— Красивая.

— Ну дак!

— Краси-ивая... — повторил Андрей. — И дети есть?

— Есть. Сынишка. Алик. Это он нас как раз и фотографирует.

— А вот это кто, с тросточкой?

Эль-де-през протянул руку и отобрал у него фотографию.

— Много будешь знать, знаешь, что будет?

— Гос-с-с... Подумаешь, тайны! Подожди, а что там у тебя написано? Покажи!

Эль-де-през показал, и с удовольствием. На обороте четким детским почерком написано было (фломастером): «Эль-де-презу — с благодарностью за все». И витиеватая неразборчивая подпись. И дата: июль прошлого года. Числа нет. Наверное потому, что снималось в один день, а надписывалось — в другой.

— А почему его зовут Аятолла?..

— Его зовут Хан Автандилович, — резко сказал Эль-де-през. — Или господин Хусаинов. А ты не повторяй глупостей.

Андрей молча смотрел на него: какой он огромный, черный, грозный и праведно встопорщенный. Потом сказал:

— Кайлас помнишь?

— Ну, — ответил Эль-де-през, сразу же помягчев и сделавшись Серегой, Сержем, Серым, Щербатым.

— Черная гора. Долина Смерти. Титапури...

— «Обитель голодного черта»... — Сережа уже больше не сердился, взгляд его сделался задумчив.

— Если бы я тогда самого господа бога назвал бы аятоллой, разве ты на меня обиделся бы?..

— Ну, я вообще-то неверующий... — Эль-де-през от внезапных воспоминаний совсем смягчился было, но тут же посуровел. — Всё! — сказал он Луковому Существу. — Ты меня достал. Пошел с глаз моих, чтобы я тебя не видел. Игрушки убрать! Десять минут тебе на все... Дай сюда вилку...

Горе Луковое радостно отдало вилку с куском котлеты, съехало со стула и радостно затопало вглубь квартиры, мелькая вылезшей из рейтуз клетчатой фланелевой рубахой.

— Побеждает не сила, — сказал Андрей поучительно, — побеждает терпение.

— Это ты о чем? — спросил Эль-де-през с подозрением, но уточнять не стал — сунул в рот остаток котлеты, а вилку, не вставая и не прицеливаясь, с большой точностью переправил через всю кухню в мойку.

С лязгом.

— Слушай, — сказал Андрей задумчиво. — Как ты думаешь, почему меня детишки не любят?

— А кто тебя такого вообще любит?

— Гм. И то верно. Впрочем — женщины! Женщины меня любят.

— Это не любовь, — сказал Эль-де-през пренебрежительно. — Это — похоть. При чем здесь любовь?..

Андрей почему-то сразу же вспомнил анекдот про мужика, который своей законной решил однажды показать по видику крутую порнуху, но рассказывать анекдота не стал: у Сережи всегда была некая затрудненка с юмором. Смешные истории он не воспринимал и ничего смешного в этой жизни никогда не замечал. «Ну, не знаю, не знаю, — говаривал он. — Со мной никогда ничего смешного не происходит...» Он был строгий парень. Но зато надежный, как «роллс-ройс».

— А откуда он знает, что ты — Эль-де-през? — спросил вдруг Андрей и на этот раз был понят немедленно, хотя, казалось бы, речь шла уже совсем о другом.

— Сам удивляюсь, — признался Эль-де-през. — Знает откуда-то. Он вообще все знает.

— Но ты ему не говорил?

— Конечно, нет. Чего ради? Да и когда? Он со мной два раза всего разговаривал: когда я нанимался к нему и когда он меня отправлял в эту командировку...

— В какую еще командировку?

— Ну, в охрану к этому, к Профессору, к кандидату нашему.

— А-а-а...

— Я ведь не насовсем к нему перешел, — объяснил Эль-де-през, доставая из холодильника новую банку. — К кандидату. Я ведь только на время выборов.

— Ну и что, тяжелая работа?

— Да нет. Нормальная. Я бы даже сказал — пустяковая. На хрен кому он нужен, этот наш Профессор?

— А говорят, у него рейтинг вдруг круто пошел, — заметил Андрей между прочим.

— Да, говорят. Я утром сегодня в штаб звонил — там все на ушах стоят от восторга. Но вообще-то странно — с чего бы это вдруг?

— Представления не имею, — соврал Андрей. Кое-какие соображения по этому поводу у него были.

— Вообще-то какая разница? Я жду не дождусь, когда вся эта залепуха

кончится и я вернусь к ребятам. Надоело. У этого профессора команда — все какие-то нервнобольные. Дерганые какие-то.

— А ты чего ждал? Высокая политика.

— Ну да, высокая... — проворчал Сережа Эль-де-през. — Выше дерева стоячего. Может, все-таки дать тебе еще пива? Что ты пустую банку сосешь второй час?

— Спасибо, не надо. Мне и так хорошо.

— Потолстеть боишься?

— Нет. Я вообще-то ничего не боюсь, как ты, может быть, слышал.

— Слышал, слышал... Бодигард из тебя никакой.

— Это почему же?

— А потому, — наставительно произнес Эль-де-през, вскрывая очередную банку, — что настоящий бодигард должен всего бояться. Только тогда от него и будет толк. Тетка в толпе в зеркальце посмотрела — губы подкрасить, — а ты обязан тут же вздрогнуть и насторожиться.

— Ну и работка! Так весь день и вздрагиваешь?

— Ей-богу. Как проклятый. Но виду, конечно, показывать нельзя. С виду ты должен быть — как египетский сфинкс. «Каменная задница»...

Он засмеялся, но как-то невесело. Лицо его словно бы вдруг постарело, глаза остановились.

— Дурак какой-нибудь, собачник гуляющий, посмотрит как-нибудь не так... — Он замолчал, оборвав самого себя, а потом пробормотал: — Знаешь, я все-таки позвоню туда еще разок... — Он вытянул из заднего кармана мобильник и нажал кнопку. — Чего-то мне неспокойно вдруг сделалось, ей-богу, — объяснил он, как бы извиняясь. — Сам не понимаю, почему... Толян, ты? Да, это я. Ну, как вы там?.. Точно?.. Водку празднуете? А не рано?.. Я говорю, не рано начали?.. Да? Ну, слава богу... Ну, давай. Давай, говорю!.. До завтра... Гудят! — объяснил он Андрею, заметно повеселев. — Гудят, корефаны! Не рано ли начали?

Глава десятая ВОСКРЕСЕНЬЕ ФИНАЛ

Он стоял на кухне перед раскрытым холодильником, поедал бутерброд с яичницей и смотрел, что бы еще такое из холодильника добыть. Во дворе за окном падал светлый медленный снег, было тихо и спокойно. Он с наслаждением ни о чем не думал. Сегодня ему замечательно легко и хорошо ни о чем не думалось, и внутри себя он ощущал легкую и теплую, ласковую пушистую пустоту и совсем ничего больше, кроме этой пустоты. Впервые, может быть, за последние полгода.

Он превосходно выспался и с удовольствием предчувствовал, как будет доводить до кондиции разоренную гостиную, которую вчера уже в значительной степени привел в порядок, но — недостаточно, безусловно недостаточно. Комната по-прежнему вызывала в памяти старый рекламный слоган: «Так выглядит под микроскопом трудновыводимое пятно». Надо этим случаем воспользоваться, подумал он с приятным предвкушением. Расставить наконец книги должным порядком: собрания сочинений — отдельно, беллетристику — отдельно и чтобы по алфавиту, фактическую литературу — отдельно, на стеллаж слева...

Звонок в дверь раздался (он автоматически посмотрел на дедовские часы с кукушкой) ровно в двенадцать: дзинь, дзинь, дзинь-дзинь-дзинь — кто-то из «дедов» заявился. Скорее всего, Матвей — с сосредоточенно целеустремленным своим носом и застывшим раз и навсегда мучительным состраданием на длинном лице. Надо сразу же погнать его за жратвой, вот что. Тут главное — не давать человеку опомниться, а хлеба в доме нет...

Но это оказался не Матвей: какой-то совсем незнакомый человек в берете смотрел на него из-под трагических бровей трагически-черными немигающими глазами. И с ним, за спиной у него, виднелись в вечном сумраке лестничной площадки еще какие-то люди, и увидев их — еще не узнав, а только лишь обнаружив, — Вадим задохнулся, и все, что вроде бы успокоилось в нем со вчерашнего, улеглось было совсем, сделалось прошлым и необратимым, снова вспучилось и взорвалось, словно бомба угодила в старое болото. Он даже, кажется, ослеп на мгновение от этого страшного взрыва внутри, он понял, кто это (как собака понимает — без слов, без имен, без названий), и тут человек в берете произнес:

— Здравствуйте, Вадим Данилович. Я к вам всего лишь на несколько минут, вы разрешите?

Вадим послушно отступил от него в прихожую, и человек с

трагическими бровями двинулся следом, на ходу снимая свой берет, а за ним выступили из сумрака и те двое, причем впереди — элегантный, в кожаном пальто до пят, аристократически бледный, отвратительно знакомый, с лакированной указкой-тросточкой в правой руке.

И тогда Вадим сказал хрипло:

— Нет. Этому — нет. Не позволяю!..

И человек с беретом сейчас же (ничуть не удивившись и очень вежливо) попросил аристократически-элегантного:

— Эраст Бонифатьевич, побудьте снаружи. Пожалуйста. И ты, Семен тоже. Я — ненадолго... Вы разрешите мне раздеться? — спросил он у Вадима.

— Да, — сказал Вадим перехваченной от приступа внезапной ненависти глоткой. — Да, конечно.

Ненависть отступила так же внезапно, как и налетела, но мысли и чувства его беспорядочно метались. Этот (совершенно очевидно было), именно этот ведь человек мучил, терзал, запугивал его (и до позора запугал же, до кровавого поноса!) последние полгода, это же был нелюдь — зверь, нравственный урод, медленный палач, компрачикос поганый, сволочь, этический отброс... Его надо было сейчас же ударить. Пнуть ногой в коленку. Плюнуть ему в лицо... Но вместо этого он почему-то, совершенно необъяснимым образом, вопреки естеству, вопреки разуму и логике, испытывал к нему сейчас самую дружескую симпатию, ласковый резонанс какой-то и даже почему-то сочувствие. Было почему-то ясно, что он, этот человек, сам находится сейчас в мучительном душевном раздрае, нравственно болен, нуждается в простейшем человеческом сочувствии, и очень хотелось это сочувствие как-то выразить...

...Например, помочь ему раздеться. И Вадим взял у него из рук невесомую меховую куртку и повесил ее на распялки, а черный мефистофелевский берет с каплями полурастаявших снежинок положил на столик под зеркалом.

— Заходите, — предложил он с максимально доступным ему радушием и повел его в гостиную, хотя сначала хотел — в кухню, куда позвал бы любого из своих. Но это все-таки был не свой. Очень симпатичный, очень и явно нуждающийся в душевном уюте и даже в помощи человек, но — никаким образом не свой. Чужой. Сугубо посторонний... Да и невозможно было вот так сразу, безо всякой подготовки, совсем уж без всякого наказания (пусть даже и формально-показного) забыть все обиды и раны, которые наносились еще совсем недавно.

Удивляясь этим своим несвязным и даже противоестественным каким-то ощущениям, он пригласил гостя в мамино кресло, сам сел напротив и вполне светским тоном осведомился: «Может быть, чаю?» Он точно знал, что никакой чай им не понадобится и что светского разговора не будет вообще, да и не умел он вести светские разговоры, однако же что-то заставило его задать этот вопрос и выжидательно улыбнуться в ответ на вежливый и обстоятельный отказ.

— Спасибо, нет, — сказал гость с самым серьезным видом. — Для утреннего чая — поздновато, а до файф-о-клока, согласитесь, еще довольно далеко... — Он сделал микроскопическую паузу и представился: — Меня зовут Хан Автандилович. Мы ведь незнакомы?

— Очень приятно, — сказал Вадим. Надо же было что-то ответить. (Хотя на самом деле следовало бы, наверное, ответить совсем по-другому: «Вот тебе и на — незнакомы! Да у меня от этого нашего с вами незнакомства вся шкура, можно сказать, облезла. Особенно на пальцах». Впрочем, это было бы грубо. Неприлично, неадекватно грубо. И неуместно.)

— А еще меня частенько зовут Аятолла, — продолжал Хан Автандилович с прежней печальной непринужденностью. — Вы, вероятно, это знаете. Но так меня зовут только те, кто со мною не знаком.

— Да, — сказал Вадим. — Понимаю вас.

И он, действительно, очень хорошо понимал сейчас, что только человек совершенно уж посторонний и чужой, никогда не слышавший этого мягкого печального голоса, никогда не видевший трагически заломленных бровей и длинных черных волос, обрамляющих узкое бледное лицо, — только совсем уж безнадежный дикарь и варвар, отпетый жлоб, бомж подвальный, способен был бы связать такого славного печального человека с сумрачной этой азиатской кличкой — Аятолла.

— Я вижу, тут у вас ремонт? — полувопросительно, полуутвердительно произнес гость, откровенно озираясь.

— Да... вроде этого... Навожу порядок... — Вадим вспомнил, откуда возник беспорядок и вновь почувствовал было приступ злобы, но снова встретился глазами с печальным взглядом Хана Автандиловича, и снова злоба испарилась, заменившись ощущением сочувствия и готовностью сопереживать как только понадобится.

Наступило короткое молчание, пятнадцать секунд обоюдной неловкости — печальный человек словно бы не знал с чего начать новую страницу разговора и колебался, внутренне ежась от собственной неуверенности. Вадим почти физически ощущал эти колебания и эту

неуверенность, он и рад был бы помочь, рад был бы сказать что-нибудь, чтобы разрушить молчание, но совершенно не представлял себе, что именно. Не о снеге же за окном заводить было разговор?..

(И еще он подумал вдруг, что гость вообще-то не так уж уверен в себе и вальяжен, как стремится продемонстрировать и как это показалось на первый взгляд. Была в нем на самом деле какая-то неуловимая червоточинка, скрытое опасение какое-то, может быть, даже страх? И это было непонятно, и неприятно, и раздражало, словно заусеница рядом с ногтем.)

— Прежде всего, — начал все-таки наконец новую страницу Хан Автандилович, — позвольте мне поздравить вас. Вы совершили подвиг, который... Да, да, да — не спорьте, пожалуйста: каждый, кто совершает невозможное, совершает подвиг!

Вадим спорить намерения вовсе не имел, хотя и соглашаться с неожиданными этими и даже чрезмерными комплиментами было бы тоже как-то странно. Как минимум — нескромно. Он с удовольствием ответил бы сейчас каким-нибудь рекламным слоганом, да как назло именно сейчас ничего подходящего в голове не возникало, и он только плечами повел в том смысле, что «да ладно... чего уж тут... не стоит разговора»...

— Замечательно, но вы совсем не выглядите счастливым, — сказал Хан Автандилович удивленно. — Вы выглядите уставшим.

— Так оно и есть, — согласился Вадим, поражаясь проницательности гостя. — Я устал, как Сизиф, — добавил он вдруг, неожиданно для себя самого. — Представляете, как устал Сизиф, которому удалось наконец взгромоздить на гору этот свой камень?

(Ну, надо ж, как красиво у меня это сформулировалось, подумал он с удивлением. И откуда что взялось?..)

— Представляю, — сказал Хан Автандилович с готовностью. — Очень хорошо я его себе представляю и думаю, что он совсем не чувствовал себя счастливым.

— «Счастье можно найти только на проторенных путях»...

— Правда. Откуда это?

— Пушкин любил это повторять. Из Шатобриана, кажется. Или из Монтеня? Не помню. Мне это показалось очень точным: счастье это — любовь, семья, друзья... Обязательно — хорошо известное, обыкновенное, никакой экзотики...

— Да. Очень точно. Очень.

И снова наступило натянутое молчание. Тема счастья казалась исчерпанной, тема сизифовой усталости — тем более. На лице Хана

Автандиловича проступило страдание, но он справился с собою и сказал, словно начиная некую лекцию:

— Тут ведь все дело в том, что в современной России большим начальником может быть избран либо бывший партайгеноссе, либо так называемый крепкий хозяйственник, либо силовик...

— Или криминальный авторитет, — вставил Вадим не без яду. Он просто не смог удержаться. Напрашивалось же.

— Да, разумеется, — Хан Автандилович яду предпочел не замечать, а может быть, и в самом деле не заметил. — Просто у нас криминальный авторитет есть некая разновидность силовика: скрытая, тайная, грозная сила... Но я о другом. Я хотел сказать, что исключения возможны, хотя и маловероятны. Более того, они, может быть, даже опасны. Выберут, например, врача — и накачают себе на шею Папу Дока в российском варианте. Представляете себе Папу Дока в российском варианте?

— Ну, это как сказать, — возразил Вадим. — Виртуальная история всегда страшнее реальной.

Хан Автандилович беззвучно похлопал в ладоши.

— Очень точно. Но почему вы решили, что российский Папа Док — это виртуальная история?

— Потому что виртуальная история — это такая, которая могла бы осуществиться, но не осуществилась.

— Она осуществилась! — сказал Хан Автандилович проникновенно и с напором. — Спасибо вам, но она — именно — осуществилась.

Вадим некоторое время смотрел в его бледное, печально улыбающееся лицо.

— Но ведь вы же сами хотели, чтобы стал Интеллигент, — проговорил он наконец. — Не понимаю...

— Я хотел? — удивился Хан Автандилович. — Вы ошибаетесь! Мне было совершенно безразлично, уверяю вас... Сами подумайте, какое мне до всего этого дело? Другой вопрос, что сама по себе попытка повернуть ход событий... повернуть «трубу большого диаметра» — так, кажется, вы это называете? — это ведь чудо. Поверить в это изначально было невозможно...

— Подождите, — прервал его Вадим нервно. — Вы хотите сказать, что это не вы заказали мне... повернуть трубу?

— Ну разумеется, не я! Вы придаете моей особе слишком уж большое значение. Я никогда не осмелился бы сам поставить перед вами такую задачу. Но меня попросили, и я никак не мог позволить себе отказать.

— Кто попросил?

— А вы не знаете? Не догадались?

— Нет.

— Нет? — Хан Автандилович явно находился в большом затруднении. Похоже было, что он уже сожалеет о затеянном разговоре. — Но в таком случае я вовсе не уверен, что могу... Зачем? Нет же никакого смысла...

— Нет никакого смысла — в чем?

Хан Автандилович не ответил. Врать он явно не хотел, а говорить правду не хотел еще больше. Выдержав совершенно недвусмысленную и откровенную паузу, он сказал вдруг:

— В конце концов, какая вам разница? Главное ведь не это. Главное, что все ваши проблемы оказались теперь решены. Все. Вы победили. А значит, как говорит один мой знакомый, «и можете дышать себе свободно».

Это было довольно пошлое искажение какого-то очень знакомого стиха. Плоская шутка, по сути дела. Совершенно здесь неуместная. Но произнесена она была с таким внезапно прорвавшимся и отнюдь не шуточным высокомерием, и Хан Автандилович сделался вдруг так недоступен и величествен, что Вадим (удивляясь себе) вдруг внутренне вострепетал и обнаружил на лице своем отвратительно искательную улыбку. Он тотчас же вспомнил Пушкина: «Черт возьми, почувствовал подлость во всех жилах», и, чтобы побороть это внезапное и стыдное наваждение, произнес с рекламным пафосом:

— «Свободное дыхание! Быстро и надолго!»

Однако Хан Автандилович, видимо, никогда не смотрел телевизор, почему и дурацкого этого выпада не понял совсем. Он только брови свои трагические вопросительно поднял, словно ждал продолжения или хотя бы объяснения, но ничего не дождался и повторил снова:

— Какая вам разница, Вадим Данилович? Вы лучше скажите мне, что вы теперь станете делать? Вы не задумывались еще, что вы теперь станете делать?

Это был хороший вопрос, потому что Вадим, конечно, ни о чем таком не задумывался. И не собирался задумываться. Сейчас ему хотелось только понять, кто же его «заказал» и зачем. Совершенно бесполезное и даже дурацкое желание, но зато вполне естественное.

— А почему я вообще должен об этом задумываться? — спросил он с раздражением.

— А потому, — сказал Хан Автандилович проникновенно, — что вы сделались теперь в некотором роде источником эволюции.

— Ну и что?

— Да, собственно, ничего особенного... Разве что... придется вам быть повнимательнее. Я читал где-то: эволюция уничтожает породившие ее

причины...

— Я тоже это читал, — сказал Вадим медленно. — И тоже — где-то...

Телефонный звонок вдруг раздался неожиданно, так что оба почему-то вздрогнули, и Вадим вновь (мимоходом) отметил про себя, что гость его только выглядит вальяжно, а на самом деле напряжен и словно бы ждет все время какой-то неприятности. Он взял трубку.

— Слушаю.

— Это Андрей, — сказал Страхоборец. — Он у тебя?

— Д-да... А кто, собственно?

— Где сидите? В гостиной?

— Ну.

— Или на кухне?

— Нет, в гостиной. А что?

— Ничего. На всякий случай, — непонятно объяснил Страхоборец. — Ты, главное, не дрейфь, — добавил он. — Продержись еще минут пять, мы сейчас будем.

— Кто это — «вы»? — спросил Вадим, но Страхоборец уже дал отбой. Вадим повесил трубку и, пожав плечами, сказал гостю: — Странный звонок какой-то. Ребята, видимо, сейчас зайдут...

Он сказал это в знак извинения, но гость понял его совсем по-другому и сразу же засобирался.

— Ну, разумеется, разумеется... — заспешил он. — Извините, я засиделся у вас, а ведь всего-то и хотел, что выразить вам свое восхищение... И кстати, вот... — он полез за пазуху, что-то там ухватил, но зацепился, покраснел от неловкости, потом все-таки вытащил и положил на середину стола обандероленную пачку долларов. — Не сочтите, пожалуйста, за... — Тут лицо его вдруг исказилось необычайно — словно его прижгли огнем или он увидел отвратительное привидение. — Что это?! — почти закричал он, судорожно вскочив и загораживаясь стулом.

Вадим оглянулся и тоже вскочил. Из спальни, распространяя объявившийся вдруг из ничего неприятный хрустящий шелест, плыло к ним по воздуху что-то черно-полосатое, большое, какая-то воздухоплавающая медуза, размером, как показалось Вадиму, с ладонь, — свисали пучком неподвижные, как бы парализованные щупальца-лапки, длинное черно-полосатое тело беспричинно содрогалось, и вертолетным винтом крутилось над всем этим прозрачное шелестящее мерцание. Это была гигантская оса. Тигровый шершень. Прошлым летом гнездо их объявилось вдруг над балконом, и пришлось вести настоящую войну с этими чудовищами в палец длиной — бесстрашными и опасными, словно

летающий аспид.

— Ёк-кэлэмэнэ!.. — прошептал Вадим, невольно отступая.

Шершень уже плыл над столом, он направлялся прямо к Хану Автандиловичу, он словно целился собою в него — медленный, страшный, неотвратимый, и Вадим в отчаянии ударил по нему рукой, не успев ни подумать о возможных последствиях, ни испугаться по-настоящему.

Он — попал (ощущение в руке было такое, словно он ударил по пучку сухих листьев). Шершень упал на стол, прямо на пачку денег и распластался на ней, растопырив полосатые лапы, все так же подергиваясь длинным полосатым брюхом и бессильно дрожа перепончатыми желтоватыми крылышками. Он был чудовищно, неестественно огромен — со средний палец длиною, — Вадим никогда не видел таких и даже не думал, что такие бывают.

— Спасибо, — сказал Хан, еле шевеля онемевшими губами и сейчас же добавил с отчаянием в голосе: — Еще один! Гос-споди...

Из спальни с хрустящим гудением плыл второй — еще больше, еще страшнее, еще опаснее на вид. Но этот тянул с явным трудом, как подбитый бомбардировщик, еле ползущий к родному аэродрому, не было, конечно, за ним хвоста маслянистого дыма, но была эта механическая натуга, почти немощь, неуверенность какая-то, словно летел он вслепую, не понимая, куда летит и зачем. «Вертолеты — это души подбитых танков», — вспомнил почему-то Вадим ни с того, ни с сего. Этот гигантский, вялый, полудохлый бомбовоз тоже казался чьей-то душой — душой какого-то подземного ядовитого чудовища, — и тоже вовсе не бессмертной, а наоборот — подыхающей на лету. Он еле дотянул до стола и упал неподалеку от первого, сантиметрах в двадцати от него, но в отличие от первого он даже не шевелился — припавши к скатерти, лежал неподвижно и бессильно, словно раздавленный.

Хан Автандилович был уже в прихожей. Панически суетясь руками и всем телом, он судорожно напяливал на себя куртку, промахиваясь мимо рукавов, болезненно серый, с проступившей вдруг многодневной угольной щетиной, — губы его все время шевелились, он бормотал что-то неразборчивое, что-то про «второй раз уже» и «это все неслучайно... это кто-то грозит». (Или «шалит»?) Вадим помог ему натянуть куртку, отряхнул от капель и подал берет, он ничего не понимал, ситуация представлялась ему почти фантасмагорической, ничего не понятно было с этими чертовыми шершнями, пробудившимися вдруг посреди зимы (и где они до сих пор были? под кроватью? за диваном? в платяном шкафу?), и особенно непонятна была эта паника, этот ужас, почти неприличный,

который терзал сейчас его печального гостя. Никакой печали в нем уже не оставалось. Никакого достоинства. Одна только необъяснимая патологическая паника...

Тут грянул звонок в дверь, и сейчас же кто-то ударил в эту дверь кулаком. Послышались вдруг возбужденные и неприятно громкие голоса — три или четыре голоса, мужские, вроде бы незнакомые.

— Господи! — воскликнул Хан Автандилович. — Да они там сейчас перебьют друг друга!

Он распахнул входную дверь, и на лестничной площадке, в вечном тамошнем вонючем сумраке, освещенные только люстрой из прихожей, обнаружились знакомые лица: Андрей-Страхоборец (высокомерный и презрительный, изрыгающий краткие ругательства), Юра-Полиграф (с продовольственным пакетом в обнимку, румяный и даже красный, как яблоко, и тоже изрыгающий) и давешний Семен (со своим серым ежиком, начинающимся от бровей, и — черт побери! — с самым настоящим пистолетом наголо). Все они одновременно орали друг на друга, и ни слова разумного было не разобрать, кроме абсолютно черного мата.

Хан Автандилович преобразился — мгновенно и неузнаваемо. Не теряя ни одной секунды, он рванулся встать между ними, раскинув руки крестом.

— Стоп-стоп-стоп! — закричал он голосом властным и неожиданно громким. — Отставить! Шпаги в ножны, господа, шпаги в ножны! Семен, убери ствол. Немедленно! Алеша! (Это — к кому-то невидимому, к тому, видимо, кто стоял пролетом ниже и тоже, надо полагать, со стволом наголо.) Алексей, успокойся! Ничего страшного не происходит. Никто ни на кого не собирается нападать, не правда ли, господа? (Это уже — Страхоборцу, по-прежнему очень громко, но самым доброжелательным тоном и с самым доброжелательным выражением лица.)

— Святая и истинная правда, — тотчас же прекратив изрыгать черную брань, откликнулся Страхоборец — прекрасный, благородный и величественный, как сам король Артур в натуральную величину. Или сэр Найджел. Или лорд Гленарван. Смотреть на него стало одно удовольствие — если бы не дрожь в коленках при мысли, что застывший в классической боевой позе Семен (а равно и невидимый отсюда Алеша) сейчас откроет беглый огонь из своего огромного никелированного пистолета, который он и не думал «убирать в ножны».

— По крайней мере, МЫ... — Страхоборец сделал такой мощный акцент на этом «мы», что даже дал маленького петуха, но тут же поправился: — Мы отнюдь не собираемся нападать. Но мы намерены

защищать! И самым решительным образом.

— Кого и от кого? — осведомился Хан Автандилович, делая шаг в сторону, чтобы рукой опустить все-таки к полу никелированный ствол непреклонного Семена.

— Вы прекрасно знаете, кого и от кого, — объявил Страхоборец высокомерно. — Не притворяйтесь! Всем же все известно. Вы лучше скажите мне, пожалуйста, ведь вы сегодня весь день встречаетесь с мелкими, но омерзительными неприятностями, сударь? Не так ли?

— Так, — сказал Хан Автандилович, помедлив лишь самую малость.

— Я надеюсь, у вас хватило сообразительности понять, что это — отнюдь не случайные совпадения?

— Так это — ва-аша работа... — протянул Хан Автандилович с некоторым даже удовлетворением.

— Представьте себе — да.

— Господи, но зачем?!

— Мы хотим, чтобы вы оставили в покое нашего друга.

— Вы имеете в виду Вадима Даниловича? Но у меня нет к нему никаких претензий! Мы с ним в прекрасных отношениях. И я глубоко уважаю и ценю его...

— Это что-то новенькое, — процедил сквозь зубы Страхоборец и вопрошающе посмотрел на Юрку-Полиграфа.

Юрка-Полиграф (трезвый как стеклышко и напряженный, как перед большой дракой) уже нацелился на Хана Автандиловича, словно пойнтер на вальдшнепа. Он перехватил взгляд Страхоборца и кивнул — коротко и отчетливо, — будто гербовую печать поставил на заверенный текст. И тогда Страхоборец поглядел уже на Вадима, недоуменно поджавши губы самым комическим образом.

— Мать вашу наперекося, — сказал ему Вадим пересохшей глоткой. Голос у него наконец прорезался. — Защитнички хреновы...

На этом разборка (она же стрелка, она же, если уж на то пошло, терка) благополучно закончилась, и высокие разбирающиеся стороны разошлись, вроде бы довольные собой и вполне, вроде бы, удовлетворенные. По крайней мере, внешне все это выглядело именно так. Хан Автандилович, раскланявшись со всеми остающимися, проследовал в сопровождении Семена и Алеши вниз (к своему «мерседесу»), а навстречу им, демонстративно не спеша, с чувством большого достоинства поднялись: Вельзевул, имевший вид насмешливо-победительный, и Матвей — легкомысленно крутящий на указательном пальце цепочку с автомобильными ключами и никого не желающий видеть в упор. Тут уж

обошлось без каких-либо поклонов-реверансов, хотя и вполне на уровне упрощенного дипломатического протокола (то есть, прохладно, но без взаимных грозных выпадов, окриков и обнажения стволов).

А потом вся компания дедов с грохотом, с шарканьем и победными возгласами ввалилась в квартиру, сметя собою хозяина с порога его собственного дома. Напряжение боевой схватки слетело с них — жить им стало легко и хорошо, *отпустило*, — они разом все сделались румяные, веселые, громогласные и дьявольски доброжелательные ко всему на свете.

— Какие тут у нас натюрморты зелененькие! — вскричал Вельзевул, едва только оказавшись в гостиной. — Где такие надыбали, Вадим Данилович?

Вадим молча показал ему фигу и забрал пачку в задний карман джинсов (который с молнией). Шершней на столе уже не было. Словно их не было вовсе и никогда.

Но они — были.

— Как тебе мои питомцы? — продолжал Вельзевул, сбрасывая с себя куртку и швыряя ее в пространство. — Как тебе мои Vespa crabro? Произвели необходимое впечатление? Аятолла наш, я полагаю, в штаны надундолил? Очаровательные существа, не правда ли? У Брема, между прочим, сказано: «Гнезда их достигают очень почтенных размеров — почти величины ведра». Но старина Брем не видел нынешних шершней-мутантов!

Вадим хотел спросить его, где эти впечатляющие «vespa crabro» отсиживаются в данный момент и не могут ли они пожаловать к нему, Вадиму, ночью, но Вельзевул его не слушал — с тем же азартом он уже рассказывал (всем желающим слушать и не желающим — тоже), как утром устроил Аятолле «маленький уютный балаганчик» с отборными мокрицами (Oniscus asellus) в главных ролях. И тоже с мутантами, разумеется.

— ...С мутантами получается лучше всего, они послушные, вялые, на все согласны, ты меня понимаешь?.. Тут уж он в портки точно надундолил! Гарантирую!.. Жалко, что никто этого не видел, но я и так знаю: надундо-олили его святейшество — надундолили от всей души!..

Конечно же, он был сегодня герой, наш Вельзевул, — тощий, голенастый, костлявый Повелитель Мух, он же Рмоахал, он же Главатль, он же Тольтек, — достойный наследник расы древних атлантов, силой слова и мысли повелевавших животными и растениями. Он нашел управу на непобедимого владыку. Он принудил его отказаться от злобных замыслов. Он заставил его надундолить в портки... Но слушали его все равно

невнимательно, потому что он был — трепло. Его обнимали за костлявые плечи, похлопывали по сутулой спине, трепали ему и без того растрепанную гриву (желтую, как у льва), Матвей, расчувствовавшись, попытался его даже облобызать, но, главным образом, занимались все не Вельзевулом, а подготовкой пира победителей: откупоривали принесенное с собой пойло, раскладывали по тарелкам снедь, требовали у хозяина вилки-ложки... Они галдели и веселились — победители. Они ни черта не понимали, что произошло. Им казалось, что отныне все задачи благополучно разрешены и что именно они эти задачи разрешили.

И вообще все они сегодня были герои. Все как один. Они выследили Аятоллу и вели его по городу с самого утра. Герой-Матвей вцепился в его ослепительно белый «мерседес» как бульдог в штанину и не отпускал гада от себя ни на шаг — и это у него получалось вполне профессионально, если не считать случая на углу Московского и Фрунзе, где он, увлекшись преследованием, чуть не впилился юзом в белую роскошную корму, однако же бог спас.

Герой-Андрей провел переговоры с противником на недосягаемой для обыкновенного человека дипломатической высоте: задавил гада личным превосходством и, вне всяких сомнений, перематерил матершинника Семена с его сраным пистолетом. А что касается героя-Юрки Полиграфа, то он был как всегда точен, однозначен и чисто конкретен...

...За все эти подвиги было выпито с бурным энтузиазмом и даже с некоторой жадностью, вновь наполнено и вновь выпито же. В головах зашумело теперь уже и от спиртного тоже. Матвея потянуло спеть, и он незамедлительно спел — старинное, давно уж всеми позабытое и вышедшее из употребления, но вечно прекрасное:

По дороге в Бигл-Добл (по дороге в Бигл-Добл!),
Где растет тенистый топ'л...

И Вельзевул тотчас же подхватил («четвертым голосом»):

Шел веселый паренек, не жалел своих сапог,
Веткой вслед ему махал топ'л...

Выяснилось вдруг, что песню эту знают все, и все почему-то встали (со стаканами на изготовку), торжественно и разом, словно при исполнении

любимого гимна.

Знал веселый паренек: ждет любимый городок,
Ждет его родной Бигл-Добл!..

...Что за чертовщина, думал Вадим, старательно выводя энергичные синкопы. Что это нас разобрало вдруг? Что за всеобщая, внезапная и взаимная любовь?.. Мысли у него цеплялись друг за друга и путались, превращаясь в «бороду», знакомую каждому рыболову. Из какой-то неожиданной петли вдруг выползло: «Эволюция уничтожает породившие ее причины...» Это надо было бы обдумать. А, впрочем, зачем? Может быть, наоборот, ничего не обдумывать, а лучше еще раз выпить... и потом снова налить. В конце концов, плевать мне на эволюцию. Вообще. Главное, что все мы здесь братья... и навсегда. А где вы все были, когда я дристал от страха? — спросил он, сводя брови самым грозным образом. Где? Неделю назад всего?.. И вдруг — вот — словно просветление на вас нашло... И сразу же, строго: не надо так думать. Это дурно. Это недостойно. О друзьях так не думают. О братьях... Не суди, брат! (Это, кажется, Юрочка вмешивается. Полиграф.) А кто, собственно, судит? Я? И не думаю даже. Страшный Суд. Районный. «Решение районного Страшного Суда утверждено в городском Страшном Суде и теперь будет опротестовано в Верховном Страшном Суде»... О хищные жертвы века! В конце концов, все люди слабы. Все, совсем без исключения. И особенно слабы так называемые супермены: они не способны справиться с собой и отыгрываются на других. Тоже слабых... Как так — «глупости»? Хотя-а-а... А пусть даже и глупости. Между прочим сказано: хочешь, чтобы тебя услышали — говори глупости...

...Тут Андрей объявился рядом, обнял Вадима за плечи и принялся ласково уговаривать его поехать с ним куда-то... Куда-то далеко, в непроизносимую даль... Там у него есть страна холмов, целая планета холмов, их там тысячи — округлых одинаковых невысоких сопок, весной шелковисто-зеленых и мягких, летом буро-желтых, колючих, источающих зной... а между ними прихотливой змеей (гигантской драконьей кишкой) извивается цепь сорока семи озер, библейски фантастических и прекрасных: первое — зеленое и твердое видом, словно малахит, другое — неправдоподобно желтое, маслянистое и как бы мертвое, третье — гагатово-черное (не агатовое, а именно гагатовое, гагат — это такая разновидность антрацита), оно черное, но когда смотришь под известным

углом к солнцу, твердая стеклянная вода брызжет всеми цветами радуги, спектрально чистыми, словно это не вода, а экран какого-нибудь супермонитора... И там надо будет отлавливать раков... там водятся раки, разноцветные и тяжелые, словно из золота... собственно, они и в самом деле из золота: они вытягивают золото из воды и из ила — золото, молибден, уран... Каждый такой рак — пара тысяч баксов, но разве в баксах дело?.. Ты же лучше меня знаешь, что дело совсем не в баксах.

...Знаю. Но зачем тебе я понадобился? Возьми лучше Вельзевула, он этих твоих раков будет «уговаривать», как тараканов в ванной... Чудак, да я же для твоей пользы. Знаешь: уйди от зла — сотворишь благо. Знаю: уйдя от блага, не содеешь зла... Какое там благо: сожрут они тебя. Сегодня мы тебя отмазали, а завтра зазеваемся, и они тебя — ам!.. Ты ничего не понял, сказал ему Вадим. У меня все хорошо. А-атлично, Константин!.. Давай выпьем.

— Да тише вы, гробозоры! — заорал вдруг Матвей и, когда стало чуть тише (все, кроме Вельзевула, замолчали и воззрились на него), произнес несколько непонятных слов и закончил: — ...Твой Интеллигент-Профессор побеждает в первом круге: шестьдесят восемь процентов — чистая победа!

— Ну? — сказал Вадим, осознав (не сразу), что обращаются именно к нему.

— Пальцы гну! — рявкнул Матвей, поднимая над головой лэптоп, с которым он пристроился в уголочке на диване. — Экзитпол опубликовали... Фонд Сороса... У Профессора — шестьдесят восемь процентов, у Генерала — двадцать семь. Чистая победа в первом туре.

— У кого победа? — спросил Вельзевул, до которого, как правило, все доходило медленно. («Я понимаю медленно, но всегда!»)

— У Профессора!

— Как так — у Профессора? — проговорил Вельзевул, и взор его обратился на Вадима. И все воззрились теперь уже на Вадима, словно он совершил что-то — вдруг и неприличное.

Он пожал плечами.

— Так я что вам все время пытаюсь втолковать... — сказал он проникновенно. — Только вы же не слушаете.

Все молчали. Все словно протрезвели.

— Я же тебе говорю, — сказал Вадим, обращаясь к Андрею. — Меня не надо оборонять. У меня все о'кей...

— То есть ты сделал это? — сказал Андрей медленно.

— Ну. А что тут такого?

— Что тут такого? — повторил Андрей. — Он спрашивает: что тут

такого?

— Сделал и сделал, — сказал Вадим. — Вот если бы я еще понимал: как?

Андрей сказал:

— Он нас спрашивает: как? Нас!

А Юрка-Полиграф сказал:

— То есть получается — мы зря корячились? Или не зря?

А Вельзевул сказал:

— Ни хрена себе — уха! Ты сам-то в это веришь?

А Матвей сказал:

— Ну, и что мы теперь будем с этим делать?

Это был уже не новый, но зато единственно правильный вопрос. Только вот никто не знал на него ответа.

...Ровно в двадцать два, когда избирательные участки окончательно закрылись и стало МОЖНО, запустили долгожданный митинг перед входом в штаб-квартиру. Мороз давил уже не на шутку. Уши щипало, и мерзли пальцы в перчатках, но под бронежилетом все равно было жарко, и от напряжения пот время от времени скатывался по животу и по спине. Эль-де-през и сам не понимал, откуда у него это напряжение и почему. На первый (да и на второй-третий) взгляд все было спокойно и вполне обыкновенно. Привычное множество запрокинутых лиц, округлившиеся от опасения пропустить хоть слово глаза, полураскрытые рты и лихорадочная эта готовность разразиться аплодисментами, как только подскажет интонация оратора. Оратор был, как обычно, на высоте. Он был совершенно уверен, что уже победил, но скромничал, обходил острые углы, однако самоощущения победителя не скроешь, и, может быть, именно поэтому он был сегодня особенно хорош, раскован и щедр, он даже шутил сегодня, чего обычно не позволял себе делать совсем («Толпа не любит шуток, толпа всегда мучительно серьезна...»).

По всей площади, черной от народа, поднимались в лучах прожекторов столбы белого пара из заваленных снегом канализационных люков, и облачка пара вырывались из каждого полураскрытого рта, снег в сугробах на обочине празднично серебрился, а там, дальше, где площадь и толпа уходили из круга света, снег мрачно поблескивал на ветвях деревьев и на кустах бульварчика, — там тоже стояли люди, но их было мало: это были случайные прохожие — из тех, что прогуливали по бульварчику своих собак.

И не успел Эль-де-през толком разобраться, почему появилось в нем

это ощущение болезненного напряжения, как оттуда, из-за черно-белых мрачно мерцающих кустов, потянуло вдруг ледяной угрозой, от которой не было спасения. Это не прицеливание было, и вообще даже не «намерение совершить». Это было нечто, ни на что не похожее: угроза леденила глазные яблоки и была желтой и блестящей. Как свежий гной, но — ледяная. Он оцепенел, ощутив ее, и потерял несколько замерзших в беспомощности секунд, а потом вспомнил: то же самое было пару дней назад, в точности то же самое, и шло оттуда же — из кустов — и вдруг исчезло тогда, так же внезапно, как и появилось. А вот сегодня — не исчезало... длилось... наливалось нечеловеческой силой... грозило лопнуть, разразиться гибелью, безликой и неотвратимой. Ничего нельзя было сделать. Успеть было можно, а вот сделать — нельзя. Выпрыгнуть перед Профессором, закрыв его собой... схватить за пышную седую шевелюру, согнуть беспощадно пополам это импозантное туловище в мохнатом пальто, спрятать, затолкать за свинцовый фартук, наброшенный на балюстраду... просто поднять шухер... Все это, да, можно было успеть сделать, но все это было — он _знал_ — все это было бесполезно. «Атас!» — сказал он ларингофону и успел еще увидеть удивленное лицо повернувшегося к нему Петюни Федорчука, но тут все, что он предчувствовал и чему помешать никак не мог, произошло.

...Светящееся яркое пятно появилось там, где стояли на бульварчике случайные зеваки, — словно включил кто-то странный расфокусированный фонарь. Продолговатое пятно, неровное, бугристое, с мутными потемнениями на нем... Пятно это стремительно наливалось желтым светом, клочки пара серыми тенями крутились по нему, все сделалось желтым на площади — толпа, столбы пара, запрокинутые лица... Это лицо, понял он вдруг. Чья-то посмертная маска, понял он. Золотая. Незнакомая... И тут ледяная влага замерзла вдруг у него на глазах, и он мгновенно вырубился — без какой-либо видимой причины, без боли, без дурноты, только вдруг яростно обожгло язык и глотку, словно он по неосторожности хватил раскаленного кофе.

...Но пахло совсем не кофе. Запах был сильный, незнакомый и, скорее, неприятный. Чистилище, подумал он отвлеченно — сквозь желтый туман. Он и сам не знал, откуда и почему всплыло у него в мозгу это слово, которое он слышал за всю жизнь, может быть, два раза и уж точно никогда не произносил вслух сам. Чистилище, чистилище, повторял он молча, пытаясь мучительно понять, почему все вокруг желтое и почему он сам не стоит уже, а сидит, прислонившись спиной к балюстраде, — ног и рук у него нет, горит ошпаренная глотка, глаза в орбитах ледяные и следят (сами

собой, без всякого его на то желания), как Толян с Фанасом, согнувшись словно под бомбежкой, уволакивают в дом длинное мертвое тело в белом мохнатом пальто. Навстречу им, в клубах пара, выскакивали заполошные штабисты с ошалелыми лицами и ребята из внутренней охраны. И все это происходило в желтой плотной тишине, словно уши ему забило тугими влажными тампонами.

Петя Федорчук вдруг заслонил собою всю эту немую картинку — присел на корточки, заглянул в лицо, провел рукой перед глазами, и сейчас же тампоны из ушей пропали куда-то, и Эль-де-през понял, что никакие это были не тампоны, а плотный истерический ор сотни надсадных глоток — соединенный вопль толпы в последнем градусе паники. И сквозь этот вопль Петюня спросил (вполне спокойно и даже деловито):

— Ну, ты как? Дырок нет?

— Не знаю, — сказал Эль-де-през и подтянул к себе непослушные ноги.

— Что это было? — спросил Петюня, помогая ему подняться.

— Не знаю...

Ноги были ватные, но держали, а на руках почему-то не оказалось перчаток, и обе ладони были в ссадинах — продольные ранки распухли, сочились сукровицей, и он машинально лизнул их, как в детстве.

— Ты его видел? — спросил Петюня. Лицо его, румяное и спокойное, ничего не выражало, кроме деловитого интереса. Смоляные волосы стояли торчком, как всегда, и как всегда он был аккуратен и готов к любому повороту событий. Только вот «макаров» у него в руке смотрелся не совсем все-таки обычно.

— Не знаю, — сказал Эль-де-през в третий раз и спросил сам: — Профессор как?

— По-моему, ...дец, — сказал Петюня.

Он больше уже не вглядывался в лицо Эль-де-преза, он смотрел поверх его головы, на площадь, искал там глазами что-нибудь достойное внимания и, видимо, не находил.

— Точно, не видел? — спросил он снова.

Тогда Эль-де-през, сделав над собою усилие, развернулся на сто восемьдесят градусов и тоже стал смотреть на площадь. Там было полно бегающих людей, орущих во всю глотку и явно не знающих, куда бежать и где укрыться. Это было бы похоже на панику тараканов в ванне, но было там и еще довольно много таких, которые не бегали, а лежали на снегу — человек двадцать, а может быть, и пятьдесят, они лежали поперек площади, образуя какую-то почти правильную фигуру, длинный овал, протянувшийся

от бульварчика досюда. Некоторые шевелились и как бы пытались встать, но большинство лежало неподвижно. Совсем неподвижно. Похоже, им тоже был ...дец.

— Вон там что-то было, — сказал Эль-де-през. — На бульварчике, в кустах.

— Что именно?

— Говорю тебе — не знаю. Не видел.

— А почему ты сказал «атас»?

— Потому что почуял.

Петюня посмотрел на него, сделав губы дудкой.

— Ну да, ну да. За это тебе и деньги платят... А сейчас чуешь что-нибудь?

— Не знаю. Скорее, нет.

— Ладно, — сказал Петюня решительно. — Пойдем посмотрим.

Они спустились по пандусу и пошли через площадь — Петюня (с «макаровым» наголо) впереди, Эль-де-през следом, — на ватных ногах, в которых, словно он их отсидел, забегали теперь огненные искры. Слева, на тротуаре, толпились люди, они стали тише, орали, но не так пронзительно, как раньше, и их стало заметно меньше — видимо, самые напуганные убежали отсюда совсем, а остались самые неистребимо любознательные... А справа — где черные тела — было совсем тихо, только сухой надрывный кашель там раздавался, мучительный и множественный, как беспорядочная стрельба.

И стоял сильный, горьковатый и совершенно здесь неуместный запах — не то взбаламученной старой пыли, не то горелой бумаги.

— Петюня, ты запах слышишь какой-нибудь?

— Ну?

— Чем пахнет?

— Пахнет, что мы с тобой остались без работы, — сказал Петюня и хохотнул невесело, оглянувшись через плечо скошенным свирепым глазом.

Он сказал и еще что-то, но тут в толпе слева совсем уж истошно завопили («Скорую! Скорую вызывайте, козлы!..»), и Эль-де-през Петюню не услышал, а переспрашивать не стал. Петюня был шутник, а сейчас было не до его шуток. Эль-де-през осознал наконец, что произошло, и это осознание обожгло его так, что он окончательно опомнился. Он дело провалил. Хозяин поручил ему дело, а он это дело провалил. Первый раз в жизни, но зато уж — целиком и полностью, и без каких-нибудь разумных оправданий... Но ведь я ничего не мог сделать, подумал он отчаянно. Невозможно было что-нибудь сделать... Он понимал, что это — не

оправдание. Да он и не пытался оправдываться. Так, бессмысленное бормотание это было — убогое бормотание покалеченной профессиональной чести. Слушать это бормотание никто не станет, да и некому его будет слушать...

Петюня шагал быстро, и они уже оказались на бульварчике, среди кустов, сугробов и серебристых деревьев. Здесь было сумрачно и пустовато, — только в отдалении кучковались беспорядочно какие-то темные, неуверенно движущиеся туда-сюда личности. И тихие собаки. Все как один эти люди были с собаками. И больше ничего здесь, конечно же, не было. Мертвенно светили ртутные лампы сквозь переплетения ветвей. Снег был весь затоптан, собачьи какашки чернели, и среди этих какашек, в самом конце бульвара лежало неподвижное тело со свалившейся в снег шапкой. Черный беспризорный пудель с волочащимся ремешком бродил тут же неприкаянно, и Эль-де-през мельком отметил, что собаку бьет крупная дрожь, и вспомнил почему-то про Мефистофеля... Какая-то связь была между этим черным пуделем и Мефистофелем... он забыл какая.

— Ну что? Чуешь здесь чего-нибудь, нет? — спросил Петюня, настороженно озираясь.

— Нет. Понимаешь... остыло уже все... Не знаю, как тебе объяснить...

— Надо же, ты посмотри, как они все лежат, — сказал Петюня. — Как сигара, точно?

Он засовывал «макаров» в кобуру за пазухой и глядел на это неправдоподобно правильное пятно, образованное на заснеженной площади лежащими телами. Это действительно была — сигара. В ближнем острие ее они сейчас стояли, а дальнее — упиралось в балюстраду, где теперь никого уже не было, только метались заполошные штабисты без пальто и без шапок. Словно язык ядовитого пламени из некоей гигантской форсунки вылетел откуда-то отсюда, из-за кустов, и выжег всех, кто оказался на пути к намеченной цели.

— Огнемет, — сказал Петюня. — Или газомет какой-нибудь.

Не было никакого огнемета, хотел сказать Эль-де-през, но не сказал, потому что Петюня и сам знал, что не было ни огнемета, ни газомета, а было здесь что-то такое, о чем они никогда раньше не слыхивали. Да и никто, наверное, не слышал.

— Больше всего это было похоже на лазер, — сказал все-таки Эль-де-през. На всякий случай. Он понимал, что — зря.

— А почему тогда — сигара? — сейчас же возразил Петюня. — Пшел, пшел отсюда, — сказал он пуделю, который попытался к ним приблизиться. — Пшел, говорю!

— Отстань, — сказал Эль-де-през нервно. — Не трогай его.

— Да ну его в жопу! Терпеть ненавижу блохастых.

— Может быть, он — этого... вот этого...

Петюня наклонился и сунул два пальца за воротник лежащему, потом снова выпрямился, вытер пальцы об куртку и, весь скривившись, покачал головой. Лицо у лежащего было серое, свинцовое, безжизненное, и Эль-де-през вдруг снова почувствовал запах горелой бумаги. Он заставил себя присесть на корточки. Запах шел от тела. Но никаких следов огня не было. И вообще не было никаких следов поражения. Просто лежал, подломив под себя тряпочные руки, мертвый человек с полуоткрытым ртом и стеклянными глазами на темном, сильно небритом лице. Бомж какой-то. Неподвижный, брошенный кое-как, в точности такой же, как и те несколько десятков, что на площади. И пахло от них от всех горелой бумагой. Или подгоревшей кашей. Или паленым волосом... Но на площади все-таки оставались живые. Двое или даже трое — шевелились, а один вообще поднялся и, сгибаясь в мучительном раздирающем кашле, пошатываясь, почти с ног валясь от этого кашля, брел сейчас прочь, куда-нибудь, подальше отсюда...

— Ну? — сказал Петюня нетерпеливо. Он, видимо, все еще ждал от Эль-де-преза откровений. Петюня был простой человек: обосрались — ладно, давай хоть информацию какую-нибудь соберем. «Что именно произошло? Каким образом? Где располагался? Как ушел?..»

Эль-де-през заставил себя шевелиться — еще раз огляделся (ничего нового не обнаружил), обогнул тело, трясущийся пес сунулся ему в ноги унылой мордой, он осторожно обогнул и пса (мельком подумал: вот бы кого сейчас допросить — этот, наверное, все видел), на снегу вдоль кустов было много собачьих следов, человеческих не было совсем, а по ту сторону кустарника снег и вовсе лежал нетронутый. Похоже, палили прямо с дорожки, из-за спины этого... который с пуделем... поверх его головы и поверх толпы: балюстрада отсюда отлично просматривалась, театрально освещенная прожекторами. Выпалил и — ушел себе, не торопясь, в сторону Белоберезовой, где фонарей — раз-два и обчелся, и где у него, скорее всего, стояла машина. А может быть, и вверх по бульвару ушел — спокойно, по дорожке, без паники и суеты, между деревьев, между собак и собачников...

— Я вот чего не понимаю, — сказал он Петюне. — Ведь я его почуял. Однозначно. Но почему я уверен был, что ничего нельзя сделать? Ни прикрыть, ни спрятать — ничего. Безнадежно было, понимаешь?..

Он замолчал, потому что ни рассказать, ни объяснить толком он все

равно ничего не умел. Да и бессмысленная это была затея — объясняться с Петюней. При чем здесь Петюня? Ты свои объяснения прибереги лучше на будущее, подумал он неприязненно. Тебе теперь всю жизнь придется объяснительные писать... «Лучший друг президента», мудила-грешник... А что я мог, спрашивается? Мое дело маленькое: я должен был его почуять. Почуял? Почуял. И что? А ничего! Ничего нельзя было сделать. Вот этого мне никогда и никому не объяснить, подумал он с отчаянием. Как объяснить, откуда я знал, что ничего нельзя было сделать...

— А ты-то? — сказал он Петюне. — Неужели ничего не видел? Совсем? (Петюня помотал румяными щеками.) Совсем ничего?

Он не ждал серьезного ответа. С какой стати? Но Петюня вдруг ответил — вполне серьезно, хотя и коротко. Он ничего не видел. Все было совершенно нормально, а потом он услышал «атас», тут же (по инструкции) повернулся, чтобы заслонить «тело», но Профессор уже падал — как стоял, с поднятой рукой, — падал на спину, и его тут же подхватили Фанас с Толяном.

— ...А ты стоял на коленях и вроде бы пытался перебраться за перила, а потом повернулся и сел спиной. И, похоже, тут же вырубился вчистую...

— И выстрела не видел?

— Не было выстрела.

— А что было?

— А ни хрена не было, — сказал Петюня Федорчук. — Вдруг все начали падать, а другие заорали и забегали туда-сюда как тараканы... Да пош-шел ты, каз-зел! — прошипел он с ненавистью и пнул в бок пуделя, который опять попытался приблизиться.

Пес, издавши екающий звук, отскочил и опрометью бросился прочь. Он поскакал вверх по бульвару, опустив голову, свесив уши до земли и уставив нос в снег, словно пытался обнаружить там что-нибудь жизненно для себя важное. Поводок волочился следом, подпрыгивая на замерзших какашках.

Эль-де-през смотрел, как он бежит, и думал: взять его домой, Сережке-маленькому? То-то радости было бы. Но ведь и этого даже нельзя: аллергия, мать ее туда и сюда. Ну что за жизнь такая паршивая, беспросветная! Ничего нельзя, и ничего впереди нет хорошего, кроме гнилых неприятностей...

Он все еще смотрел вслед убегающему псу, когда заклекотали, завыли, засверкали огнями по площади налетевшие сразу с трех сторон «ноль-тройки» и милицейские «луноходы».

Лирическое отступление № 6 ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

...Я ничего толком не знаю об ее болезнях. Знаю, что был у нее рак. Вырезали, вроде бы благополучно («...как в мешочке вынули...»). Знаю, что она с тех пор ждала возвращения этого рака, дождалась, перенесла вторую операцию, тоже вроде бы благополучную. Наверное, ждет его и сейчас, если она сейчас вообще чего-нибудь ждет.

Я помню ее молодой и прекрасной. Я был влюблен в нее по уши, как и все мы, вся наша бригада. Гарцевали вокруг нее словно лейб-гусары, через всю комнату, толпой, бросались — огоньку поднести к сигаретке, остроумием блистали, выпендривались друг перед другом в меру своих возможностей каждый, а потом, когда она уходила из комнаты, очумело глазели друг на друга: что это с нами, ребята, господи?..

На наших глазах она превращалась в сухую крючконосую ведьму с длинной белесой щетиной на подбородке. Оставались только ореховые глаза и бархатный ее голос, но и этого было достаточно для нашего ею восхищения.

Однажды — она как раз вернулась домой после второй операции — я подслушал случайно, как она сказала ему с ужасом: «Вот это вот — я, посмотри». Это было на кухне. Потрошеная курица лежала на кухонном столе — белая, голая, с пупырчатыми ляжками и бесстыдным черным отверстием между ними... «Потрошеная курица, — сказала она с ужасом и повторила: — Кура потрошеная...» Именно с той поры она и начала пить.

Бесконечные карточные пасьянсы за кухонным столом. Ликеры. Наливки. А потом и обыкновенная водочка — по бутылке в день, а потом и по две... Приемник на подоконнике, на голове — скоба наушников, по клеенке — россыпь карт, полупустая бутылка и стакан тут же — обыкновеннейший наш вечерний натюрморт. Я думал, она слушает музыку, но однажды, когда она заснула, уткнувшись лицом в клеенку, я осторожно снял наушники и послушал — чистый детский голосок выводил там: «Аве Мария грацья плейна Доминус тейкум бенедикта ту ин

мульерибус ет бенедиктус фруктус вентрис туи Йезус...» И детский печальный хор подхватывал: «Санкта Мария матер деи ора про нобис пекаторибус...» А потом тишина, космическое молчание и снова — «Аве Мария грацья плейна»... Я позвал его, и он с трудом дотащил ее, волоком, до постели — она была уже худая, но большая и все еще тяжелая тогда. Это теперь она съежилась, словно мертвый воздушный шарик...

Роберт сложил распечатку пополам, еще раз пополам, подумал секунду, а потом решительно порвал странички в лапшу. Никому это не покажешь. Да никому это и не нужно. Жизнь продолжается. Жизнь все равно продолжается: вот уж и воскресенье на исходе, а понедельник — на носу. Звонить Тенгизу — напомнить еще раз, или достаточно уже? Достаточно, решил он. Он старался не думать о завтрашнем дне: зашторенная палата, болезненная желтизна ночника, мертвенный дух поганой неопределенности — еще не смерти, но уже и не жизни тоже... Отвлекись, приказал он себе и послушно отвлекся — взял листочки с сегодняшней порцией последней сэнсеевой статьи, пробежал глазами полузнакомый текст — сэнсей внес-таки изменения и добавил кое-что для вящей понятности.

...Ничего не изменится, пока мы не научимся как-то поступать с этой волосатой, мрачной, наглой, ленивой, хитрой обезьяной, которая сидит внутри каждого из нас. Пока не научимся как-то воспитывать ее. Или усмирять. Или хотя бы дрессировать. Или обманывать... Ведь только ее передаем мы своим детям и внукам вместе с генами. Только ее — и ничего кроме. («Я старый хакер, и я точно знаю, что нет на свете программы, которую нельзя было бы улучшить. Но что значит УЛУЧШИТЬ, когда речь идет о ДНК?..»)

...Но вот ведь что поражает воображение: все довольны! Или — почти все. Или — почти довольны. Недовольные — стонут, плачут и рыдают, молятся, бьются в припадках человеколюбия, и ничего не способны изменить. Святые. Отдающие себя в жертву. Бессильные фанатики. Они не понимают, что ВОСПИТАННЫЕ никому не нужны. Во всяком случае, пока — не нужны...

...Это как неграмотность, аналогия исчерпывающая.

Тысячелетиями неграмотные люди были нормой, и это никого не беспокоило, кроме святых и фанатиков. Понадобилось что-то очень существенное переменить в социуме, чтобы грамотность сделалась необходимой. Что-то фундаментально важное. И тогда, как по мановению жезла Моисеева, за какие-нибудь сто лет все стали грамотными. Может быть, и воспитанность тоже пока нашему социуму не нужна? Не нужны нам терпимые, честные, трудолюбивые, не нужны и свободомыслящие: нет в них никакой необходимости — и так все у нас ладненько и путем. («Пусть мною управляют. Не возражаю. Но только так, чтобы я этого не замечал...»)

Что-то загадочное и даже сакральное, может быть, должно произойти с этим миром, чтобы Человек Воспитанный стал этому миру нужен. Человечеству сделался бы нужен. Самому себе и ближнему своему. И пока эта тайна не реализуется, все будет идти как встарь. Поганая цепь времен. Цепь привычных пороков и нравственной убогости. Ненавистный труд в поте лица своего и поганенькая жизнь в обход ненавистных законов... Пока не потребуется почему-то этот порядок переменить... («В России у нас действуют только два закона: закон сохранения энергии и закон неубывания энтропии, — да и те по мере необходимости благополучно нарушаются».)

Роберт не стал ничего править, хотя и напрашивалось. Пусть утром сам прочтет и сам поправит. Альтруизм есть эгоизм благородного человека. Мы, да, альтруисты, но не до такой же степени, чтобы править на правку обреченное.

Жизнь продолжалась. Пора было делать укол и идти домой.

В спальне света не было. Сэнсей, завернувшись в халат, лежал на кровати, лицом к стене, скорчившись, — он притворялся спящим. На стене над ним слабо отсвечивала лаком картина Пиросмани, говорили — подлинник. Роберту больше всего в ней нравилось название. Она называлась «ХОЛОДНЫЙ ПИВО» (большими печатными буквами).

— Укол, сэнсей. Время.

— Какой укол? Зачем? Темно же!

— Ничего, в такую мишень трудно промахнуться. А кроме того, можно зажечь свет.

— Это правда... А какой-нибудь достойный компромисс возможен?

(Вымученный юмор беспомощного старика, загнанного в темный угол, из которого есть один только выход — в завтра, в понедельник, в Дом Страдания. Такой юмор надлежало поддержать, хотя бы только из обычного милосердия.)

— Я не хожу на компромиссы, — высокомерно ответил Роберт, разрывая упаковку шприца.

Сэнсей вдруг спросил (не оборачиваясь, все так же — лицом в стену):

— Вы тоже меня осуждаете, Робин?

— А як же ж, конечно, — сказал Роберт. — А за что, собственно? — Но он уже насторожился — голос сэнсея ему не понравился решительно.

— За то, что я учинил с Вадимом.

— Вот как? Вы что-то учинили с Вадимом? — Роберт все еще пытался держать юмористический тон, хотя сомнений уже не оставалось, что речь пошла о серьезных вещах. И вдруг — понял.

— А вы не заметили?

— Заметил, — медленно сказал Роберт. — Только что.

— Вы считаете, это было слишком жестоко?

— Какая разница, что я считаю, — пробормотал Роберт. А может быть, и не пробормотал вовсе, а только подумал.

(«...Вы ленивы и нелюбопытны. Бог подал вам со всей своей щедростью, как никому другому, а вы — остановились...»)

Лицо Вадима вдруг вспомнилось, не лицо, а физиономия — мокрая, зябкая, с просинью, физиономия непристойно, до омерзения перепуганного человека. (Стоило оно того? Наверное...) И запах псины от него... И голос его — искательный голосишко битого холуя...

(«...Вы сделались самодостаточны, вы не желаете летать, вас вполне устраивает прыгать выше толпы, вы ДОВОЛЬНЫ — даже самые недовольные из вас...»)

...И потому надлежит нас иногда пришпоривать? Шенкеля давать? Дабы не застоялись? Наверное. Если человека не бросить однажды в воду, он никогда не научится плавать, хотя умение плавать заложено в нем самим Богом. И если не гнать нас, пинками, к зубодеру — так и будем ведь ходить с дырками в зубах...

...Какая, впрочем, теперь разница. Он сделал это, он добился своего, а теперь мучается. Вадим, небось, ходит гоголем: он победитель, и все зубодеры позади. А этот странный старик мучается, потому что не уверен и никак не убедит себя, что достигнутая цель оправдывает средства.

— С нами иначе нельзя, — сказал Роберт с максимально глубоким убеждением в голосе. — Победа все списывает...

(Сэнсей слушал. Внимательно. Насторожив затылок с черно-багровым пятном «чертова подзатыльника».)

— «Достигнутая цель оправдывает средства», — сказал Роберт этому пятну.

Врать было неприятно. Но в конце концов, он, может быть, и не врал совсем?

— Все, ваше время истекло, — сказал он бодро и надломил кончик ампулы.

— Разочарование — горестное дитя надежды, — сказал сэнсей. Он все еще лежал лицом в стену. — Но, может быть, все-таки попозже? Перед самым уходом?

— А я, собственно, уже собрался. Одиннадцать часов.

— Караул! Праздник кончился! — сказал сэнсей, задирая полу халата.

Глава одиннадцатая ДЕКАБРЬ. ТРЕТИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК СОВЕРШЕННО НЕТ ВРЕМЕНИ

Отбыли точно в десять, по дороге большей частью молчали.

Сэнсей сидел на обычном своем месте (самом безопасном, справа сзади) и вообще не произнес ни слова — только в самом начале, усаживаясь, тихонько поздоровался с Тенгизом. Новость насчет Интеллигента его просто раздавила — никогда прежде не видел его Роберт таким тихим и покорным. С самого раннего утра, с момента, когда позвонил какой-то доброхот от Аятоллы и преподнес подарочек, он ничего не хотел, на все был согласен и только кивал, как носом клевал, причем каждый раз — с некоторым запозданием, словно до него не сразу доходило.

Тенгиз, оказывается, о вчерашнем знал все и даже, видимо, больше. По своим каналам. О деталях — умолчал и вообще, увидевши сэнсея, сделался молчалив. Он управлял машиной с необычной для себя осторожностью, никаких разговоров не заводил и только иногда сквозь зубы отпускал очередную порцию (вполголоса) «блинов» пополам с энергичными инвективами в адрес «долбаных наледей, выледей и проледей».

А Роберту уж совсем было не до разговоров. Он думал о «странных превратностях бытия», о несчастном Интеллигенте-Профессоре, о бедолаге Ядозубе, но, более всего, — о том, что будет, когда они приедут на место: позовет его сэнсей с собой в палату, или все как-нибудь обойдется. В палату идти не хотелось категорически. Он вспоминал землистое это и ставшее совершенно чужим лицо, впалый морщинистый рот, длинные белесые волосы по щекам, болезненный взгляд беспомощного обессиленного животного... костлявая грудь в вырезе серой рубашки... горький запах мочи... Безжалостная все-таки штука — эта наша обыденная жизнь. И не то беда, что мы от нее меняемся. Беда в том, что она нас _превращает_. Всех. Всегда. Без всякого сожаления. И безо всякой пощады...

Прибыли на место ровно в двенадцать. Тенгиза оставили в машине. В одиночестве. Перед зданием никого не было. Елки стояли тихие и грустные под снегом, не было видно ни посетителей на широкой входной лестнице, ни прогуливающихся пациентов с финскими санками наперевес.

У дверей палаты сэнсей остановил Роберта и сказал ему тихо:

— Подождите здесь. Только не исчезайте, пожалуйста. Может быть, я вас позову... И я не хочу, чтобы мне мешали.

Роберт, естественно, подчинился. Перевел дух. Отошел от дверей в глубину холла, сел в тяжелое кожаное кресло у журнального столика, увидел кривое свое отражение в экране гигантского выключенного телевизора. Покусал губу, взял, не глядя и не видя, какой-то дурацкий журнал со столика. Стыд выедал глаза. Какого черта! Это же не моя обязанность — присутствовать... Я же не врач. И не родственник... Он знал, что это — его обязанность. И это есть его обязанность, и еще многое — неприятное, неаппетитное, горькое и стыдное... Но все-таки не такое стыдное, как облегчение, какое испытываешь, когда удается уклониться. «Никогда не жалейте себя», — вспомнил он. «Каждый из нас достоин жалости, да только вот жалеть себя — недостойно».

В доме было невероятно, неправдоподобно, звеняще тихо. Как в сказочном волшебном замке. Неестественно тихо, светло, пусто, и пахло, как в ботаническом саду — пряностями и сказкой. Не слышно было властно-свободных разговоров медперсонала, ни шарканья подошв согбенных пациентов, ни зычного перекликания нянечек, протирающих квадратные километры здешнего линолеума, — ничего здесь не было из своеобычной атмосферы большой, пусть даже и самой привилегированной и дорогой больницы. Впрочем, это ведь и не больница была на самом деле. Это был хоспис для богатых. Для очень богатых. А может быть, на самом деле и не хоспис даже. В хосписах доживают безнадежные. А здесь был — дворец надежды. Дом Самой Последней Надежды...

Сначала, первые минут пять, ничего вокруг не происходило. Он листал журнал — яркие, глянцевые страницы, фотографии роскошных автомобилей и женщин, сверкающие небоскребы, специфические тексты, рассчитанные на специфического читателя... Поглядывал рассеянно вправо-влево вдоль коридора, менял положение вытянутых и перекрещенных ног, старался не прислушиваться к невнятному голосу сэнсея из-за дверей палаты (голос этот вдруг выкристаллизовался из тишины — то ли сэнсей дверь закрыл недостаточно плотно, то ли звукоизоляция здесь была как в доходном доме)... Ничего не происходило. Экзотические растения в кадках, справа и слева от гигантского, в полстены, окна, источали тропические запахи. За окном была заснеженная автостоянка, несколько заснеженных лимузинов на ней и «шестерка» Тенгиза — совсем не заснеженная, но — грязноватая. Из глушителя шел кудрявый дымок.

Потом вдруг обнаружилось некоторое движение в коридоре слева. Из-

за угла выкатилась медицинская тележка (стеклянная этажерка на колесиках), и вместе с нею — классическая, прямо-таки плакатная медсестра (прямая, как торшер, монахиня в клобуке — неподвижное лицо и поджатые губы). Едва только увидев их обеих (монахиню и тележку), Роберт мгновенно понял, что они направляются именно сюда, в эту вот палату, к сэнсею, и надобно срочно принимать меры. Он поднялся и в два шага оказался у дверей палаты, став к ней спиною. Журнал при этом он почему-то захватил с собой, только свернул его в трубку и трубкой этой стал постукивать в раскрытую ладонь левой руки. Таким образом он как бы хотел подчеркнуть прочность своей позиции и полную неготовность эту позицию покинуть. Чувствовал он себя при этом достаточно глупо. И неуверенно.

Монахиня и тележка приближались — неторопливо, неотвратимо и совершенно бесшумно — словно плыли поверх ковровой дорожки. Колбочки и стаканчики на этажерке беззвучно подрагивали, неподвижные бесцветные глаза монахини смотрели мимо и непреклонно. Роберт мысленно съежился. Заранее. В предчувствии. А за спиной, за дверью, голос сэнсея стал вдруг вполне различим, и, совершенно того не желая, Роберт услышал:

— ...Ничего не изменится, пока мы не научимся что-то делать с этой волосатой, мрачной... наглой, ленивой обезьяной...

Голос снова сделался невнятным (словно бы сэнсей расхаживал туда-сюда по палате и сейчас повернулся спиной к двери), а монахиня надвинулась вплотную и встала, глядя бесцветными своими пуговицами в упор, и взгляд ее сделался требовательным и неодобрительным: словно она только что обнаружила перед собою препятствие и теперь с холодным нетерпением ждала, пока препятствие это само собою расточится и исчезнет.

— Извините, но сюда нельзя, — сказал ей Роберт, преодолевая естественное желание уступить дорогу женщине и медицинскому работнику.

— Анализ крови, — сказала монахиня, почти не разжимая губ и по-прежнему глядя насквозь. Навылет.

— Не сейчас, пожалуйста. Сейчас сюда нельзя.

— Назначено на сейчас.

— Пожалуйста, — сказал Роберт. — Не сейчас. Сейчас нельзя.

— Хорошо, — вдруг согласилась монахиня. — Я зайду через час. Только пусть ничего не кушает. — И, привычно развернувшись, укатила дальше по коридору, беззвучная, как белый призрак с неестественно

прямой спиной.

Сэнсей за дверью воскликнул вдруг:

— И вот ведь что поразительно: все довольны!..

Дверь, и действительно, была не прикрыта. Роберт хотел было ее прикрыть, но тут же сообразил, что получится щелчок или скрип, какой-нибудь дурацкий предательский шум, и будет неловко... Он колебался, не понимая как поступить. Тем более что ему вдруг стало интересно.

— ...Это как неграмотность, представь это себе на минутку. Тысячелетиями неграмотные люди были нормой...

Надо было что-то предпринимать. Немедленно и решительно. Но он не предпринимал ничего. Он слушал. Подслушивать дурно. Но ведь не подслушивал. Он — слушал! И это было совсем не то, что — читать.

— ...поганая цепь времен. Цепь пороков и нравственной убогости. Ненавистный труд в поте лица своего и поганенькая жизнь в обход ненавистных законов... Пока не потребуется почему-то этот порядок переменить...

Тут сэнсей, видимо, и сам заметил, что дверь плохо прикрыта — голос его приблизился, и дверь захлопнулась. Со щелчком. Но без скрипа... Роберт перевел дух и вернулся в свое кресло. Бросил скрученный журнал на столик, сел, вытянул ноги. Не то чтобы речь сэнсея содержала в себе новое, но определенное впечатление она производила (и сильное впечатление, между прочим), причем самым острым (понял он вдруг) было ощущение мертвой тишины в ответ на сэнсеевы откровения — словно он тренировался в произнесении какой-нибудь там нобелевской лекции перед зеркалом в пустой прихожей. Или, может быть, она сегодня в себе? Бывает же она в себе. Хоть и редко очень. И с каждым месяцем все реже... Впрочем, и нечто новое там, у сэнсея, тоже было. Было, было, не спорь. Пополам со старым. И потом — это сильно у него получилось, с отчаянием и страданием...

...Что-то загадочное и даже сакральное, может быть, должно произойти с этим миром, чтобы Человек Воспитанный стал этому миру нужен. Человечеству. Самому себе стал нужен. И пока эта тайна не реализуется, все будет идти как встарь. Цепь убогих пороков и нравственной убогости. Ненавистный труд в поте лица своего и поганенькая жизнь в обход ненавистных законов... Пока не потребуется вдруг и почему-то этот порядок переменить...

В том-то и беда: не знаем мы, что надобно нашему бедному сволочному миру и что с ним еще должно произойти, чтобы он захотел наконец Человека Воспитанного. Да только мы ведь вообще массы вещей

не знаем. Причем гораздо более элементарных. Например, знаете ли вы, что Вальтер Скотт писал свои самые знаменитые романы под псевдонимом, а точнее говоря — вообще анонимно?.. Что кровавый Пол Пот был изначально мягкий, интеллигентный, скромный человек, любящий и даже нежный отец, и звали его в молодости Салот Сар?.. Мало ли чего мы не знаем. Какие, например, были последние предсмертные слова Василья Львовича Пушкина, вы знаете? Никогда и никто не догадается. «Как скучны статьи Катенина!» — сказал он напоследок. (Вот как надо любить литературу!)

Он попытался вспомнить еще что-нибудь — неожиданное, из недавнего чтения — и даже вспомнил было что-то (про ацтеков), но тут в коридоре вновь начались перемещения войск противника, и он отвлекся на суконную реальность.

По ковровой дорожке, не спеша, но уверенно, приближалась довольно странная пара. Роль стеклянной этажерки играло теперь кресло-каталка, вместо монахини был монах — невысокий, но явно очень крепкий, широкоплечий человек в черном спортивном костюме с неразборчивой красной эмблемой на сердце, а в кресле восседало нечто совсем уж несообразное — инвалидное тело, все в голубом, с серебром и золотом, с серебряными и золотыми драконами от шеи до пяток — голый белый череп, космато-чернобородый, в неестественно огромных черных очках, закрывающих половину лица.

Ну вот, подумал Роберт с горечью. Теперь — эти. Он поднялся и занял свой пост — спиной к двери, — стараясь держаться уверенно и независимо, как и подобает настоящему бодигарду. Тенгиза бы сюда, подумал он мельком. Очень не помешал бы здесь старина Тенгиз... Противник приблизился, и теперь Роберт мог видеть глаза того, кто катил коляску. Неприятные глаза. Волчьи. Или, скорее, пожалуй, змеиные. Равнодушные, как у пресмыкающегося, но при этом прозрачные, светлые. Да, без Тенгиза мне здесь не обойтись. Роберт вытащил из-за пояса мобильник. А может быть, они не к нам?..

Но они были именно к ним. Коляска остановилась в шаге от двери, и косматый инвалид сказал высоким, слегка надтреснутым голосом:

— Здравствуйте, мой дорогой. Мне бы к Стэн Аркадьевичу. К господину Агре.

В этот момент Роберт узнал его: это был тот самый Великий Целитель (по имени Лешка-Калошка), к которому они уже Татьяну Олеговну водили без всякого толку. Только космами с тех пор оброс словно команданте Че Гевара. И бодигарда себе завел.

— Господин Агре сейчас не принимает, — сказал ему Роберт без всякой приязни.

— Ничего-ничего. Меня примет.

— Господин Агре просил его не беспокоить, — Роберт говорил почти механически, а сам поглядывал краем глаза на вражеского бодигарда и лихорадочно думал: пора нажимать аларм на мобильнике, или еще рановато будет?

— Мой дорогой, — говорил между тем Целитель надтреснутым голосом, совершая успокоительные помавания белыми ладонями. — Все путем. Стэн Аркадьевич мне назначил на это время...

— Имею приказ не беспокоить.

— А я тебе объясняю, что меня именно ждут, непонятливый ты человек...

Беседа явно зашла в тупик, и живое воображение нарисовало Роберту малопривлекательную картинку неизбежно надвигающегося насилия: тычок в болевую точку, воздействие на отключающую точку и прочие прелести, описанные в современной литературе о гангстерах и киллерах. Он нажал тревожную кнопку на мобильнике и, так сказать, препоручил себя своей судьбе.

— Я, мой дорогой, не люблю, когда мне препятствуют... — повышая надтреснутый свой голос провозгласил напористый инвалид, и тут, слава богу, дверь растворилась, и сэнсей появился, как бог из машины. Лицо у него было озабоченное и напряженное до незнакомости, и он сказал:

— Алексей. Я вас жду. Проходите... Один! — добавил он сейчас же, уловив движение змеиноглазого плечистого монаха.

Возникла суета. Кресло-коляска прошло в дверь не вдруг, пришлось покорячиться, причем корячились все, включая и роскошного инвалида Алексея. Он обеими руками крутил туда-сюда никелированные колеса, приговаривая на разные лады: «Один, обяза-ательно один... Вот видите, дорогой мой, а вы мне не верили... Я, Стэн Аркадьевич, говорю ему: назначено мне! А он стоит, как Мамаев курган...» А тем временем слева по коридору уже приближался, двигаясь с быстротой, почти неестественной, хмурый Тенгиз, готовый к самому худшему, но тут кресло протиснулось внутрь, дверь захлопнулась, и в коридоре остались трое — трое бодигардов, слегка запыхавшихся и все еще настороженных. Но напряжение уже отпускало их, уходило, как воздух из проколотой шины. Как болевой приступ. Как шок.

Плечистый монах последний раз обмерил их прозрачными, абсолютно равнодушными глазами, повернулся (через широкое левое плечо) и

удалился в холл, к телевизору, сел напротив, взял со столика газету и тут же ее развернул — быстро и жадно, словно соскучился по новостям.

Ничего не оставалось, как тоже отступить на исходные. Роберт вернулся в свое кресло, а Тенгиз встал у прозрачной стены между пальмами и стал смотреть вниз, на стоянку.

— Блин... — произнес он с досадой. — Машину не запер. Забыл второпях.

— Кому она нужна, твоя жестянка, — откликнулся Роберт, не оборачиваясь.

— Но-но! Попрошу без фамильярностей! — Тенгиз отошел от окна и сел рядом.

— Ну, извини, — Роберт исподлобья наблюдал за потенциальным противником, и воображение снова рисовало ему разнообразные малопривлекательные картинки.

Они помолчали, вдвоем уже теперь наблюдая, как потенциальный противник листает газету.

— Память стала совсем плоха, — сказал Тенгиз. — Все забываю.

— Имена, адреса, явки...

— Нет, в самом деле. Давеча, представь себе, забыл фамилию клиента. На языке вертится, а вспомнить, блин, не могу.

— Это называется шперунг, — объяснил Роберт рассеянно. — Заикание памяти.

— Да, это я уже знаю... «Запомнить нетрудно — вспомнить трудно». И так далее. Относительно «пыльных чуланов у нас в черепушках»...

— Цитируешь помаленьку? Я скоро по индексу цитирования выйду у вас на первое место.

— Уже вышел, блин. Лицо, приближенное к телу. Только тебя и цитируем...

Тут раздалось чириканье мобильника, и потенциальный противник торопливо вытащил из кармана трубку. Он говорил тихо, но слышно его было хорошо, и тем более непонятным казалось то, что он говорил.

— ...Белую? Ну да — серебристую... Есть. Только в левом нижнем ее не было... Вчера. Понял. Есть... Есть... Сделаем. Есть.

Он спрятал мобильник и, не повернув головы кочан, быстрым шагом удалился по коридору в ту же сторону, откуда десять минут назад появился.

— Кто такие, не совсем понимаю... — сказал Тенгиз раздумчиво. — Или ты их знаешь?

— Представления не имею, — соврал Роберт, чтобы не заниматься дурацкими утомительными объяснениями.

— По-моему, этого, в роскошном халате, я где-то видел... В кино, может быть? В рекламном ролике?..

— Ну, со вторым-то тебе все ясно, я полагаю?

— О да, — сказал Тенгиз. — Здесь, блин, разумных вопросов нет и быть не может.

Роберт не возражал, и Тенгиз, понизив голос, спросил:

— Худо? — он мотнул головой в сторону палаты.

— Не знаю, — сказал Роберт. — Не видел. Думаю, что худо. — Он опять кривил душой, но не объяснять же было ему про нобелевскую лекцию, которую сэнсей читает полутрупу.

— Б-блин, — сказал, огорчившись, Тенгиз, и они оба надолго замолчали.

Потом Тенгиз спросил:

— И как тебе понравилась эта история? Я имею в виду — с Интеллигентом.

Роберт пожал плечами.

— Да, господа мои, — сказал Тенгиз. — Воистину: все, что неестественным путем было начато, неестественным путем и закончится.

Роберт возразил без всякого азарта:

— Чего уж тут неестественного: шлепнули, как простого, заскорузлого лоха. Если отвлечься от деталей, разумеется. Детали — да. Тут остается только руками развести.

— Нет, голубчик, не говори. Не как простого. Совсем не как простого. И не только в деталях дело. «Если бы ненавидящие взгляды могли убивать, население бы сильно поубавилось». Ядозуб — он это умел. Он был — олгой-хорхой, только вы все в это поверить не умели... А вот знаешь ли ты, кто его охранял? Интеллигента? Эль-де-през. Лично.

— А кто это? — Роберт удивился. — «Кто таков, почему не знаю?»

— Л. Д. П. — Тенгиз нарисовал в воздухе три буквы с точками. — Лучший Друг Президента.

— Кто-нибудь из наших? — догадался Роберт.

— О да! И не кто-нибудь, а Серега Вагель.

— А... «Идеальный бодигард». Я с ним незнаком.

— Естественно, он никогда с нами не общается. Вернее, редко.

— Куда уж реже. Никогда.

— Это с тобой — никогда. А с нами, с простыми людьми — редко, но все-таки общается.

— Что ж он его не спас, если он «идеальный»? Или он только по президентам специалист?

— В том-то и проблема, блин. В том-то и проблема! Видимо, против лома нет приема.

— «Нету лучшего приема, чем сидеть все время дома», — процитировал Роберт, и они снова замолчали.

По коридору прошуршала (справа налево) еще одна монахиня в клобуке и с толстой пачкой бумаг на согнутой руке. Тихо было, как в приемной какого-нибудь самого высокого превосходительства, но как ни напрягал Роберт слуха, ни звука не доносилось теперь из палаты, и совершенно невозможно было представить себе, что там делает этот странный чудо-инвалид в синем халате, исполосованном серебряными драконами.

Тут Роберт вдруг, ни с того ни с сего (а в общем-то — понятно почему), вспомнил давний разговор, который имел место между сэнсеем и человеком, которого прислал Аятолла, — разговор по поводу Интеллигента, которого они, впрочем, дружно и не сговариваясь называли «наш профессор». «В экономике наш Профессор обладает скорее убеждениями, нежели познаниями», — сказал тогда человек Аятоллы. И сэнсей вежливо заметил, что это звучит как цитата. «А это и есть цитата», — заметил человек Аятоллы (лощеный, длиннолицый, длиннорукий, вообще длинный, безукоризненно вежливый, весь с иголочки — от лакированных штиблет до употребляемых цитат). «Но, однако же, согласитесь — к месту». — «Вот как? И откуда же это?» — «Представьте себе, не помню. У меня странная память: я хорошо запоминаю тексты, но совершенно не помню ссылок». Тут сэнсей посмотрел на Роберта, и Роберт не подкачал: «Андре Жид. «Подземелья Ватикана». Перевод Лозинского. Цитата не совсем точная». — «Спасибо, — сказал ему сэнсей и снова обратился к человеку Аятоллы и к теме разговора: — Но ведь ему и не надо обладать познаниями, нашему Профессору. Достаточно убеждений. Он же политик, а не экономист». — «Мы придерживаемся ровно такого же мнения», — мгновенно откликнулся человек Аятоллы, и они, видимо, заговорили о деталях (и теперь понятно, о каких: как поэффективнее настропалить беднягу Резалтинг-Форса), — во всяком случае, Роберт был тут же отослан готовить кофе по-турецки...

— Все равно жалко, — сказал вдруг Тенгиз.

— Конечно, жалко, — согласился Роберт. — Он столько намучился, бедняга, и все коту под хвост. Но зато он научился поворачивать трубу!

— Какую трубу?

— Большого диаметра.

— Да я не о нем! — сказал Тенгиз с досадой. — Блин. С ним все ясно.

Я о бедолаге этом, о Ядозубе. Хотя я все знаю про него. Больше вашего. Он был тот еще фрукт... Знаешь, он однажды вдруг при мне пустился в рассуждения: почему вот он с удовольствием смотрит на щенят и на котят, а от детишек, любых, его тошнит? Почему больную собаку жалко ему до слез, а бомжа какого-нибудь ну нисколечки. Старуха, говорит, прогуливает своего мопса, старого как египетский сфинкс, уже оцепенелого совсем, — мопсу я сочувствую, а старуху — в гробу видел и то — с отвращением... Я ему сказал тогда: ты просто, наверное, очень любишь животных, Олгоша дробь Хорхоша? И знаешь, что он мне ответил? Нет, сказал он. Я просто очень не люблю людей. Совсем не люблю. Никаких. И при этом он смотрел на меня как на кучу свежего говна. Нисколечки не стесняясь и даже с вызовом.

— Да-а, прелесть какой симпатичный был человечек, мир праху его. Только вот зачем ему понадобилось гробить Интеллигента?

— Это ты меня, блин, спрашиваешь?.. И откуда ты, собственно, взял, что он кого-нибудь вообще гробил? Может быть, он таким вот, блин, сложным образом самоубился?

— Это возможно? — осведомился Роберт.

— Откуда, блин, нам знать, что возможно, а что невозможно, когда речь идет о хомо сапиенс? На мой взгляд, например, так помнить все на свете, как ты помнишь, — вот это, да, действительно невозможно, блин. Или управлять тараканами, как наш Вэлвл.

— Понял.

— Ну?

— Все. Понял тебя. Понял, что ты хочешь сказать... Минуточку.

Роберт поднялся. Слева приближался потенциальный противник — скорым шагом, энергично, напористо — и за спиной его, словно хоругвь, словно некий рыцарский плащ, вился и трепетал по воздуху серебристый шлейф, какое-то легкое полупрозрачное мерцающее покрывало: довольно толстый рулон этой серебристой материи он держал в обнимку обеими руками, будто ребенка. Выглядело все это довольно странно, но Роберту было сейчас не до деталей, пусть даже и странных, — он устремился к двери и встал в проеме.

— Мне только передать, — сказал вражеский бодигард с интонацией неожиданно просительной. Роберт мельком отметил, что он нисколько не запыхался, словно не шел только что быстрым шагом, почти, можно сказать, бежал. И выражение лица у него обнаружилось вполне человеческое, а вовсе не волчье, как давеча. И вообще...

Роберт поджал губы и, повернувшись, тихонько постучал в дверь.

Дверь распахнулась мгновенно — словно там стояли и ждали в нетерпенье этого стука, а за дверью обнаружилась почему-то тьма кромешная, и пахнуло оттуда сухим жаром, как из сауны, а сэнсей уже тянул через порог длинные жадные руки, нетерпеливо приговаривая: «Давайте... Ну! В чем дело?..»

Роберт стоял остолбенело. Рядом прошуршала с шелковистым свистом серебряная ткань, коснулась его лица (слабо треснули статические разряды), — а он все глаз оторвать не мог от этого мрачного виденья: в слабом свете ночника, прямая, как готическая фигура — горгулья, горгона, гарпия, — с черными руками, уроненными поверх одеяла, сидела в постели мумия — с полуоткрытым провалившимся ртом, всклокоченными, словно сухая пакля, волосами, темно-желтая, мертвая, а круглые неподвижные глаза светились красным...

Дверь захлопнулась, и Роберт перевел дух, приходя в себя словно после короткого обморока. Вражеский бодигард бормотал что-то над ухом — он не слышал и не слушал его. Будь оно все проклято, думал он бессильно и беспорядочно. На кой, спрашивается, ляд все это, если все так кончается?.. Не хочу!.. Он словно в преисподнюю заглянул — окунулся в уголья, в серное инферно — и вынырнул, обожженный, весь залитый внезапным потом.

— Знаешь, я, с твоего позволения, все-таки пойду, — сказал Тенгиз.

Роберт посмотрел на него. Видимо, Тенгиз ничего не заметил. Видимо, со стороны все выглядело вполне обыкновенно, пристойно и достойно — никакого общего позеленения, помутнения взора и прочих признаков кратковременной психопатии.

— Мне не нравится, что машина стоит незапертая, — пояснил Тенгиз. — Мало ли что.

— Да, конечно, — проговорил Роберт по возможности небрежно. — Конечно, иди. Обойдусь.

— А если вдруг... — сказал Тенгиз со значением, поглядев в сторону потенциального противника (тот уже снова листал журнал у телевизора).

— Само собой, — сказал Роберт.

— Ну, давай, — сказал Тенгиз и удалился, бесшумно ступая по ковровой дорожке.

Потом Роберт стоял у окна, среди пальм, и смотрел, как Тенгиз обихаживает автомобиль — протирает стекла, чистит номера, сбрасывает с крыши мелкую порошу... Облака бежали по небу неестественно быстро для декабря, устрашающе быстро, как это иногда показывают в кино, и Роберт вдруг придумал загадку: «Ног нет, а бегут быстро — что это такое?» Между

прочим — вопрос, подумал он. Надо будет подарить сэнсею. Когда все это закончится. Закончится же все это — рано или поздно, так или эдак, не мытьем, так катаньем...

Вопрос, да, получился, но это был ненастоящий вопрос. Он это чувствовал. Очередной ненастоящий вопрос. Пустышка. Фраза с вопросительным знаком на конце. Впрочем, никто никогда не может сказать определенно, будет от вопроса толк или нет. Надо пробовать. Метод проб и ошибок. Истерических проб и угрюмых ошибок.

Он записал в память: «Что это такое — ног нет, а бежит быстро?» На всякий случай. Он боролся с воспоминанием, которое вдруг проступило... собственно, понятно, почему — чистая же аналогия, само собой напрашивается, выползает из тины памяти, как мрачное уродливое животное... Справиться оказалось невозможно, и он осторожно позволил себе вспомнить. Не целиком. Абзацами. Чтобы не вспомнить лишнего. Поминутно натыкаясь на лишнее и судорожно загоняя это лишнее обратно, в самый глубокий подвал...

...Звонок в ад, вот что это было. Господи, как сэнсей не хотел туда звонить! Отбрыкивался, шипел, злился, мучился почти физически, и в конце концов позвонил — сразу сделавшись такой фальшиво-бодрый, исполненный казенного оптимизма и вымученного участия... А тот уже умирал. Безнадежно. Саркома легкого. Роберт все это слушал и слышал — по отводной трубке (постоянная его чертова обязанность — слушать по отводной трубке, если нет отменяющего распоряжения, черт бы все эти порядки подрал...). «Стэнни, милый... Это такая мука... такая мука... Брось все, забудь. Не наше это дело... Такая расплата, Стэнни...» (Слабый голос из чадящего пекла. И — видение: чадной, черной, наглухо закупоренной комнаты. Черный платок на ночнике. Бессмысленное и беспощадное пятно света на простынях. Удушье. Страх. Боль. Смерть.) И беспорядочно бегающие (как всполошенные тараканы) бессмысленные вопросы: что «бросить, забыть»? за что «расплата»? что еще за «наше дело» — «не наше дело»? Да понимал ли, о чем речь, сам сэнсей? И вообще — слышал ли? Бормотал какую-то жалобную чушь: держись, держись, дружище, надо держаться, держись, пожалуйста... За что держаться? И чем? Чем держаться?.. Не хочу об этом думать, объявил себе Роберт решительно, но ничего из этой решительности у него не получилось... Оказалось, он вообще ни о чем больше не может сейчас думать: жаркая тьма, красные огни зрачков и горячечный шепот из прошлого.

Он уловил боковым зрением какое-то нештатное движение за спиной и обернулся. Сэнсей стоял на пороге палаты. В своем полосатом нелепом

костюме похожий то ли на беглого зэка, то ли на остолбенелое привидение. Зеленовато-бледный. Потный — крупные капли дрожали на лбу и на шее у него, катились по лысине. Глаза не мигали. Он был не в себе.

Роберт шагнул к нему — подхватить под локоть, проводить к креслу, — но сэнсей отстранил его ладонью, сам (неверными ногами) прошел вглубь холла, сам опустился на диван, посидел сначала несколько секунд с прямой спиной, а потом словно вдруг обрушился внутрь себя — осел, как оседает умело взорванное здание, — и лицо его разом перекосилось и обессмыслилось.

Не надо было ему сюда ехать, подумал Роберт с ожесточением. Он достал трубочку нитрокора, отсыпал на ладонь три крупинки, предложил, — сэнсей, как послушный ребенок, высунул язык — язык был плохой, обложенный, с трещинами... Не надо было ехать. Какого черта ему вообще сюда ездить? Какой от него здесь прок? Только сердце зря себе рвет... Вражеский бодигард опустил журнал и с каким-то пристальным, сочувственным, пожалуй даже, интересом наблюдал за происходящим. Еще любопытствующих нам только здесь и не хватало. Роберт сделал шаг в сторону, чтобы загородить сэнсея собой, — загородил его демонстративно и в наглую: охота тебе наблюдать — наблюдай мою задницу...

— Он сказал, что поставит ее на ноги, — проговорил сэнсей — невнятно, словно озябшими губами. Он умоляюще посмотрел на Роберта. — «Встань и иди». И она пойдет. А я не верю.

Роберт промолчал. Что тут было говорить? И в голову ничего даже не приходило. И тут вдруг подал голос вражеский телохранитель:

— Надо верить! — сказал он истово. — Верить надо! Если Он сказал — значит надо верить!

Сэнсей повернулся к нему всем телом и отстранил Роберта, чтобы не мешал. (Без всякой деликатности. Как предмет обстановки.)

— Вы считаете, что это возможно? — спросил он с отчаянием.

— Это не я так считаю. Это Он так считает. («Он» у него явно получалось с большой буквы.) А значит — надо верить!..

Сэнсей что-то проблеял в ответ, что-то жалостливое до непристойности, но Роберт их уже не слушал. Новое действующее лицо появилось в коридоре (со стороны лестницы, что слева): фигура, странно и в то же время страшно знакомая, но совершенно здесь неуместная, — невысокий человек с лицом красно-коричневым и поблескивающим, словно головка курительной трубки, маленький, коренастый, уверенный, — остановился, наблюдая за ними и в то же время неспешно и откровенно застегивая ширинку. Страхагент. Ангел Смерти. Только почему-то — в

белом докторском халате и даже при хирургической шапочке слегка набекрень. Что он здесь делает, подумал Роберт, а рядом со страхагентом объявился, между тем, еще один белый халат, и еще один, и еще — целый консилиум вдруг образовался в коридоре, тихий, почтительно взирающий на краснолицего (все как один с папками под мышкой, с докторскими наушниками на шее, в белых шапочках, и почти все — в очках). Человек пять. Может быть — шесть. Ежедневный обход — с главврачом во главе — медотряда специального назначения.

Страхагент (главврач?) завершил деликатную свою процедуру, и на лице его обнаружилась улыбка, показавшаяся Роберту зловещей, хотя на самом деле была она, скорее всего, иронической, а может быть, даже приветливой.

— Двуг мой! — провозгласил главврач (страхагент) голосом скрипучим, но громким и даже, пожалуй, звучным. — Какая встреча! Вад тебя видеть!

Обнаружив его пред собою, сэнсей (что-то бормотавший только что про силу веры или веры в силу) замолчал и сделал безуспешную попытку выбраться из дивана. Роберт подхватил его за вытянувшуюся вперед руку и помог подняться.

— Что вы здесь делаете?! — воскликнул сэнсей, глядя на страхагента почти с ужасом. — Как? Вы — здесь?

— Я собиваюсь пвиобвести это богоугодное заведение, — объяснил страхагент, приближаясь с улыбкой теперь уже явно доброжелательной и еще сильнее картавя. — Собственно, я его уже пвиобвел. Можешь меня поздвавить: владелец!

— Поздравляю, — сказал сэнсей с видом полного и безнадежного непонимания.

— Спасибо. Я надеюсь, ты поздвавляешь меня искренне?

Сэнсей издал неопределенный звук, а Роберт вдруг увидел вражеского телохранителя — тот стоял столбом, руки по швам и ел страхагента (главврача? владельца?) преданными глазами. Наступило что-то вроде классической немой сцены: остолбенелый телохранитель, почтительнейше замершие в позах безусловной готовности врачи, сэнсей, ничего не понимающий, а посредине — благодушно и жутковато улыбающийся человек с лицом черно-красным и блестящим, словно головка дорогой курительной трубки.

И тут вдруг распахнулась дверь палаты, и в коридор выехал в своей коляске пестрый инвалид, на плече он держал рулон прозрачной ткани, а коляску ему катила скрюченная ведьма с землистым лицом, полуоткрытым

ввалившемся ртом и красными глазами.

— «Тебе говорю: встань», — провозгласил инвалид пронзительно и ликующе, словно в трубу протрубил, — «возьми постель твою и иди в дом твой»! Каждому да воздастся по вере его!

Никто опомниться не успел, и никто не успел даже удивиться, как колени женщины подломились, она закинула страшное лицо свое с помертвевшими вдруг глазами и повалилась на ковер — мягко и бесшумно, как умеют падать опытные эпилептики. Или алкоголики, утратившие наконец чувство равновесия.

— Может быть, все-таки закуришь? — спросил Тенгиз осторожно.

— Нет. Воздержусь. Я думаю, он сейчас придет.

Роберт старался говорить по возможности спокойно. Перед глазами у него была Татьяна Олеговна — как она падает навзничь, закинув к потолку мертвое свое лицо... и бегущие к ней со всех сторон развевающиеся белые халаты... и тревожные какие-то звонки все еще дребезжали в ушах, и нечленораздельный гомон многих голосов, и визгливые невнятные приказы: «тара-ра-зепам, струйно!», и страшный голос страхагента-владельца: «Идиот косматый! Мозги в голову ударили? Кветин безгвамотный!..» И поверх всего этого — сухой непреклонный голос сэнсея: «Идите в машину. Я прошу вас — в машину!» — голос командора, а у самого ноги тряслись, старческие тощие ноги в узких брюках в полоску...

— Совсем плохо? — спросил Тенгиз сочувственно.

— Да уж хорошего мало, — пробормотал Роберт.

— Если бы точно знать, что с человеком происходит после смерти, — сказал глубокомысленно Тенгиз, — ни за что жить бы не стал.

— С человеком после смерти ничего не происходит. Все, что потом происходит, происходит уже с трупом.

— Потому вот и скрипим помаленьку, — сказал Тенгиз.

— Не философствуй. Не умеешь.

— И не собираюсь. Просто отвлекаю тебя от мрачных мыслей.

— Самым лучшим способом.

— Естественно. Как отвлечься от неприятных мыслей? Вспомнить, что смертен. И сразу все встает на свои места. Масштаб появляется, понимаешь?

— Понимаю. Только: «Когда я думаю, что пиво состоит из атомов, мне не хочется его пить...» Вон он, кажется, идет. Заводись.

— Давно. Печка же работает...

Роберт его не слушал. На обширное крыльцо вышел и сразу же зябко обхватил себя руками сэнсей, и он был не один. Страхагент-владелец вышел вместе с ним, и они остановились на самой верхней ступеньке, продолжая разговор. У обоих была неважная артикуляция, и поначалу Роберт сумел прочитать по губам только странную фразу владельца: «Во все тяжкие, что ли? Я тебе что обещал?» Тут он отвернулся, и Роберт перестал видеть его рот, а сэнсей сказал с возмущением: «А почему я должен вам верить? Что вы такого сделали, что я вам должен верить?» Владелец ответил что-то невидимое, повернулся в профиль, сделался похож на ворона, и тут Роберт вспомнил, как сэнсей называл его давеча: Лахесис. Он называл его Лахесис. «Она умирает, — сказал сэнсей. — Я вас тысячу раз просил: сделайте что-нибудь». — «Ничего сделать нельзя. Она уже умерла. Смирись. Все, что можно сделать — вернуть ей разум. На несколько дней». — «Хоть на час. Я попрощаться хочу». — «Да не хочешь ты этого. Признайся...» — «Вы просто кусок ржавого железа, — сказал сэнсей. — Я вас ненавижу». — «Принимаю. Это твое право. Ударь меня, если хочешь». — «Это было бы противоестественно». — «Ничего, не страшно. Все, что происходит — естественно...»

Сэнсей ничего на это не ответил, и некоторое время они молчали, глядя друг на друга в упор, глаза в глаза. Сейчас сэнсей ему врежет по мордам, подумал Роберт с мстительным удовлетворением. И тут Тенгиз спросил шепотом:

— Кто это такое? — У него даже лицо осунулось.

— Лахесис, — сказал Роберт, криво усмехнувшись.

— Кто?

— Лахесис. Мойра. Мужеска пола мойра. Клото — прядет нить судьбы; Лахесис — проводит человека через превратности; Атропос — нить перерезает.

Тенгиз все смотрел неподвижными глазами.

— А ты не врешь? — сказал он почти жалобно.

— Не знаю, — сказал Роберт честно.

— Врешь, блин. Мойры ведь — женщины, разве нет?

— Это в Древней Греции они были женщины. А у нас в России — мужчины. Как видишь.

— Страшное какое, — сказал Тенгиз.

— Все такие будем, — сказал Роберт. — Подожди, не мешай.

Старики снова заговорили, и теперь стало совсем уж непонятно, о чем речь. «Вы напрасно меня испытываете, — говорил сэнсей. — Я все равно не буду работать с вашей протеже». — «Это почему же?» — «Сто раз

объяснял вам: я не работаю с женским полом». — «Обрати внимание: я бы мог сказать тебе то же самое. Слово в слово...» — «Вы просто кусок ржавого железа, — повторил сэнсей онемевшими губами. — Я вас ненавижу». — «Спасибо. Это, конечно, честь для меня. Но меня ненавидели люди и покруче...» Красно-черное лицо его светилось самодовольством, а на лице сэнсея была не только ненависть, на лице еще был страх.

...Какого черта? Сэнсей никогда никого и ничего не боялся. Что еще за протеже? И вдруг он понял: Злобная Девчонка. Вот о ком они сейчас говорят. Опять. В третий раз уже. «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим как всегда. Ее рука над цветком изгибалась, и из лейки лилась вновь вода...» Этот чернолицый дьявол хочет запустить в мир «всеизлечающее зло», а сэнсей не хочет. Сэнсей боится. Просто боится, и все. А сволочь черномордая его шантажирует...

Он смотрел, как старики раскланиваются — старомодно-вежливо, с достоинством, дьявольски прилично. Он увидел слова Лахесиса: «Я по-прежнему жду ответа». И слова сэнсея: «Я вам уже ответил. Не смейте меня мучить...» Или что-то в этом роде: губы у сэнсея снова сделались словно замерзшие, онемели.

Он выскочил из машины, подхватил сэнсея еще на ступеньках, довел до машины, помог забраться на заднее сиденье. «Ничего, ничего, — приговаривал сэнсей невнятно. — Все в порядке. Я могу... Вполне...» Роберт пристегнул его ремнем, сел рядом с Тенгизом, пристегнулся сам. «Поехали», — сказал он Тенгизу, и Тенгиз аккуратно и мягко развернул машину. (Лахесис все еще стоял у подъезда, страшное лицо его чернело на фоне снежных подушек, прилипших к стенам здания, он держал руку в лениво расслабленном приветствии, как товарищ Сталин на мавзолее.)

...Кому нужны эти ваши мировые проблемы, раздраженно думал Роберт, адресуясь к страхагенту-владельцу-Лахесису. Оставьте мир в покое и займитесь собственными персональными делами. И всем сразу же станет легче... Он понимал, что сэнсей ни за что не согласился бы с этим простым рассуждением. Сэнсею ведь тоже не давал покоя этот мир, слишком неудачно скроенный, чтобы в нем просто жить, не пытаясь переменить выкройку. Но сэнсею я верю. А Лахесису нет. ...Да провались ты пропадом, неприятный старик, подумал Роберт. Я вообще не верю тем, кто претендует проводить меня через превратности судьбы. Оставьте меня с моей судьбой наедине, и мы с ней как-нибудь да разберемся... В конце концов, я тоже согласен, чтобы мной управляли, но при условии, что я этого управления не замечаю... Он понимал, что хорохорится. Ни черта не годен был он

разбираться один на один со своей судьбой. И никто из нас не годен, подумал он. Даже Тенгиз-Психократ. Сэнсей как-то сказал с горечью (в ответ на какой-то дурацкий упрек): «А я сейчас все плохо делаю. Я даже сплю плохо». Это и про нас про всех тоже. И особенно плохо все мы распоряжаемся своею судьбой. Да мы ею вообще не распоряжаемся. Совсем. Дилетанты. Никакошенького профессионализма...

Тут он отвлекся, потому что сэнсей вдруг заговорил, и голос у него был резкий и незнакомый:

— Когда у нас мальчик назначен? — спросил он.

— Завтра, — сказал Роберт. — В десять утра.

— Я помню, что в десять утра. А нельзя — сегодня? Сейчас?

— М-м, не знаю.

— Нет времени, Роберт. Времени — нет. Позвоните. Устройте. Соврите что-нибудь. Чтобы через пару часов. Лучше — через час. Мы будем через час дома, Тенгиз?

— Через два, — сказал Тенгиз коротко.

— Отлично. Пусть будет через два. Соврите что-нибудь, если понадобится.

— Хорошо, — сказал Роберт и достал мобильник. — Я попытаюсь.

— Соврите что-нибудь, — повторил сэнсей в третий раз. — Скажите, что обнаружились новые важные обстоятельства.

— Я совру, — пообещал Роберт, набирая номер. — Не беспокойтесь, сэнсей.

— Времени совершенно нет, — сказал сэнсей с каким-то даже отчаянием. Он откинулся на сиденье, положил руки на колени, но сейчас же снова сгорбился, почти повиснув на ремнях. — Совершенно, — повторил он. — Совершенно нет времени.

3.10.2002

Аркадий СТРУГАЦКИЙ
«СКАЗАНИЕ О ЁСИЦУНЭ»[1]
Инструкция к чтению

Предисловие к публикации в альманахе «Завтра» (1993 год):

Аркадий Стругацкий был еще и блистательным переводчиком – с английского и особенно с японского. Ему принадлежат переводы романа Джона Уиндема «День триффидов», повестей Абэ Кобо «Четвертый ледниковый период» и «Тоталоскоп», повести Санъютэя Энтё «Пионовый фонарь» и других произведений (часть из них – под псевдонимом С. Бережков). Вершиной его трудов был перевод со старояпонского известного во всем мире романа «Сказание о Ёсицунэ».

Предисловие к роману, написанное Стругацким, должно было объяснить русскому читателю, слыхом не слыхавшему о подвигах Ёсицунэ, какова подоплека событий в японском рыцарском романе XIV-XV веков и какова роль героя романа в истории Японии. Но увлекательное произведение Стругацкого напечатано не было. Произошло обычное в отечественной издательской практике хамство: издательство «Художественная литература» выпустило роман в 1984 г. тиражом 50 тыс. экз. без предисловия. А в чахлом послесловии о Ёсицунэ не было сказано почти ничего, и читать его, как всегда в таких случаях, трудно и скучно.

Мы печатаем эссе Аркадия Стругацкого не только по долгу памяти. Для нас, российских читателей XX века, это – ***иная*** *фантастика: повествование о неизвестной стране, о непостижимых событиях и людях.*

Это роман исторический, биографический и авантюрный.

Время действия – далекий XII век.

Место действия – далекая Япония, Нихон или Ниппон.

(«Корень Солнца» – так впервые и навсегда назвал свою страну в официальном документе некий крупный политический деятель VII века[2].)

Это роман средневековый: он увидел свет всего через два века после описанных в нем событий.

Это роман о верности и предательствах, о беззаветной любви и легкомысленных изменах, о великой цели и низких средствах, о надежде и разочарованиях, о душевном благородстве и подлой зависти.

Это роман о трагической судьбе Ёсицунэ, замечательного полководца, японского Суворова, имя же это знакомо на его родине любому школьнику, ибо он был боевым участником грандиозных событий, определивших историю Японии на семь веков вперед[3]. (Впрочем, о событиях этих в романе почти не упоминается, как об обстоятельствах совершенно общеизвестных.)

Итак, это роман о Ёсицунэ.

Для начала читателю предлагается запомнить два японских слова-имени: Тайра и Минамото. Так назывались два могущественных клана, возглавлявших почти все организованные вооруженные силы Японии XII века.

Что представляли собой тогда вооруженные силы?

Самурайские дружины. Самурайская конница.

Слово «самурай» происходит от древнего глагола «сабуроу», «самурау» – «верно служить господину своему». В классическом японском романе «Гэндзи-моногатари» (нач. XI века) одну из фраз с этим глаголом можно перевести так: «Во дни, когда решалось многое, он состоял при господине, не щадя живота своего».

Позже самурайство оформилось в воинское сословие, своего рода дворянство, а во времена Ёсицунэ самураями назывались вассалы, обязанные господину и его роду безоглядной верностью в беде и в бою и коим господин и род его обязаны были благосклонностью, милостью и материальным обеспечением. В массе своей это были выходцы из крестьян, деды которых получили наделы из владений дедов господина. Отличившиеся в жестоких битвах доблестью и боевым искусством оставляли крестьянский труд и становились дружинниками, профессиональными воинами на полном содержании у господина, а некоторые получали в награду новые наделы с вассалами и крестьянами. Словом, имел место процесс почти такой же, как в Западной Европе, с той только существенной разницей, что японский крестьянин не был тогда смердом и вилланом, и лишь четыре века спустя прозвучали страшные слова жестокого диктатора: «Хякусё коросадзу икасадзу» – «Не убивай мужика, но и не давай ему жить»[4]. И еще: не действовал в Японии закон «вассал моего вассала не мой вассал».

Самурайство возникло в жестоких битвах.

К слову, за всю свою писаную историю Япония всего четыре раза подвергалась иноземным нашествиям. В 1019 году пиратская армия той (чжурчженей) численностью до трех тысяч голов высадилась на северном берегу острова Кюсю и принялась убивать, жечь и грабить. Быстро, хотя и не без труда налетчики были истреблены. В 1274 году примерно в тех же местах высадилось монголо-китайское войско богдыхана Хубилая. Поначалу самурайским дружинам пришлось плохо (по недостоверным сведениям, они тогда впервые столкнулись с огнестрельной артиллерией, хотя, возможно, это были своеобразные огнеметы), но налетевший тайфун потопил большую часть десантных кораблей, и неудачливые завоеватели, теснимые разъяренными японцами, убрались восвояси. Через семь лет Хубилай направил в Японию новую армаду, и вновь налетел тайфун и перетопил весь десантный флот, и это была последняя попытка Китая посягнуть на Японию. Академик Н. Конрад писал: «В сознании японского народа такое благополучное отражение грозного нашествия было понято как действие родных богов: именно они в образе камикадзе (божественного ветра) ринулись на пришельцев». Четвертый раз Япония подверглась иноземному нашествию в 1945 году: на ее земли и воды пришли оккупационные армии США.

Нет, не в битвах с внешним противником возникла и совершенствовалась превосходная самурайская конница. (Пехоты почти не было, щитами почти не пользовались, всадник в войлочных и кожаных доспехах великолепно владел дальнобойным луком и способен был при случае разнести противника мечом от плеча до пояса.) Отцы и деды тех десятков тысяч людей, которым суждено было выйти на историческую арену в конце XII века, становились воинами на суровом северо-востоке страны в походах против аборигенов-айносов и против соплеменников, пытавшихся оторваться от центрального правительства. Это были фронтиреры, профессиональные вояки, грубые, жестокие, беспредельно верные и беспредельно лукавые...

Тайра и Минамото – вот два клана, организовавшие и возглавившие самурайские армии по праву феодального старшинства. Клан Тайра господствовал на более или менее цивилизованном западе страны. Клан Минамото имел преимущество в краю Канто, на «Диком Востоке» тогдашнем Японии. Между ними – Киото, Кёто, столица, Хэйанкё – Столица Мира и Спокойствия.

Время действия – последние десятилетия XII века.

Небесполезно вспомнить, что происходило в это время в мире.

Русь. Грандиозная держава, созданная столетие назад Владимиром Мономахом, распалась. Грозные междоусобицы сотрясают страну. В 1169 году галичане, владимирцы и суздальцы громят Киев.

Китай. Устоялась граница по великой реке Янцзы между чжурчженьским государством Цзинь и китайской Южно-Сунской империей. Цзинь грызется с Южным Суном, а над их головами, в междуречье голубого Керулена и золотого Онона, свирепый Темучжин[5] уже ломает «бескровно» хребты непокорным родичам и вождям татар и меркитов.

Европа. Пошел третий крестовый поход. Потея от жары и страдая от паразитов под миланскими панцирями, высаживаются в многострадальной Акре Ричард Львиное Сердце, Филипп-Август и Фридрих Барбаросса. Поздно. Уже потеряно графство Эдесса и королевство Иерусалим, а там на очереди остров Крит и (правда, столетие спустя) графство Триполи, и княжество Антиохия, и все прочее.

Америка, Африка... Автор извиняется перед читателем: не хватает эрудиции. Впрочем, надо думать, там тоже громят, режут и жгут...

К середине XII века административно-политический строй, утвердившийся в Японии в VII веке, пришел в полный упадок. Устройство власти стало сложным и нелепым, как птолемеева система эпициклов. Был император, тэнно, Сын Неба. Его сажали на престол во младенчестве и снимали, едва он давал потомство. Фактическая власть принадлежала регенту, канцлеру, престолоблюстителю из древнего рода Фудзивара. Регенты непременно женили малолетних императоров на своих дочках и внучках и выдавали принцесс за своих сыновей и внуков. С конца XI века этот механизм еще более усложнился: отставные императоры создали свой собственный двор и перехватили у регентов-канцлеров значительную часть их автократических прерогатив.

Бесконечно далеки от народа и насущных нужд государства были эти люди. Крестьянин был для них сущей абстракцией. К грубым и жестоким самурайским главарям они относились с боязливым презрением. О торговцах и ремесленниках они знать ничего не хотели. Жизнь в вещных проявлениях существовала для них лишь в форме дворцовых и междворцовых интриг, хитроумных и беспринципных, преследующих самые малопочтенные цели.

Один из многочисленных примеров идиотизма тогдашнего правительственного аппарата. Как уже упоминалось, в 1019 году чжурчжени высадили на побережье Кюсю разбойничий десант.

Императорский двор объявил вознаграждение местным самурайским дружинам, если они управятся с неприятелем. К тому времени, когда рескрипт о вознаграждении достиг района боевых действий, с чжурчженями было уже покончено. И что же? Вознаграждение выплачено не было – на том основании, что неприятель был разбит ***до*** получения рескрипта.

Конечно, велись войны, и даже победоносные – с возомнившими о себе подданными. Так, в конце девятого века самурайские дружины в течение пяти лет затаптывали пожар мощного крестьянского восстания на северо-западе Кюсю. В X веке был разгромлен на востоке мятеж Масакадо, объявившего себя императором, а на западе раздавлено восстание Сумитомо, задумавшего отложиться от столичного правительства. Во второй половине XI века был стерт с лица земли могучий клан Абэ, объявивший себя независимым властителем крайнего северо-востока страны.

Однако не военными (и, уж разумеется, не административными) успехами ознаменовала течение свое та эпоха. Невиданный в веках расцвет литературы и искусства создал ей мировую славу. Слово «Хэйан»[6] («Мир и Спокойствие») – название этого периода в истории Японии – немедленно ассоциируется в сознании любого культурного человека на нашей планете с такими шедеврами, как «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу, «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон, поэтическая антология «Кокинсю». Были построены изумительные храмы и дворцы, созданы бессмертные скульптуры, написаны выдающиеся картины... Да, этого у старинной хэйанской аристократии не отнять: в изящной словесности и в изящных искусствах, в китайской литературной и философской классике, в возвышенном и прекрасном она толк понимала[7].

Во второй половине XII века этой блистательной цивилизации и бездарной политической системе пришел конец.

Как часто случалось в мировой истории, все началось с инцидента довольно незначительного. В 1156 году разыгрался финальный акт обычной по тем временам междворцовой усобицы: отставной император Сутоку при поддержке очередного регента Фудзивары выступил против занимавшего престол сводного брата по имени Го-Сиракава (в европейской терминологии – Сиракава Второй; имя этого подлеца и интригана следует запомнить, ибо он сыграл немаловажную роль в последующих событиях). Сутоку и регент выставили несколько сотен человек так называемых регулярных войск, наспех собранных по ближним провинциям, и тут,

совершенно неожиданно для всех, беспрецедентно, возмутительно, придворная камарилья, поддерживавшая Го-Сиракаву, прибегла к недозволенному приему: воззвала о помощи к главарям кланов Тайра и Минамото. Профессиональные вояки в одну ночь перебили кое-как вооруженных наемников, руководимых блестящими знатоками изящных искусств, и заодно сожгли резиденцию Сутоку. Дворцовое восстание, известное впоследствии как мятеж Хогэн[8], было подавлено.

Повторяем, внешне событие как будто незначительное. Довольно обычная вспышка нормальной грызни между августейшими особами, не имеющая никакого значения для судеб народа и страны. Сожжено несколько построек, убито и покалечено несколько сотен человек, кого-то сослали, кому-то пришлось постричься в монахи... Бывали дела куда более страшные. Так что древняя хэйанская аристократия, сплотившаяся вокруг императорского трона, была по-прежнему нерушимо уверена в своих исконных правах и привилегиях. Самураи, от младых ногтей воспитанные в благоговейном отношении ко всему, что связано с правящей династией (а она, как всем известно, ведет начало из чресел богини Аматэрасу, покровительницы Японии), тоже были по-прежнему убеждены в праве аристократии разрешать и вязать. О торговцах, ремесленниках и крестьянах и говорить не приходится – их политическое самосознание пребывало на уровне родового строя.

А между тем свершилось небывалое! Самураи впервые показали себя как единственная реальная сила в государстве, решающая сила не где-то там на «Диком Востоке» и в отдаленных мятежных провинциях, а в сердце страны, в самой столице, в стенах императорского дома. Отныне древняя государственная система становилась всего лишь традицией, только тогда мало кто осознавал это. Но кое-кто осознал. Киёмори, глава клана Тайра. И Ёситомо, глава клана Минамото. Киёмори и Ёситомо, эти два имени тоже надлежит запомнить читателю, ибо именно с вражды между этими свирепыми и гордыми людьми, с их бешеной борьбы за влияние при дворе началась грандиозная война между их кланами, началась гибель древней хэйанской цивилизации и наступила эпоха военно-феодальных диктатур.

Следует отметить, что и Тайра, и Минамото не были совершенными чужаками в придворной среде. Тайра Киёмори был племянником любимой наложницы одного из экс-императоров, а Минамото и вообще вели свой род от императора Сэйва, занимавшего престол с 858 по 876 год. Правда, утонченные аристократы третировали их как грубых солдафонов, и родниться с ними считалось едва ли не мезальянсом, однако военные

триумфы военачальников Минамото на «Диком Востоке» и блестящие расправы вождей Тайра с пиратами на японском Внутреннем море воспринимались двором весьма благосклонно. А после разгрома мятежа Хогэн герои дня Ёситомо и Киёмори и вовсе поняли, что их час пробил. Возможно, они одни только понимали тогда, что неизбежна между ними смертельная схватка и что призом победителю будет ***власть***.

Впрочем, есть основания полагать, что идею захвата власти, идею единоличной диктатуры осознавал только Тайра Киёмори, человек незаурядных, организаторских талантов и совершенно непомерной гордости. Минамото Ёситомо был более консервативен, менее целеустремлен, и двигали им не столько политические соображения, сколько неопределенные, хотя и весьма сильные эмоции.

Прочие факторы: клан Тайра был сплочен и выступал как единый социальный организм, а вожди Минамото были разобщены и не очень доверяли своему главарю; Киёмори был по воспитанию эрудитом и ценителем прекрасного и потому принимался при дворе как свой, а Ёситомо был отъявленным воякой, склонным к развлечениям довольно низкого пошиба, и потому при дворе на него косились, как на чужака; наконец, Киёмори был отличным политиком, а Ёситомо отдавал предпочтение прямым действиям.

Гроза разразилась в январе 1160 года. Ёситомо, вступив в сговор с Фудзиварой Нобуёри, молодым аристократом из недовольных, во главе пяти сотен отборных рубак захватил императора и Го-Сиракаву (тот стал уже экс-императором) и принялся избивать политических противников и их присных. Киёмори с небольшим отрядом засел в своей резиденции. Нобуёри объявил себя канцлером и вместе с Ёситомо засел в Большом Дворце. Киёмори предложил переговоры. Мятежники медлили, не зная на что решиться. Но тут агенты Киёмори ухитрились выкрасть мальчика-императора и освободить Го-Сиракаву. К Киёмори прибыли подкрепления. Большой Дворец был осажден, начались кровопролитные бои. Ёситомо сопротивлялся отчаянно и искусно, но в конце концов вынужден был пойти на прорыв и бежать. Так закончилась первая схватка между Тайра и Минамото, названная впоследствии мятежом Хэйдзи[9]. Полегло несколько тысяч человек, сгорело несколько десятков дворцов и храмов. Нобуёри был взят и казнен. Ёситомо «ушел в бест»[10], но вскоре был зарезан собственным вассалом.

Внешне все осталось, как было: император, экс-император, регент. Но отныне над всеми ними встала грозная фигура Тайра Киёмори,

опиравшаяся на десятки тысяч самурайских мечей. Клан Минамото исчез с политической арены. Киёмори правил во дворце, в столице, в стране железной рукой, беспощадно пресекая малейшие попытки противиться его воле. Важнейшие государственные посты и наместничества в провинциях заняли его родственники и верные ему люди. Он организовал всепроникающий политический сыск и утвердил пытку и заложничество как регулярные методы дознания. Уцелевшие вожди Минамото боялись шелохнуться в своих уделах и местах ссылок. Чванливая аристократия трепетала при упоминании его имени. Он выдал одну из дочерей за регента, другую положил в постель самого императора. Он занял должность канцлера и получил высшие придворные звания. Наконец он заключил под стражу экс-императора Го-Сиракаву и заставил императора отречься от престола в пользу трехлетнего сына, которого родила императору его, Киёмори, родная дочь. Казалось, владычеству клана Тайра не будет конца.

Запомним еще одно имя: Ёритомо.

Минамото Ёритомо, третий из девяти и старший из уцелевших сыновей злосчастного Ёситомо, сводный брат главного героя этого романа Ёсицунэ и сам один из героев этого романа. После гибели отца – главарь клана Минамото по праву наследования.

(Впоследствии один из крупнейших исторических деятелей Японии, сравнимый по значению с Иваном Грозным на Руси и с Людовиком Одиннадцатым во Франции, основатель первого сёгуната[11], решительный реформатор и проницательный политик.)

В дни мятежа Хэйдзи ему было четырнадцать лет, он числился по дворцовой гвардии и дрался против самураев Тайры Киёмори стремя в стремя с отцом. После разгрома мятежа разъяренный Киёмори хотел было его прирезать, но на беду свою пощадил и сослал в далекую провинцию Идзу. Там, едва ли не в сердце «Дикого Востока», провел Минамото Ёритомо, затаившись, два томительных десятилетия.

Судя по последующим событиям можно не сомневаться, что с самого начала он посвятил свою жизнь сокрушению клана Тайра и восстановлению славы и могущества родного клана Минамото. Нетрудно представить себе, как пристально следил он через верных людей за обстановкой в столице, за малейшими изменениями в расстановке сил в стране, за ростом ужаса, отчаяния и гнева в терроризированном императорском доме; как тщательно и методично разрабатывал он тактику и стратегию грядущего переворота и политического переустройства

государства после своей неминуемой (он в этом был уверен!) победы; как осторожно, с полным пониманием конспирации нащупывал он возможных союзников... А союзники определялись. Главным был местный вассал клана Тайра[12], на кого возложили обязанность надзирать за ссыльным. Этот дальновидный человек поверил в счастливую судьбу Ёритомо и стал его тестем. (Красавица Масако оказалась непомерно ревнивой, но это обнаружилось гораздо позже.)

Годы шли. Годы и годы в провинциальной дичи, в безнадежной дали от блестящей столицы, от почета и лести, от лукавых и податливых красавиц-фрейлин, от утонченных распутников-придворных, к которым он мальчишкой успел привыкнуть за четыре года после мятежа Хогэн. Два десятилетия – не шутка. Наверное, постепенно образы столичного прошлого утратили для него реальность и прелесть, сладкие воспоминания вытеснились железными фактами повседневности. Он наблюдал, планировал, копил ненависть. Ждал. И дождался.

К концу семидесятых годов того бурного для Японии века положение в стране осложнилось необычайно. Старый Киёмори смертельно болел (вероятно, у него был рак) и несказанно мучился. Но страшнее физической боли терзала его гордыня, а еще страшнее – сознание, что на нем все кончается. Сыновья не удались, и призрак гибели рода терзал этого могучего и грубого человека. Всю любовь свою и надежды он сосредоточил на внуке-императоре, заливаясь слезами, тетешкал его, а затем извергал (иного слова не подберешь) гибельные приказы, один ужаснее другого. Впрочем, никакого реального смысла в его действиях уже не было, как не было уже для него никакой политики, ни хорошей, ни плохой, ни полезной, ни вредной. Власть сама по себе – одно лишь это интересовало его. Слепые самурайские мечи, изощренный сыск, игрушечные интриги в императорском доме до поры до времени еще поддерживали его, но дело шло к концу.

Словно нарочно в это же время на страну обрушились опустошительные землетрясения и эпидемии, столицу потрясали пожары, голод, нашествия огромных разбойничьих шаек (разоренные вконец крестьяне, обозленные высокомерной неблагодарностью чиновников самураи, осатаневшие дезертиры из монастырских армий...). Можно себе представить японский народ в те годы, суеверный, подавленный, возбужденный: «Злодеяния Киёмори навлекают на нас все эти ужасы, наступил край существования!» А шестидесятилетний старец в своей столичной резиденции на улице Рокудзё, измученный непереносимыми болями и не желающий знать ничего, кроме собственного свирепого

«Желаю!», продолжал отправлять на смерть, на пытки, в ссылку, в заточение... Поистине, это была первая, по необходимости нелепая, прикидка самурайской власти.

В пятом месяце 1180 года, не вынеся угроз и насилия, поднял мятеж принц Мотихито (сын заключенного под стражу экс-императора Го-Сиракавы). Мятеж был скверно организован и быстро подавлен, Мотихито убит при попытке прорваться на восток, но его призыв к оружию против тирании клана Тайра очень быстро достиг всех сколько-нибудь значительных вождей Минамото, затаившихся в северных и восточных провинциях.

Видимо, это и был тот случай, которого дожидался Ёритомо в далекой провинции Идзу. Пусть не сам император, но все же его августейший дядя, принц, объявил ненавистного Киёмори врагом государства. В середине восьмого месяца 1180 года Ёритомо с горсткой людей разгромил гарнизон наместника и двинулся на восток поднимать старых вассалов. К знамени его было прикреплено воззвание принца Мотихито. (Вряд ли это было подлинное воззвание, но сомнений оно, насколько нам известно, ни у кого не вызвало.) Великая война Минамото и Тайра началась.

Ёритомо сразу же удалось собрать значительные силы, вскоре к нему присоединился со своей дружиной средний брат по имени Нориёри, на севере выступил против Киёмори их двоюродный брат Кисо Ёсинака, и с юга к столице подступили дружины их дядюшки Юкииэ, на сторону Минамото переходили даже вассалы дома Тайра – впрочем, этим просто некуда было деваться в охваченном восстанием краю...

В десятом месяце Ёритомо прочно укрепился на левом берегу реки Фудзи поперек Токайдоского тракта, соединяющего столицу с «Диким Востоком». Карательные войска не заставили себя ждать, отбили дядюшку Юкииэ, а затем двинулись на восток и заняли позиции на правом берегу Фудзи. Следующей же ночью самураи Ёритомо переправились через реку. Лагерь карателей был разгромлен, столичные военачальники отдали приказ к поспешному отступлению. Это было первое серьезное поражение войск Тайра.

Ёритомо не стал их преследовать. Он прекрасно понимал, что прежде всего ему необходимо укрепить тылы. И как раз в это время в его ставке на берегу Фудзи, словно чертик из коробочки, появился его младший сводный брат Ёсицунэ, девятый и младший из сыновей злосчастного Ёситомо.

Мало что известно достоверного о Минамото Куро Ёсицунэ до этого

двадцать первого октября 1180 года. Родился он в 1159 году, за год до рокового для его отца мятежа Хэйдзи, у незначительной придворной дамы, и был он у этой дамы третьим от громогласного и нестеснительного вояки Ёситомо. В дальнейшем обстоятельства его детства, отрочества и юности складывались, по-видимому, примерно так, как они описаны в романе. Во всяком случае, противоречащих роману данных нет, если не считать некоторых элементов слегка мистического толка да еще его наружности: не был он белолицым красавчиком, похожим на знаменитых древнекитайских прелестниц, а был смугловатым пучеглазым парнем с кривыми растопыренными зубами. Таким он и предстал перед хмурым и озабоченным старшим братом – увешанный оружием и готовый на немедленную смерть во имя процветания и славы рода Минамото и для умиротворения неотмщенного духа их общего отца. С этого дня и до конца 1185 года деятельность Минамото Ёсицунэ прослеживается достаточно определенно. Правда, именно этот период почти не нашел отражения в романе как слишком известный современникам автора. И роман не стал от этого хуже, но выше уже говорилось, что события этого периода определили историю Японии на семь веков вперед, и русскому читателю небесполезно будет узнать о них подробнее. Даже оставляя в стороне то обстоятельство (об этом тоже упоминалось выше), что герой романа сыграл в них далеко не последнюю роль.

Итак, братья встретились – тридцатитрехлетний Ёритомо, собранный и недоверчивый, всегда себе на уме, и двадцатилетний Ёсицунэ, пылкий и исполненный самых светлых надежд. Характерно, что с первого же взгляда они понравились друг другу. Младший благоговел перед главой родного клана. Старший сразу увидел в простодушном, восторженном мальчишке верного помощника в грядущих испытаниях. Вероятно, Ёсицунэ был несколько разочарован, когда выяснилось, что Ёритомо не собирается незамедлительно двигаться дальше на запад, на столицу, но он верил старшему брату, как божеству и покровителю их клана Юмия Хатиману. Гарцевать на конях перед авангардами армии Тайра на дальних подступах к столице они предоставили своему дядюшке Юкииэ с его растрепанными дружинами, а сами вернулись в Камакуру[13], где Ёритомо учредил свою постоянную резиденцию. Дел было много. Надо было создавать свою администрацию. Надо было угрозами, лестью и раздачами конфискованных у врагов земельных наделов привлекать на свою сторону колеблющихся вождей влиятельных кланов. Надо было неусыпно следить за событиями на западе.

События на западе развивались довольно благоприятно.

В марте 1181 года скончалось наконец всеяпонское пугало, первый самурайский диктатор страны Тайра Киёмори. В последние минуты перед смертью, когда его спросили о последнем желании, неукротимый старик, корчась от мучительных болей, исступленно прохрипел: «Когда я умру, не творите вы жертв Будде, не возносите молений ему! Одно только. Отрубите вы голову Ёритомо и повесьте ее, эту голову, перед моей могилой!»

Вскоре после этого войска Тайра вдребезги разбили армию Юкииэ на реке Суномата у границы так называемых столичных провинций. Ёритомо, узнав об этом, только презрительно сморщился. «Как тигр, увидевший мышь», – по выражению А. Толстого. Дядюшка, получивши воззвание принца Мотихито, с самого начала принялся воевать на свой страх и риск. Знать он ничего не хотел о наследном главаре клана, племяннике с «Дикого Востока», и конечно же примерял звание первого среди Минамото на себя. Как и следовало ожидать, руки у старого дурня оказались коротки, даром что в свое время неплохо воевал.

По донесениям из столицы в Камакуре понимали, что в ближайшие месяцы вожди Тайра на активные и планомерные выступления будут не способны. Во всю глубь и ширь начали сказываться грубые просчеты запуганной администрации покойного диктатора. Наспех (впервые за два десятилетия!) собранные армии были ненадежны. Население столицы роптало. Резервы были далеко на западе, ресурсы подходили к концу. Снова вставал над страной страшный призрак голода. Во дворце царила тихая паника. Кто-то из вождей предложил отступить на запад, в исконные свои провинции по берегам Внутреннего моря – разумеется, вместе с императором и всеми экс-императорами, со всеми их придворными и фрейлинами. На него шикнули, но Го-Сиракава, освобожденный из-под стражи, уже тайно слал своих гонцов к Ёритомо.

Нет, не в столице видел теперь для себя угрозу Ёритомо, дальновидный Камакурский Правитель. Был еще двоюродный братец.

Это имя тоже стоит запомнить: Минамото Ёсинака по прозвищу Кисо, двоюродный брат Ёритомо и Ёсицунэ, родившийся за шесть лет до мятежа Хэйдзи.

Этот Минамото, как и дядюшка Юкииэ, тоже претендовал на звание главы клана и тоже ни в грош не ставил камакурского родственника. Вырос он в горах Кисо (отсюда его прозвище) в самом центре острова Хонсю, а потому, выступив по воззванию принца Мотихито, все расчеты свои положил на соплеменные горные кланы в провинциях на северном побережье. И не ошибся: уже осенью 1181 года появился со своими

дружинами горцев к северу от столицы и разгромил высланную ему навстречу карательную экспедицию, возглавляемую одним из вождей Тайра. Победа эта не обрадовала Ёритомо, как не огорчило его полгода назад поражение дядюшки Юкииэ. Камакурский Правитель сразу оценил появление на сцене могучего по-настоящему соперника. Однако на этот раз двоюродный братец успеха развивать не стал (видимо, вовремя сообразил, что сил для взятия столицы у него все же недостанет) и убрался обратно в свои горы.

(Успех диверсии Кисо вызвал в Камакуре не только тревогу, но и дух соревнования. Месяц спустя там узнали, что Тайра собираются еще раз потрепать многострадальное воинство Юкииэ, по-прежнему стоящее на границе столичных провинций. Тогда Ёритомо приказал Ёсицунэ выступить и разбить неприятеля. Ёсицунэ совершил стремительный бросок на запад, но армия Тайра уклонилась от боя, и его полководческий дебют не состоялся. Впрочем, дядюшка Юкииэ все равно был рад за себя и за него: к этому времени старый воин уже признал главенство Ёритомо.)

В 1182 году военные действия между столицей и Камакурой полностью прекратились. Вожди Тайра, борясь с голодом и эпидемиями, подтягивали и организовывали боевые резервы, а Ёритомо, борясь с голодом и эпидемиями, расширял и укреплял свою диктатуру на «Диком Востоке». Между тем Кисо Ёсинака тоже не сидел сложа руки. Он вновь выступил из своей горной резиденции и, громя по пути не пожелавших подчиниться ему баронов и сквайров (да простится нам европейская терминология!), двинулся прямо на север. К концу года он вышел к Японскому морю и свернул вдоль побережья на юго-запад по Хокурикудоскому тракту. Там, в царстве полудиких горных кланов, он чувствовал себя как дома. Привлеченные широкими обещаниями богатых земельных наделов и неисчислимых трофеев, нищие вожди кланов с сотнями своих вассалов-самураев охотно присягали ему на верность и следовали за ним.

Ёритомо не спускал с него глаз и в начале 1183 года внезапно совершил угрожающий маневр ему во фланг и в тыл. Опасный момент для Кисо Ёсинаки! Кузены ненавидели друг друга, но до открытой вражды у них еще не дошло. Сдерживая бессильное бешенство, Кисо предложил переговоры. Ёритомо согласился. Кисо выразил Камакуре если и не готовность подчиниться, то полную свою лояльность. Ёритомо поверил – или сделал вид, что поверил, – и отвел войска. Кисо Ёсинака вздохнул с облегчением, поклялся в душе отомстить и возобновил поход. Вдоль побережья Японского моря, все круче на юго-запад и затем на юг, и вот уже

его пятитысячная армия нависла с севера над столицей.

Но столица уже оправилась от потрясений позапрошлого года. Были собраны новые войска, созданы запасы продовольствия, оживились гордые воспоминания о недавнем могуществе. Единственной реальной угрозой представлялся Кисо Ёсинака, ибо Ёритомо по-прежнему недвижимо сидел в далекой Камакуре, а битое войско Юкииэ можно было к расчет не принимать. В апреле 1183 года, едва в горах стаяли снега, не жалкий карательный отряд, а отборное сорокатысячное войско под командованием одного из лучших военачальников Тайра вышло в поход «для подавления беспорядков в северных провинциях».

В течение месяца Кисо Ёсинака отступал перед превосходящими силами. Один за другим оставлял он свои опорные пункты и так сдал две провинции. А на границе третьей, на перевале Курикара, в ночь на одиннадцатое мая окружил главный корпус противника и наголову его разбил. Войска Тайра обратились в паническое бегство. Бегущих избивали беспощадно – двадцать тысяч из них полегло убитыми и ранеными, остальные побросали оружие и доспехи. Потери Кисо Ёсинаки были мизерными. Собрав трофеи и приведя себя в порядок, его армия снова двинулась на юго-запад. Путь на столицу был открыт.

Легко представить, какой ужас охватил вождей Тайра, их родичей и приверженцев при известии о разгроме на перевале Курикара. «В Рокухаре[14] лишь плач и стенания», – сообщает о тех днях одна из хроник. Мгновенный переход от возродившихся надежд к сознанию безнадежности был поистине страшен. Имелись еще войска, но они помышляли только о бегстве. Имелись и военачальники, но они были деморализованы. А с севера неотвратимо надвигался беспощадный Кисо Ёсинака, а с юго-востока подходил кипящий местью Юкииэ. Ничего не оставалось иного, как со всей поспешностью отступать из столицы на запад, к берегам Внутреннего моря, где когда-то взошла звезда клана Тайра, к верным вассалам и верному боевому флоту. На том и порешили. Помолились богам о спасении и одолении, подожгли Рокухару и покинули столицу. С малолетним императором, с его августейшей матушкой, с придворными и чиновниками, со всем оставшимся войском.

Впрочем, одна августейшая особа не ушла вместе с отступающими Тайра. Воспользовавшись суматохой, экс-император Го-Сиракава своевременно ускользнул из столицы, вступил в контакт с Кисо Ёсинакой и вернулся в столицу в сопровождении нескольких тысяч горцев уже как единственный суверенный представитель императорского дома в стране.

Теперь Кисо Ёсинака стал полным хозяином в столице и окрестных провинциях, а также в северных, подвассальных ему землях. У него был свой император, у него была мощная армия, у него была операционная база. Осенью 1183 года он начал тайную подготовку к нападению на Камакуру, на Ёритомо, на претендента, однако Го-Сиракава убедил его – и подтвердил свои слова соответствующим экс-императорским рескриптом, – что прежде всего надлежит ему вкупе с Юкииэ нагнать и уничтожить войско Тайра, которое продолжало медленно отступать вдоль северного побережья Внутреннего моря. К этому времени весьма кстати стало известно, что вожди Тайра переправили малолетнего императора и императорский двор на остров Сикоку в местечко, именуемое Ясима[15]. И Кисо соблазнился возможностью одним выстрелом убить двух зайцев: разбить Тайра и захватить «вражеского императора».

Судьба решила иначе. Он нагнал и атаковал войска Тайра у деревни Мидзусима (двести с лишним километров к западу от столицы), но потерпел сокрушительное поражение. А тут до него дошел слух, будто на столицу идет камакурская армия. Тогда он бросил свое разбитое воинство, примчался обратно в столицу и предложил Юкииэ схватить Го-Сиракаву, основать в горах северных провинций собственное государство и оттуда начать войну с Ёритомо. Насмерть перепуганный дядюшка донес об этом экс-императору. Тот немедленно снесся с Камакурой, и Ёритомо понял, что медлить больше нельзя. Мощная армия восточных самураев под командованием Ёсицунэ и Нориёри двинулась в столицу.

(Нориёри – брат Ёритомо и Ёсицунэ, шестой сын злосчастного Ёситомо, увалень и посредственный полководец, благоговевший перед старшим братом и тихо любивший младшего. Мы упоминаем его здесь только потому, что в анналах войны Минамото и Тайра он то и дело значится рядом с Ёсицунэ.)

Узнав о предательстве Юкииэ и Го-Сиракавы, Кисо Ёсинака пришел в бешенство. До Юкииэ он дотянуться не мог – тот, во исполнение экс-императорского рескрипта, в свою очередь отправился нагонять войско Тайра, – но Го-Сиракава был под рукой. Кисо напал на дворец экс-императора, сжег все постройки, перебил всю челядь, самого его взял под стражу, столицу же отдал на поток и разграбление своим верным горцам. В это время (начало 1184 года) пришло известие, что дядюшка Юкииэ, получив от Тайра очередную взбучку, с удовольствием отступил и стал в крепости Исикава, откуда угрожает столице с юга. С запада неизбытой опасностью дышали в спину воспрянувшие духом войска Тайра. А с востока двумя колоннами уже подходили корпуса Ёсицунэ и Нориёри. И

Кисо заколебался: не пора ли уносить ноги на север?

Но тут разведка доложила, что левая колонна камакурских войск под командой Ёсицунэ имеет в составе всего не более тысячи человек. Кисо решился. Выставив сильный заслон против Юкииэ, он с оставшейся тысячью воинов бросился навстречу младшему двоюродному братцу. Одним ударом разгромить мальчишку, затем повернуть во фланг растяпе Нориёри, смять, растоптать его и развернуться фронтом на запад... Или повернуть на юг, соединиться с заслоном и наказать дядюшку за предательство... Так или примерно так думал Кисо Ёсинака, а когда вывел свой отряд на поле боя, перед ним встала сила не в тысячу, а в четыре тысячи закаленных восточных ветеранов. Это он был разгромлен, смят, растоптан одним ударом. Двоюродным братцем, мальчишкой.

Спасаясь от позорного плена (поволокут в Камакуру, допросят под пыткой, казнят и выставят голову на шесте), Кисо Ёсинака кинулся назад, надеясь прорваться на дорогу к северу, наткнулся на колонну Нориёри и был убит.

Трудно сказать, читают ли на военно-исторических факультетах курс стратегии и тактики Минамото Ёсицунэ. Скорее всего, нет. Командовал он всего в четырех сражениях, и полководческая его карьера длилась всего тринадцать месяцев. С другой стороны, заслужить навечно славу великого полководца хотя бы и в своей стране всего за четыре сражения и за смехотворный срок в тринадцать месяцев – уже это говорит о многом.

Для начала стоит вдуматься в ход битвы на подступах к столице в январе 1184 года. Разгром и гибель Кисо Ёсинаки определились стечением двух роковых для него обстоятельств. Во-первых, Юкииэ, зализывая раны после стычки с войсками Тайра, вдруг в самый тяжелый для Кисо момент проявил угрожающую активность вблизи столицы. Во-вторых, разведчики Кисо жестоко и необъяснимо обманулись в оценке сил Ёсицунэ. Очевидно, не будь любой из этих случайностей, события развернулись бы совсем по-иному. Если бы Кисо не был вынужден выделить большую часть своих сил в заслон, он обрушился бы на камакурцев всей своей мощью. Если бы он не был уверен, что у Ёсицунэ всего тысяча бойцов, он бы не стал рисковать и ушел на север.

Возможно, действительно имело место стечение роковых обстоятельств. Но представляется более вероятным, что за этими обстоятельствами стоял не слепой случай, а военный гений Ёсицунэ. Это он через тайного гонца приказал дядюшке Юкииэ (который, между прочим, смертельно боялся Кисо Ёсинаку) совершить в условленный день

демонстрацию в сторону столицы. Это он либо сумел подкупить, либо ловко обманул разведчиков противника. И таким образом, это он заранее определил ход предстоящей битвы с самого начала и до конца. Кстати, вызвать на себя удар грозного победителя на перевале Курикара само по себе требовало незаурядного мужества и уверенности. Даже при четырехкратном перевесе в силах. Вполне в духе Ёсицунэ, как показали последующие события.

Но продолжим по порядку.

Вступив в столицу, Ёсицунэ и Нориёри по приказу из Камакуры незамедлительно повергли к стопам экс-императора Го-Сиракавы просьбу разрешить им напасть на войско Тайра. Разрешение было благосклонно пожаловано.

К тому времени Тайра отъелись на домашнем рисе, окрепли и исполнились оптимизма. Базировались они на острове Сикоку, где вот уже более века процветали под покровительством их дома исполненные беззаветной верности подвассальные кланы. Маленький император со своим маленьким двором благополучно дышал здоровым морским воздухом в Ясиме. В море безраздельно господствовал боевой флот под красными знаменами[16]. Тайра еще не решались наступать, но полагали, что пора готовиться к наступлению.

В конце первого месяца 1184 года они высадились на берегу Хонсю примерно в шестидесяти километрах к западу от столицы (неподалеку от того места, где расположен ныне Кобэ). Выбранный ими плацдарм был необычайно удачен: участок длиной в полтора десятка километров и шириной от двух-трех километров до полусотни метров, стиснутый между морем и горными склонами немыслимой крутизны, узкая кишка между двумя равнинами. На западе ее ограничивала деревушка Ити-но-тани, на востоке она замыкалась храмом Икутамори. Плацдарм заняла пятитысячная армия, практически сухопутные силы Тайра в полном составе. Сразу после высадки принялись укреплять деревушку и храм – копать рвы, строить частоколы, возводить вышки для лучников. И столь приподнятым было настроение, столь велика была уверенность, что вожди Тайра переправили на плацдарм императора. Да и чего было опасаться? С севера – горные кручи. С юга – весь боевой флот. С запада и востока – узкие проходы, перегороженные укреплениями. И пятитысячное войско внутри.

Читателю предлагается запомнить название деревушки, запирающей плацдарм с запада: Ити-но-тани.

Получив августейшее разрешение, Ёсицунэ и Нориёри немедленно

выступили на запад. Корпус Нориёри (тысяча человек) неторопливо прошел по Санъёдоскому тракту и ровно через три дня ранним утром начал штурм укреплений перед храмом Икутамори. Корпус Ёсицунэ (тысяча человек) стремительно проделал стокилометровый обходный марш и ровно через три дня утром начал штурм укреплений перед деревней Ити-но-тани. Это был редкий случай в военной истории: армия в две тысячи человек штурмовала крепость с гарнизоном в пять тысяч. Камакурцы дрались, как всегда, свирепо и крови не жалели. Но воины Тайра не отступали ни на шаг.

А между прочим, самого Ёсицунэ не было среди штурмующих. Еще на марше, километрах и двадцати от цели, он покинул свой корпус и с сотней отборных сорвиголов полез на горные кручи. По скалам, по оленьим тропам. С конями. В полном боевом снаряжении. Право, это было не слабее перехода суворовских войск через Альпы. В самый разгар штурма отряд выбрался на гребень горы, нависающей над тылами войска Тайра у Ити-но-тани. Там, укрывшись в густых кустарниках, они дождались вечера.

С жутким ревом, размахивая горящими факелами, обрушились они на конях вниз по страшной крутизне. Пораженным воинам Тайра почудилось, наверное, будто это демоны ада валятся им на головы с неба. А демоны уже швыряли факелы в соломенные крыши хижин, рубили направо и налево и со сверхъестественной быстротой били из луков. Трещало и выло пламя, раздуваемое ветром, торжествующий рев мешался с ревом отчаяния и ужаса, и багрово вспыхивали клинки беспощадных мечей... Началась дикая паника. Защитники укреплений отхлынули, камакурцы ворвались на плацдарм, и началась резня.

Командующий войсками, оборонявшими Ити-но-тани, был убит. Командующий войсками, оборонявшими Икутамори, был пленен. Императора удалось переправить обратно в Ясиму. На месте осталось более тысячи трупов, раненых и пленных. Остальные успели спастись на лодках и кораблях.

Таков был первый шедевр военного искусства Ёсицунэ: сражение при Ити-нотани. Седьмое февраля 1184 года.

После этой блестящей победы Камакурский Правитель Ёритомо определил Ёсицунэ своим полномочным представителем в столице. Двадцатипятилетний полководец купался в лучах славы, пользовался благосклонностью экс-императора и принимал уверения в дружбе и совершенном почтении от придворных. Делами, конечно, занимались суровые и зоркие чиновники из Камакуры, а он простодушно предавался

радостям столичной жизни. (Разумеется, в ожидании и готовности, когда старшему брату и повелителю вновь потребуется его полководческое искусство.)

А дело обстояло непросто. Основные силы Тайра теперь безвылазно сидели на Сикоку, их флот по-прежнему господствовал на море, и добраться до них было решительно невозможно. Была у Тайра еще одна база – небольшой островок Хикосима в устье Симоносэкского пролива у крайней западной оконечности Хонсю. Она тоже была недоступна для сухопутных Минамото. Вообще все до крайности усложнилось. Тайра и их вассалы имели вековой опыт мореходства и даже морских сражений с пиратами, а бесстрашных восточных всадников мутило от одного вида соленой волны.

Шли месяцы. Ёритомо медлил, не зная на что решиться. К тому же он был по-прежнему по горло занят дипломатией и административными делами со строптивыми вождями восточных кланов. Ёсицунэ беззаботно веселился в столице. Тайра, пользуясь передышкой, пополнялись людьми и продовольствием из ресурсов подвассальных провинций. И во время этой паузы между Ёритомо и Ёсицунэ произошел конфликт.

Одним из основных принципов режима, который скрупулезно разрабатывался в Камакуре, была полная зависимость всех самураев снизу доверху от личной воли Ёритомо. В частности, это касалось щепетильной области отношений между самурайством и императорским двором. Ёритомо отдал приказ, запрещающий кому бы то ни было принимать знаки августейшей благосклонности иначе, чем через его ходатайство. Нарушителю грозила конфискация земельного надела и даже смертная казнь. (Цель этого приказа ясна: Ёритомо стремился полностью изолировать двор от своих подчиненных.) В середине года по почтительному представительству из Камакуры экс-император пожаловал провинциальное наместничество и высокий придворный чин Нориёри. Ёсицунэ же, к его крайнему удивлению, был обойден августейшей милостью, хотя он неоднократно уже обращался к Камакурскому Правителю с просьбой о ходатайстве. Почему старший брат остался глух к его просьбам – вопрос особый, но старый интриган Го-Сиракава мигом заметил обиду победителя при Ити-но-тани и, отлично зная, чем это может кончиться, возвел его разом в ранг императорского судьи и в звание офицера дворцовой гвардии.

Ёритомо, Камакурский Правитель, взбесился (или притворился взбешенным). Правда, он не стал ни упрекать, ни наказывать. Он наконец отдал приказ на новый поход против Тайра, но военачальником назначил не

Ёсицунэ, а Нориёри. Что думал и чувствовал обойденный Ёсицунэ – можно только догадываться. Внешне он принял это известие со спокойной покорностью. Так или иначе, в сентябре 1184 года Нориёри во главе трехтысячной армии выступил из Камакуры.

Вероятно, до знаменитых походов глуповского градоначальника Бородавкина не было в истории более идиотского военного предприятия. Побив по дороге несколько разбойничьих шаек и дочиста объев придорожные населенные пункты, Нориёри в два месяца дотащил свою армию до западных пределов Хонсю и остановился. Дальше было море. На юге за свирепым течением неширокого пролива высился недосягаемый берег острова Хикосима, западной базы Тайра. Позади были четыреста километров зловещей пустоты, где любой километр грозил новым десантом с оставшегося далеко в тылу острова Сикоку. Двигаться было некуда, есть было нечего. В армии началось брожение. Нориёри гнал в Камакуру гонца за гонцом с отчаянными просьбами о мудром совете и о продовольствии. Ёритомо отвечал неопределенно-успокоительно. Он давно уже понял, что поход провалился. Но только в начале 1185 года он, скрепя сердце (так уверяют хроники), отдал приказ Ёсицунэ.

(В конце концов судьба сжалилась над Нориёри. Ему посчастливилось договориться с местными пиратами, которые – под носом у боевого флота Тайра! – переправили его армию из Хонсюского мешка на северо-восток острова Кюсю. Изголодавшиеся вояки без труда сломили беспорядочное сопротивление местных баронов, пытавшихся помешать высадке. Когда армия несколько отъелась, Нориёри повел ее куда глаза глядят. Так он и промыкался по Кюсю до конца войны.)

Получив приказ на поход, Ёсицунэ помчался к экс-императору за обязательным рескриптом.

Он сказал, что не вернется, пока не уничтожит клан Тайра. Даже если для этого придется гнать врага до самой Кореи.

Затем он отправился в порт Ватанабэ (северо-восточный угол Внутреннего моря). Было это десятого января 1185 года.

Надо помнить, что Ёсицунэ ни разу в жизни не ступал на корабельную палубу. Но, в отличие от Нориёри, он отлично понимал, что в сложившейся обстановке врага можно достать только через море. Победу обещало только внезапное нападение на Сикоку.

Выход в море был назначен на вечер семнадцатого февраля. Десантная армия уже готовилась к посадке на суда, как вдруг налетел сильнейший шторм. Большую часть кораблей и лодок разметало, воины в ужасе

пятились от беснующихся волн, корабельщики в один голос заявили, что выйти в море невозможно. Невозможно? Ёсицунэ воспрянул духом. Раз выйти в море невозможно, значит на Сикоку его нынче не ждут. Он отобрал полтораста самых отчаянных рубак и приказал им садиться на сохранившиеся корабли. Охваченные страхом, корабельщики запротестовали было – им пригрозили мечами. В два часа ночи пять кораблей вышли в бушующее море.

Читатель может представить себе, как Ёсицунэ стоит на палубе, цепляясь за мачту, насквозь промокший, соленая вода пополам с пеной стекает с двурогого шлема, как он блюет и отплевывается и осипшим голосом подбадривает корабельщиков и изнемогающих от морской болезни воинов... Это было плавание! Но лютый шторм гнал корабли столь стремительно, что трехдневный путь был покрыт за три или четыре часа. На рассвете отряд высадился в небольшой бухте на восточном берегу Сикоку. Отсюда до Ясимы было не более пятидесяти километров. До императора. До ненавистных вождей Тайра.

Они проделали двухдневный переход за одни сутки, убивая и сжигая по дороге всех и всё, и утром девятнадцатого обрушились на императорский дворец. Лагерь Тайра был захвачен врасплох. Клубы дыма, взметнувшиеся сразу в нескольких местах, воинственный вой, раздавшийся сразу с нескольких сторон, свист стрел, летящих словно бы отовсюду, – немудрено, что воинам Тайра почудилось, будто на них напала целая армия. Они в панике бросились к кораблям. И только на берегу обнаружили, что нападающих не так уж много. Закипела битва.

(Конечно, Ёсицунэ был беспримерно храбр и обладал замечательным военным талантом. Конечно, все сто пятьдесят самураев его отряда были отборные воины, может быть, лучшие в Японии. Но даже при всем при этом глупо ему было бы рассчитывать на победу над всей армией Тайра. Но имелось тут одно обстоятельство. Основной контингент гарнизона Сикоку как раз в это время находился в полутораста километрах от Ясимы, на западном краю острова, где среди местных сквайров и монахов возникли какие-то беспорядки. Знал ли об этом Ёсицунэ? Безусловно. Иначе его диверсия была бы просто дрянной авантюрой. Но как он мог узнать? Не логично ли предположить, что упомянутые беспорядки были инспирированы его агентурой? Тогда становится понятно, почему он, всегда такой стремительный, более месяца медлил в порту Ватанабэ: готовил, инструктировал и отсылал агентов и ждал условленного срока. Вполне в духе этого мастера войны.)

Двадцать первого числа после упорного сопротивления воины Тайра

оставили Ясиму, кое-как погрузились на корабли и ушли. На остров Хикосиму, свою последнюю базу. Император опять ушел из рук Минамото, у Ёсицунэ осталось всего восемьдесят воинов, но остров Сикоку был очищен от неприятеля. (Войска Тайра, оставшиеся на западном краю острова, ошеломленные случившимся, частью рассеялись, частью сдались на милость победителя.)

Таков был второй шедевр военного искусства Ёсицунэ: сражение при Ясиме. 21 февраля 1185 года.

Двадцать второго на Сикоку прибыла из Ватанабэ вся армия. «К шапочному разбору!» – так можно было бы перевести ехидные шуточки, которыми победоносные головорезы Ёсицунэ встретили товарищей. Те виновато огрызались.

Теперь у Ёсицунэ было около четырех тысяч воинов и полтораста кораблей. Мало! То есть мало кораблей. Предстояло нанести удар по последнему убежищу дома Тайра, а это означало неминуемый морской бой. По самым скромным подсчетам у Тайра было до пяти тысяч воинов и около восьмисот кораблей, укомплектованных опытнейшими корабельщиками.

Ёсицунэ думал. Рассылал тайных агентов. Отправлял в Камакуру всеподданнейшие письма. Армия, опоздавшая к пиршеству победы при Ясиме, выпивала, закусывала и нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Помощники Ёсицунэ, готовые в любую минуту очертя голову броситься через Внутреннее море хотя бы и вброд, перешептывались, что Ёсицунэ (пользуясь выражением Леонида Леонова) медлит, то ли сберегая силы, то ли накапливая ярость своих самураев.

Но мастер войны медлил совсем не поэтому. В середине месяца к нему явился гонец от некоего Миуры, наместника одной из западных провинций Хонсю, известного внутреннеморского торговца и пирата. Ёсицунэ прочел послание и скомандовал немедленную посадку на суда. На другой день в Ясиме остался лишь небольшой гарнизон. Полтораста тяжело перегруженных кораблей поплыли на запад.

Миура предоставил в распоряжение Ёсицунэ именно то, чего ему так недоставало: три сотни полностью оснащенных судов и опытнейших корабельщиков. (Будь на месте тогдашних вождей Тайра их грозный отец Киёмори, он наверняка озаботился бы блокировать Ёсицунэ в Ясиме своим мощным боевым флотом и, уж во всяком случае, сжег бы все посторонние корабли в портах южного побережья Хонсю. Но этим горе-полководцам такое и в голову не пришло.) Армия распределилась по кораблям, и эскадра под белыми знаменами[17] двинулась дальше на запад. Перед входом в

Симоносэкский пролив, на траверзе городка Дан-но-ура, ей навстречу вышла эскадра Тайра. Восемьсот кораблей. Было утро двадцать пятого марта.

Несомненно, вожди Тайра рассчитывали на быструю победу. Они были настолько уверены в победе, что взяли в сражение маленького императора, весь его двор, своих жен и дочерей. Их корабельщики знали наизусть все коварства стремнин в припроливье, приливное течение им благоприятствовало. Правда, они совершенно упустили из виду, с каким противником имеют дело. У них так и недостало воображения представить себе, что Ёсицунэ, заведомо сухопутный человек, тоже способен с помощью опытных корабельщиков дотошно изучить капризы и закономерности местных вод и спланировать свои маневры в соответствии с ними.

Итак, с утра течение благоприятствовало Тайра. Их наносило на камакурцев, а те медленно отступали, отстреливаясь из луков. Флотоводцы Тайра не сразу заметили, что великолепные лучники Ёсицунэ старательно выцеливают не воинов, а гребцов. Корабли Тайра теряли ход, надежды схватиться с противником на абордаж таяли с каждым часом. А тут вдруг несколько десятков судов под командованием какого-то сикокского барона спустили красные флаги и перешли на сторону Ёсицунэ. (Сработала агентура!) Нечувствительно наступил полдень, приливное течение остановилось и повернуло вспять.

Мгновенно вся эскадра Ёсицунэ ринулась вперед и вправо, оттесняя флот Тайра к берегу, на предательские рифы и отмели. Корабли Тайра смешались. Часть с проломленным днищем пошла ко дну. Часть выбросилась на берег. Остальных, зачалив за борта «медвежьими лапами», бешено брали на абордаж. Погиб в волнах несчастный маленький император, вожди Тайра были перебиты или пленены. Разгром был молниеносный, полный и окончательный.

Дом Тайра перестал существовать. Великая война Минамото и Тайра закончилась. Камакурский Правитель Ёритомо стал единственным и безраздельным правителем Японии.

Ёсицунэ отправил в Камакуру донесение:

«Двадцать четвертого дня нынешнего месяца более пятисот наших судов вышли в пролив Амагасэки у провинции Нагато. Они были встречены восьмьюстами судами Тайра[18]. После полудня сражение завершилось поражением бунтовщиков. Бывший император погрузился на дно морское. Нижеперечисленные утонули. (Приводится список утонувших вождей Тайра, в том числе имя вдовы Киёмори.) Госпожа Кэнраймон-ин и

молодой принц (мать и младший брат утонувшего императора) спасены. Пленные (список двух десятков вождей Тайра и их родственниц). Вдобавок пленены еще мужчины и женщины, коих список будет представлен позже. Священная Печать найдена. А Меч утрачен, и его ныне ищут»[19].

Говорят, суровый и невозмутимый Камакурский Правитель подскочил и вскрикнул от изумления, прочтя эти строки.

Таков был третий и последний шедевр военного искусства Ёсицунэ: морское сражение при Дан-но-уре.

Инструкция к чтению закончена. Теперь читатель представляет себе историческую обстановку, на фоне которой происходит действие романа. Он знает теперь, чем и как прославлено главное действующее лицо. Дальнейшая судьба Минамото Ёсицунэ описана в романе достаточно подробно и убедительно: наветы, немилость Ёритомо, бегство, скитания и страшный конец. Только одна подробность: голову мастера войны доставили в Камакуру в черной лакированной шкатулке, наполненной сладким сакэ.

16.02.81 г.

Приложения

Б. СТРУГАЦКИЙ
ИЗ ПИСЕМ К Б. ШТЕРНУ

24.09.71

Уважаемый Борис Гедальевич!

Роман Ваш я получил и прочитал. Надо сказать, Вы меня приятно удивили. То, что обычно присылают начинающие нашему брату-писателю, как правило, не лезет ни в какие ворота. Я же от Вашего романа, как Вы и надеялись, получил «несколько приятных минут».

У Вас несомненно есть способности. Роман в общем получился. Не знаю, какую Вы ставили перед собою цель, но то, что вышло из-под Вашего пера – очень милая вещица для среднего и старшего школьного возраста, да и взрослый прочтет ее не без приятности. Написано живо, энергично, легко, весело, и если снять с романа тонкий, но явный налет этакой разухабистости, переходящей в пошловатость, убрать стилистические огрехи, вычеркнуть бородатые анекдоты, ввести почти на всех страницах сухой закон (за исключением тех мест, где выпивка обоснована требованиям сюжета), а также привести употребление глагола «класть» в соответствие с нормами русского литературного языка (у Вас везде – «ложу», «ложить» и т. д.) – в этом случае я лично готов бы был походотайствовать в каком-нибудь издательстве за Ваш роман. В своем нынешнем состоянии он представляет собою некую заготовку, чушку, так сказать, необработанный и неошлифованный алмаз, и работа над ним предстоит еще немалая.

Так что поздравляю Вас с открытием у Вас литературных способностей, рекомендую Вам не бросать литературу, пробовать еще и еще. Сейчас у меня, к сожалению, совсем нет времени для подробного анализа Ваших огрехов, и я смутно представляю себе, когда это время появится. Попробуйте отнести Ваше детище в какое-нибудь издательство в Одессе. Вам наверняка откажут, но добросовестный редактор, буде такой найдется, должен был бы мотивировать причины отказа и ткнуть Вас носом в недоделки. Это могло бы пойти на пользу и Вам, и Вашему роману.

С самыми добрыми пожеланиями, Ваш Б. Стругацкий

20.01.72

Уважаемый тов. Штерн!

Мне рассказали о Вашем звонке. Сейчас я очень занят и не мог написать Вам сразу.

Положение с Вашей рукописью не обещает ничего хорошего. Второй вариант я получил от Вас давно, просмотрел его, нашел его значительно улучшившимся и неофициально дал его прочесть одному знакомому редактору и одному знакомому литературному критику. Литкритик, как ему и полагается, рукопись разругал, назвав ее подражанием Шекли (доля истины, надо сказать, в этом есть), а что касается редактора, то он более миролюбив, но никаких практических мер не предложил. Впрочем, я и без него знал, что устроить сейчас в Ленинграде рукопись фантастической повести, да еще иногороднего автора, практически невозможно. Я, честно говоря, надеялся на что-то вроде чуда, на какую-нибудь счастливую случайность. Однако, ни чуда, ни случайности не произошло.

5.04.72

Дорогой Борис!

Спасибо за доброе письмо. Такие письма очень полезны нашему брату-писателю: они поддерживают тонус и создают ощущение нужности и незряности писательского существования.

Мне трудно сейчас сформулировать какие-то определенные сюжеты по «Лунапарку» – я основательно подзабыл его. И потом у меня совершенно четкое ощущение, что в профессиональном плане я, пожалуй, и не смог бы больше ничего посоветовать. Явные недостатки практически устранены, а то, что там еще осталось недоброкачественного (на мой взгляд) составляет уже Ваш УРОВЕНЬ. Иначе говоря: все, что резануло бы ухо ЛЮБОМУ человеку (писателю, редактору, критику) со вкусом, Вы убрали; начиная с этого момента любой совет Вам будет уже базироваться на личном представлении советующего, что такое хорошо и что такое плохо, то есть начнется вкусовщина. Конечно, Вам придется учитывать и такого рода советы, но это надо делать только в том случае, если от вкуса советчика зависит какой-то практический результат – например, опубликование.

Мой главный совет Вам (по-прежнему): пишите рассказы. Пишите, размножайте и один экземпляр посылайте мне. А я (если рассказ мне

понравится) буду уже ждать случая сунуть его в какую-нибудь внезапно освободившуюся щель какого-нибудь редакционного портфеля.

Очень советовал бы Вам, собрав папку рассказов, как-нибудь лично выбраться в Москву и посетить изд-во «Молодая гвардия» (я мог бы дать рекомендательное письмо). Этот визит, может быть, и не дал бы непосредственного результата, но знакомство было бы завязано, а в нашем писательском деле, хорошо это или плохо, знакомства играют первостепенную роль.

Все эти советы есть результат многолетнего опыта, а не теоретических умозаключений.

6.08.72

По поводу главного вопроса Вашего – об испанской фантастике – к сожалению ничего толком ответить не могу. Насколько мне известно, ХОРОШЕЙ фантастики на испанском не существует. В Латинской Америке сейчас работает несколько прекрасных писателей – Кортасар, Маркес, Сильва – но это настоящие реалисты в лучшем смысле этого слова, и «чистой» фантастики они не пишут. Я знаю только одного латиноамериканского фантаста – его фамилия Буш, и некогда он был президентом Доминиканской республики. Несколько его рассказов переведено на русский, кое-что я видел на английском, а на испанском – ничего. Наверное, есть кто-нибудь в Испании, фантастику там вообще печатают (например, опубликовали перевод нашей «Страны багровых туч»), но кто, сколько, каковы? – ничего не знаю.

Где официально достаются оригиналы? – спрашиваете Вы. Отвечаю нигде. Каждый переводчик в меру своих сил и способностей раздобывает книжки в пестрых глянцевых обложках, на свой страх и риск переводит и несет в редакцию, где, как правило, перевод отклоняют. Обычно оригиналы привозятся из-за рубежа случайными людьми, а потом через много рук попадают переводчику. Иногда, если повезет, можно купить томик в Старой Книге. (В Ленинграде такой магазин есть рядом с Академкнигой, на Литейном проспекте в одной остановке от Невского.)

Пишите мне, когда Вам захочется и о чем захочется. Письма Ваши читать интересно, и я буду рад получать их, но сам-то я писать письма не любитель, так что не посетуйте, если ответы мои будут суховаты и сугубо конкретны.

Желаю Вам всего наилучшего, а – главное – того терпения и упорства,

которое почему-то называется вдохновением.

2.11.72

Дорогой Борис!

Письмо Ваше получил и при этом так удачно, что могу ответить немедленно. (Не надо пока никуда бежать, ехать, звонить и вообще трепыхаться в волнах житейского моря. Отдых. Релаксация.)

Рад, что Вы покончили с армией и вернулись к мирному созидательному труду. Замыслы Ваши очень мне импонируют, желаю успехов от души, а замысел романа – так просто превосходен: завидую, ей-богу. Вижу массу возможностей порезвиться на смыслах. Знаете: правильно поставленный вопрос – это половина ответа. А хорошо придуманная ситуация – это половина романа. Так вот Вам посчастливилось наткнуться, как мне кажется, именно на такую хорошо придуманную ситуацию. Давайте, давайте! И да поможет Вам бог. (Впрочем, уже ясно, что публикация такого романа встретит известные трудности. Но сие от нас не зависит.)

Спасибо за добрые слова по поводу «Улитки». Хотя, конечно, читать ее надо целиком, чтобы получить право судить по-настоящему. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Сейчас у меня нет ни одного экземпляра рукописи, но ведь будет же когда-нибудь! Вот тогда я Вас и вспомню.

По поводу нашего романа в «Неве» могу Вам точно сказать: липа. Никогда они у нас ничего не просили и ничего печатать не собирались (до сих пор еще не могут оправиться от фитиля, полученного за опубликование «Острова»). Просто позвонили и сказали: «Вы знаете, Б. Н., мы тут в Литературку дали, что ждем вашего нового романа. Вы не возражаете?» – «Конечно, нет», – грустно ответил я, потому что такая публикация давала мне хоть тень возможности, а в нашем положении и тень пригодится. Вот «Юность», та, действительно, просила у нас что-нибудь и заранее сообщила, той же Литературке, что «рассматривает». Мы дали туда «Лебедей», получили через месяц отказ и дело увяло.

Вот пока и все. Желаю удачи и вдохновения, которого, впрочем, по-моему, не бывает, Ваш Б. Стругацкий

28.12.72

К Аркадию Львовичу, конечно же, обратитесь. Я с ним не знаком, но читал его рассказы и слышал о нем хорошее от Аркадия. Судя по всему, это вполне порядочный человек. И писатель талантливый. Адреса его почему-то нет в писательском справочнике (может быть, он не член СП?), но я могу попытаться узнать этот адрес у Аркадия. Напишите мне, если не найдете сами.

Как быть с публикацией в газете. Вопрос, прямо скажем, нелегкий. Я могу придумать только два выхода, которые мне кажутся достойными. 1. Публиковать не повесть, а отрывки из повести – отдельные главы (самые интересные) или даже куски из глав, но куски цельные. 2. Опубликовать сокращенный вариант повести, но сокращение производить самому, не отдавать этого важного и деликатного дела газетным пиратам. Мы с Аркадием, бывало, поступали и так и эдак, но без всякого удовольствия – деньги жалкие. славы никакой, одно расстройство. Но для Вас немаловажно напечататься, хотя бы и таким способом. Видите ли, у нас можно сделаться писателем только так: либо вам повезет, вы опубликуете что-то хорошее и в хорошем издательстве, и тогда вторую вещь пробить станет сразу легче; либо вы пройдете весь путь молодого литератора – пристроитесь в группу молодежи при местном СП, будете регулярно ходить на заседания, покорно выступать по телевидению, читать отрывки на разных встречах с читателями и т. д. Тогда вас будут опекать, всовывать в какие-нибудь сборники молодых и со временем даже организуют вам персональный сборник. Вот нам, например, повезло. Мы попали в струю – в Эпоху Расцвета Фантастики. Но я знаю вполне приличных писателей, которые прошли и второй путь. Например, Варшавский и Ларионова в Ленинграде, Григорьев и Биленкин в Москве. Правда, для некоторых этот путь оказался коротким (Варшавский), а некоторые и до сих пор не члены Союза, но печатаются они все и теперь уже сами, потому что завели знакомства в издательствах и редакциях, заработали себе имя. Поэтому я и рекомендую Вам начинать с рассказов. Рассказ легче опубликовать.

8.02.73

Дорогой Борис!

Отвечаю с опозданием, потому что болел да и сейчас еще болен, но уже встаю.

Рассказы Ваши хороши. Молодец! Мне ведь присылают довольно много рукописей, и теперь я могу сказать с полной определенностью:

Ваши – лучше всех.

Конечно, много еще шероховатостей.

Кое-где изменяет вкус. Что-то растянуто, что-то, наоборот, зажато, но!

Но есть:

1. Талант. 2. Самостоятельность. 3. Отличные стилистические находки.

Все это, конечно, ни к чему не обязывающая болтовня. Но я обещаю Вам: как только оклемаюсь, сразу же понесу Вашу папку Брандису и Дмитриевскому. Они сейчас составляют два сборника фантастики – один для Лениздата, второй для Лендетгиза. Ничего обещать не могу, но буду всячески рекомендовать.

Продолжайте работать!

7.03.73

Рассказы Ваши передал на рассмотрение Брандису только 5-го – до этого нам никак не удавалось встретиться по разным причинам. Позвоню ему, чтобы узнать мнение, числа 12-15-го. Потерпите. Положение в Ленинграде сейчас таково. Есть три места, на которые можно теоретически (повторяю: теоретически) рассчитывать. Сборник ф-ки в Лениздате (готовит его Дмитриевский). Сборник ф-ки в ЛенДетиздате (готовит Брандис). Журнал «Аврора» (молодежный, время от времени печатает ф-ку). Главное препятствие: «муниципальный патриотизм» – «ленинградские издательства – для ленинградцев». Так сказать, издательский вариант известного лозунга «Геть, жиды и москали!». Если бы Вы были ленинградцем, для успеха достаточно было бы, чтобы Ваш рассказ понравился составителю. В нашей конкретной ситуации этого мало. Рассказ должен понравиться составителю настолько, что он (составитель) готов будет драться с издательством, отстаивая глубоко чуждые и сомнительные права Одессы. Поэтому повторяю снова и снова: заранее смиритесь с неудачей.

Отвечаю на Ваши вопросы. Сейчас во всех издательствах СПРОС есть только на одну тему: «Рабочий класс». Все остальное идет лишь постольку поскольку. В СССР есть только два журнала, которые печатают ф-ку более или менее регулярно: «Техника – молодежи» и «Знание – сила». Оба журнала предпочитают (от греха подальше) либо отечественную ТЕХНИЧЕСКУЮ, либо переводную литературу этого жанра. Оба журнала окружены жадной толпой старых заслуженных авторов, а равно и молодых напористых халтурщиков, точно знающих, на какой стороне у бутерброда

масло. В оба журнала писатель Вашего типа может пробиться лишь случайно и с малой вероятностью. (И тем не менее, советую попробовать – хуже не будет, а лучше – может быть.)

В СССР я знаю только три редакции научно-фантастической литературы: в изд-ве «Молодая Гвардия»; в изд-ве «Детская лит-ра» (Москва) и изд-ве «Детская лит-ра» (Ленинград, филиал). Спрос на ф-ку во всех трех редакциях последние годы неуклонно падает. И конечно, там тоже есть свои старые заслуженные авторы, которых – в первую очередь, и свои молодые напористые халтурщики, которые пристально стерегут малейший шанс. Самая подходящая для Вас (как для писателя определенного типа) редакция – в «Молодой Гвардии». Но именно там сейчас с ф-кой особенно плохо. (И тем не менее, когда и если Вы соберете десяток-другой рассказов в этакий сборничек, посылать его Вам надо будет в первую очередь именно в «Молодую Гвардию»; обещаю Вам в этом случае рекомендательное письмо, но шансы будут ничтожны, если Вы к этому времени не сумеете опубликовать хоть где-нибудь хотя бы три-четыре рассказа.)

А пока придется Вам писать в пустоту. Стисните зубы. Пишите. Вода камень точит. Все равно Вы обязаны писать, раз уж судьба дала Вам талант.

3.06.73

Получил Ваше письмо с рассказом о Барбосе. Спасибо за россыпь теплых слов. «Пикник» и с нашей точки зрения получился довольно удачно (скажем, на «четверку», если считать, что «Отель» на тройку, а «Улитка» на пятерку). В «Авроре» там повесть основательно поковеркали – то есть, это с авторской точки зрения – основательно, читатель, очень возможно, ничего и не замечает. Но «Авроре» приходится многое прощать – вот и сейчас они снова заключили с нами договор, единственная редакция в СССР! Будем писать новую повесть. Уже сейчас видно, что писать будет трудно – и сюжет не простой, и фон для нас необычный. Ладно – бог не выдаст, свинья не съест.

Что касается Вашего рассказа, то он очень мил, но, к сожалению, основной сюжетный поворот его не является новым – я читал очень похожий в этом смысле рассказ какого-то американца.

22.10.73

Дорогой Борис!

Долго не отвечал Вам потому, что почти не жил дома. С самого начала августа не пробыл дома в общей сложности и десяти дней: отпуск – Москва – Польша – снова Москва, и вот вчера только прибыл наконец и берусь за накопившиеся долги.

Ну, прежде всего, Вас, естественно, интересует судьба рассказа в будущем ленинградском сборнике. Сразу отвечаю: ничего нового. Лежит гора рукописей, ее будут сокращать раза в три, но за счет кого – неизвестно. Спешить некуда, над ними не каплет, под них не подтекает. Остается одно: ждать и надеяться. И, натурально, надеясь на лучшее, ожидать худшего.

Очень Вам сочувствую. Кризис Ваш имеет в своей основе именно тоску от невозможности публиковаться. Уверяю Вас, если бы Ваши рассказы шли, Вы бы и знать ничего не знали о кризисах – писали бы как бешеный. А когда в подсознании (да и сознании – тоже) сидит эта потайная мыслишка: «Для кого стараешься?» – вот тут-то они, эти кризисы, и разыгрываются. Все это мне оч-чень хорошо знакомо, и спасения от этого никакого нет, разве что в самой работе, а как работать, если кризис? Порочный круг. Приходится его рвать. Помучаешься-помучаешься да и разорвешь. Так и живем.

Хотите попробовать работать в соавторстве? Дело хорошее. Методик такой работы существует несколько. Мы, кажется, испробовали их все. Наш опыт позволил нам сформулировать следующий фундаментальный принцип: результат тем лучше, чем больше доля работы проделана в непосредственном контакте соавторов. Иначе говоря: все делать вместе. Обдумывать идею – вместе. Разрабатывать сюжет – вместе. Составлять подробный план – вместе. Писать черновик – вместе. Править черновик – вместе. Писать чистовик – вместе. Все вместе. Никаких этих глупостей: «Ты составляешь план, я составляю план, потом сравниваем и выбираем лучшее»; или: «Ты пишешь все четные главы, а я все нечетные...» или: «У тебя лучше получаются диалоги, а у меня – описания, так вот давай, ты будешь...» и т. п. Обдумывать идею, разрабатывать сюжет и составлять подробный план вместе – это одно удовольствие. Собственно писать – тут дело хуже. Нужна привычка; нужно усилие воли, чтобы преодолеть смущение и стесненность; нужна взаимная терпимость, иногда поистине безграничная. Впрочем, мне приходилось работать в соавторстве не только с Аркадием, и у меня создалось впечатление, что если собираются вместе люди с юмором, уважающие друг друга и симпатизирующие друг другу – дело пойдет. Сам процесс писания состоит из последовательного предложения и обсуждения фраз. Один предлагает, другой либо принимает

сразу, либо вносит поправки, либо предлагает свой вариант. Не разрешается отвергать вариант соавтора без объяснений причин. Не разрешаются аргументы типа «Нутром чую, что это не годится!..» или «Не годится потому, что не хватает чего-то этакого... не знаю как выразить... в общем – не хватает...». Наконец, категорически запрещается отвергать, ничего не предлагая взамен. В спорных случаях, когда оба соавтора предложили свои фразы, обосновали их и не могут найти компромисса, из кармана достается пятак и проблему решает жребий. В таком вот плане.

3.12.73

Дорогой Борис!

Вы жалуетесь на кризис. Не надо. Кризис – это, в общем, хорошо. Что-то вроде боли в мышцах после усиления физических упражнений, – больно, неприятно, иногда мучительно, но зато это означает, что мышцы крепнут и ты становишься сильнее. У бездарностей кризисов не бывает, они знай себе гонят листаж. Утешение кажется слабым, но ведь все это и на самом деле так. Мы пережили за без малого 20 лет работы два кризиса, сейчас сидим в третьем и – ничего. Правда, нынешний кризис – явление внешнего порядка, явление искусственное. Не то чтобы мы не могли и не хотели писать по-старому (и можем, и хотим), – а не дают, не пускают писать по-старому. Приходится искать новую форму не от внутренней потребности, а под внешним давлением. Вот это – по-настоящему неприятно. К сожалению, у Вас, вероятно, имеют место кризисы обоих родов сразу, а потому – приходится разбираться, какие мучения проистекают от желания писать лучше, а какие – от желания напечатать хоть что-нибудь. Терпите. У Вас еще довольно много времени впереди – полвечности.

Теперь о режиме. Для нас идеальный режим выглядит так: полмесяца работы вдвоем, полмесяца абсолютного безделья, и так – круглый год за вычетом двух – двух с половиной летних месяцев. При этом работа должна быть на изнурение, а безделье должно быть – до отвращения (чтобы захотелось работать). Практически получается только первая часть программы – работать до изнурения. Полного безделья не получается (особенно в последнее время), потому что все время набегают какие-нибудь делишки – то сценарий приходится кропать с режиссером в соавторстве, то статейку какую-нибудь, то вычитывать верстку (вот омерзительное занятие!), то писать какие-нибудь рецензии, то читать какие-нибудь

рукописи, то сидеть на семинарах. Опять же никуда не денешься и от так называемой личной жизни с болезнями, двойками по геометрии, вызовами в директору школы, неприятностями на работе у жены и друзей, текущими потолками, трескающимися обоями, насущной необходимостью купить то, се, пятое и десятое – а в условиях относительного и абсолютного обнищания большинство этих заботишек и проблемок преобразуется в Заботы и ПРОБЛЕМЫ, голова оказывается забита чепухой, и когда приходит время работы, оказывается необходимым тратить день, два, три (из пятнадцати, черт побери, всего лишь из пятнадцати, на большее не хватает дыхания!) на раскачку, очищение духа и идейное просветление. Я не говорю уже о спорадически возникающих неприятностях в издательствах, когда оказывается, что «это нам, знаете ли не подойдет... да, конечно, договор... но вы нам что-нибудь другое напишите, что вам стоит, а?». И уж я совсем не говорю о пароксизмах идеологической лихорадки, когда со страхом раскрываешь газету, со страхом берешь телефонную трубку и вообще хочется залезть в унитаз и спустить за собой воду. Вот Вам и годовой режим. Но Вы знаете, Борис, как-то ко всему этому привыкаешь, приспосабливаешься, и оказывается, что жить все-таки можно, ст`оит и даже хочется – просто коэффициент полезного действия оказывается не сорок процентов (в соответствии с теорией идеального режима), а процентов 25-30, что, кстати, тоже неплохо.

А Вам я бы посоветовал такой режим: на протяженности недели не пишите ничего, а в воскресенье садитесь и давите из себя сразу страниц 10-15.

Расписывать мне прелести Одессы не надо. Я приложу все усилия, чтобы следующим летом вообще никуда не ездить – хочу валяться на диване и читать Дюма, голый и потный.

29.01.74

Дорогой Борис!

Спешу Вас порадовать. Ваш рассказ («Фокусник») сделал еще один шаг в нужном направлении. Теперь он довольно прочно вошел в сборник, и понадобится достаточно неблагоприятное сочетание обстоятельств, чтобы он оттуда вылетел. Во всяком случае, редактор уже не возражает. Остается, конечно, еще достаточное количество инстанций, и на каждой может прийти капут, но, пожалуй, главную инстанцию Вы уже прошли.

Не обошлось, конечно, без потерь. Редактор потребовал, чтобы:

1. Была выброшена линия проводника-милиционера («а то получается непонятно, когда что кто говорит»),

2. Были категорически упразднены спиртные напитки, женихи, свадьбы и пр.

3. Было произведено сокращение вообще.

Поразмыслив, я решил, не затягивая дела, на все это пойти. И пошел. Рассказ сокращен страниц на шесть, выпал проводник, выпал старик и зять его, испарились спиртные напитки. Рассказ, на мой взгляд, хуже не стал, хотя кое-что из выброшенного было несомненно хорошо. В Вашей воле, конечно, сейчас возмутиться и потребовать рассказ назад, но я Вам не советую это делать. Берегите силы, главные бои – впереди.

Сейчас я уезжаю в Москву, вернусь в середине февраля. Если у Вас будут какие-то спецсоображения – пишите. Дело протянется еще долго – сборник планируется на 75-й год.

11.02.74

Я приехал из Москвы раньше срока. Мы там должны были кончить ту самую повестуху (вернее, ее черновик), которую Вы с таким нетерпением ждете в «Авроре». Но повесть эта нам так осточертела, до того нам ее было тошно писать, что вместо запланированных 10-12 дней мы закончили по-стахановски за 7. Теперь только отбарабанить чистовик (чем мы и займемся в конце февраля), и можно выбрасывать продукцию на рынок по демпинговым ценам.

Далее. Не надо хаять «Фокусника». Это, конечно, не лучший Ваш рассказ, но начинать с него, на мой взгляд, вовсе не стыдно (тем более, что с лучшего Вам все равно начать не дадут). И имейте в виду, что этот, столь презираемый Вами, «Фокусник» сияет на общем фоне сборника как звезда, если не первой, то, уж наверняка, второй величины. Мое приватное мнение состоит в том, что в сборнике есть две хороших повести и три хороших рассказа: остальное – дерьмо. Один из хороших рассказов – «Фокусник». Что же касается попадания в сборник «по знакомству», то я уже, кажется, писал Вам, что не знаю ни одного писателя моего поколения, вышедшего в люди другим образом. Рассказ обязательно должен понравиться кому-то из имеющихся на данный момент авторитетов, каковой авторитет и обязан похлопотать. Редактора ведь, к счастью, очень редко полагаются на собственное мнение, иначе в литературе нашей вообще царил бы ад кромешный.

Далее. Не помню, писал ли я Вам, что уже второй год веду семинар молодых писателей-фантастов при секции н-ф литературы ЛО ССП. Ходит на этот семинар человек 10-15 молодых авторов в возрасте от 25 до 65 лет. Читаем и разбираем рассказы и повести. Ребята считают, что это полезно. Так вот, я хотел бы на этом семинаре почитать что-нибудь Ваше – два-три рассказа из тех, что Вы мне прислали. Выберу сам – с таким расчетом, чтобы было максимально поучительно для прочих (у Вас есть то, чего нет у подавляющего большинства, – свежесть и раскрепощенность стиля). Для Вас пользы от этого много не будет, хотя Вы по идее получите стенограмму и сумеете ознакомиться с мнением Ваших коллег, – а некоторые из них являются вполне квалифицированными и достаточно тонкими ценителями. Однако, если устремить взор в отдаленные дали, то может проистечь и конкретная польза. Именно: Вас зачислят в иногородние члены семинара, и когда (если) удастся пробить сборник участников нашего семинара (а об этом уже поговаривают), Вы займете в этом сборнике свое законное место. Перспектива, конечно, отдаленная и шаткая, но чем черт не шутит? Так что жду от Вас:

1. Принципиальное согласие на проведение указанной операции

2. Соображений относительно того, что именно прочитать, буде такие соображения у Вас появятся.

Со своей стороны я всячески советую Вам согласиться, плюнув на все прочие соображения, ибо после такой (согласен – не слишком-то приятной процедуры) Вы, житель Одессы, окажетесь в то же время как-то организованно оформленным в Ленинграде, а быть организационно оформленным не мешает никакому советскому автору, в особенности начинающему.

28.05.74

Дорогой Боря!

Получил Вашу бандероль. В этом полугодии заседание нашего семинара уже кончились, а вот осенью пущу Ваши новые опусы по рукам. Думаю, не одному мне понравится. Конечно, следовало бы их куда-нибудь сунуть, но куда? Ладно, посмотрим.

С детгизовским сборником пока, кажется, все в порядке, если не считать того малоприятного обстоятельства, что нашу повесть оттуда, по всей вероятности, выкинут – есть намек из Центра, что не следовало бы, де. А Ваш «Фокусник» пока держится... тьфу-тьфу... чтоб не сглазить.

Спасибо за похвалы «Улитке». Мы ее тоже любим. Вообще, это, наверное, лучшая наша повесть, хотя любим мы больше «Гадких лебедей» (может быть, потому, что она до сих пор не опубликована?).

«Пикник» (вместе с «Малышом» и «Отелем») должен был выйти отдельной книжкой в изд-ве «Молодая Гвардия» еще в 72-м году. Как видите, не вышел и, судя по ситуации, не выйдет.

За рубежом нас переводят, и довольно активно. Главным образом, почему-то в Польше и в ФРГ. В этом году, например, успели выйти: «Отель» – в Болгарии, «Трудно быть богом» в США и в Польше. Все это дает кое-какие деньги, но очень небольшие.

Далее, Вы спрашиваете, «имеют ли члены семинара какие-нибудь права и обязанности, как начинающие?». Нет, не имеют. Более того, даже члены Союза писателей никаких особенных прав не имеют, если не считать права не служить (не иметь отметки в паспорте о месте работы) и при этом не считаться тунеядцем, права брать ссуды под договор и права покупать путевки в Дома Творчества. Впрочем, для всего этого достаточно быть членом так называемой профгруппы – это что-то вроде кандидатов в члены СП. Так что единственная реальная (хотя и весьма эфемерная) польза, которую Вы можете извлечь из оргоформленности в нашем семинаре, это то, что Вас будут знать люди, ведающие составлением сборников в Ленинграде. Ну, и то, что у Вас появятся знакомые коллеги.

23.08.74

С удовольствием прочитал Ваши «Производственные рассказы». Вы молодец. Конечно, они непроходимы. В них нет никакого «анти», они не представляют интереса для улицы Бебеля, но при всем при том они непроходимы.

Их нельзя, между прочим, назвать абсолютно непроходимыми. Скажем, если из № 1 выбросить кое-какие мелочи, вроде портрета дедушки, а сам рассказ ухитриться ужать до трех-четырех страниц – он, теоретически, вполне мог бы украсить собою 16-ю полосу Литгазеты.

Но это – теоретически. Практически они непроходимы просто потому, что их негде печатать. У нас нет редакций, где подобная стилистика была бы привычной – а ведь именно это определяет судьбу любого произведения. Привычность. Возможность соотнести с чем-то, уже опубликованным.

В этом – горе всех молодых ТАЛАНТЛИВЫХ авторов. Ибо что такое

талант в литературе, как не новая стилистика? Но именно новая стилистика (не новая тематика, не новые герои, даже не новые конфликты!) в первую очередь настораживает редактора. Вот почему молодому так трудно выбиться. Талант проявляет себя, как правило, именно в новой стилистике. И именно новая стилистика оказывается главным камнем преткновения. «Ни на кого не похоже – значит, подозрительно, опасно, не стоит связываться».

Выводы: 1. Вы молодец. 2. Продолжайте в том же духе – смело и по-своему. 3. Рассказы эти пусть пока полежат. До лучших времен.

С «Авророй» и «Миллиардом лет...» имеет место путаница. Повесть, которую намеревается печатать (но неизвестно, напечатает ли) «Аврора», называется «Парень из преисподней». «Миллиард лет...» – это название повести, которую мы собирались написать, но пока еще не написали. (Как раз сейчас с ней возимся.) В редакции перепутали все на свете и рекламируют сами не знают что.

29.08.74

Дорогой Боря!

Имею сообщить Вам, что заседание семинара, посвященного Вашему творчеству, состоялось. Все прошло превосходно. Ребята приняли Вас на ура, чего я, честно говоря, даже не ожидал, ибо ребята злые и дотошные. Я прочитал «Дом» и «Чья планета». Сначала обсуждали и даже начали было вести протокол, но потом было решено, что кто захочет, напишет Вам сам. Я раздал Ваши рассказы по рукам, так что теперь ждите писем.

Вчера я был в Детгизе. Редактор Анна Ивановна Плюснина, сияя, сообщила мне, что Вы прислали ей исправленного «Фокусника» и что «получился очень милый рассказ». Акции поднимаются, Боря! Дело, по-видимому, на мази.

Как Вы правильно пишете, перед Анной Ивановной Вам надлежит стоять «смирно». Перед Сергеем Георгиевичем Жемайтисом, между прочим, тоже. Он – завотделом н-ф в изд-ве «Молодая гвардия», так что никому больше не говорите о нем в связи с черными дырами. Нажимайте лучше на пылающие бездны таланта и гуманизма в творчестве таких выдающихся литераторов, как. Впрочем, это тоже не поможет. Но зато и не повредит!

17.12.74

Получил Вашу бандероль. Прочитал рассказы. Что ж, хуже не стало – читал с удовольствием. Положил в папочку (Вашу) до лучших времен. Мой совет: не возвращайтесь сейчас к старым вещам до тех пор, пока это не станет совершенно необходимо (скажем, возникнет возможность напечататься). Никакой пользы от переделок для Вас не воспоследует. В Вашем возрасте проще написать новый рассказ, чем оттачивать старый. И гораздо полезнее.

В Детгизе возникла было паника: пронесся слух, что объем сборника сокращается на 8-10 листов и будут выкидывать иногородних. Я кинулся к Плюсниной. Оказалось, все верно, но Вас вроде бы она пока не намерена трогать («...рассказ маленький... десять страничек... пусть...»). Посмотрим. Но лозунг прежний: надейся на лучшее, рассчитывая на худшее.

Наши дела в Детгизе по-прежнему неясны. Может быть, поможет тот факт, что «Аврора» все же опубликовала «Парня...». Опять же – посмотрим. Повесть эту я не люблю, но – деньги!..

Сплетня, Вами сообщенная, для нас – увы! – не новость. Вот уже года два мы слышим со всех сторон, что уехали или собираемся. Два года тщетно пытаемся найти источник этих слухов. Сколько нам крови попортили, сколько договоров затормозили этими слухами – ни в сказке сказать, ни пером описать!.. Прямо хоть объявления давай в Литгазету: слухи, мол, сильно преувеличены.

Сейчас кончаем новую повесть – «За миллиард лет до конца света». Ничего себе получается, по-моему. Пока я доволен.

9.02.75

Дорогой Борис!

Поздравляю с первой публикацией! Это, конечно не первая любовь, но тоже приятно.

В Детгизе дела пока обстоят благополучно. Очередной этап Вы тоже проскочили без потерь (производилось сокращение сборника на 15%, в основном – за счет иногородних).

«Малыш» был опубликован в журнале «Аврора», кажется, в 71 году. Я эту повесть не люблю (так же, как и «Парня»), поэтому, наверное, ничего Вам о ней и не писал.

4.03.75

Дорогой Борис!

Прочитал Ваше письмо, прочитал Ваши рассказы, отвечаю.

Рассказы. Ну, во-первых, в папку я их все-таки положу, хотя они, и вправду, не фонтан. Далее. Нефантастический рассказ – будем называть его условно «юмореска» – имеет главным недостатком то, что при всех своих недостатках он еще непечатен. Вот этого, Боря, Вы не можете позволить! Если Вы уж пишете рассказ-не-ах, то он должен, обязан быть печатен. Это просто правило. Не имеете Вы права писать рассказы просто так. Тут или – или. Или Вы задумываете рассказ серьезно (т. е. в нем, по идее, и замысел, и частица Вашей души), и тогда Вы имеете право портачить, ошибаться, делать промахи. Тогда это полезно, для тренировки, скажем. Или же Вы задумываете рассказ-безделку, в коем по идее нет ничего, кроме какого-нибудь более или менее ловкого сюжетного выверта, – вот тогда, голубчик, пиша с холодной головой и холодным сердцем, извольте холодно рассчитывать: пойдет или не пойдет. В юмореске Вашей имеет место несомненная скабрезность, очевидно непроходимая в наших реальных условиях (советские люди не занимаются такими вещами – по крайней мере, в юморесках). Эту юмореску, придумав, Вы не должны были вовсе брать в работу. (Хотя, конечно, есть в ней и определенная, уже присущая Вам милота, так что это – работа не вовсе на пропасть.)

«Вакуум» – посерьезней. Он в принципе, пожалуй, даже печатен. Но он мне не очень понравился. Может быть, потому, что я не совсем разобрался в Ваших аллегориях – то ли это совершенный примитив, то ли нечто глубокое, что пока до меня не дошло.

Возможно, мы и посвятим семинар Вашим последним вещам, но я думаю, что обсуждать будем, скорее всего, производственные рассказы – они интереснее. Впрочем, на ближайшем заседании намечается треп по общим вопросам: «Замысел, техника работы, сюжетообразование и пр.».

Еще несколько слов о «Производственных рассказах» и о Вашей полемике с Балабухой. Если бы в этих рассказах не было бы ничего, кроме ляпов (что, натурально, невозможно), и то Вы были бы правы в этой полемике, ибо написали ХОРОШИЕ рассказы. А рассказы ХОРОШИ потому, что создают мир, внутренне непротиворечивый, живущий своей жизнью, по своим законам и правилам, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ протеста, не противоречащим, следовательно, чему-то главному, существенному, всем известному, чему-то гораздо более важному, нежели та или иная частность.

Конечно, хорошо, если НИКТО не способен придраться НИ К КАКОЙ частности рассказа, но это уже вопрос шлифовки, задача второго порядка значимости.

Теперь Ваши вопросы. На «Миллиард лет...» заключен с «Авророй» договор на этот год. Но в редакции повести еще не читали. Что будет, что случится и чем сердце успокоится, таким образом, не может предсказать никто.

«Сыт я по горло, до подбородка...», – конечно же, песня Володи Высоцкого. В оригинале повести имеет место сноска: «Текст песни В. Высоцкого слегка изменен с разрешения автора», что есть полная правда. В процессе перепечатки сноска эта, по-видимому, затерялась.

(Моя жена только что прочитала Ваш «Детективный дамский» – сидит и с удовольствием хихикает. Говорит: «Ну, смешно и все!..» Вокс попули, вокс деи. Может быть, мы с Вами слишком суровы к этой юмореске?)

18.04.75

16-го был семинар. Обсуждали Ваш «Производственный рассказ № 1». Получилось очень забавно: вдруг на семинар нагрянул не кто-нибудь, а лично Космонавт СССР, Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко! Он большой любитель фантастики, поклонник Ларионовой и Стругацких, узнал каким-то образом о семинаре и нагрянул. Инкогнито. Семинар был бурный. Обсуждение как-то нечувствительно свелось к терминологическому спору: какова разница между рассказом и фельетоном. Много было орано и крикано. Рассказ в общем всем понравился, и все же его ругали – кто за что. Народу было до черта. Космонавт высказался одним из последних и сказал очень здраво: чего вы все тут разорались? Пока рассказ читался, все хихикали, а теперь ругаетесь; рассказ веселый и хорошо написан, чего вам еще надо? В общем, это было выступление, хотя и непедагогическое (я от людей стараюсь всегда добиться здравого спокойного анализа), но вполне трезвое и здравое. По окончание процедуры были собраны копейки (по тринадцатибалльной системе), и всего набралось 132 штуки. Народу было 24 человека, но некоторые новички, по-моему, остались не в курсе и баллов не внесли, так что я полагаю, средний балл получился что-то около 6,0 – весьма неплохо: второй или третий результат в сезоне.

Вот так. А копейки в соответствии с традицией были тем же вечером пропиты через посредство кофе. (Было предложение послать их Вам

переводом, но большинство оказалось против, и я в том числе, ибо «гонорар» должен пропиваться немедленно.)

22.07.75

Дорогой Боря!

Большое спасибо за очередное горячее приглашение, но, право же, никак в этом году не получится! Честное слово, по горло в делах, причем в делах гнусных и раздражающих. Аркадий после гриппового осложнения плохо себя чувствует и уехал куда-то там «в глушь, в Саратов», а все дела – на мне.

По поводу сборника ничего ни нового, ни хорошего не слышно.

По поводу «Миллиарда лет...» – наоборот, слышно: в этом году печатать во всяком случае не будут, а в следующем... Там видно будет. В ближайшее время встречаюсь с редработниками на предмет выслушивания замечаний и претензий. Ничего хорошего, натурально, не жду.

25.08.75

Новостей никаких нет – во-первых, по причине летнего времени, а во-вторых, просто нет их и нет. Откровенно говоря, мне это совсем не нравится. Еще весной Плюснина обещала выслать Ваш договор. Раз не выслала, значит угроза быть выброшенным за иногородность по-прежнему над Вами висит. В сентябре буду снова звонить. Возможно, что-нибудь прояснится. Ох, Боря-Боря, главное – не утомляйте себя надеждами! Сок надежд ядовит и пагубен в наше шибко стохастическое время! В наше время писатель должен относиться к вопросам публикации в точности так же, как к игре в спортлото. И на устах его должна постоянно блуждать ироническая усмешка всепонимания.

Что касается публикации «Пикника», то упомянутая усмешка блуждает у меня уже не только на устах, но и по всему телу. Но – никакой свинячьей тоски! И тем паче – бельевой веревки, капроновой или, скажем, дедовской, волосатой. Этого удовольствия мы им доставлять не должны! Пить-есть пока имеется? Да, имеется. Друзья не поразбежались? Отнюдь. Даже наоборот. В семье все живы-здоровы? Пока да (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить)... Так чего же тебе еще надобно, смертный? Ах, ты еще и в спортлото хочешь выиграть по шести номерам?! Ну-ну... Тебе, значит, мало,

что ты по пяти номерам уже выиграл: заполучил неизвестно почему и чьим отпущением божественную искру в так называемую душу. Тебе, паршивцу, еще надо по шести номерам выиграть: чтобы искра сия разгорелась всем вокруг видимым костром? Ну-ну, неблагодарный!..

Короче говоря, Боря, все равно надо работать. Десяток читателей – это тоже неплохо. Особенно, если учесть, что это не просто читатели, а, как говорят социологи, РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА! То есть отборнейшая элита сочувствующих и сомыслящих...

12.11.75

Дорогой Боря!

С «Химией и жизнью» не спорьте. Просят дать им химию – дайте, от пуза. Трудно Вам, что ли? Журнал между прочим, в авторитете – один из лучших сейчас науч-поп журналов.

Нытье Ваше по поводу того, что, мол, плохо, с негодованием отметаю как несущественное. Всем плохо.

«Миллиард лет» отложен на неопределенный срок. Сейчас садимся за новую повесть. Вы абсолютно правы: быть профессиональным писателем – это значит писать, писать, опять писать... всю дорогу навалом писать... И при этом с натугом держать хвост пистолетом.

Чего и Вам желаю, Ваш Б. Стругацкий

23.12.75

Дорогой Боря!

Получил Ваше письмо и тут же решил, что Вы в нем описываете одесский тайфун, и представил себе, как в ответ буду описывать ленинградский тайфун и как из нашей переписки родится новый Джек Лондон. А Вы, оказывается, о Володине...

Честно Вам признаюсь: незнаком я с Володиным и даже, пожалуй, ничего о нем не слышал. Впрочем, судя по всему, – человек хороший и полезный. Я буду очень рад, если он Вас как-нибудь протолкнет.

Рад, что Вы обрели душевное равновесие. Так-то оно лучше. Чем сунуть руки в карман и рвать на себе волосы. Работайте, и воздастся Вам!

3.02.76

С привычным удовольствием прочитал Ваше письмо и рассказ.

Рассказ хороший. Больше всего мне нравится, что он очень Ваш. Ни с кем не спутаешь. Это, голубчик, большое дело. Это – стиль! Люди годами пишут без всякого стиля – читаешь и словно вату жуешь. А Вы – одна пятилетка всего, может быть, и прошла, а уже – стиль. Молодец. Мне, правда, не понравился конец. Не люблю: а) когда герой сходит с ума, б) когда иностранцы какие-то (к Вам это, впрочем, почти не относится) и в) когда вдруг выясняется, что все в рассказе кому-то приснилось (к Вам это не относится совсем). Зато, впрочем, все это очень нравится редакторам – не знаю уж почему.

Рассказ имеет шансы на публикацию. Правда, при чем тут «Химия и жизнь»? Я бы сказал, что это рассказ скорее для «Знания – сила». Впрочем, Володину виднее.

11.03.76

Дорогой Боря!

Ужасно рад за Вас. И не тому даже рад, что Вы завязали там какие-то контакты с «Юностью» – я совсем не знаю Славкина, но неплохо знаю «Юность» и представляю, что это такое – иметь дело с журналом. А рад я тому, что Вы явно оживились. Чувствуется, как бурлит в Вас снова молодая южная кровь и поднимает ошикованную ударами судьбы забубенную свою головушку Ваш природный оптимизм. Вот и хорошо, вот и прекрасно. Глядишь, – и напишите еще что-нибудь, переставши ныть и жаловаться.

Время мое до сих пор толком не определилось. Попытаюсь Вам объяснить, в чем тут дело. Мы связались с одним большим кинорежиссером – делаем ему сценарий. Он, как и полагается гению, капризничает – все ему не так. А что ему так, сказать зачастую не может. Поэтому порядок работы такой: мы пишем вариант сценария и даем его гению; гений читает, обдумывает, бранится, хвалит то, что ругал вчера и наоборот – и все это длится, к сожалению, неопределенно долго. Мы же все время должны быть на подхвате: как только гений разражается наконец требованиями и рекомендациями, мы тут же съезжаемся и начинаем писать следующий вариант. Именно поэтому я начисто лишен возможности планировать свое время.

12.05.76

Надеюсь, Андрей сообщил Вам уже мое мнение по поводу тех черновиков, что Вы тогда оставили. Коротко: рассказы о Поляне – прекрасно задумано и может получиться, но Вы по-прежнему не видите конца и не знаете, куда и к чему вести события. Поймите, Боря: автор должен точно знать, о чем он пишет. Если он это знает, тогда можно составить представление о том, чем все должно кончиться (ибо конец – делу венец). А если известен конец, известно все (и в частности, сразу появляется критерий «важно – неважно»). Вы же пишете, как детишки рассказывают, захлебываясь, о событиях в детском садике – все важно, все интересно, и все никуда и ни к чему не ведет – поток жизни.

В Детгизе снова собирают сборник фантастики. Анна Ивановна заявила, что уж в этом сборнике Штерн будет обязательно. Посмотрим, посмотрим. Я вот попытаюсь подсунуть «Чья планета?». Авось.

22.07.76

Дорогой Боря!

Опять за свое? Опять ноете? Драть Вас некому! И нечего завидовать Рыбакову: он с первого класса пишет, целый шкаф уставил своими рукописями. И только последние два года у него стало получаться. Вот что такое труд. Плюс страсть, разумеется.

Рад, что «ХиЖ» берет «Фокусника». Но берет ли? Вот Плюснина тоже берет «Фокусника» – третий год подряд.

Киносценарий мы закончили, и он даже вроде бы принят. Но деньги еще не выплачены. Что-то будет?! Тарковский мотается по Средней Азии – ищет натуру... Посмотрим.

С фильмом Германа тоже ни хрена не понять. С одной стороны, он, казалось бы, формально принят. С другой – ленинградское начальство стоит горой против и требует вырезать то-то и сократить то-то. С третьей – в «КомсПравде» была превосходная, хвалебная и точная рецензия на этот фильм. С четвертой – высшее московское начальство должно смотреть и сказать последнее окончательное слово... в общем, ни хрена не понять. А у Германа – жена на сносях, и родственники уехали в США, и нервы – как рояльные струны... Жуть!

11.09.76

Дорогой Боря!

Отвечаю на Ваше письмо с запозданием и кратко – дела!

Сын мой Андрей в институт не поступил – не добрал одного балла.

Писать он уже не пробует. В глубоком детстве пробовал и получалось очень забавно. Целый ряд имен, им придуманных, мы использовали в «Гадких лебедях» (Росшепер, Бол-Кунац, Роц-Тусов).

Сценарий для Тарковского мы закончили. Сценарий принят и даже оплачен. Дело вроде бы на мази. Тарковский намеревается приступить к съемкам в октябре. Но он сделал тридцать три замечания и пожелания, так что работы впереди – непочатый край.

Прочитал я исправленный вариант «Общего района». Стало, пожалуй, лучше, но я бы эту вещь все равно рассматривал как экспериментальную. Забавно, что Андрей Зинчук приехал от Вас очень тихий и без всякого гонора. Видимо, Вы его там хорошо проскипидарили! Он полон благих намерений и пишет сейчас сразу три повести, причем – сюжетные, без обычных фокусов.

Очень рад, что настроение у Вас бодрое и работа идет. Конечно же, стена не резиновая! Надо иметь терпение и настойчивость. Все это проходит по классу «трудно, но можно». (Знаете эту блестящую загадку? Что легко могут одолеть два мужчины, с большим трудом – мужчина и женщина, и совсем уж неспособна женщина?)

А «Маска» мне не шибко понравилась. Хотя из того, что последнее время у нас публикуется, это, несомненно, лучшее. Лем – это Лем! Но в сравнении с «Солярисом» и даже с «Непобедимым» это, безусловно, безделка (если не сказать – подделка).

30.10.76

Дорогой Боря!

Рад был получить от Вас, наконец, письмо. Рад, что Вы работаете и что Ваши «кислые» настроения в значительной степени испарились. Правда, избыток кислотности все еще наблюдается в Ваших рассуждениях о «широких спинах Стругацких, загородивших-де все шоссе, не проехать, не пройти, мать их за ногу». Кому бы и жаловаться, да только не Вам с Вашим уже устоявшимся стилем, чертовски характерным одесским

подъ...цем, с умением увидеть смешное там, где смешного на самом деле – чуть. Если Вам (лично) кто и загораживает дорогу, то уж не Стругацкие, а скорее Шекли.

Да и можно ли на самом деле загородить дорогу? Почему Ньютон (или Дарвин) так далеко видели? Хрестоматийный ответ: ибо он, Дарвин (или Ньютон?) стоял на плечах гигантов. Что, в конце концов, такого сделали Стругацкие? Да они просто применили уэллсовские принципы к современной российской фантастике – так сказать, вскарабкались на спину гиганту. Вот и Вы займитесь.

Что «Юность» не возьмет Ваш «Дом», ясно было и ежу, причем с самого начала. За «Фокусника» у Плюсниной в свете публикации в ХиЖе не волнуйтесь: одно другому не мешает. Общее правило: журнальная публикация – не помеха публикациям в сборниках (исключение – альманах «Мир приключений», где, действительно, предпочитают брать ранее нигде не публикованное, но зато здорово платят).

Семинар молодых в Москве, действительно, будет. От нас туда посылают Балабуху и Ларионову, как наиболее активно печатающихся. Пустят ли Вас туда? Думаю, что ДА, особенно, если воспользуетесь знакомством, скажем, с Володиным. А вот стоит ли туда ехать? На кой это Вам хрен? Чего Вы там не видели? Глубокое заблуждение, что путь в литературу лежит через семинары и совещания. Путь в литературу лежит через личные контакты с издателями. Из этой вот теоремы и исходите.

Тарковский собирается начать съемку в январе.

9.01.77

Дорогой Боря!

Задержался с ответом на Ваше письмо, так как получил, наконец, своего «запорожца» с полным комплектом хлопот, забот и развлечений. Телефон наяривает, на столе громоздятся нераспечатанные письма, а я знай себе подтягиваю разнообразные гайки или торжественно сползаю на брюхе (автомобильном, разумеется) в снежную канаву... Поэтому, сами понимаете, буду сейчас предельно краток.

По поводу «Рыбы». Орел. Молодец. Боевой петух! Очень хороший рассказ. Хвалю. «Подарить ему барана – он изрядно пошутил!..» Замечание: не всегда смешны и точны искажения вывесок... (Ч-черт! Хотел проиллюстрировать замечание изящным примером – не могу найти рассказа. Зинчуку я его отдал, что ли?) В общем, недостаточно точны, а

потому и не всегда смешны. Второе замечание (предложение? совет? задание?): напишите еще один рассказ В ТОМ ЖЕ стиле. Если получится, значит, стилем (данным) овладели, а это – хороший стиль. Ваш. Дуйте с горы. Попытайтесь сделать (в этом Вашем стиле) что-нибудь для печати. СПЕЦИАЛЬНО для печати. Но – в этом стиле.

Кстати, получил соответствующий номер «Химии и жизни». Поздравляю. Неплохо. Не испортили. Повторяю – НЕ. Это уже хорошо и даже в каком-то смысле прекрасно. Научились исправлять, не портя. НЕ. Это – большое умение! Растете! Орел. Петух! Горжусь. (А чем, собственно? С самого начала было ясно: талантливый паренек, трудно ему будет.)

С женой не ссорьтесь. Никогда. Нельзя. Вредно и для тела, и для духа. Меньше принимайте внутрь – количество ссор сразу уменьшится на 30%. Больше юмора, значительно больше терпимости, на порядок больше нежности – и все станет ОК. Советую. Знаю. Сам ссорился как последний идиёт. Литература – дерьмо. Все книги, которые Вы напишете, не стоят дружбы с женой. Клянусь. Уверен.

О З. и его «Человеке...» Тыщу раз ему было говорено (З.): научитесь сначала рисовать – ногу, титьку, ж...у, – и только потом принимайтесь писать маслом и – тем более – заниматься разложением пространства в стиле Пикассо. В основе литературы – всегда реализм, умение написать титьку, ссору, пьяный разговор и увязать все это в единый сюжет, скрученный туго, наподобие каната. З. за его формальные упражнения – били, бьем и будем бить. Пусть сначала докажет, что умеет писать, как писали до него, а потом – ради бога! – пусть развивает классику дальше. Такова моя точка зрения. «Человек...» – это абстрактный анекдот, растянутый на 50 страниц. Не потерплю! НЕ!

15.04.77

Дорогой Боря!

Последнее Ваше письмо настигло меня в больнице, так что сразу ответить я не смог. Неужели я ухитрился два месяца Вам не писать? Нет мне прощения. Но, вероятно, я замотался сначала, а потом заболел, а потом болел-болел да и угодил в больницу, причем сразу же – под нож. Вырезали мне гангреновый желчный пузырь, а заодно вышибли два передних зуба во время анестезии. Так что сейчас я снова дома без желчного пузыря и без зубов, но зато с огромным четвертьметровым шрамом на все брюхо (так

называемый «разрез Федорова»).

Шрам почти уже зарос, но зубы еще предстоит вставлять. Работа, конечно, вся полетела к чертям. Бедный Аркадий в Москве отдувается за двоих.

Вот и все мои новости.

А за Ваши – пусть небольшие – успехи я рад (...или надо было сказать Вашим... успехам? Отвык от машинки – раньше пальцы сами набирали нужные обороты).

7.06.77

Вы меня удивляете своим приговором рыбаковскому «Доверию». Ей-богу, мне эта повесть очень понравилась. Я даже задумался: в чем тут дело? Вероятно, в том, что я, читая рукописи, мало слежу за деталями – меня более всего интересует общее впечатление. А общее впечатление было как раз сильным – новый, жестко написанный, необычный мир. Сильные страсти. Чувства, раздавленные долгом. Безнадежный конфликт. Все это мне по душе. За красотами и «красотами» стиля я и вовсе не следил – было бы правдоподобно, не резало бы слух фальшью – и ладненько. Конечно, я убежден, что там полным-полно работы для редактора, да ведь я-то не редактор! Имейте в виду, я ведь и Ваши вещи так же читаю: общее впечатление, отсутствие фальши – вот все, что меня интересует.

«Рыбу» я давал многим. Всем нравится. Хороший рассказ, но непечатный. Должен Вам сказать (не без издевочки), что нет ничего проще писать хорошие, но непечатные рассказы.

Тарковский начал снимать «Сталкера». По плану должен закончить в ноябре. А мы сейчас занимаемся исключительно сценариями: недавно в шестой раз переписали «Сталкера», а теперь возимся с новыми вариантами «Отеля» (для Таллинфильма) и «Трудно быть богом» (для студии им. Горького). В этом году вряд ли сядем за новую повесть. Возможно, – в будущем.

9.08.77

Сто раз я Вам намекал: не присылайте Вы мне реалистических рассказов, не умею я их судить! Ну что мне с Вами делать? Ну, рассказы, ну, два, ну, из жизни... Ну, ничего вроде... особенного... Ни то ни се... Ну, не

Чехов. И Хемингуэй не. И вообще много не. Ну, попадись мне такие рассказы в «Новом мире» (в новом), ну, прочитал бы, ну, хмыкнул бы одобрительно... Удовлетворяет Вас такой отзыв? Ведь нет? Вялые они какие-то, вот что. Перчика нет. Ваш перчик – юмор и поворот сюжета. Нет ни того ни другого, и получается что-то нештерновское. Хулиганства в них нет. Зато ощущается некая мораль, что тошнотворно. Словом, как экзерсис я это понимаю, как готовые вещи – нет. Хотя могут быть и напечатаны! Но – зачем?

Огорчил я Вас, наверное. Даже самому как-то мношно. Но ведь говорил же: не присылайте мне... Впрочем, «Рыба» ведь тоже реалистический рассказ. Или нет? Или рассказы бывают: фантастические, реалистические, юмористические, сатирические... Черт его знает. В «Рыбе» есть хулиганство, воля автора, свобода. И никакой морали. Есть в ней что-то от Воннегута, которого я очень люблю. Любит людей и постоянно издевается над ними. Это великое искусство: издеваться, любя. По сути, это умение издеваться над собой. Самому себе морали не прочтешь. А издеваться над собой научиться можно.

У меня дела так: фильм снимается, но медленно и трудно; в издательствах – тишина, пыль, редактора пьют чай и делают бутерброды с сардинками, замасленными руками осторожно и с отвращением перебрасывают листки никому не нужных рукописей; «Пикник» не появится никогда, будь они трижды неладны; ощущения владельца «Запорожца» те же, что у мужа женщины, страдающей кровотечениями – ездить можно, но не слишком часто, не очень долго и с большими предосторожностями, ибо запчастей не хватает (очень, кажется, неприлично получилось, но, Вы знаете, весьма похоже).

3.01.78

Повесть Вы написали приятную. На крепкую четверку. Восторгов она не вызывает, но читается с удовольствием. Буду давать ее читать направо и налево.

Недостатки, разумеется, имеют место, но их довольно трудно конкретизировать. Например, у меня осталось четкое ощущение, что временами стиль нарушается и вместо очаровательной хохмаческой трепотни начинает переть какая-то псевдореалистическая тягомотина (переживания, психология и пр.) На самом деле, мне следовало бы сесть с пером в руках и отметить скрупулезно такие вот места, но, во-первых, лень,

а во-вторых, неохота заниматься мелочами. Главный недостаток повести таким способом не устранишь. Он состоит в том, что Вы написали повесть там, где материал есть только для рассказа.

Посудите сами: стержень всего – обнаружение каната на полюсе и объяснение этого феномена. Т. е., имеем историю о том, что на некой планете была такая вот легенда, герой-ученый добрался до полюса, чтобы легенду развенчать, а оказалось... и т. д. Это – типичный рассказ, причем, по определению, хохмаческий. Вы же завернули вокруг этой нехитрой (хотя и приятной, не спорю) хохмы целое повествование, придумали сложный мир, развернули систему социальных отношений, тут и любовь, и трагедия драконьего племени, и черт в стуле. Читать все это интересно и приятно, не возражаю. Но прочитав, неизбежно задаешься вопросом: ну и что? Если бы это был рассказ на 15-20 страниц, такой вопрос не возник бы. Просто не успел бы сформироваться. А здесь – целый мир, и ждешь, что это все зачем-то будет нужно, что НЕ зря автор разворачивает перед нами целую социальную панораму. А оказывается, что весь этот «Капитал» создан для того, чтобы объяснить насчет каната. Несерьезно. Представьте себе, что «451 градус по Фаренгейту» кончается так: «Академик Уебл выключил рубильник. Да, этот вариант мира не проходит, подумал он. Надо искать другие пути». А? Вот тошнота-то!

Кроме того, повесть в наше время значительно труднее пристроить. Я уже имел беседы. Морщатся: «По-овесть! Вот если бы рассказ!» Мать Вашу за ногу, Боря! Вы же превосходный новеллист. Вы же могли бы стать вторым Варшавским. Какого хрена Вы лезете заниматься повестями? Ну, потерпите Вы два-три года! Напишите 10-20 хороших хохмаческих рассказов, а потом уже возьметесь за большие формы.

Вот сейчас есть шансы попасть в один из трех (!) сборников. И везде нужны рассказы. Причем именно в Вашем стиле – забавные, остросюжетные, с неожиданным поворотом. А Вы шлете повесть. «Чьи планеты» надо писать! Штук пять-десять! Вот тогда народ скажет Вам «спасибо» и осыплет Вас зелененькими.

Ну, как это у меня все получилось? По голове? Или значительно ниже? Не огорчайтесь. Повесть получила крепкую четверку, но я-то от Вас жду рассказов на крепкую пятерку с минусом.

В общем, хватит трепаться. Даю Вам задание. Серия рассказов на темы: «Различные варианты контактов человека с иным разумом»; «Различные удивительные свойства, которые приобретает ни с того ни с сего герой (умение становиться невидимым, умение читать задницей, умение понимать язык животных и т. д.)». Время действия: произвольно.

Место действия: некая капстрана или далекая планета. Действуйте. Об исполнении докладывайте.

8.02.78

Дорогой Боря!

Рад Вашему письму, ибо оно оптимистично. Намерение писать серию с майором и роботом категорически одобряю и санкционирую. У Вас это должно получиться.

Повесть хаете зря. Повесть хорошая. И вполне Ваша, ни с кем не спутаешь. Писание на заказ здесь явно ни при чем. Просто, повторяю, Вы ее не сумели композиционно выдержать. Рассказ на ту же тему у Вас получился бы на «пять», а так – «четверочка». (Моя мама, старая опытнейшая учительница, всегда говорит: «Четверка – хорошая отметка», и я с ней вполне согласен.)

Три сборника, о которых я Вам писал, это: 1. Очередной альманах «Мир приключений»; составитель В. Ревич; уже составлен, и говорить о нем (об альманахе) поздно. 2. Очередной сборник НФ; составитель Ковальчук; об этом Вы уже осведомлены, перестаньте валять ваньку и ОБЯЗАТЕЛЬНО что-нибудь туда дайте. 3. Сборник сочинений участников нашего семинара, членом коего и Вы имеете честь состоять; составитель – Жанна Александровна Браун, детская писательница, член СП, уже год ходит к нам на семинар, прониклась к ребятам любовью и сочувствием, лично пробила этот сборник в Лендетгизе; я предложил ей «Чью планету», скорее всего – пойдет.

По поводу «Чьей планеты»: Ж. Браун предложила, чтобы планета была Землей (соответственно майор – житель иной планеты). Я не вижу, чтобы это ухудшило рассказ. А Вы?

Мы пишем сказку. Черновик уже написали. Будем ли писать чистовик, не знаю. Главная работа – кино. Только что уехал от меня режиссер из Таллинфильма. Замучил меня и загонял, но добился, чтобы я перевел действие «Отеля» из зимы в лето. Бр-р-р! Ну и работенка! А Вы еще смеете мне что-то там гундеть насчет «заказной работы», «заданной тематики» и пр.

1.03.78

Присылайте переделанную «Чью планету». Собственно, можно прислать только сами вставки-переделки, а уж мы впишем. Спешить с этим особенно не нужно, но и тянуть это дело не след.

Между прочим, Ваша повесть понравилась Ж. Браун. По-моему, она даже подумывает, а не включить ли ее в сборник. Главное ее возражение совпало с моим: концовка не соответствует разгулу фантазии. Я ей посоветовал придумать другую и предложить Вам. А я, к сожалению, придумать другую концовку не могу.

Еще раз между прочим: если будет возможность засадить «Чью планету» в какой-нибудь журнал, – обязательно засаживайте. Сборнику это не помешает.

16.03.78

Дорогой Боря!

Вы молодец. «Чья планета» стала даже лучше. Теперь это рассказ першего классу. А, может быть, даже – люкс!

В ближайшее время я передам его Жанне Браун, и можете быть спокойны: будет сборник – будет в нем ЧП (в смысле – «Чья планета»). Надо сказать, сборник собирается довольно туго. Братья-фантасты много кричат о том, что им негде печататься, а когда дело доходит до дела, выясняется, что в закромах пусто, либо одна прошлогодняя солома. Впрочем, пять хороших рассказов уже есть. Повесть надо! Гвоздевую!

4.04.78

Рассказик очень милый. Серия такого рода может вполне получиться. Но я не совсем понял, что же там происходит со временем, в этом табачном отсеке. Вы там что-то лепечете насчет замедления времени. Это – чушь собачья. При чем здесь замедление времени? Скорее уж, в этой камере время передвинуто вперед, так что все предметы, туда попадающие, выглядят так, как выглядели эн часов назад. Причем, только ПРЕДМЕТЫ, людей это не касается, иначе инспектор вместе со своими штанами оказался бы в прошлом и ничего бы не соображал... А робот, кстати, предмет или разумное существо? Гм... Да и это объяснение, пожалуй, не проходит: чтобы камера была пуста, надо передвинуть время (вместе с табаком) так далеко вперед, чтобы в отсеке настал момент, когда табак туда

еще не загрузили. А что было в это время со штанами инспектора? Может быть, их еще и не надевали даже? Н-да... Напутали Вы что-то, голубчик, извольте распутать. В хохмах такого рода главное – безукоризненная точность посылки.

29.09.78

И рад бы удовлетворить Ваше вполне законное любопытство, да сам толком ничего не знаю.

По поводу премии за «Пикник». Да, есть такой слух. Парнов, член нашей делегации на форуме фантастов в Дублине, рассказывал что-то Аркадию по приезде в Москву. Но поскольку оба были под газом, то ничего понять теперь нельзя. Боря Заикин, впрочем, со слов Эрика Симона написал мне, что «Пикник» получил вторую премию за лучший НФ роман года на ежегодном конкурсе памяти Джона Кэмпбелла. Первый приз получил Ф. Пол за роман «Звездные ворота», а третий – Дик. Вот все, что я могу на эту тему сообщить. Поскольку Парнов тоже говорил о какой-то «второй премии», то мы особенно-то и не интересуемся. Мало ли на свете вторых премий. Честь не велика, а денег и вовсе не полагается.

Насчет «Сталкера» опять ничего толком не известно. Как я Вам уже писал, Тарковский в апреле подхватил инфаркт. Теперь он, по слухам, оклемался и – по слухам же – даже снимает фильм. Во всяком случае, в Москве его нет, он в Таллине. Не думаю, чтобы фильм был запрещен. Мы бы, наверное, уже знали об этом. Сам же Тарковский нам об этом, наверное, бы сообщил.

Зато могу сообщить Вам с полной точностью, что фильм по «Отелю» таки снимается на Таллинфильме, и я, возможно, даже туда днями смотаюсь посмотреть как и что.

9.01.79

«Волны» в писательской деятельности – это факт. Нас двое, поэтому мы эти волны дружно гасим: съехались, деньги на билет истрачены, а то и на путевки в Комарово – окупать надо! Какие уж тут волны. Пять страниц первого черновика в день – умри, а дай. Первый наш «тяжелый» роман был «Попытка к бегству», а потом их стало навалом. И «Улитка», и «Малыш», и «Парень», и «Сказка о Тройке»... Всех не перечислишь. Писать, знаете ли,

вообще занятие не из приятных. Впрочем, Вы теперь это, слава богу, знаете.

11.04.79

«Подлый треп» ходит, видимо, по всему Союзу. На этот раз удалось даже установить источник – верхи Госкино. Что заставило больного начальника на одном из расширенных заседаний ляпнуть этакое, – неизвестно. То ли добросовестное заблуждение, то ли желание подкузьмить таким образом Тарковскому, фильм коего был тогда (декабрь 78) как раз на подходе. Так или иначе, в январе вспыхнули слухи – сначала в киномире Москвы, потом по всей Москве, а потом поползло и по всей стране. В марте вот докатилось и до Вас. Сейчас в Москве и Ленинграде слухи уже затихли и наступила тишь-гладь, но с периферии нет-нет, да и сообщат, что-де все, уехали голубчики, тю-тю. Плюйте в глаза и не давайте утираться.

В остальном же все ОК. Тарковский закончил фильм, говорят, хороший. В ряде газет появились наши имена в благожелательном духе. Так что – живем.

Сочувствую Вашим бедам. Но все-таки старайтесь не бросать работу. В конце концов – «единое счастье – работа...».

17.07.83

Дорогой Боря!

Ваш рассказ более всего напомнил мне мастерски рассказанный, неприличный, но в общем-то остроумный анекдот. Слушаешь, заливаешься хохотом (рассказчик – мастер!), с некоторой неловкостью поглядываешь на плюс-десь-дам, а потом спохватываешься: что же тут, собственно, было смешного? Понимаете, Боря, Вы – мастер, Вы – умелец, у Вас – стиль и манера, какой более ни у кого в России нет. Но (такое у меня впечатление) Вы так и не научились пока отличать хороший сюжет от среднего. Это поразительно. Вы второй в моей коллекции ТАЛАНТЛИВЫЙ писатель, постоянно путающий (когда речь заходит в сюжете) божий дар с яичницей. Ну как может человек со вкусом строить повествование на чисто казанцевской идее оплодотворения Земли, да еще припутывать сюда зачем-то хроноклазм? Или это пародия? Для пародии слишком громоздко. Хотите

показать читателю гигантский Никс Олимпика? Но зачем? Чем он бедняга, виноват?! И вообще к чему такой эксгибиционизм?

А ведь написано-то мастерски! И смешно, и изящно, и лаконично, и – ни о чем. Уму непостижимо!

Вы бы хоть обсуждали свои сюжеты с кем-нибудь, что ли. Ведь написали же Вы «Чья планета?», и «Рыбу любви» Вы написали – блестящие, точеные сюжеты... Или, скажем, «Дом»... И вдруг – такая бодяга. Да еще, видите ли, ему этот рассказик особенно важен. Чем? Чем он Вам ОСОБЕННО важен? Извольте написать, а то ведь я ничего не понимаю.

Что касается Тихова, то это любопытная фигура. К сожалению, в те поры я-то был полный идиот, ничего не понимал и не воспринимал. Остался у меня в памяти этакий кино-ученый – интеллигентнейший старикашка, весь в белом, в белой академической ермолке, с белой эспаньолкой, все его вокруг боятся, и любят, и смотрят на него как на бога, а он берет нас, первокурсников, с собою на наблюдения Венеры (это была последняя из его идей – снимать спектры мерцания заходящей Венеры, используя земную атмосферу как гигантскую призму)... да, так вот, берет он нас на наблюдения, сидим тихонько в темном уголку башни, он колдует у телескопа, Ваня Бухман (был у него такой на подхвате, мастер спорта по спортивной ходьбе, сын ссыльного профессора Бухмана, который – профессор, а не сын – на территории обсерватории построил гелиожилище, гелиопогреб и гигантский зеркальный параболоид для лечения страждущих концентрированными солнечными лучами... однажды этот параболоид самовозгорелся... впрочем, это длинная история)... так вот, Ваня Бухман ему ассистирует, и что-то там у них не ладится, заедает там у них что-то, и старик вдруг орет на всю Алма-Ату: «Ну что ты, Ваня, вертишься, словно у тебя шило в жопе!»... Академик. С европейским именем. Член Верховного Совета КазССР. Это, помнится, произвело на меня огромное впечатление.

И еще помню, как справлялось там его семидесятилетие. Очень, кстати, скромно. Только свои. Человек пятнадцать: парочка родственников, пяток научных сотрудников обсерватории, несколько практикантов, шофер, садовник и повар, испекший торт с кремовой надписью: «Гавриилу Адриановичу от влюбленных мОрсиан». Вот вопрос: почему так скромно? И почему вообще академик, один из основателей и столпов Пулковской обсерватории, ученый с европейским, повторяю, именем оказался вдруг в Алма-Ате директором занюханнейшей обсерватории? Правда, в те годы многие там оказывались... Но ведь он был, повторяю, членом Верховного Совета КазССР, он всегда носил красный флажок в петлице... Странно,

странно... Так вот, там я, будучи практикантом, надрался как зюзя, произносил какие-то витиеватые тосты, на каковые Г. А. ответил академическим тостом: «За хорошеньких девушек и за пьяных студентов!»

Вот и все мои воспоминания. Наука тогда меня интересовала больше, чем люди науки, кто бы они ни были.

Надо сказать, работ Тихова я почти не знаю. Классическими признаны полученные им на 26ти-дюймовом телескопе Пулковской обсерватории фотографии Марса в начале века. Именно сезонные изменения Марса на этих фотографиях и толкнули его потом к астроботанике. Он много занимался спектрографией. Но ничто из сделанного им в учебники не вошло, и имя его встречается только в историческом плане, что-нибудь вроде: «Метод призменного спутника Тихова... состоит в следующем... в настоящее время применяется редко». Однако же в двадцатые и тридцатые годы Тихов – несомненно человек в авторитете, а потом что-то произошло...

Вот и все о Тихове.

Я рад, что Вы не сдаетесь и продолжаете работать. Жду Ваш роман. И будьте, пожалуйста, попридирчивее к сюжетам.

24.08.83

Дорогой Боря!

Не морочьте мне (и себе) голову и не втягивайте меня (и себя) в теоретические споры. «Чья планета?» – это рассказ о том, как на одну планетку претендовали разные цивилизации, а пока спорили, планетка сама вышла в космос. «Дом» – это история живого дома, который принимает посильное участие в жизни своих жильцов. А вот о чем Ваша «Никс Олимпика»? О том, что жизнь на Земле произошла вследствие совокупления Марса с Землей в условиях хроноклазма? Оргазм с хроноклазмом – и более ничего! Я ругал Вас не за то, что в рассказе нет ИДЕИ – да гори она огнем. Я ругаю Вас за отсутствие сюжета! И в «Каштанке» есть сюжет, и в «Колобке» есть сюжет, а Вашем «Оргазме» – нет. Есть довольно произвольный набор событий (в том числе смешных), нанизанных на казанцевскую бредятину. И никакого противоречия в моих словах нет. Да, я хихикал, пока читал, да, я наслаждался (местами) и образностью, и языком, да, эмоции мои работали, но... Но! Я, как и всякий нормальный читатель, ждал: как автор выберется из созданной ситуации? И – пшик. Чушь. Не смешно. При чем здесь?.. Зачем ему понадобилось?..

Экая ерунда. Вот как развиваются читательские эмоции по мере чтения. Представьте себе, что «Чья планета?» обрывается в том месте, где три (или уже четыре?) экипажа спорят, кому ставить бакен, и дальше идет: «Бел Амор проснулся и уставился в потолок. Ну и чушь же снится после хорошей выпивки, подумал он». А? Что, блевать побежали? То-то же. Заметьте, что стоит у рассказа отбросить пяток последних строк и заменить их какой-то чушью, чтобы рассказ сразу же стал ни о чем! Мгновенно!

Вы хотели написать о писателе-фантасте? Что ж, это мысль. Гор всю жизнь пытался это сделать, но так ни хрена и не сумел. Пишите. Дай бог. Но за основу возьмите «Рыбу любви». Очень интересно может получиться. Используйте такой прием: герой Ваш пишет, и его затягивает в им же написанные обстоятельства. Правда, мы что-то вроде этого использовали в нашей последней повестухе, но там этот прием почти не виден, а Вы сделайте его стержнем. При Вашей фантазии, да при Вашем стиле, да при Вашем желании похулиганить – ах, какую повестушку можно было бы сделать! А в самые критические моменты появляется редактор и сурово говорит: «Нет, это не пойдет... это вы уберите...» – герой остается жив, хотя через задний проход его уже проникли особые разумные существа, цивилизация коих имеет целью превратить все говно на свете в конфетку...

И помните: я жду от Вас великих дел. Вы еще не только не написали Вашего Магнус Опуса, но и не приступили к нему.

11.05.84

Дорогой Боря!

Спасибо за письмо, исполненное оптимизма. Оно живо напомнило мне письма брата моего и соавтора в те благословенные годы, когда мир был еще молод и фантастика расцветала пышным цветом. Тогда письма его тоже были бодры, энергичны, полны перспектив и боевого задора. А сейчас он вообще норовит больше звонить по телефону, а не письма писать.

Вообще, мне кажется, что пишете Вы все-таки мало. Какого черта? У Вас норма должна быть сейчас – шесть рассказов или одна повесть в год. Где все это?

У нас сборник наконец вышел семинарский. «Синяя дорога» называется. Тот самый, откуда выкинули повесть Прашкевича, литобзор Вл. Гакова и рассказ «Чья планета?» Штерна. Так-то вот. Сборник от этой ампутации лучше не стал.

Интересно, удастся ли мне когда-нибудь, пусть хоть в глубокой

старости, выпустить сборник лучших произведений советской НФ, как я его себе представляю? Вряд ли. А жаль. Штерну там нашлось бы местечко. Но, между прочим, не такое уж и большое. «Произв. рассказ № 1» да «Чья планета?», пожалуй, пока и все. Или я что-нибудь забыл? «Рыбу любви» помню и люблю, но ведь это не фантастика.

Писать надо больше, вот что!

13.03.85

Дорогой Боря!

Вообще-то я писать Вам не собирался – времени нет совершенно, – но вот приспичило.

ЗАДАНИЕ. Пришлите мне немедленно список Ваших произведений, опубликованных в ЦЕНТРАЛЬНОЙ прессе. Главным образом, я имею в виду Ваши рассказы в ХиЖ, но, может быть, и еще где-нибудь что-нибудь было, а я пропустил (или прозевал).

ОБЪЯСНЕНИЕ. Это мне надо для осуществления некоторых моих замыслов.

Теперь о Ваших Одесских рассказах. По-моему, это удачно. Все удачно. И мысль хороша: этакая живительная каша фантастики и реализма. И исполнение (пока) вполне на уровне. Я тут сгоряча даже и «Рыбу любви» раскопал в анналах и перечитал – вполне ложится в замысел и даже ОЧ. ХОР, Поздравляю с находкою. Жду «Галатею». Что это за «Галатея» такая? Почему не знаю?

Прочитал в ХиЖ про фаллос. Нет, Вы все-таки молодец. Рассказ, как это ни странно, мне понравился (в рукописи – не очень). Еще поразительнее, что он понравился многим моим друзьям, среди коих есть и весьма суровые ценители. Меня спрашивали: «В ХиЖе... твой что ли написал?» И я не без гордости говорил: «Ага». А мне говорили: «Хорошо... Ей-богу, хорошо... Давно такого удовольствия от чтения фантастики не испытывал».

Предисловие я Вам, скорее всего, напишу, хотя и не люблю этого дела. А вот что я Вам напишу с удовольствием, так это рекомендацию в СП. Дожить бы только.

3.09.85

«Галатею» Вашу прочитал немедленно. Оч. хор. Штерн есть Штерн. Но какой дремучий дундук мог вообразить себе, что такую новеллу можно напечатать? Господи! Сколько же надо лупить человека по башке, чтобы он все-таки начал разбираться, что можно, а что нет? Впрочем, иногда лучше не разбираться. Более того, с точки зрения Большого Искусства – вообще лучше не разбираться и быть дремучим, как булгаковские герои-писатели. Тут так: или ты очень хорошо разбираешься, тебя печатают, но получается у тебя дерьмо, либо – ни хрена ты не понимаешь, ничего у тебя не берут, но зато пишешь ты здорово, для потомков. Истина посередине – как всегда неплохо устроилась между двумя крайностями.

Вашу зубастую ярость против сволочей можно только приветствовать.

Однако, бушевать Вы должны исключительно за письменным столом. Валяйте. А мы почитаем. И только так. Все прочие пути ведут в болото дрязг, взаимных доносов, скандалов, псевдополитической возни и т. п.

_29.04.86_

Пробовали ли Вы такие журналы, как: «Энергия»? «Изобретатель и рационализатор»? «Наука и религия»? Названия жуткие, но во всех этих журналах либо новое начальство, либо мои знакомые, либо и то и другое. Так что следует попробовать. Если решитесь, напишите мне. Я набросаю тогда коротенькую сопроводиловку. Глядишь, и будет толк. На всякий случай прилагаю рекомендательное письмо Станиславу Грачеву – главреду «Изобретателя и рационализатора».

В ХиЖ предлагать нам пока нечего. Будем иметь их в виду. Но вообще-то, следующая наша вещь (судя по всему) будет готова нескоро.

Надо сказать, журналы наши сейчас (в связи с безлимитной подпиской) оживились чрезвычайно. Предложения сыплются со всех сторон. Фантастика снова становится в моде. Не теряйте случая!

_22.11.86_

Делать прогнозы на год вперед, как известно, гораздо труднее, чем на век вперед. Особенно в переломные моменты истории. А мы, видимо, переживаем именно такой момент. Сейчас неясно даже, сохранится ли существующая тенденция.

Во всяком случае, не обольщайтесь, с одной стороны, и не теряйтесь, с

другой. Сейчас время, когда ф-ку будут брать жадно самые разные журналы, причем – самую разную ф-ку!

5.05.87

Дорогой Боря!

Я получил Вашу книжечку. Спасибо!

Вот и еще один птенец оперился. Летите, голуби, летите... Да книжечка-то какая хорошенькая! Прямо-таки покет-бук.

Поздравляю! Нехай не последняя!

Еще раз спасибо.

Всегда Ваш Б. Стругацкий

29.07.87

«Обыскав своих подвалов и шкафов перетряся», я обнаружил кучу Ваших рукописей. Практически все они опубликованы. Только две рукописи под сомнением: «Рыба любви» и «Дело – табак». Если они нужны, могу выслать. А больше у меня ничего нет.

В чем дело? Сядьте и напишите. Вы же молодой человек! Сюжеты и идеи должны кипеть в Вас, как газировка!

8.09.89

Я прочитал «Шестую главу». Вы – молодец! Очень хорошо. Пять баллов. На мой взгляд, это даже лучше «Динозавра», а ведь «Динозавр» – это вершина! Замечаний, сколько-нибудь существенных, у меня нет. Кое-где Вы в своих шутках опускаетесь до уровня КВН, но это, в конце концов, не такой уж и плохой уровень. А в остальном – все ОК.

Разумеется, я отнесу эту вещь в «Звезду». И разумеется, «Звезда» от нее уклонится. Скорее всего. Беда в другом: если она даже и возьмет вещь, то, говоря реально, повесть выйдет не раньше мая-июня, а скорее всего – июля следующего года. (И даже это утопия – год уже разверстан, туда можно втиснуть рассказик или статью, но трехлистовую повестуху – вряд ли.) И тем не менее повесть я им отнесу. Я буду приучать их к мысли, что хорошую фантастику надо брать с колес, если они не хотят остаться с

носом.

Однако рассчитывать надо на другое. Я намерен предложить эту повестуху в подборку к «Динозавру» в Ваш сборник, который должен (по плану) выйти в марте-апреле в кооперативе Коли Ютанова. Во-первых, это вполне реально, а во-вторых, это, пожалуй, самый быстрый путь из всех, которые я могу сейчас себе представить. Если Вы не возражаете, скажите «да» Коле Ютанову, когда он будет Вам звонить.

«Рыбу любви», разумеется, я тоже отнесу в «Звезду». Жалко, что подборка «Одесские рассказы Б. Штерна», видимо, так и не осуществилась.

1.03.92

Я полагаю, будет правильно, если вообще все Ваши рассказы о Бел Аморе скопятся у меня. Дело в том, что ОТДЕЛЬНО Ваш рассказ про говно печатать, по-моему, невозможно – это будет просто беззастенчивый эпатаж и более ничего. А вот в некоем общем сборнике Штерна, где будет множество разных сочинений да еще плюс к тому – полная подборка рассказов о Бел Аморе, – в таком сборнике «говно» Ваше будет смотреться совсем иначе и почти прилично («Сойдет за мировоззрение», – как говаривал один мой знакомый режиссер). Так что – организуйте. Повезет – пустим такой сборник в этом году, не повезет – в следующем. (А если бы Вы написали ЕЩЕ парочку одесских фантастических рассказов, так вот это было бы самое ТО.)

ИТАК: организуйте для меня сборник Штерна, куда войдут фантрассказы его по Вашему выбору, но обязательно ВСЕ рассказы про Бел Амора и ВСЕ рассказы про Одессу (хорошо бы добавить туда же и что-нибудь новенькое). Общим объемом этак на 12-15 а. л. (Можно в виде рукописей, можно и в виде выдирок из журналов-антологий.) Договора-аванса пока не будет: я должен все-таки понять, на каком я свете, но через 6-9 месяцев все, я полагаю, прояснится окончательно, и уж тогда...

Автобиография вполне мила. Мы ее сунем либо в ютановский сборник, либо в тот, который Вы сейчас же начнете собирать.

5.07.92

Издательские дела – повсеместно – швах. Планы сворачиваются или как минимум меняются: оказывается, книжно-торговая мафия не желает

брать (оптом) советских фантастов – дай им, гадам, иностранщину и вообще лучше не фантастику, а порнографию. Поэтому мое издательство, отложив выпуск намеченных хороших книг, срочно гонит всякие там «Империи пауков», чтобы заработать и запастись деньгами на будущее. Нечто аналогичное происходит и с Ютановым. Видимо, нам уготованы муки и скорпионы и в условиях рынка тоже. Увы.

Держитесь.

Об Аркадии Стругацком

Александр МИРЕР
НЕПРЕРЫВНЫЙ ФОНТАН ИДЕЙ

Я познакомился с Аркадием Натановичем Стругацким в 1965 году. Это было время бури и натиска в фантастике, это было сразу после того, как вышла повесть «Трудно быть богом». Сейчас уже трудно представить, что мы жили без Лема, Бредбери, Азимова и без Стругацких. Сегодня нам кажется, что Стругацкие были всегда, и вот уже немолодые люди говорят мне: «А я вырос на Стругацких!». И когда я спрашиваю: «Извини пожалуйста, но тебе за пятьдесят, как ты мог на Стругацких вырасти?» он совершенно спокойно отвечает: «Они меня перевернули!»

«Трудно быть богом» было что-то вроде разорвавшейся бомбы. Хотя мы тогда уже читали «Солярис» и «Непобедимый». Тогда два имени тотчас же встали рядом: Станислав Лем и братья Стругацкие. Я очень хорошо помню, как носился тогда по знакомым и всем кричал: «Говорил я вам, что «Страна багровых туч» — это заявка на больших писателей? Нате — читайте!» Под этим впечатлением я, наверное, фантастику писать и начал. В некотором роде я «крестный сын» повести «Трудно быть богом».

Начав писать фантастику, я довольно быстро попал на семинар — как это ни смешно звучит — «Молодой гвардии». Тогда там была прекрасная редакция фантастики под руководством Сергея Жемайтиса, который, кстати, первым стал публиковать Стругацких массовыми тиражами, несмотря на топания ногами, партвзыскания и разгромы. На этом-то семинаре я и познакомился с Аркадием Натановичем. На семинаре в то время была удивительная свобода, причем все выступали в своем роде — несли те глупости, которые они хотели. Аркадий Натанович появлялся там довольно редко, потому что — я уже понял — у них тогда было самое плодотворное время. В те годы они выдавали по две вещи в год, что абсолютно невероятно — как они ухитрялись это делать, я совершенно не понимаю.

Тогда я воспринимал его: «Это же сам Стругацкий!», «Это же братья Стругацкие!» — то есть уже в то время для нас это были классики, для меня-то уж во всяком случае. Спустя годы, когда мы с Аркадием Натановичем подружились, он вспоминал, что меня в те годы он вообще терпеть не мог. Ни я, ни он уже не помним почему, но скорее всего потому,

что я позволял себе, будучи неофитом, резко и критически выступать и в том числе поспорить с Иваном Антоновичем Ефремовым, которого, наоборот, Аркадий Натанович уважал как мэтра.

Надо сказать, что, очевидно, главная черта Аркадия Натановича — это рыцарственность. За много лет я как-то не сумел подобрать лучшего слова. Он удивительно мягкий человек, несмотря на внешние всевозможные офицерские штучки и приемчики. Иногда даже его мягкость доходит до анекдотов. Я не буду называть никаких имен, но несколько лет назад произошел такой замечательный случай: в одном городе вышел фантастический роман одной дамы. На каком-то из титулов этого романа было гордо написано: рецензент Аркадий Натанович Стругацкий. Когда я начал этот роман читать, у меня волосы зашевелились на голове — это было, мягко говоря, плохо. Но это еще не все. Спустя некоторое время приехал оттуда наш общий приятель с воплем: «Ну что это такое! Он ее рецензирует, он дает на эту дрянь положительную рецензию, а она, выступая на каком-то собрании клуба любителей фантастики, начинает поливать Стругацких грязью!». Я отвечаю, что да, мол, некрасиво, но всякое, знаешь, бывает... Он говорит: «Нет, этого не может быть! Она схитрила — рецензии не было! Все это совершенно ясно!» Пошли мы к классику и задали лобовой вопрос: «Говори — писал рецензию на это?» Он отвечает совершенно уверенно: «Нет, не писал!» Ну, сидим мы, разговариваем на всякие темы, вдруг Аркадий Натанович встает и удаляется в свой кабинет. Приходит он очень смущенный, с какой-то бумажкой в руке и говорит: «Знаете, я писал рецензию...» «Что же ты! — завопил наш общий друг. — Почему ты это сделал?!!» «Ну вы знаете, она очень пожилая женщина, никто ее не хотел публиковать, и мне стало ее жалко...»

Причем этот случай не исключение — это образ жизни. У Аркадия Натановича как-то в сердцах сорвалось: «Меня всегда обкрадывают» — это истинная правда! Потому что он не дает себе труда защититься, ему это унизительно. Он всегда защитится от хулиганов — то есть при необходимости бандита и убить может. Но от скверного человека у него защиты нет — он открыт.

Есть такая гнусная вещь, как литературный табель о рангах. По этому табло идет абсолютно другой счет... скажем так: фантомный счет. По счету миллионов людей, братья Стругацкие — это огромное явление в советской и, частично, в мировой литературе. То есть я лично считаю, что они, как минимум, в числе пяти лучших прозаиков второй половины XX века. Это я осторожно говорю, может быть, не пяти, а трех. Но по фантомному счету

табели о рангах братья Стругацкие — ничто, они — нуль. Причем тут же счет идет совершенно дебильный: «А было ли поздравление по поводу столькото-летия в «Литературной газете»?», «А какими орденочками их наградили?», «Лауреат каких там литературных, государственных премий?», а уж вторично вытекающий отсюда счет: «А какие тиражи, какой гонорар?».

И всегда, когда братья Стругацкие появляются в литературном кругу, или заходит разговор о них, создается очень странное перекошенное поле напряжения. Допустим, идет какой-то литературный банкет, собрались почтенные люди, все сидят надуваются и отдуваются. Внезапно какой-то человек из другого мира — вроде меня — начинает им объяснять, что Стругацкие — это чрезвычайно значительное явление в нашей литературе, причем он это говорит как что-то само собой разумеющееся. И вот здесь сейчас же все начинает напрягаться, перекручиваться, лица становятся фантомными, какие-то гримасы на них странные выползают, улыбки абсолютно неестественные, как из пластилина налепленные на рожи. Почему? Да потому что, с одной стороны: «Как же так — какая-то гнусная фантастика пользуется популярностью и ее защищает несомненно интеллигентный человек, который сидит за нашим столом и, очевидно, сидит на каком-то основании?» Во-вторых, «А чего о них говорить, когда в «Литературной газете» за последние годы о них ничего не было?!» А с другой стороны «Избранные сочинения» почтенного автора, сидящего напротив меня, почему-то в библиотеках никто не спрашивает, чистые формуляры, а книг Стругацких давно уже нет — растащили...

Все это чудовищно сложно — больная советская жизнь выходит здесь на какую-то экстремальную точку. Потому что не только уродство властных структур и указаний чувствуется, а еще и эти наглядно искалеченные души — вот они, сидят за столом. И для меня всегда было огорчительно, что Аркадий Натанович любил ходить в ЦДЛ, потому что мне, например, это было ни к чему. А вот ему — «к чему». В конце концов я понял, почему он туда ходил, волоча за собой вот это искаженное поле, как шлейф. Заметьте, как Стругацкие написали в «Хромой судьбе» — ведь эта вещь автобиографичная со стороны Аркадия Натановича. Он ходил общаться с интересными людьми, — и все!

И еще одна замечательная черта есть у Аркадия Натановича. Я упоминал рецензию на роман пожилой дамы — это, казалось бы, из сочувствия, да? А не совсем так: я практически не слышал, чтобы Аркадий Натанович говорил о прочитанных вещах плохо. Для того, чтобы добиться от него какого-то критического мнения, надо его очень сильно раскачивать,

надо уходить, возвращаться к разговору опять, снова... наконец он с крайней неохотой скажет: «Да, это в общем-то плохо, это лучше бы и не печатать». Но зато каково его счастье, когда ему в руки попадает нечто хорошее. Он всем начинает об этом рассказывать, и кому нужно, и кому не нужно: «Вот, знаешь, мне принесли такую вещь! Так замечательно, так здорово!» За многие годы нашего знакомства таких вещей попадалось в общем-то мало, но его радость всегда была неудержимой.

Часто спрашивают, как Аркадий Натанович и Борис Натанович работают вместе — они что, съезжаются на станции Бологое?

В литремесле, как и в любом другом, имеются свои трудности. Самая главная трудность — то, что это абсолютно индивидуальное производство, в котором нет ОТК. Одна из наиболее важных составляющих любого творческого человека — это способность к самокритике. Смотрите, что получается: Стругацкие — невероятно плодовитые писатели, в 60-е годы они выдавали книги на гора одну за другой, одну лучше другой, потому что внутри этого дуэта совершенно замечательное распределение ролей. Одна из черт характера Аркадия Натановича — это непрерывно работающее воображение. Он непрерывно изобретает. У Козьмы Пруткова было: «Если у тебя есть фонтан — заткни его». Аркадий Натанович как раз и есть фонтан, который никто «заткнуть» не мог никогда. И когда они стали работать вместе, то оказалось, очевидно, что Борис Натанович именно та критическая составляющая, которая фонтан затыкает в ту самую минуту, когда это нужно: «Стоп. Это мы записываем».

Эта черта Аркадия Натановича непрерывного генерирования идей доставляет окружающим его массу удовольствий. Он может увлекательнейше сымпровизировать, к примеру, о своем военном прошлом. Я помню эти рассказы — совершенно замечательные — он в них всегда выступал в каких-то смешных ролях, отнюдь не героических. Например, имелся цикл устных рассказов, как Стругацкого заставили работать адъютантом и поэтому ему пришлось ездить на лошади. Соответственно, его лошадь скидывала с себя, соответственно, она обдирала его о ветви деревьев. Когда он, несчастный, пересел на одноколку, то жеребец, на котором он ехал, бросился через забор, потому что за забором была кобыла... и одноколка повисла на заборе вместе со Стругацким. Когда он дежурил в военной школе — в то время всем офицерам при дежурстве полагалось носить шашки и салютовать ими — то на утреннем рапорте он едва не зарубил своего начальника школы. А когда Стругацкий удалялся в самоволку, то последствия были совершенно сокрушительные... Какие-то из этих историй, очевидно, были трансформированы из действительных

происшествий, а какие-то — блестяще и разветвленно выдумывались на ходу.

Непреоборимое писательское начало Аркадия Натановича как раз и чувствуется в этом фонтане идей, который всегда работает. Может быть из-за этого Аркадию Натановичу немедленно становилось неинтересным то, что уже написано. Я не знаю, как Борис Натанович, а Аркадий Натанович всегда любит свою последнюю вещь. Какое-то время он ее любит — до тех пор, пока не появляется новая. Но она ему уже не интересна — потому что впереди новое, надо еще что-то выдумывать, и сейчас вот идет эта выдумка. Между прочим, по-моему, эта черта — обычно гибель для творческого человека. Скажем, из-за этого Лем перешел на рецензии на ненаписанное: абсолютно сжато излагаются сюжет и главная мысль, и все: выдумано, и не буду я с этим возиться! А благодаря дуэту Стругацкие смогли все это дело реализовать!

Это и есть наше с вами счастье — читать этих талантливых писателей!

Юрий ЧЕРНЯКОВ

Первый раз я с ним познакомился, как и все. Первый раз я с ним познакомился в тысяча девятьсот, как это ни странно, только шестьдесят втором году, когда в «Искателе» прочел отрывок «Суета вокруг дивана». Это мое первое знакомство со Стругацкими. Мне безумно понравилось вот это вот ерничество. И когда я сказал своим друзьям, — «Как? Ты не знаешь Стругацких?» — мне дали сборник «Новая сигнальная», где «Далекая Радуга». Я прочел, я восхитился, мне безумно понравилось. Там Леонид Андреевич с его «можно, я лягу?» И — «вино местного разлива — странно, а мне нравится». Потом я прочел... нет, «Страну багровых туч», как ни странно, я читал намного позже. Ее у меня просто не было. Это было мое первое знакомство с братьями Стругацкими.

Второе знакомство состоялось в тысяча девятьсот семьдесят не то седьмом, не то восьмом году, или семьдесят шестом, когда мой коллега в больнице на один из своих дней рождения пригласил Аркадия Натановича Стругацкого с супругой. И вот тогда я впервые увидел Аркадия Натановича. Тогда он рассказывал массу всевозможных историй. После этого я смог говорить, что знаю лично Аркадия Стругацкого. Надо сказать, что если о первом знакомстве он знал так же, как он был знаком и со всеми остальными читателями, то про второе знакомство он совершенно не помнил. Кого он видел на чьем-то дне рождения!

И третий раз мы с ним познакомились тогда, когда он приехал к нам в больницу. И я был его лечащим врачом. И вот за эти самые две недели, которые он пролежал в больнице, у нас возникла, у меня, по крайней мере, совершенно непреодолимая тяга к Аркадию Натановичу. Я приходил к нему в шесть вечера, после обхода, садился на соседнюю кровать, он в боксе был один, и мы беседовали. На самые разные темы. Я ему приносил несколько английских детективов, которые он читал...

После того, когда он выписывался, а выписывался он в середине августа, а двадцать восьмого августа у него день рождения. Когда он выписывался, я ему прямо сказал: «Аркадий Натанович, я с истории болезни списал Ваш телефон, и прошу Вашего разрешения звонить, я Вам честно говорю, что надоедать не буду». Он говорит: «Пожалуйста». Двадцать восьмого числа я ему позвонил, поздравил его с днем рождения. Где-то еще через месяц я ему позвонил и сказал, что я по нему соскучился. Он сказал: «Ну что за проблемы? Ты меня пригласи, и я к тебе приеду». Я тогда жил один. Мы с ним договорились. И в одно из воскресений открылась дверь в коммунальной квартире, вошел Аркадий Натанович, держа под мышкой стопку журналов «Знание-сила» с «За миллиард лет до конца света»: «Это я тебе в подарок принес». Мы с ним просидели тогда часов с трех — «Вообще я пришел к тебе, как врачу» — я его сначала посмотрел... А ушел он — я помню, что мы с ним торопились, чтобы он успел на пересадку. Дальше история, честно говоря, умалчивает — у нас разный совершенно рост — мнение об этом эпизоде. Я абсолютно был убежден, что я шел, цепляясь за него, он категорически утверждает, что он шел, опираясь на меня. С этого момента у нас началось... Я сначала приходил, смотрел его — где-то у нас было время на медицинский «чек-ап», а потом начинались разговоры. Вот как начинались эти разговоры — увы, я не помню. Я только знаю, что каждый раз, идя, грубо говоря, с визитом к больному, что много времени, в принципе, не занимает, я знал, что уйду я отсюда в одиннадцать, в двенадцать... Тут масса всевозможных нюансов. Плюс к тому, что я оказался, во-первых, хорошим врачом для него, с минимумом ограничений, с минимумом авторитарного давления врача на больного... Наши взаимоотношения врача с больным. Абсолютно по российскому неприличному принципу: ты начальник — я говно, я начальник — ты говно. Когда я осматривал Аркадия Натановича как лечащий врач, я мог делать с ним, все что угодно. Заканчивается «чек-ап», роли мгновенно менялись — он меня мог растирать, как хотел — и, надо сказать, делал это, не стесняя себя ни в чем. От него я научился стараться не говорить банальностей, от него я научился слушать, от него я научился,

если возникают какие-то вопросы, не задавать их сразу, а сидеть, обязательно откладывать — половина вопросов потом отпадает. От него я получил столько интересного...

Вы знаете, что Аркадия Натановича уже давно зовут «сэнсей»? Дело в том, что я Аркадия Натановича начал называть «мэтром». Для меня он был мэтром. Я в это вкладывал свое собственное понятие. Ну, и, как правило, ведь откуда возникают клички, прозвища, аббревиатуры всякие?.. С тем, чтобы достаточно часто не повторять обращение к человеку: «Аркадий Натанович, Аркадий Натанович, Аркадий Натанович...» Долго, длинно... — мэтр. Надо сказать, что он довольно быстро воспринял это обращение. За все наше двенадцатилетнее общение я ни одного раза на «ты» не назвал. Всегда — или «Аркадий Натанович», или «мэтр», а потом, когда я прочел «Пионовый фонарь», Кобо Абэ... в какой-то момент я заменил французское «мэтр» на японское «сэнсей» — учитель, наставник. И вот это оказалось самым точным. Это была абсолютно интуитивная догадка, но в последние годы Елена Ильинична говорила: «Алечка» — она называла так своего мужа, или говорила: «Вот, сэнсей...», не мне — вот мы сидим, она Маше что-то говорит: «Ты помнишь, как сэнсей говорил...» Он стал сэнсеем. Несколько раз я слышал, как Володя Михайлов обращался к нему: «Аркашенька, сэнсей...» Вот это то, что я привнес в эту семью...

В свое время как-то у нас с ним был разговор о том, вообще, как относится читатель к фантастике. Мне посчастливилось, совершенно случайно, набрести на один образ, который Аркадию Натановичу очень понравился. Мы тогда сидели, и я ему рассказал историю, как мы с моей первой женой, были мы тогда студентами четвертого курса, — это шестьдесят четвертый — шестьдесят пятый годы, мы, после того, как покатались на речном трамвайчике, пошли, я ее повел шиковать на все свои двадцать пять рублей — в «Гранд Отель», еще существовавший. Так вот, мы пошли в «Гранд Отель», шикарный зал, с женским оркестром, причем она пришла в тапочках, я был в нормальной студенческой грязной... и нас совершенно спокойно пустили. Это было днем, мы пришли туда пообедать, взяли не комплексный обед, причем денег нам хватило, даже с бутылкой сухого вина. Принесли, как обычно, классическую солянку, из которой я мгновенно повыуживал все маслины и тут же отдал своей пассии, чем, с моей точки зрения, заработал еще несколько очков в ее глазах, не признавшись в этот момент, что я их терпеть не могу. Для меня понятие «соленый фрукт» — тогда я еще не знал это слово, потом мне тот же самый Аркадий Натанович объяснил, что такое катахреза, и вот для меня это — катахреза. И я знаю, что людей, равнодушных к маслинам — «есть — есть,

нет — нет», — не существует. Люди делятся по отношению к маслинам на две диаметрально противоположные категории, как в «Приключении Гулливера» те, которые разбивают яйцо с острого конца или с тупого конца, есть люди, которые их обожают, и есть люди, которые их ненавидят. Середины нет. И вот я тогда сказал, что мое впечатление, что по отношению как раз к фантастике, наверно, читающий человек делится приблизительно так же, как по отношению к маслинам.

Ему очень понравилось это. Надо сказать, вообще, что люди, которые знали Аркадия Натановича, знают, кроме того, что это был блестящий мужик, бонвиван, почти энциклопедически эрудированный человек, в тех областях, которые его интересовали. В этом отношении он был как Холмс, который, например, ненужными вещами свой «чердак» не загромождал. Были вещи, которые его мало интересовали. В частности, как ни странно, он был в этом плане безумно благодатный, как больной. Психологически это был абсолютно дисциплинированный человек, который от контакта с врачом ждал одно: он не ждал ни медицинского образования, как основная масса — «расскажи мне, что со мной?» — он говорил: «Меня это не интересует, я в этом ничего не понимаю, я себя плохо чувствую, я тебе доверяю, меня интересует мое хорошее самочувствие». Все.

— **Как сказал Мольер, больному не становится легче, если он знает, как его болезнь называется по-латыни...**

Правильно. В этом отношении он был полный последователь Мольера. Некоторые вещи его не интересовали, их он не знал. Он, конечно, был энциклопедичен, мы знаем его как эрудированного человека, как человека с абсолютным вкусом, как человека с абсолютным литературным... ведь он же обладал врожденной абсолютной грамотностью, почему в этом тандеме — Аркадий Натанович—Борис Натанович — за машинкой во время работы всегда сидел Аркадий Натанович. Не потому что Аркадий Натанович испытывал от этого гораздо большее удовольствие, чем Борис Натанович, и отпихивал его локтями от клавиатуры. Аркадий Натанович обладал абсолютной врожденной грамотностью. Ему в принципе не нужен был ни корректор, ни редактор русского языка.

Писатель, японист, критик... ведь он же был блестящий педагог... Приверженность Стругацкого-старшего к четким, исчерпывающим, до конца понятным формулировкам была одной, по-моему, из его совершенно имманентных черт. Кстати, вот когда он работал, мне два раза посчастливилось сидеть с ним над моими рукописями. В основном он требовал одного: чтобы описываемая сцена, эпизод, были предельно ясны, были видны. Вопросов «кто говорит?», «что говорит?» «где стоит?»,

«почему он вышел из угла?», «а когда он у тебя в этот угол попал?» была масса. Когда пишешь, вообще занят своими идеями, мыслями, которые кажутся тебе уникальными, интересными и так далее, и вроде бы на эти мелочи внимания на обращаешь. И он всегда говорил, что без этого настоящей, хорошей литературы не бывает. Читателя нельзя ставить в положение, когда он о чем-то должен догадываться. И, наверное, поэтому безумно трудно переводить их произведения на визуальный ряд.

— **Во всяком случае, должен быть режиссер талантом не ниже... А как только режиссер талантом, так сказать, сравним, то получается...**

Получается «Сталкер». О «Сталкере» Аркадий Натанович неоднократно говорил: «Это вещь Тарковского». Лично я сам слышал в «Доме кино», когда на одном из семинарских просмотров присутствовал Аркадий Натанович, был задан вопрос: почему вещь называется «Пикник на обочине», когда она так отличается от повести. На это Аркадий Натанович сказал: «Это произведение не наше. Это произведение Тарковского. Я его принимаю, я не считаю его испорченными Стругацкими, как вы, может быть, думаете, это просто другое произведение». Дело, наверное, даже не в гениальности режиссера, а как раз в этой предельной сценографичности их произведений. Как только вы прочитываете, у вас возникает абсолютно собственное видение всего, вплоть до портретов. Ричард Нунан у вас один, Арата Горбатый у вас другой, Вечеровский у вас третий...

Однажды он мне рассказывал, как они с Борисом Натановичем писали сцену с доктором Гоаннеком из «Жука в муравейнике», где этот самый, похожий на постаревшего американского школьника доктор в кепке с огромным козырьком... Аркадий Натанович долго копался в бумагах и вытащил маленький тетрадный листок на котором было: река, пристань, курорт «Осинушка», дачи, дача номер три, дача номер шесть, замаскированная под нужник кабина нуль-Т, маршрут Максима, как он переплывал реку и подплывает к доктору Гоаннеку... Как только создана эта вот, скажем, мизансцена, тогда можно начинать писать. Раньше — нельзя.

Может быть, и это тоже, в какой-то степени, льет воду на мельницу моих рассуждений о том, что Аркадий Натанович был, помимо всего прочего блестящим педагогом.

Он обожал четкие формулировки, он обожал предельно ясные постулаты, определения, выражения своей мысли. Он всегда, кстати, требовал: «Неясно — спроси». Поэтому, в свое время, когда я получил в подарок рукопись «Хромой судьбы», после того, как я прочел, я был горд, что я нашел опечатку, вместо слова «эпитет» было написано «Эпиктет», на

что Аркадий Натанович мне сказал: «Это не опечатка, это другое слово: Эпикт'ет. Не знаешь?» — «Нет». И он мне объяснил.

Если ты пытался уйти от той темы, в которой ты плаваешь, он это очень быстро и четко понимал. Он никогда, Аркадий Натанович был очень тактичным человеком, сразу не хватался за это, не вылавливал человека за его неграмотность, он просто пропускал это, как будто мимо ушей, шел на поводу при уводе от темы, но мнение о человеке у него складывалось. По тому: спрашивает человек или не спрашивает, знает, может ли он сознаться в своем незнании, то есть, если он знает — отстаивает свое знание, если он не знает — согласится со своим незнанием, принять другое знание, грубо говоря — обучаемый это человек или необучаемый, самодовольный, спесивый или интеллектуально потентный — тут масса ходов может быть... От этого, в общем, маленького теста, который никогда им преднамеренно не устраивался, человек, как правило, в разговоре с таким интеллектуально богатым собеседником, каким был Стругацкий, сам попадал в эту самую «воронку», яму. И вот как он из нее потом выходит — это становится тестом.

Если вы помните, на заре телемостов в период перестройки, что начал Познер, сначала, с Донахью, потом был период год или полтора, когда пошли самые всевозможные телемосты: с Сан-Франциско, с Сан-Диего, мостовались швеи, писатели, физики, литераторы, политики, все кому не лень наводили «на халяву», так сказать, эти мосты при помощи журналистов. Так вот, был телемост, посвященный проблеме полета человека на Марс. Это как раз одна из немногих телепередач, в которой принимал участие Аркадий Натанович Стругацкий. И был приглашен туда как раз потому, что ну кто еще лучше будет говорить о проблеме полета человека на Марс, когда мы уже ступили американской ногой на поверхность Луны, мы — я имею в виду человечество, уже запущена была «Вега», уже запущены были автоматы к орбите Юпитера, то есть, было все: тут тебе и «Путь на Амальтею» — второе путешествие Быкова, тут тебе и пиявки марсианские, те же самые «Стажеры»... Если мы говорим, что непонятно, почему в издательстве «Художественная литература» не взяли предисловие япониста Стругацкого к переводу японского романа, то почему создатели телемоста на тему «Полет на Марс» взяли Стругацкого как эксперта, совершенно ясно. Единственный человек, из всех, кто там был, космонавтов, инженеров, представителей НАСА, представителей Чкаловского отряда космонавтов, который говорил о том, что это полный бред, был Аркадий Натанович Стругацкий. Савицкая тогда кричала, что она готова, если она сейчас беременная, она готова выкинуть или лететь в

космос и рожать там, на что Аркадий Натанович говорил: на Земле столько дел и так мало денег, что угрохивать ради, в общем, дешевого рекламного трюка... Проблемы: как будут космонавты, через какой перигей или апогей орбиты, оверсаном или в плоскости эклиптики — его просто не интересовали, и совсем не потому, что он в них не разбирался — он разбирался, но там мы видели, что Стругацкий выступал в роли Ивана Жилина из «Стажеров»: «Главное — на Земле». Вот это умение, во-первых, иметь свою точку зрения, во-вторых, отстаивать ее, основанное не на собственном самосознании, не на ощущении самоценности, не на понимании себя, как высшего эксперта или судьи, а основанное только на знаниях, знаниях очень широких, и, то, что я, как врач, обычно называю, на умении взвешивать клиническую ценность симптома. Стругацкий на этом телемосту выступил как раз как хороший клиницист — он оценил клиническую ценность всех симптомов — и трюкачество, и технические несовершенности современной научной и технической базы, этическую ценность, необходимость — положил все это на одну чашку весов, на вторую чашку весов положил все то, что человечество может решить объединенными усилиями, как оно объединилось, якобы, для полета на Марс, и понял, что чашка с Марсом улетела далеко вверх.

— **И за что потом был лаян...**

За то был неоднократно лаян. Для меня этот пример представляет очень большую ценность как мера, сущность, эпизод из его жизни, его биографии, тем более, что я сидел вместе с ним на кухне возле телевизора, и мы с ним смотрели этот телемост, эту запись. И он комментировал, что было вырезано, что было недодано. Так что если бы было додано все, что он говорил, я думаю, что критика была бы во много раз сильнее и на несколько порядков несправедливее.

...Научные, технологические разработки в их вещах всегда велись с привлечением специалистов. Еще и поэтому, наверное, был очень широкий круг знакомых. А среди знакомых всегда были только люди порядочные и честные, или, как было принято говорить в этой семье — «лучшие мастера по холодильным установкам». Дело в том, что в молодости другом семьи был самородок, изобретатель, а по образованию, профессии, он был инженер по холодильным установкам. И вот термин «лучший мастер по холодильным установкам» относился ко всем — он относился к Нудельману — как к лучшему специалисту по холодильным установкам в области фантастиковедения, он относился к Гумилеву, он относился к астрономам, писателям, художникам, к космонавтам — Гречко у Аркадия Натановича был лучшим специалистом по холодильным установкам в

космонавтике. Вот эта предельная скрупулезная точность в современном научно-техническом обосновании фантастических реалий Стругацких. Вспомните: метеоритная атака в атмосфере. Для любого астронома, для любого планетолога — это уже прокол. Но! В третьей части, когда Максим летит на этом жутком бомбовозе, он опять атакуем автоматическими ракетами и он вспоминает: «Вот она, метеоритная атака!» Здесь точно соблюден еще один литературный закон Стругацких: на каждой конкретной странице читатель знает ровно столько, сколько автор. Ни в коем случае нельзя ставить читателя в положение дурака. Это колоссально трудно, потому что вы разработали уже всю вещь, вы знаете, чем она заканчивается, вы знаете, что за что цепляется... Написать так, чтобы на двадцатой странице у тебя не торчали уши того, что будет на двадцать шестой, не в смысле сигнала, не в смысле «гвоздика», а в смысле того, что ты объясняешь ситуацию на двадцатой странице тем, что будет только на двадцать пятой. Читатель ощущает себя дураком. Этого делать нельзя. И это отнюдь не прием детектива, как очень многие пытаются оправдать свою небрежность: мы вот тут покажем, а вот там это объясним. Это — литературная небрежность.

— Стругацкий-японист... Сразу вспоминаются имена: Уэда Акинари, Акутагава Рюноскэ, Кобо Абэ, Ихара Сайкаку, Санъютей Энте и, конечно же, «Сказание о Ёсицунэ»...

Мое лично, например, знакомство с «Ёсицунэ-моногатари» совпало с моей второй женитьбой. Полная, десятилистовая рукопись «Сказки о Тройке» была мне подарена со следующей надписью: «Дорогим имярек. Сейчас я даю главный бой великой рукописи «Ёсицунэ-моногатари», ну и дальше «... мысли о вас...» Все. Вот это было по-настоящему мое первое знакомство с Ёсицунэ. Второе знакомство с Ёсицунэ было как раз в связи с предисловием.

Мало кому известно, что Аркадий Натанович написал большое предисловие к «Ёсицунэ-моногатари», даже не предисловие в обычном, традиционном смысле, а, как он сам назвал его, «Инструкцию к чтению романа «Ёсицунэ-моногатари», или, как он вышел у нас, «Сказание о Ёсицунэ». Дело в том, что представляя Ёсицунэ, Аркадий Натанович всегда говорил: «Ёсицунэ — это японский Суворов». Этим он подчеркивал, в частности, абсолютную хрестоматийную известность человека, которого в Японии знает каждый школьник. И этим как раз и объясняется структура самого японского романа. Ведь там о Ёсицунэ, о всех этих трех походах Ёсицунэ, ничего не говорится. Сам по себе роман «Ёсицунэ-моногатари» — это последние дни Ёсицунэ уже в опале. Поэтому, если нам

дадут книжку, в которой описан Александр Васильевич в последние годы его ссылки, нам совершенно непонятно будет, и за что его не любил Аракчеев, и за что его ненавидел Павел, и почему весь мир знает, кто такой Суворов.

Надо сказать, я, может быть, человек предвзятый, но с моей точки зрения, история не очень красивая, обидная, когда издательство отказалось публиковать предисловие, вот эту «инструкцию к чтению».

— **Я думаю, что просто издательство давало заработать своим — вот есть у нас специалист, который пишет предисловия к восточной литературе — вот он и напишет...**

Нет, давайте говорить так: на момент выхода «Ёсицунэ-моногатари» — на русском языке «Сказания о Ёсицунэ», лучшего автора предисловия к японской литературе, кроме Аркадия Натановича Стругацкого, не существовало.

— **А это неважно, он не «свой»...**

Ну, японцы так не считают, читатели так не считают... Ведь много того, что нам известно, начиная с Акутагавы — это Стругацкий. Ему же принадлежат лучшие и единственные переводы вещей — я говорю сейчас о вещах давно известных — о произведениях Акутагавы, которые кроме него никем не переводились, потому что они совершенные — это «Бататовая каша», это «Нос» и это «Страна водяных». Плюс предисловие к «Ёсицунэ».

Вот папка со всеми материалами работы Аркадия Натановича над романом. Посмотрите, и вы увидите, какую огромную предварительную работу провел переводчик, прежде чем приступить собственно к переводу текста романа.

Вот первое: это подстрочник, это попытка перевести средневековые японские реалии, привести к нормальному состоянию языка сейчас. Точно так же вот целый, как вы видите, список персоналий, все, кто упомянут... И из этого становится ясно, почему в предисловии, например, дядюшка Юрикава называется старым ослом. Вот комментарий к событиям и персоналиям... Мало того, Аркадием Натановичем была составлена подробнейшая карта — а к картам и планам он относился с величайшим пиететом — средневековой Японии, со всеми соответствующими реалиями того времени и с маршрутами всех трех походов Ёсицунэ. Эту карту предполагалось поместить на форзаце книги, но по каким-то причинам сделано это не было... То есть это то, что называется «нормальная, квалифицированная работа переводчика».

У нас ведь сейчас огромное количество всех изданий, лежащих на книжных лотках, переводы для которых делают мальчики или девочки

иняза — они берут книжку, и вот как они ее читают, так они ее и переводят; если они чего не понимают, то либо просто выбрасывают, либо, самое интересное, как он его не понимает, так он его и переводит. Потому надо сказать, что как бы ни хорошо наше время ни было, я это говорю без иронии, одну, ну, наверное, все-таки не одну, вещь полезную мы тогда утратили — все-таки во всех, в частности в фантастике, переводной, литературные переводы, мы имели все-таки самое лучшее. Самую квинтэссенцию. Мы не имели туфты. Правда, надо сказать, в основном Аркадий Натанович всегда считал, что печатать надо все. Все, что пишется. Потому что как найти жемчужное зерно, если ты не имеешь навозной кучи? А надеяться на то, что тебе попадется сразу груда жемчужин в виде кучи...

— **Юрий Иосифович, я несколько моложе вас, и волею судеб сложилось так, что я рос вместе с книгами Стругацких. В силу этого, мое мировоззрение, как и у многих людей, сложилось, в основном, под действием этих книг. А ваше отношение к этому?**

Ну, во-первых, я совершенно не отделяю себя от того самого поколения людей, мировоззрение которых сложилось на книгах Стругацких. Может быть, даже чуть в большей степени я это понимаю, чем остальные, потому что массу вещей мне разъяснял сам Аркадий Натанович. Просто по истории фантастики российской... Если Вы помните, одновременно со Стругацкими мы начали все знакомиться с англоязычной фантастикой, американской. До того из англоязычной фантастики нам известен «Ральф 124...», книжоночка, выпущенная в двадцатых годах плюс Чапек, я беру вообще зарубежную фантастику. Советская фантастика — это: Беляев... Сэнсей считал, что начало нормальной современной фантастики — это заслуга Ивана Антоновича Ефремова. Он очень высоко ставил «Туманность Андромеды» — появление такого уникального явления в мировой литературе, как социальная фантастика. Почему именно Стругацкие так выделяются среди всех фантастов? Плеяда фантастов в то время, особенно в редакции Жемайтиса, была совершенно великолепной. Конечно, литературный язык. Прежде всего, это литературный язык. Надо сказать, что они определяли себя, по словам Аркадия Натановича, очень просто — это язык улицы. Мы говорим то, пишем то, что люди думают. Просто сами говорить не могут, а наша речь, наша стилистика, она как раз является самой адекватной для выражения этих мыслей. Это связано, конечно, и с вполне определенной трансформацией языка, литературного языка, обиходного языка. Почему? Потому что большое количество иностранных слов, появившихся после войны в обиходном лексиконе —

они присутствуют у Стругацких, если мы в этом плане проанализируем литературу тех времен, гораздо в большей степени, то есть так, как это было в жизни. Значит, это было органично, не несет на себе дополнительной функции, как предположим, у того же Гансовского, или у Днепрова. Дальше. Конечно, авантюрный сюжет. Всегда. Это требование — не фантастическая идея, и ей подчинено все остальное, а прежде всего — сюжет. Это главное, основное, что всегда, между прочим, было у них, как Аркадий Натанович говорил: «Основное в литературной деятельности — это сюжет. Что бы там ни говорили, литература первого, второго сорта, третьего — она должна быть интересной». На их трансформацию литературного языка, то, кстати, начало чему положил Хемингуэй — лапидарность произведений, отсутствие тяги к созданию широченных панорам, что было характерно для XIX — начала XX века. Надо сказать, что Аркадий Натанович Хемингуэя четко совершенно определяет как предтечу их литературы. Было время, когда они с Борисом Натановичем зачитывались им именно в литературном плане, в плане ремесла.

Ну, и, конечно, адекватность. Адекватность интересов. Я, честно говоря, достаточно много читая, слыша Стругацких, принять гипотезу о примате эзопова языка в произведениях Стругацких, что только потому, что советская действительность не давала возможности говорить то, что, дескать, ты думаешь, быть, скажем, Ниной Андреевой — «Не могу молчать», что только это вызвало к жизни фантастическую литературу Стругацких — я, честно говоря, не могу. У меня по-настоящему глубокое убеждение, что эта оценка привнесена западными исследователями. Ведь третья Заповедь — не сотвори себе кумира — нарушается всегда и во всем. И пристальное внимание, так же, как и у нас к жизни другого мира, существовало и в другом мире — пристальное внимание к тому, что у нас творится. Будем говорить о том, что понятие «холодной войны» — пускай это больше политическое понятие — но противостояние было. Мы искали свои корни, свою пятую колонну — там, в Джеймсе Джойсе — «Отсюда и в вечность», в Андрэ Стиле, в шведских писателях-коммунистах — все то, что, скажем, издавала «Иностранная литература» в эти годы. Они точно так же искали у нас. Если Амальрик — да, это не эзопов язык, это действительно литература критики, если Войнович, если Синявский — это да, действительно, политизированная литература. Это с одной стороны. С другой стороны — Марков и вся остальная плеяда официальных литераторов, стоящих на другом конце шкалы. Вы помните, в свое время была роскошная пародия-статья «Политическая оценка политической позиции мышки в «Курочке Рябе»? Вот такое совершенно серьезное,

политологическое, литературоведческое эссе по «Курочке Рябе». Вот мне кажется, что начало всех этих рассуждений об эзоповом языке Стругацких — это подобного плана критические эссе о творчестве Стругацких на Западе.

Каждый видит то, что может, то, что хочет. А для наших литературоведов вот эта критика, вот эта идея оказалась... Давайте говорить так: когда появилась критическая стругацкология? Ну, как минимум, не раньше одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года. Это — конец шестидесятых и дальше... И это период четкой совершенно нарастающей политизации населения в Советском Союзе. Никакой политизации не было. Пятое марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, смерть Сталина. Дальше начинается: антипартийная группа и примкнувший к ним Шепилов. Начинается политизация. А что такое литературоведение? А что такое идеологический сектор? Он здесь же, рядом. И вот, параллельно с этим, начинается оттепель — это те же самые годы. А раз те же самые годы, значит, появляется возможность, во-первых, говорить то, чего раньше говорить было нельзя, а самое главное, позволить себе увидеть то, что раньше видеть было нельзя. А тут тебе сразу дают рецепт для идеологической оценки — фантастическая оболочка. Фактически все время ведь говорится: Стругацкие меньше фантасты, больше социологи. Вы посмотрите, что пишет Ле Гуин во всех рекламных строчках: «Предтеча Стругацких — это Чехов и Гоголь, как я понимаю». Простите, что Ле Гуин понимает в Чехове и в Гоголе? Да и в Стругацких. И, с моей точки зрения, как раз этот крен в политическую социологию в оценке Стругацких умаляет по-настоящему значение сути фантастики братьев Стругацких. Ведь они же совершенно недаром, чем дальше и дальше в своих произведениях, уходят от технократии сначала к социологическому моделированию, а потом к биологическому моделированию. Вы посмотрите, уже начиная с «Волны гасят ветер» и даже с «Жука в муравейнике» — все больше и больше идет крен в биологию, последняя вещь Аркадия Натановича «Дьявол между людей» — это биология и социология. Фантастика, модели, предвидения, сюжетика, построение, ведь это же, простите, не критика.

Можно говорить так: «Хищные вещи века» — это критика современного нам тогда общества. А куда мы тогда, простите, денем все эти удивительные социогенетические, социопсихологические предвидения, которые есть в этой вещи? «Хищные вещи века» — уникальная книга. Это вещь, которая дважды рождалась. Изданная в шестьдесят пятом году, она потом была на двадцать с лишним лет забыта.

— Да, до восемьдесят первого года она не издавалась.

И потом вдруг, во всех, сначала опять-таки не у нас, а потом во всех сборниках провинциальных и центральных изданий, вдруг опять пошла. Всюду стали ставить «Хищные вещи века». Почему? А потому что: дрожка — раз, слег — два, страна дураков — три, меценаты — четыре, что только потом мы узнали в виде цветомузыки, рэпов, галлюциногенов, социального варварства как эстетической категории. А многогодовые телевизионные сериалы — в одна тысяча девятьсот шестьдесят пятом году их не было даже на Западе. Я когда занимался вопросом «мыльных опер», я специально взял «Британнику» девяносто четвертого года, там большая статья о «мыльных операх». В шестьдесят четвертом году, когда писались «ХВВ», этого не было. Это что, это критика? Чего? Будущего? Критика тенденций? Простите, это самое последнее дело, это марксизм — критиковать тенденции. И никогда в жизни Стругацкие этим не занимались. Значит, это нормальное социальное предвидение. Это Жюль Верн, но не в электричестве, не в электротехнике, не в астронавтике, а в социологии, в социогенетике, в социопсихологии. И в индивидуальной психологии. С этой точки зрения мы можем это назвать эзоповым языком? Это то, о чем они думали, то, о чем думали вы... Правильно, мы росли вместе с ними. Надо сказать, что сейчас надо, если серьезно говорить, то надо исследовать поколение, выросшее на Стругацких не по политологам, не по идеологам, а по тем, кто сейчас работает в социологии, психологии и в социогенетике. Там это заложено, вот это понятие «развитие человеческой психологии». И оно заложено именно у Стругацких. Кстати, ни у одного другого современного писателя-фантаста с такой четкой очерченностью и направленностью этого нет. Ни у современного российского, ни у современного западного.

И вот тут мы можем начинать говорить, что если фантастика — это литература, скажем, второго сорта, изучающая будущее технократическое, технологическое — это подход Казанцева, а литература изучает человека, как говорил Горький, «типическое в типических обстоятельствах», то писатель Аркадий и Борис Стругацкие — это нормальный, современный, гениальный писатель, изучающий человека методами, в частности, так, как это делал Булгаков. Лев Николаевич Толстой изучал это путем дачи исторической панорамы, Ги де Мопассан изучал это путем дачи этнографо-социологического среза, так же, как почти все французы XIX-XX веков. Стругацкие дают это путем фантастики. Если мы берем предметом литературы изучение, исследование, понимание человека, высшей нервной деятельности, то есть эго в социуме и эго наедине с эго, это уже будет у нас

и Достоевский, это у нас будет Джойс, это уже будет Кафка, то есть это уже весь экзистенционализм, то Стругацкие — это писатели, изучающие... люди с современной методологией, ученые... Что определило именно фантастический поворот их творчества? Ведь самое первое произведение Аркадия Натановича Стругацкого к фантастике не имеет ни малейшего отношения. «Пепел Бикини» — это практически публицистическая вещь. Сравнить «Пепел Бикини» можно с, ну, пожалуй, «Семь дней в мае» Нибела и Бейли, книгой, которую часть литературоведов относят к так называемой политической фантастике, отделяя от научной фантастики. Создается модель — что было бы, если бы... Так и тут создается эта модель. И все. Я не литературовед и, тем более, не критик, но я вот так это понимаю. И вот, конечно, это мое понимание идет, честно говоря, не от Нудельмана во мне, а от разговоров с Сэнсеем. Он, конечно, никогда вот так не выражался. Так это им не определялось, но, в принципе, вот это мое понимание, таковое, а не иначе, заложено разговорами с ним.

Зачем далеко ходить за примерами. Выходит «Жук в муравейнике». Аркадий Натанович приезжает ко мне в больницу, тогда у нас был еще тот период, когда я редко приезжал к нему, чаще он приезжал ко мне на «чек-ап». Это была суббота, или воскресение, когда я дежурил, когда никого не было. Мы запирались в ординаторской, а дальше все было так, как у него. Вопрос: о чем эта вещь? О Странниках, о мутациях, о КГБ?.. Тогда кто над КГБ? Простите, фраза, великолепная совершенно фраза, в оценке Бромберга по отношению к Комкону — «Ваша деятельность запретительная, вы, рыцари плаща и кинжала...», но если быть совсем откровенным — думает Максим — то социальная задача, имманентная Бромбергу — это какой-то контроль над контролем. Тут уже, простите, работа Красина, которая критиковала ленинскую «Как нам реорганизовать рабоче-крестьянскую инспекцию», где Красин писал, что, извините, тогда у нас инспекторов не хватит, потому что над каждым инспектором надо ставить еще инспектора, а над этим инспектором — еще инспектора... Знал Стругацкий эту работу? Знал. Я его спрашиваю, о чем, он говорит: а ты как думаешь? Практически там же никогда ничего не зашифровано. Ни в одном из их произведений. Там все есть. Там только, просто-напросто, нужно иметь глаза. Научиться видеть у Стругацких то, что они хотят этим сказать, нельзя. Ты видишь — и для тебя непонятно, почему это не видят другие. Ты не видишь — и тебе непонятно, почему это видят другие. А там есть два эпизода: первый — говорит Сикорски Максиму: «Мы все устали, Мак, — проговорил он. — Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще

говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь семьдесят процентов Комиссии приняли его гипотезу. «Жук в муравейнике»... Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это... А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу... А если это не «Жук в муравейнике»? А если это «Хорек в курятнике»? Ты знаешь, что это такое, Мак, — «Хорек в курятнике»?.. Сорок лет они делают из меня муравья! ...Через сорок лет ты будешь такой же, а может быть, и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться. И все это навалится на вас!..» И второй эпизод, до того: «И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Экселенцу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него — за то, что он все-таки не удержал... И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни». — Вот на этих двух эпизодах в разговорах двух, простите, как почти все официальное литературоведение расценивает, кагебешников, надзора, старшего — Экселенца и младшего — Максима Каммерера. Я ему ответил, что с моей точки зрения, это — вещь о мере социальной ответственности, чувства социальной ответственности в человеке... И вот это был тот, один из очень редких случаев, когда он был просто... тут я увидел Диану счастливую. Он возликовал, он сказал словами Витьки Корнеева: «А я-то думал, что ты у нас дурак!»

Где здесь политика? Политика начинается от момента, когда чувство социальной ответственности начинает толкать к действию. На этом этапе вы можете великолепно совершенно привязать все, что угодно, вы можете даже Германна из «Пиковой дамы», на этапе его действия — наставления незаряженного пистолета на старуху-графиню расценить как борца с засильем аристократии, тем более, что он сам — из инженеров, сын обрусевшего немца.

Поэтому, согласиться в оценке Стругацких, что это, скажем, Даниэль и Синявский, надевшие фантастическую личину, я не могу ни в коей мере. Это талантливый, большой писатель второй половины XX века, ощущавший своим нервом изменение человека и его психики в социуме XX века, в особенностях этого социума, то есть, социума научно-технической революции, социума глобальной цивилизации. Чем наша цивилизация, чем XX век отличается от всего остального? Безумной акселерацией всех процессов, наша цивилизация начинает носить за счет своей информационной емкости характер глобальной цивилизации. И

поэтому никого никогда не волновало, что выжигаются леса, никого, кстати, никогда не волновала экология. Почему экология — наука второй половины XX века? Да только потому, что этот вопрос встал на повестку дня. Человечество осознало граничность своей среды обитания. И в этом плане Стругацкие являются первыми — раз, на сегодняшний день единственными — два, наиболее полно и наиболее талантливо осветившие нам состояние социопсихологии и состояние эго в обществе человека XX века в XX веке.

Беседовал Алексей Керзин.

Рафаил НУДЕЛЬМАН
Встречи и расставание

Как и все в нашей группе, я называл его Аркадием — это соответствовало возрасту и отношениям. То была, действительно, группа — небольшой коллектив единомышленников, сложившийся на базе общего понимания фантастики, да и общественной ситуации вообще. Таких неформальных групп в 60-е было много. Просуществовали они недолго — до чешских событий 68-го года. Наша тоже распалась тогда же. А возникла она еще до моего появления в Москве — я застал ее уже сформировавшейся, с неким планом действий. Я приехал в Москву из Ленинграда, где учился в аспирантуре, усердно читал фантастику, особенно Лема и начинающих Стругацких, и пробовал силы в переводе. Один из переводов взяла для публикации редактор тогдашнего отдела научной фантастики в издательстве «Молодая гвардия» Белла Клюева, и по приезде в Москву я отправился первым делом к ней. Выпал именно тот день, когда, как оказалось, в редакции проходил семинар фантастов, и на нем-то я впервые увидел Аркадия. Выступал Полещук, прочно забытый сегодня автор, присутствовали Гансовский, Ариадна Громова, кажется, Емцев с Парновым, кто-то еще; мне, новичку, каждый был по-своему интересен, но Аркадий оказался интересным вдвойне — как живая половинка самого интересного, как мне тогда казалось (и думается сейчас) автора, — и как человек. Он был каким-то большим, по-доброму шумным и по-доброму насмешливым, очень приятельским и очень ярким. В нем чувствовалось что-то крупное и значительное; проще говоря, в нем чувствовался талант. По-моему, Полещука ругали: рассказ, который он читал, был скучный и затянутый, — но ругали как-то по-деловому, без злости, слегка подсмеиваясь. Аркадий же, энергично обхватывая руками воздух и

жмурясь улыбкой, рассказчика защищал, упирая, в основном, на его искреннюю преданность жанру. Потом Клюева заговорила о делах, и тут-то я понял, что существует некая группа и даже какие-то планы — создать издание «Библиотеки всемирной фантастики», протолкнуть через злобно-настороженное молодогвардейское начальство «своих», сделать семинары при редакции регулярными и многое другое.

Потом семинар как-то незаметно распался на группки и обнаружилось, что Аркадий и несколько других едут к Громовой; взяли и меня. По дороге «заскочили» в большой магазин на Краснопресненской, взяли коньяк и колбасу, прошли на Большую Грузинскую, и с тех пор так оно и пошло на долгие месяцы — встречи на семинаре или в редакции у Клюевой, возбужденные разговоры о делах и очередных планах, а затем — магазин, Большая Грузинская, допоздна у Громовой, коньяк и колбаса. Водку не пили подчеркнуто — Аркадий убедительно доказывал, что у интеллигентов ныне в моде коньяк. Громова пылко теоретизировала, Аркадий шумно витийствовал, заполняя собою весь четырехугольник между стеллажом с книгами и стеной, к которой был приткнут накрытый стол, язвительный худолицый Мирер подавал едкие реплики, улыбаясь тонкогубым, умным ртом, Файнблюм [20] (часто наезжавший из своей Перми, где он докторствовал — подумать — на кафедре марксистско-ленинской философии) пил и слегка матерился, добрый Миша Емцев просто пил, Рим Парнов (Еремеем его именовать было как-то неприлично) пил, быстро пьянея; я прислушивался, разинув рот на правах новичка. Это и была «группа». Был, правда, еще Борис Стругацкий, вторая половинка автора, он незримо присутствовал на этих коньячных бдениях, хотя и был далеко, в Ленинграде. Аркадий то и дело говорил: «А вот Борька думает... а вот Борька сказал...» — и чувствовалось, что «Борька» для него — интеллектуальный авторитет. Он вообще, слегка наигрывая, всячески подчеркивал свое уважение к «интеллектуалам», начиная со знакомых физиков и кончая теми же Громовой и Мирером. Его талант был куда более художнического, чем интеллектуального свойства, это обнаруживалось, едва он начинал что-нибудь рассказывать. Но он был и очень умный человек, в этом я позже много раз убеждался. По-моему, он здорово забавлялся, когда почтительно именовал нас с Громовой «теоретиками жанра». Впрочем, Громову он, кажется, искренне уважал — за самоотверженную преданность общему делу и пропаганду ее взглядов, не только как хозяйку дома. Мирера он уважал несомненно, это было видно.

Он вообще был актером — в магазине становился расторопным распорядителем, за столом преображался в шумного тамаду, мог угостить

мгновенно сочиненной байкой типа «одноногого пришельца», литературная игра и мистификация казались его стихией, и меня он как-то угостил одним таким насмешливым розыгрышем. Мы ехали с ним в Серпухов; пригласили, собственно, его, но кто-то там настоял, чтобы был еще и какой-нибудь критик, так что я выступал в этом качестве при Аркадии; и вот — мы ехали в Серпухов. Дорогу не помню, потому что он угощал меня длинным рассказом о своей случайной встрече с маршалом Тимошенко в поезде «Красная стрела» по пути в Ленинград. Будто бы они пили в купе, и Аркадий все спрашивал маршала: «А правда ли, что Сталин то-то и то-то?» — а маршал будто бы на все его вопросы отвечал: «Так ставишь вопрос? А хрен его знает!» Утром же, выйдя в коридор, Аркадий, якобы, увидел насупленного с похмелья Тимошенко у окна, и тот, подозвав его, хмуро сказал: «Я вчера спьяну чего-то там тебе наболтал, так ты смотри — никому, понял?» Я долго смеялся, Аркадий тоже, а много лет спустя я опознал этот его рассказ в поведанном мне кем-то старом анекдоте.

Он был также предельно серьезным, когда речь заходила о принципах, и в том же Серпухове я увидел другого Аркадия — он говорил о фантастике, потом о жизни, об окружавшей нас мерзости (впрочем, не называя ее прямо), и я впервые понял тогда, как огромна его популярность и как велико уважение к нему его читателя. В зале научного городка собралось несколько сот эмэнэсов, и чувствовалось, что они ждут от этого большого, спокойного, почитаемого ими человека какого-то урока жизни, истолкования ее, писательского откровения. По-моему, я даже отказался выступать после него — это было невозможно, никого не интересовал «пристегнутый» к Стругацкому «критик», у них шел разговор с ним, со «своим» автором. Он, действительно, был их автором, и я видел, как он внимательно слушал их слова, загорался в ответ на их вопросы и реплики, наклонялся к залу, словно сливаясь с ним, и все впитывал и впитывал в себя энергию этих людей, их юмор и вопросы, их доверие и веру в него, их мысли и профессиональный жаргон их шуток. То была творческая работа прямо на людях: писатель вбирал в себя социальный и профессиональный фольклор своего класса.

То было время напряженных нравственных и социальных поисков, и «наша группа» сложилась именно вокруг убеждения, что фантастика в этих поисках может сыграть едва ли не ведущую литературную роль. Аркадий в эти теоретические рассуждения Громовой и Файнблюма вдаваться не любил, отшучивался, что балдеет от них больше, чем от коньяка, и вообще — его дело писать, «интеллектуал» у него «Борька»; но позже, когда они несколько раз выступили в печати с «теоретическими» статьями,

я опознал в некоторых пассажах его собственные размышления. Неутомимая Громова затевала тогда бесконечные прожекты, вроде общего сборника с учеными; имя Стругацкого, да и уважительное тогда отношение научной среды к фантастике, открывало нам двери, в эти двери быстро вошли Емцев с Парновым, потом Мирер, Варшавский, сама Громова сделала две хорошие книги, активно помогала им всем пробиваться в печать Нина Беркова из «Детской литературы» и та же Белла Клюева, нашего полку прибывало, затеялась большая дискуссия в «Литературной газете», в «Иностранной литературе», но что бы ни делалось — ход времени отмечался, прежде всего, очередными вещами Стругацких, они задавали тон, они тащили за собой весь корабль «новой фантастики», они демонстрировали ее возможности и прокладывали ее пути. Я думал тогда и продолжаю думать сейчас, что именно они и были единственным полномасштабным воплощением этой новой фантастической волны; остальные — пусть они на меня не обидятся, каждый из них был по-своему одарен и честно делал свое дело — были ее рядовыми. Мне довелось в те годы писать статью о фантастике как методе (кажется, для того же, так и не состоявшегося, совместного сборника с учеными), я всякий раз натыкался на необходимость проиллюстрировать то или иное свое «теоретическое» положение и всякий раз с некоторым унынием убеждался, что опять и опять все сводится к тем же Стругацким. Они и с Лемом переговаривались вот так же — поверх голов, репликами своих книг.

О книгах этих Аркадий не говорил, во всяком случае — со мной. Только один раз он впустил меня, если угодно, в свою «творческую лабораторию», рассказав какой-то сюжет-заготовку, что-то о человечестве, помешавшемся на вошедших в моду «кибершлемах», дающих эффект присутствия в любых заказанных человеком ситуациях — любовных, приключенческих и прочих; кончалось все это вполне понятным образом — люди так и умирали в этих воображаемых путешествиях по несуществующей жизни, и я сказал ему, что эдак он все человечество прикончит; он быстро посмотрел на меня и как-то странно спросил: «А ты думаешь, оно обязательно должно жить вечно?» Какие-то отголоски этого сюжета почудились мне позже в «Хищных вещах века». Нет, оптимистом он не был. Хотя коньяк любил.

Я принес ему бутылку коньяка — в память о далеких временах, — когда пришел к нему перед отъездом в Израиль. То был 75-й год, группу нашу давно разгромили в газетах и журналах (я удостоился быть упомянутым в одной такой разгромной статье некоего Свининникова — кажется, в журнале «Коммунист» [21]), никого уже не печатали, кроме ловко

пристроившегося Парнова, Аркадия я встречал только в издательстве «Мир», где ему еще давали переводы (переводчиком он был первоклассным), и это были грустные встречи. Потом и они прекратились. Коньяку он обрадовался, мне — точнее, моему предстоящему отъезду — нет. Мы выпили на прощанье, и он сказал мне, как-то сразу опьянев и от того еще более настойчиво: «Нет, я отсюда не уеду! Я не понимаю, как ты можешь...» Выпил еще и повторил: «Нет, мы с Борькой отсюда никогда не уедем!» С тем и расстались. Мне показалось, что он немного уговаривал себя, но я не исключаю, что ошибался. В России была не только его с Борисом слава и читатель — он действительно был русским писателем, и очень большим, только страна эта немного сожрала и его, как чушка поросенка. Ах, какой это был большой, шумный, добрый, веселый и бесконечно талантливый человек, и каким постаревшим и усталым он выглядел, когда я с ним в тот последний раз расставался!

Всеволод РЕВИЧ
ДОН РУМАТА С ПРОСПЕКТА ВЕРНАДСКОГО

Впрочем, чудное было время. Хоть и душили нас эти падлы, а время было чудесное.

В.Аксенов

Братьев было двое — Аркадий и Борис. Было двое. Но писатель «братья Стругацкие» был один. И больше его не будет. Дай Бог тебе, Борис, пожить на этом свете столько лет, сколько тебе захочется, дай Бог тебе написать еще не одну прекрасную книгу, но литературоведы уже могут провести окончательную черточку, соединяющую даты выхода первой и последней книги братьев Стругацких. Я знаю много досужих любителей и профессионалов, которые настойчиво пытались поверить гармонию алгеброй и разъять живое тело романов на составные части: вот то — Аркадьево, вот это — Борисово. Наиболее знающие безапелляционно заявляли: им известно точно — Борис был идеологом, а Аркадию отводилась роль вышивальщика по канве, обволакивающего сухое рацио в художественное кружево. Прочитали книгу, написанную Борисом уже после смерти Аркадия, убедились, что он самостоятельный стилист и незаемный мыслитель. И в то же время никто не сомневается в том, что «Поиск предназначения» написан не «братьями Стругацкими». Не та манера, не те интонации... Так, может, и правда, что все это шло от Аркадия? Я так не думаю. Напротив, я уверен, что только в слиянии, только в дуэте рождалось единственное, неповторимое «стругацкое» слово. Отдельно эти слова, эти фразы, эти сюжетные повороты, наконец, эти мысли о судьбах человека и Вселенной родиться не могли, хотя, повторяю, оба они талантливые писатели, умевшие творить и по одиночке. Но два разных писателя. Впрочем, я определенно знаю слово, которое принадлежало лично Аркадию. Он безраздельно распоряжался, простите, словом «задница». В тех редких случаях, когда мне выпадало быть их редактором, и я находил означенную лексему, употребленную более трех раз на странице, в двух случаях я ее все же вычеркивал, почему-то уверенный, что уж по крайней мере Борис меня извинит. В конце концов удавалось уговорить и Аркадия в том, что излишняя экспрессивность так же нехороша, как и однообразие. Тогда Аркадий бурчал что-то вроде

«Ладно...», брался за голову и, зачеркнув этот научный термин, вписывал новый, после чего за голову хватался уже я...

Я никогда не задавал братьям глупый вопрос: как, мол, они работают вместе, но много раз слышал, что его задавали другие, причем, насколько я мог заметить, народ интересовался главным: почему соавторы живут в разных городах. Не знаю, что отвечал Борис, но Аркадий всегда ссылался на опыт братьев Гонкуров — один бегает по редакциям, второй стережет рукописи. Наиболее настойчивые, осмыслив этот ответ, возвращались к апории о двух городах... Ах, оставьте ненужные споры, неразделимы братья в своих произведениях, и попытка определить, что принадлежит одному, а что другому, не только бесперспективна, но, по-моему, и неэтична.

Но проклятый вопрос вернулся ко мне через окно, как только я взялся за эти воспоминания. Ведь, как бы там ни рассуждать, мне было велено вспоминать только об одном из братьев, второй, слава Богу, жив. Волей-неволей я тоже попытался их разделять. И, по-моему, из этого занятия у меня ничего не вышло...

Замечали ли вы, что биография писателя заканчивается на выходе его первой книги. До этого момента у человека еще существует личная жизнь, индивидуальная судьба... Все знают, где он родился, где учился, кем были его родители, эвакуировался ли во время войны и служил ли в армии... Но вот выпорхнул из типографии первенец, и дальнейшая судьба писателя растворяется в его книгах. Конечно, сочинители продолжают ездить, путешествовать, жениться, разводиться, но все это становится нам интересным только, если каким-то образом преломилось в судьбе их произведений.

Впрочем, о начале писательской карьеры, а заодно и о его тогдашней оценке своих первых книг я могу рассказать словами Аркадия, сохранившимися в моем блокноте. (Я брал у него интервью для немецкого журнала.) Привожу их не потому, что в них таятся неизвестные факты, а потому, что это его собственные слова.

«Фантастику мы с братом любили с раннего детства. Сначала втянулся я, а потом соблазнил и Бориса. Наш отец в юности тоже увлекался Жюлем Верном, Уэллсом, и эта любовь перешла к нам. Жюль Верна я проглатывал уже лет в семь и принялся сам рисовать комиксы на фантастические темы. Но хороших книг в те годы выпускалось мало, дома были подшивки старых журналов, читались они с жадностью, многое нравилось.

Потом началась война. С февраля 1943 до середины 1955 — тринадцать лет я прослужил в армии, большей частью на Дальнем Востоке

как переводчик с японского. Обстановка тех мест описана в повести «Извне». Когда я вернулся к родным в Ленинград, я уже был автором, вернее, соавтором с ныне покойным Л.Петровым повести «Пепел Бикини»; это была не фантастика, а о чем книга, понятно из ее названия. Согласно семейному преданию первую фантастическую повесть мы с братом сочиняли на спор, подзадоренные моей женой, которая выразила сомнение, в состоянии ли мы написать интересно про путешествие на Венеру. Как человек военный я поставил жесткие сроки — так родилась «Страна багровых туч». Конечно, нас очень вдохновило, что первая же наша книга получила премию Министерства Просвещения. Вот с той поры процесс и пошел... (Письменно подтверждаю, что приоритет в произнесении этого афоризма принадлежит не Горбачеву. — В.Р.)

— А когда вы решили, что можете назвать себя профессионалами?

— Не решение, а ощущение этого пришло года три-четыре назад. (Разговор этот происходил в начале 80-х годов. — В.Р.)

— Так поздно?

— Да. Теперь я могу сказать: с вами говорит писатель Стругацкий, а до этого всегда говорил: с вами говорит литератор Стругацкий...

Хотя мы с самого начала ставили перед собой задачу оживить героя в фантастике, сделать его человечным, наделить истинно человеческими качествами, тем не менее очень большое место в «Стране багровых туч» занимает научно-техническая идея, можно даже сказать, что она и была главным героем. Масса мест там отведено бессмысленному, как нам теперь кажется, обоснованию возможности полета на Венеру: фотонная тяга, всевозможные приспособления для передвижения на иных планетах, спектролитовые колпаки и т.д. Мы собрали также все известные нам сведения о Венере, стараясь описать планету такой, какой ее представляла в те времена наука. А если и были фантастические допущения, то они тоже отвечали тогдашней моде — трансурановые элементы, след удара метеорита из антивещества и тому подобная чепуха...»

Известно, что, готовя свое первое собрание сочинений, Стругацкие не хотели вставлять в него «Страну...» Но мы можем расценить авторскую оценку первого романа слишком суровой. «Страна багровых туч» и сейчас читается как добротный приключенческий роман, в котором, конечно, привлекает поведение героев, а не избыток научных сведений.

Но от науки в романе все же никуда не денешься. Я столько раз иронизировал над эпитетом «научная», что может сложиться впечатление, будто я вообще не считаю науку существенным элементом современной фантастики. Вот что говорил по этому поводу старший из соавторов: «Хотя

в нашем дальнейшем творчестве наука играет чисто вспомогательную роль, тем не менее она присутствует в каждом произведении. Ее и не может не быть, ведь мы живем в эпоху НТР, мы все-таки люди своего века. Действие наших повестей, как правило, происходит в достаточно отдаленном будущем, а там всевозможные научно-технические чудеса станут совершенно обыденным явлением, наука станет движущей силой экономики и быта будущего. К проблеме, которую мы затрагиваем, все это никакого отношения не имеет, но это не значит, что писатель-фантаст может позволить себе быть невеждой. Наши познания в сегодняшней науке достаточно солидны, особенно у моего брата, астронома по специальности, мы в состоянии легко оперировать научными данными, изобретать фантастическую терминологию и не делать просчетов по безграмотности...»

«Фантастику часто называют жанром, темой, особым видом литературы... Фантастика — это не жанр, не тема, фантастика — это способ думать, она позволяет создавать такие ситуации в литературе, которые я не могу представить себе иначе. Человечество волнует множество глобальных, общечеловеческих, общеморальных забот. Как их перевести на язык литературы? Можно написать трактат, но в трактате не будет людей. Ну, а раз появились люди, то и задачи фантастики приближаются к общелитературным, или — как любили говорить раньше — к человековедению...»

Однако Стругацкие не стали бы большими писателями, если бы вовремя не поняли, что не только допотопная, рассчитанная на питекантропов фантастика беляевского типа (с ней все ясно), но и новая, родившаяся прямо на наших глазах, вдохновленная «Туманностью Андромеды» и оттепелью и призвавшая под свои штандарты много новых молодых сил, все же и она, говоря казенным языком, не отвечает духу времени. Интересно, правда, отметить, что не только эта новая фантастика, но и ефремовская утопия, задуманная как реабилитация коммунистической доктрины, произвела на многих впечатление террористического акта, настолько дремучи были господствующие представления.

У «новой волны» было много достоинств, она сразу стала всеобщей любимицей, она с маху принялась разрушать догмы, утверждавшиеся десятилетиями и казавшиеся священными и неприкосновенными. Она познакомила нашего читателя с новейшими научными, а тайком даже и с философскими теориями, наконец она по большей части была просто хорошо написана, и не шла ни в какое сравнение с графоманскими упражнениями всяких там «ближних прицелов».

Но и в новой фантастике (включая в нее и первые произведения Стругацких) был существенный недостаток: к тому кардинальному клокотанию, которое подспудно происходило в нашем обществе, она имела в лучшем случае косвенное отношение. Ошиблась она и в самооценке: большинство фантастов было убеждено, что она (или они, если хотите) были детищем пресловутой НТР — научно-технической революции; нашлись и теоретики, которые яростно защищали этот тезис, например, Г.Альтов, А.Днепров... На самом деле научный антураж был всего лишь маской, правда, в некоторых безнадежных случаях приросшей к лицу. Новая фантастика была рождена прежде всего новой политической атмосферой, которая стала складываться в стране после XX съезда КПСС. А раз так, то и ее сверхзадачей было включиться в эту атмосферу, в противном случае ей снова грозила участь прозябать на затянувшихся вторых ролях в списках для внешкольного чтения. Вспомним, какой резонанс вызывали романы Дудинцева, Гранина, Абрамова, «окопная правда» Бакланова и раннего Бондарева, даже нарицательная «Оттепель» изменчивого, как Протей, Эренбурга, первые стихи Евтушенко, первые песни Окуджавы и Галича... Ничего подобного в фантастике еще не было. Стругацкие поняли это первыми. Аркадий как-то сказал мне в начале 60-х годов, что, хорошенько подумав, они с братом пришли к убеждению, что тот путь, по которому они шли до сих пор — дорога в никуда. (Многие не поняли этой истины до сих пор и, вероятно, не поймут никогда.) Мне бы, конечно, очень бы хотелось заменить точку на запятую и как бы небрежно добавить: «а может быть, это я сказал ему об этом». Но, как всем известно, бог мемуаристов (языческий, разумеется) — правда и только правда. Сказал это все-таки он, зато я, ни секунды не поколебавшись, сразу же согласился с ним. Не стану утверждать, что фантасты толпой ринулись за Стругацкими. Для того, чтобы так резко поменять курс, как раз и надо быть Стругацкими. Не могу утверждать и то, что даже те, кто понял их правоту, смогли (как, например, Варшавский или Шефнер) отыскать свой собственный, неповторимый маршрут. Некоторые окончательно прозрели лишь после 1985 года. Но лучше поздно, чем никогда.

Но и Стругацкие не сразу выбрались из Леса так называемой научной фантастики. Сперва они решили перевоспитывать нас на положительных примерах, и принялись сочинять умилительные утопии — «Путь на Амальтею», «Далекую Радугу», «Возвращение», над которым, как мне кажется, они немало помучились, превращая его в более монументальный «Полдень. XXII век». Мне кажется, с утопией у них не вышло, и я мог бы предложить объяснение: почему не вышло, но тогда бы мои заметки

окончательно приобрели бы вид литературоведческой статьи, к чему они и без того стремятся помимо моей воли. Хотя я знаю людей, которым «Полдень» нравится. В энциклопедическом томе «Фантастика» этот роман даже объявлен знаменем-идеалом шестидесятников. Наиболее занятным для меня в этой статье оказалось то, что под ней стоит моя подпись. Клянусь, я этого не писал. По техническим причинам я не сумел снять свою подпись под статьей, с которой во многом не согласен.

Но зато в этом случае я первым успел высказать Аркадию свое мнение. Борису не мог, даже если бы он захотел меня слушать: не так-то часто мне приходилось бывать в Ленинграде, а уж если и приезжал, и мне удавалось встретиться с Борисом, то от радости встречи у меня захватывало дух, и все мои умные критические замечания куда-то испарялись. Но я тешу себя иллюзиями, что на этот раз Аркадий согласился со мной, во всяком случае факт остается фактом: утопический период в творчестве Стругацких закончился в «Полдень». Но еще до того, как вышел в свет переделанный «Полдень», братья выпустили в свет роман, который я и до сих пор считаю их лучшей книгой, а может быть, и одним из лучших произведений всей мировой фантастики. Я имею в виду «Трудно быть богом», помеченный 1964 годом. Вот это было произведение, которое целиком отвечало моим представлениям о фантастике — о чем ее надо писать, зачем ее надо писать и как ее надо писать. Разумеется, Стругацкие обошлись без моих советов, я даже не знал, что они пишут эту повесть; «Трудно быть богом» было одним из немногих их произведений, которые я прочел не в рукописи, как обычно, а уже в книге, и даже обиделся на Аркадия.

Тем не менее я пришел от нее в такой восторг, что, обнимая Аркадия, решил приподнять его в воздух, результатом чего у него оказалось сломанным ребро. «Часы у меня что ли треснули?» — задумчиво сказал Аркадий, оказавшись снова на полу. Даю честное слово, что, во-первых, я и не подозревал, что при его-то могучей фигуре у него окажется такой слабый скелет, а во-вторых, что я обладаю достаточной силой для свершения подобных вредительских актов. Однако с тех пор я остерегаюсь приподнимать мужчин, даже завершивших гениальные произведения, решив ограничиться своими внуками и то до трехлетнего рубежа.

Авторы цековских записок, о которых пойдет речь позднее, не поняли, а может быть, и не были тогда в состоянии понять, что в повести затронут один из кардинальнейших вопросов существования современного человечества — возможно ли, приемлемо ли искусственное, насильственное ускорение исторического процесса? Они деланно возмущаются: да как же это так — высокоразвитые коммунистические

земляне, стиснув зубы, лицезрят пытки, казни — и не вмешиваются. В одном доносе прямо так и предложено: «Земное оружие могло бы предотвратить страдания несчастных жителей Арканара». Поверим на секунду в искренность этого возмущения и предложим возмущенным, доведя свою мысль до конца, конкретно представить себе ход и результат вмешательства земных «богов». Высаживаем, значит, ограниченный контингент гуманистов-карателей, «огнем и мечем» проходимся по городам и весям Арканара, палачей, аристократов, солдат, подручных — к стенке, к стенке, к стенке! А впрочем, не слишком ли я простодушен? С кем это я веду полемику, пусть и задним числом? Они же так и поступают в реальности, так что моими провокационными вопросами их с места не собьешь. К стенке, и не только сопротивляющихся, но и всех, кто имел несчастье оказаться поблизости!

Не стану напоминать, что мыслимые варианты вмешательства разобраны в самом романе, и что Стругацкие дали единственно правильный ответ — спасать разум планеты, ученых, книгочеев, рукописи, поддерживать ростки просвещения и образования. Ну, постреляем мы угнетателей. А потом — что? Мы еще недостаточно нагляделись на «кухарок», поставленных управлять государствами? Нам недостаточно опыта экспериментов над собственным народом? Тогда вспомним Камбоджу, Афганистан, Эфиопию, Мозамбик, Кубу, Северную Корею... Правда, эти примеры приобрели убедительность уже после появления романа, что, впрочем, и доказывает прозорливость Стругацких.

Братьев слегка поругивали и раньше, но именно со второй половины 60-х началась целенаправленная кампания их травли. Огонь на поражение велся не только по несчастному Румате Эсторскому. Начиная с «Попытки к бегству», практически любая их книга становилась предметом нападок. Сами по себе эти нападки надежно доказывали, что фантастика наконец-то заняла достойное место в движении шестидесятников, а Стругацкие выдвинулись в группу духовных лидеров нашего поколения. У них обнаружилась удивительная способность касаться (может быть, на первых порах инстинктивно) самых больных мест, которые тщательно обматывались ваткой нашими руководителями, так что вовсе не удивительно, что произведения братьев вызывали ярость у идеологических церберов. Травля Стругацких велась по двум, часто пересекающимся направлениям. Один путь был открытым, официально он назывался критикой.

Правда, газетные обличители часто попадали в смешное положение, но ощутить этого они не могли, хотя бы за отсутствием чувства юмора.

Вот, например, редактору журналу «Вокруг света» Сапарину было дано четкое партийное поручение — раздолбать повесть Стругацких «Хищные вещи века». Он, конечно, был не настолько глуп, чтобы не понимать, что в насквозь, якобы, капиталистическом Городе Дураков просматриваются многие черты и нашей жизни, как и в зрелом феодализме Арканара мы без труда могли разглядеть героев нашего прошлого, настоящего и даже — это мы сейчас хорошо понимаем — нашего будущего. Но открыто заявить об этом обличители еще не решались. И бедный Виктор Степанович лез из кожи, чтобы доказать, что такого плохого капитализма, какой предстает перед нами в «Хищных вещах...», существовать не может. Оклеветали его, бедняжку, братья-писатели. На самом-то деле там должны были кипеть жестокие классовые сражения передовых рабочих с беспощадными эксплуататорами. Академик Францев в «Известиях» пошел дальше. Он обрушился на авторов за то, что они обидели еще и феодализм. Вот как он защищал этот — по канонам диамата — прогрессивный в сравнении с рабовладельчеством строй. Академик вроде бы допускал существование феномена фантастики, но был убежден в том, что никакая выдумка ни на йоту не должна отходить от постулатов «Краткого курса». «Картина самого феодализма очень напоминает взгляды просветителей XVIII века, рисовавших средневековье как царство совершенно беспросветного мрака. Как же тогда обстоит дело с законом прогрессивного развития общества?» Трудно сказать, может, он и лукавил, больно уж нелепой выглядит его позиция, но скорее всего был искренен, в те времена обществовед мог попасть в академики только при наличии или — если угодно — при отсутствии определенных нравственных и умственных критериев.

Но все это были цветочки. Ягодки появились тогда, когда в альманахе «Ангара» за 1968 год появилась повесть «Сказка о Тройке». В отличие от всех остальных «критик», я считаю, что на этот раз партийные органы прореагировали на выход повести, с позволения сказать, адекватно. Они правильно угадали в кривых зеркалах пародии собственные физиономии. Отдел пропаганды Иркутского обкома немедля взялся за перо и сочинил «докладную записку» в ЦК КПСС, которая представляет незаурядный филологический интерес, так как в ней были собраны вместе все лингвистические шедевры, с помощью которых наша родная партийная критика расправлялась с нашей родной советской интеллигенцией. «Авторы придали злу самодовлеющий характер, отделили недостатки от прогрессивных общественных сил, успешно (конечно же! — В.Р.) преодолевающих их. В результате частное и преходящее зло приобрело

всеобщность, вечность, фатальную неизбежность. Повесть стала пасквилем». А дальше уже без церемоний: «идейно ущербная», «антинародна и аполитична», «глумятся», «охаивание». «Прячась за складки пышной мантии фантастики, авторы представляют советский народ утратившим коммунистические идеалы...»

Сейчас-то мы понимаем, что в «Сказке...» Стругацкие нанесли удар по самой системе. Но в те годы, боюсь, даже авторам представлялось, что они сражаются только с ее извращениями. Они (и мы) еще не знали, что система называется административно-командной, что ее надо разрушить до основания, дабы в нашей стране могло начаться какое-либо «затем», что «мероприятие» это окажется невероятно трудоемким и что при жизни по крайней мере одного из авторов оно не завершится.

Впрочем, может быть, я и недооцениваю проницательности Стругацких, о чем говорит история с эпиграфом к повести, который был в ней с самого начала (я сам его видел), но в печати появился только в 1987 году. Я считаю этот эпиграф одной из самых удачных их находок. Вы помните, конечно, что Тройка у Стругацких — это разновидность ревтрибунала, а эпиграф, естественно, был из Гоголя: «Эх, тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал?» Каждый знает продолжение этих слов. Выводы нетрудно сделать самостоятельно. Первые публикаторы «Тройки...» были людьми мужественными, они прекрасно понимали, какие «оргвыводы» последуют за их дерзкой выходкой. И, к сожалению, не ошиблись. Альманах прикрыли, редакторов разогнали с волчьими билетами. А вслед за запиской Иркутского обкома появился еще целый ряд аналогичных документов, исходящих уже из «самого» ЦК. Стиль их мало отличался от стиля иркутян.

Аркадий искренне веселился, зачитывая выбранные места из переписки с друзьями. Конечно, эти документы были секретными, они обнародованы только сейчас. Но тем не менее и тогда в самых компетентных органах находились доброжелатели, благодаря которым мы своевременно знакомились с этими эпистолами... А может быть, только делал вид, что веселится, хотя Аркадий был не из тех людей, которые напяливали на себя маску. Он всегда думал, что говорил, но всегда говорил, что думал. А вот мне почему-то было несмешно. Как не было смешно и несколько лет назад, когда вышеупомянутые докладные решил опубликовать журнал «Знание — сила» и предложил мне прокомментировать их. Я с большим удивлением и с еще большим разочарованием увидел, что многие из этих документов подписаны именем человека, которого я начал уважать задолго до начала перестройки, —

А.Н.Яковлевым.

Комментировать их без ведома Яковлева я счел для себя неприемлемым, и журнал устроил мне встречу с Александром Николаевичем. Он прочитал одну или две записки, тяжело вздохнул и сказал: «Боже, сколько же ерунды мы тогда понаписали. Но историю, увы, не исправишь. Печатайте! Только вы не думайте, что каждая из таких записок равнялась постановлению секретариата ЦК. Многие из них, к счастью, писались только для галочки и ложились под сукно, чтобы мы могли со спокойным сердцем сообщить наверх, что меры по сигналам общественности приняты».

В общем-то я знал это и раньше, как знал и то, что не меньше было и «указов прямого действия», за их появлением следовали выговоры, снятия и исключения... Но и те, и другие служили, с позволения сказать, правовой базой для идеологических экзекуций. Иногда — в непосредственной форме, например, путем снятия стружки с главных редакторов — грубой плотницкой операции, регулярно и публично проводившейся в кабинетах на Старой площади. Иногда — втихаря, ведь документы никогда не обнародовались. И часто оставалось только гадать, почему книги вылетали из планов, почему запрещались и даже прерывались публикации в периодике, почему те или иные немилости обрушивались на головы авторов и издателей.

Но как Аркадий ни веселился, читая этот подзаборный лай, я видел, что даром вся эта кампания для него не проходит, и он начинает по-настоящему нервничать и злиться. Ведь если уж говорить серьезно, то даже самые резкие сатирические выпады в той же «Тройке...» рождены, разумеется, не шизофреническим стремлением «охаять» и «очернить», словечками-кастетами, изготовленными в тиши парткабинетов, а самыми положительными намерениями, болью за свою родную страну.

Помню, Аркадий рассказывал, как, устав жить в обстановке открытого и скрытого недоброжелательства, он, может быть, с изрядной долей наивности, напросился на прием к секретарю ЦК КПСС П.Н.Демичеву, был вежливо принят и внимательно выслушан. «Аркадий Натанович, — было сказано ему, — ищите врагов пониже, в Центральном Комитете их нет». Теперь, когда документы ЦК опубликованы, можно судить об искренности этих слов воочию. Да и тогда было нетрудно догадаться... Не помню уж точно, в каком году, где-то в 70-х, в Японии состоялся Всемирный конгресс фантастов, куда Стругацкие получили персональное приглашение. Не забудем, что Аркадий в совершенстве знал японский, он был офицером-переводчиком, участником войны на Дальнем Востоке, не

говоря уже о том, что он был ведущим советским переводчиком японской классической литературы. Но поехал на конгресс «наш» человек, главный редактор журнала «Техника — молодежи», не написавший в фантастике ни слова.

Да, и писателям, и редакторам, и даже иным работникам идеологических отделов приходилось быть осмотрительными, произносить ритуальные речи на партсобраниях, порою жертвовать второстепенным, чтобы сохранить главное — очаги культуры, очаги разума, чтобы спасти людей от расправ. Если угодно, совсем, как посланники Земли на Арканаре. Да и сам Аркадий выглядел в этой среде благородным Руматой Эсторским, который боролся изо всех сил, чтобы вбить в башку своим читателям идеалы справедливости (уж извините за немодные ныне слова), о которых многие (может быть, честнее было бы сказать «мы») имели весьма смутное и искаженное представление. За такие компромиссы расплачивались дорого — инфарктами, жизнью, иногда самоубийствами... Тех же Стругацких очень напористо выставляли из страны, они многим стояли поперек горла.

Одно время слухи о том, что Стругацкие твердо решили махнуть за бугор, распространились весьма широко. Уверен, что это делалось сознательно, чтобы подтолкнуть их к действиям, за которые потом их же стали бы поносить на всех углах. Один раз я даже держал пари с работником Госкино, который с торжественным видом сообщил мне точную дату их выезда. Мне не нужно было звонить Аркадию для перепроверки, ведь я знал братьев лучше, чем работники кинокомитета. Уехать Стругацким из страны было так же невозможно, как Антону-Румате заявить вдруг: заберите меня отсюда, я больше не желаю этого видеть... Вот тогда-то и было заключено пари с месячным испытательным сроком на бутылку коньяка. Бутылку я не без удовлетворения отнес Аркадию. Проигравший товарищ, видимо, искренне прочувствовал свою вину — коньяк был очень хорошим.

Я ничего не имею против уехавших, каждый волен жить там, где ему лучше. Пусть живут. Пусть приезжают в гости — милости просим! Но я отрицаю их право учить нас, как надо жить. Напротив, я думаю, что те, кто остался, как Стругацкие, как Юрий Трифонов, как Алесь Адамович, кто сохранил, несмотря на все чинимые препятствия, своих издателей, своих читателей, кто не предал своих единомышленников (а у Стругацких их были миллионы, особенно среди молодежи), принес стране, народу гораздо больше пользы, больше способствовал разрушению той системы, под обломками которой мы задыхаемся и поныне.

Я уже говорил о тех преследованиях, которым Стругацкие подвергались в 60-70-х годах, но вот пришли новые времена, возникла новая генерация критиков, которые сочли своим первейшим долгом поставить на место неразумных шестидесятников, мечтавших, видите ли, о каком-то социализме с человеческим лицом, вместо того, чтобы незамедлительно и с гримаской отвращения отряхнуть его прах со своих ног. Ах, как легко так думать, и — главное — так писать сегодня. И вот в двух «толстых» и кстати вполне прогрессивных журналах — «Новом мире» и «Знамени», ранее в упор не замечавших никакой фантастики, одновременно появились две большие статьи, в сущности сомкнувшихся с партийными разносами прошлых лет, хотя на первый взгляд они написаны с других позиций. Но крайности сходятся. Если раньше писателей уличали в недостаточной, что ли, коммунистичности, то ныне выясняется, что они были чрезмерно коммунистичны. Автор последнего утверждения исходил из предположения, что все их произведения — часть единообразной утопии, нечто вроде скопления небольших «Туманностей Андромеды» и, понятно, был недоволен тем, что утопия получалась какой-то странной, не отвечающей его представлениям. А как же ей не быть странной, если она вовсе и не была утопией. Синхронность выступлений и сходство в умонастроениях никому неизвестных критиков или критикесс снова заставляет предположить единую режиссуру. Я бы не сомневался, что так оно и задумано, если бы меня не смущало реноме этих журналов. Нет, скорее всего дело объясняется проще: весьма своеобразное поколение молодых критиков отличается талантливым пером и отсутствием царя в голове. Их мало заботит, что и для кого они пишут (а впрочем, ясно — для собственного удовлетворения). Но главные редакторы все же должны были за них подумать. Как бы то ни было, я уверен, что появление этих статей ускорило смерть Аркадия.

Однако времена уже были не те — замолчать Стругацких не удалось, подорвать читательскую любовь к ним тоже. В отличие от Булгакова авторам удалось дожить до того дня, когда та же гонимая некогда «Сказка...» была напечатана — в молодежном журнале с полуторамиллионным тиражом. (Тираж «Ангары», между прочим, был всего 3000 экземпляров.) А вот дожить до выхода хотя бы первого тома собрания сочинений у себя на родине Аркадию Стругацкому не довелось.

К моему сожалению, в 80-х годах, когда с выходом каждой их книги я все больше и больше убеждался, какое это незаурядное явление в русской культуре — братья Стругацкие, мы стали встречаться реже. С легкой руки моей, тоже покойной уже жены, кстати, постоянного и пробивного

редактора их сочинений в журнале «Знание — сила», где Стругацких печатали даже в те годы, когда их не печатали больше нигде (я до сих пор не могу понять, как это знаньевцам удалось тогда опубликовать «Миллиард лет до конца света»), мы с ней не только заочно, но и непосредственно стали называть Аркадия классиком. Он охотно откликался. Должно быть, понимал, что мы не шутим.

Но работали братья так же напряженно, а здоровье Аркадия становилось все хуже, хотя он по-прежнему вскидывался, как только до него доходили слухи об очередной пакости, которую затевали против них и фантастики в целом два комитета — Госкино и Госкомиздат. Объяснить их действия — даже по меркам того времени — невозможно. Почему, например, не был разрешен к постановке идеологически безупречный, антимилитаристский «Парень из преисподней»? Почему «Трудно быть богом» было отдано на откуп западногерманскому режиссеру? (Хотя я и не согласен с Борисом, считающим работу П.Флейшмана неудачной.) Только потому, что его авторами были Стругацкие... Точно так же можно спрашивать: почему Евтушенко не позволили сыграть роль Сирано де Бержерака, почему Шукшину запретили поставить «Степана Разина», почему много лет лежал на полке «Андрей Рублев» Тарковского... Ну, не любило Госкино слишком самостоятельных художников...

С Госкомиздатом дела обстояли проще — там прежде всего дело было в конкуренции, а работники комитета сами хотели иметь навар с изданий. Так как бумаги в эпоху всеобщего дефицита постоянно не хватало (а сейчас оказалось, что в стране ее сколько угодно), то главная редакция художественной литературы без всякой колебаний отдавала предпочтение очередному собранию сочинений Казанцева и другим духовным единомышленникам. А Стругацкие так и не дождались своего собрания сочинений, пока не появились частные издательства, хотя даже в Америке вышел их двенадцатитомник.

Мы иногда отводили душу на тусовках в Союзе писателей, где у Аркадия было немало сторонников, а противники, напротив, побаивались приходить, скажем, на заседания Совета по фантастике. Там мы могли отважно принимать грозные реляции, например, о немедленном изменении редколлегии 25-томной «Библиотеки всемирной фантастики». Но это были пирровы победы, потому что в конечном счете решения принимались в том же Госкомиздате и в кабинетах тогдашних секретарей Союза, большинство которых состояло из старых маразматиков-графоманов, с таким блеском — без всякой фантастики — изображенных в «Хромой судьбе». Вот тут пальму первенства, видимо, действительно надо отдать Аркадию: в

Ленинграде таких монстров, мне кажется, не было. А может, я и ошибаюсь...

Против них стеной стояла вся государственная и партийная махина. Но все-таки они победили. Несмотря на все препоны. Любой писатель может только мечтать о таком читательском успехе. И даже в кино, хоть один раз, но им все-таки повезло. По их сценарию был поставлен «Сталкер», на мой взгляд, лучший фантастический фильм всех времен и народов. С ним даже нечего сравнить. (И здесь я опять не согласен с оценкой этого фильма ни Станиславом Лемом, ни Борисом Стругацким. Я не вижу в нем ничего мистического, зато там очень много выстраданного и человеческого.) И хотя автором этого гениального фильма (помнится, Аркадий тоже так называл и фильм, и режиссера) справедливо считается Андрей Тарковский, но когда я слышу с экрана отчаянные монологи героев, то отчетливо различаю хорошо мне знакомые интонации Бориса и Аркадия.

Пока мы живем, мы непростительно мало думаем о том, какой в сущности короткий срок отпущен нам на общение с друзьями и как бездарно мы его растрачиваем. Однажды, может быть, не в самую веселую минуту, Аркадий сказал мне: «Севка, ты не приходи на мои похороны. И не обижайся, если я не приду на твои, если ты вдруг рухнешь с дуба раньше меня. Только это маловероятно. Я все-таки постарше тебя, да и сердечко пошаливает. Вот мы сейчас сидим за рюмахой, и нам хорошо. А прочувственные речи, венки, панихиды — это не по мне. Помнить — помни, а остальное мне не нужно...»

Прости меня, Аркадий, эту твою волю я не выполнил. Я был на твоих похоронах, и плакал у твоего гроба, потому что это единственное утешение для оставшихся в живых. Как плачу и сейчас, дописывая эти строки, потому что я уже стал старше тебя, как давно уже стал намного старше моих сверстников, моих добрых знакомых — Тоника Эйдельмана, Юры Казакова, Димы Биленкина, Роберта Рождественского, Юры Ханютина... Но я вовсе не собирался доживать свою жизнь без них...

Теоретически я отлично понимаю, что в настоящих мемуарах полагалось бы дать духовный портрет покойного, описать его внутренний мир, его беспокойный и бесконечно добрый характер... В романе «Волны гасят ветер» авторы вспоминают любимого героя своих ранних повестей Леонида Горбовского, который всегда придерживался такой морали: «Из всех возможных решений выбирай самое доброе». Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и, уж конечно, не самое эффективное — самое доброе! Он никогда не говорил этих слов, и очень ехидно прохаживался насчет тех своих биографов, которые приписывали

ему эти слова, и он наверняка не думал этими словами, однако вся суть его жизни — именно в этих словах». Это про тебя, Аркадий...

Но, как мне представляется, с психологией не справляются многие признанные писатели. Какой же спрос с критика...

Мариан ТКАЧЕВ
Об Аркадии Натановиче Стругацком

Я — человек, выросший в Одессе, где встречают, принимают и провожают по одежке, изумился, увидав человека, который, имея на своем теле ковбойку и заурядные отечественные брюки, выглядел по-дворянски. Точно такое же впечатление произвел он и в не Бог весть каких джинсах, трикотажной рубашке цвета хаки и куцей непромокаемой куртке, окраской напоминавшей только что вылупившегося цыпленка (тут я, правда, вспомнил, на Дальнем Востоке желтый цвет — императорский).

Да, он изумил меня и в первый, и во второй раз. И не столько своими одеждами, но и личными качествами: высокий рост, мощная стать, крупные правильные черты лица — вылитый бюст римского легата, недавно принявшего легион и ждущего первых триумфов; прическа человека, который никогда не узнает (на собственном опыте), что такое плешь. Итак, он изумил меня вдвойне. Нет, втройне! Мне шепнули на ухо его фамилию: «Стругацкий...» А огромное изумление не может не отшибить память. Интересно: он тоже не запомнил дату нашего знакомства. Не то что день или месяц — год! Возможно, оттого, что я слишком много внимания уделял тогда одежде? И фамилия была не та — «Ткачев...» Даже народник, переписывавшийся с Энгельсом, не был мне родней. Думаю, он просто меня не заметил.

Но как же мы подружились? И почему? На эти вопросы ни я, ни он не могли ответить. Хотя сам факт дружбы был налицо. И многие люди могли это наше взаимное чувство засвидетельствовать. Такая неясность становилась уже подозрительной. Мы выпили, закусили и заключили джентльменское соглашение: считать годом нашего знакомства 1959-й. Скорее всего, так оно и было. Я к этому времени уже второй год работал в Иностранной комиссии Союза писателей, начал печататься. АН становился знаменит, работал в издательстве. Было много общих знакомых и мест, где мы могли «пересечься». Но бог с ней, точной датой. Я сразу ощутил некую тягу к общению с АН. В какой-то мере (наверняка, меньшей) нечто похожее чувствовал и он. Когда АН уже слег, мы общались больше по телефону.

Особенно, если выдавался погожий день. Светило солнышко и рождалась надежда: может все еще обойдется, снова будем встречаться...

Когда АН уже не стало, у меня еще долго в «золотые» утра тянулась рука к телефону — набрать его номер. С горечью вспоминаются слова из интервью АН, напечатанного в «Даугаве»: «...Мне не от чего защищаться... От смерти не защитишься все равно...»

Если сделать ненаучное допущение, что Природа (Творец) экспериментирует, пытаясь создать «совершенного человека», моделирует, что ли, — АН представляется мне как некий вариант искомого. Огромный, сильный, красивый, кладезь премудрости, талант, душевное благородство... И все это соединялось в нем естественно, органично. Никакой не чувствовалось нарочитости, позы. Манеры его, казавшиеся иному «старомодными», были, вспомню пушкинские слова, «рыцарской совестливостью». Он был человеком чести, неспособным на отступничество, сделку с совестью. Уважением его я особенно дорожил.

Я был моложе АН, иной раз возникали соблазны: карьера, прельстительные блага... Для обретения их требовалось вступить в партию, чем-то поступиться — существенным. И всякий раз в подобной ситуации я вспоминал эпизод из «Трех мушкетеров» (мы с АН, оба, любили эту книгу и знали чуть ли не наизусть), когда кардинал Ришелье предложил д'Артаньяну чин лейтенанта в своей гвардии и командование ротой после кампании. И гасконец едва не согласился; но, поняв, что Атос после этого не подал бы ему руки, устоял... Не смею равнять себя с героем Дюма, но раз-другой опасенье утратить дружбу АН удерживало меня от неверного шага. Хотя сам АН говаривал нередко: «Друг не судья, а адвокат». Умел прощать какие-то промахи и слабости. Но я понимал, речь шла не о всепрощении. Он был, если можно так выразиться, талантливым другом. Всегда безошибочно угадывал постигшую близкого человека беду, находил способ помочь, ободрить.

Помню, двадцать лет назад, после развода со всеми «отягчающими обстоятельствами», я, уверенный, что потерял навсегда сына, вот-вот лишусь дома и прочее, впал в мрачную меланхолию. Пытался писать — впустую, сидел почти без гроша, не мог ни с кем общаться. Вдруг позвонил АН и спросил:

— Что поделываете, вашество?

— Ничего, все из рук валится. Хоть в петлю лезь.

— Ну, — сказал он, — с этим можно и подождать. А знаете, какое нынче число?

— Черт его знает...

— Так вот, сегодня двадцать восьмое мая, день вашего тезоименитства. Извольте побриться и быть у меня через два часа.

Отказы, увертки не помогли. Я поехал на проспект Вернадского. Войдя в дверь, обомлел: за накрытым столом сидели друзья. АН, усадив меня рядом, произнес спич (он всегда это делал мастерски) и преподнес отпечатанную на машинке книжицу. На переплете выведено было: «Сказка о Тройке»...

Возглавив дружеский комплот, АН начал кампанию по «выбиванию» для меня жилья. Ходил в Секретариат СП, составлял петиции, подводил мины и контрмины. Для себя самого он ничего подобного не предпринял бы...

Поздней осенью 1975 года, перед долженствовавшим собраться в апреле 1976-го XXVI съездом КПСС, Московской писательской организации был предоставлен купейный вагон, которому предстояло пересечь всю страну от Бреста до Владивостока. Его прицепляли к разным поездам и отцепляли в намеченных заранее городах, где он, подобно известному бронепоезду, стоял на запасном пути, а московские литераторы встречались с читателями, посещали предприятия, вузы и т.п., дабы «собрать материал». Предполагалось после вагона создать коллективный сборник в подарок съезду. Нашлись энтузиасты — преимущественно из «патриархов», — проехавшие весь маршрут. Но большинство литпассажиров менялось поэтапно. Мы с АН были в группе последнего этапа (Центральная Сибирь — Тихий океан). Поездка получилась интересная. Я думаю, для АН было очень важным общение с читателями. Вопреки ухищрениям и прямым запретам со стороны союзписательского и издательского начальства, книги братьев Стругацких читали и любили. Люди протягивали АН зачитанные, обтрепанные книжки с просьбой оставить автограф. Расспрашивали о творческих планах, о напечатанном. Вопрошали, сетовали, гневались... Читатели отстаивали свое законное право — самим определять свой круг чтения. Показывали копии писем в издательства, в «инстанции» и невразумительные ответы. И происходило это в самых разных аудиториях: в актовых залах институтов, научных центрах, на погранзаставе... Читатели приглашали АН в гости, приносили подарки. Я тогда увидел впервые перепечатанных на машинке «Стажеров», «Трудно быть богом»... Потом уже довелось подержать в руках подобный «самиздат» и в Москве. Знаю семью, где муж с женой «пополам» отпечатали «Улитку на склоне». АН просил отдать ему этот манускрипт, но тщетно.

Помню негодование моего друга и доброго приятеля АН поэта

Луконина, когда он, будучи секретарем СП, обнаружил в рекомендательном списке для издательств вычеркнутые книги Стругацких. Издательскими делами в СП, если не ошибаюсь, вершил Сартаков, сохранивший, разумеется, в планах свои собственные творения. Неудовольствие литературных вождей вызвала в свое время и справка об изданиях наших писателей за рубежом, где чуть ли не первое место занимали книги братьев Стругацких.

Творчество Стругацких, по моему убеждению, в шестидесятые, семидесятые годы, да и восьмидесятые отчасти, было существеннейшим явлением не только литературной, но и всей нашей духовной жизни. Оно оказало немалое влияние на формирование убеждений целого поколения, а может даже и не одного. И не удивительно ли, что книги, написанные братьями Стругацкими, так и не нашли по сей день должного осмысления и оценки. А редкие «выбросы» критической мысли (даже на страницах таких почтенных изданий как «Новый мир» и «Знамя») отличаются предвзятостью, смутным представлением об истинном назначении и свойствах фантастики и тем, что именуется «подменой тезиса» и в старину еще сугубо порицалось философами. Как тут не вспомнить слова АН о том, что отсутствие критики им с братом даже помогало!..

Ну, а в последнее время публикация для самих критиков все чаще просто повод повыпендриваться на заданную тему и блеснуть изысками стиля. Критики эпатируют других критиков. Рождается некая эзотерическая отрасль словотворчества. Критик может больше не читать книг, не смотреть спектаклей и т.д. Я убедился в этом на «круглом столе», устроенном не так давно «Литературной газетой» после выхода в издательстве «Текст» 12-томного собрания сочинений братьев Стругацких. Там я узнал, например, что произведение, в коем наличествует звездолет, суть «сказка», а фантастика — род сочинительства, утоляющий, в первую очередь, развлекательные и предметно-познавательные потребности «человека читающего»...

Но это еще полбеды! На основании просмотра библиографии изданий книг А.Н. и Б.Н.Стругацких просвещенные молодые люди вынесли приговор: вышеназванные авторы — обычные процветающие (sic!) советские писатели. (Правда, в опубликованном «ЛГ» отчете все выглядит пристойнее. Там также сказано, что во время выступлений В.Бабенко и моего выходил из строя магнитофон.)

Значит, не было ни замалчивания творчества Стругацких, ни исключения их книг из издательской практики, продолжавшегося годами, ни клеветы и шантажа, ни «выдавливания» писателей Стругацких из

страны. Поскольку о моей дружбе с АН было, так сказать, широко известно, меня тогда то и дело спрашивали: правда ли, что АН и БН уезжают? Уже уехали? А самые «осведомленные» называли даже адреса в Израиле или США. Не случайно ведь на состоявшемся в ту пору в Политехническом музее литературном вечере, посвященном фантастике и детективу, АН, получивший множество записок из зала (попадались и вопросы «щекотливые»), сказал во всеуслышание: «Я пользуюсь случаем. Ведь здесь собралось столько заинтересованных читателей наших с Борисом книг. И заявляю, что русские писатели Аркадий и Борис Стругацкие никогда никуда из своей страны не уедут!..» Зал разразился аплодисментами.

А попытка опубликовать в «Комсомольской правде» фальшивку, под которой стояли подписи АН и БН, скопированные на ксероксе с издательского договора — это тоже из жизни «процветающих типичных советских писателей»? Или облыжные рецензии на книги Стругацких — симбиозы пасквиля с доносом? Важной составляющей бытия процветающих советских писателей являлись заграничные вояжи: участие в многоразличных форумах, творческие командировки, выезды на отдых и лечение... На имя АН приходили десятки приглашений из разных стран, о каких-то он, возможно, и не знал. Причем приглашения, как правило, деловые: издания переводов, встречи с коллегами, читателями. Все эти приглашения не были реализованы. (Объективности ради замечу, что АН в составе делегации СП СССР выезжал в Прагу на мероприятия, посвященные памяти К.Чапека (если не ошибаюсь, в 60-е годы). Там он впервые встретился с С.Лемом. Думаю, это было 75-летие со дня рождения Чапека.) Запомнился мне комический вариант: АН был приглашен в Японию, где его знали не только как выдающегося писателя-фантаста (книги Стругацких переводились на японский язык), но и как прекрасного переводчика японской литературы; вместо АН в Японию поехали несколько фантастов во главе, если мне не изменяет память, с В.Д.Захарченко. Говорят, велико было изумление вежливых японцев...

Когда на исходе 80-х годов АН получил очередное приглашение на Международную встречу писателей-фантастов, собиравшуюся на сей раз в английском курортном городе Брайтон, он уже сам не пожелал ехать. Сменившемуся к тому времени руководству Инкомиссии СП пришлось приложить немало усилий, дабы его переубедить. Роль уговорщика досталась и мне. Сам я к тому времени в Инкомиссии давно уже не работал, просто мне очень хотелось, чтобы АН посетил туманный Альбион, куда собирались многие интересные и любезные его сердцу

люди. Разумеется, был приглашен и БН. Весьма рад, что эта поездка состоялась. Да и сам АН остался премного доволен. Насколько комфортно он там себя ощущал, свидетельствует рассказанная им история. В ресторане их отеля официантка никак не могла понять, кто они, из каких краев. АН запрещал своим спутникам открыть ей истину. И лишь перед отъездом, откушав последнюю трапезу, сказал ей: «Мадам, теперь я скажу вам правду, мы — китайцы». Потрясенная дама уронила поднос.

Самое забавное, что в те дни, когда АН пребывал в Великобритании, один из вождей нашего Союза писателей, придумавший поднять словесное искусство на небывалый уровень с помощью Советов по литературам (и наших, и зарубежных) и, само собою, курировавший это великое начинание, вычеркнул АН из списка Совета по литературам Индокитая, председателем коего меня избрали. «Вы разве не знаете, — грозно вопросил он, — что Стругацкий невыездной?..»

В Совет же этот АН согласился войти, потому что, с моей легкой руки, подружился с несколькими вьетнамскими писателями. Он писал об их книгах. Встречи с ними были для АН источником информации о войне во Вьетнаме, информации, которую трудно было получить из газет и телерепортажей. Когда в 1979 году Китай вознамерился дать вьетнамцам «урок», после ввода вьетнамских войск в Камбоджу (хотя это был тогда, наверно, единственный путь избавления многострадального народа от полпотовского людоедского «социализма»; АН был тут со мной согласен), шли бои на северной границе Вьетнама, в Москву приехал друг АН, прекрасный прозаик То Хоай. АН, пригласивший То Хоая к себе, велел мне прихватить большую карту Вьетнама. Оба, хозяин и гость, как штабные стратеги, водя по карте указкой, анализировали ситуацию. АН напечатал рецензии на два переведенных у нас соответственно в 1973 и 1980 годах романа То Хоая («Западный край» и «Затерянный остров»). По второй книге, — это была часть исторической трилогии, построенной на древних легендах, — мы с АН вознамерились написать телесценарий и, вскоре после выхода ее в свет, подали заявку на имя председателя Гостелерадио С.Г.Лапина. План был грандиозный: совместный с Вьетнамом сериал с тропическими и археологическими кунштюками. Но телевизионный наш вождь «не счел»...

Еще один друг АН Нгуен Динь Тхи, руководивший в те годы Союзом писателей Вьетнама, не раз просил секретарей нашего СП включить АН в делегацию советских писателей, выезжавших в СРВ (по условиям культурных соглашений между соцстранами, персональный состав делегаций определяла направляющая, а не принимающая сторона),

конечно, сделано это не было. АН написал предисловие к пьесе Нгуен Динь Тхи «Видения», в свое время запрещенной вьетнамской цензурой, другая его пьеса была снята с репертуара после первых представлений. В предисловии АН обыграл этот парадоксальный факт: официальный руководитель Союза писателей — запрещенный автор. Дружил он и с вьетнамским «живым классиком» Нгуен Туаном, и с прекрасным знатоком и переводчиком русской литературы Фам Винь Кы...

АН всегда, по моем возвращении из поездок во Вьетнам (особенно в годы войны) «интервьюировал» меня. Кое-какие сведения потом использовал в их работе с БН. Так, в «Парне из преисподней», по словам АН, пригодились некоторые «военные» детали. Заинтересовал его и мой рассказ о поездке в район боевых действий на северной границе Вьетнама (1979 год) и привезенные для него фотоматериалы. То же самое можно сказать и о командировках моих в Лаос и Камбоджу...

Вернусь к нашему с АН путешествию во Владивосток. Там были интересные встречи с учеными под дружеским патронажем океанолога и барда А.М.Городницкого, приплывшего во «Владик» на своем «Витязе». Венцом обещало стать посещение этого «корабля науки». Но АН решил закончить «свой поход» в другом пункте Тихого океана. Он надумал посетить Камчатку, где 20 лет назад проходила его военная служба. И сколько я ни твердил ему, что «Двадцать лет назад» давно написаны Дюма-отцом, он оставался непреклонным. Пассажирская навигация к тому времени закрылась. Но начальство Дальневосточного пароходства, восхищенное явлением АН и умиленное моим очерком о мужестве моряков-дальневосточников, совершавших рейсы в воюющий Вьетнам (его напечатал за несколько лет до этого журнал «Коммунист»), — начальство подыскало для нас «оказию» на уходившем в Петропавловск сухогрузе. До отплытия к нам был прилеплен один из сотрудников пароходства вместе с микроавтобусом японского производства. Мы славно поездили по Владивостоку. Но более всего запомнились мне споры АН с нашим сопровождающим, который был убежден: человечество переживет ядерную войну, главное — нанести врагу первый удар (упреждающий). Боюсь, АН не сумел его переубедить. Переход по довольно-таки бурному Тихому океану весьма впечатлил АН. Но одно, мне кажется, его потрясло. Уже недалеко от входа в Авачинскую губу судно наше застопорило ход, дабы не мешать выходу в океан атомной подводной лодки. Она шла на плаву. Было в этом творении человеческих рук нечто от допотопного хищного ящера. Двигалась субмарина быстро и бесшумно. Рассветные лучи солнца окрасили ее в какой-то, не имеющий определения, цвет. Крепко сжав мою

руку, АН провожал ее взглядом, молча...

Много времени провел он в беседах с моряками, запросто наведывавшимися к нам в каюту. До этого он навряд ли представлял себе достаточно ясно трудности в их работе и житейские сложности. Когда мы пришли в Петропавловск, нас встретил секретарь тамошней писательской организации, насчитывавшей, если мне не изменяет память, семь или девять человек. Он помог нам устроиться в гостинице. Потом мы втроем спустились в ресторан, и он искренне удивился, когда мы с АН заплатили за выпивку и обед. Как мы поняли, столичные гости (по традиции) обычно не раскошеливались. Непонятным образом слух о нашем приезде распространился по городу. Журналисты, ученые, почитатели таланта АН взяли над нами опеку. Город выглядел, надо сказать, весьма провинциальным, чуть ли не допотопным. Хотя АН так и не удалось отыскать застройку двадцатилетней давности. Должно быть, расстроенный этим, он возложил на меня ответственность за легкие сейсмические всплески по утрам, требуя, чтобы я перестал трясти отель.

Жилось здесь людям нелегко. Даже рыбаки, возвращавшиеся после лова с большими, вроде, деньгами, отнюдь не благоденствовали. В городе сложилось тяжелейшее положение с жильем. Государство строило мизер, кооперативных домов практически не было. Индивидуальная застройка за городом была нереальна из-за коммуникаций, климата, сейсмической обстановки. Большинство рыбаков жило в общежитиях, прелести коих описывать нет нужды. Даже отложив деньги, их использовать с пользой было сложно. Не говоря уже о покупке автомашины или ценных товаров, со снабжением города дело обстояло довольно-таки убого. В магазинах толпились очереди. Все названные выше проблемы упирались в «завоз». С «материка» доставлялось все: стройматериалы, техника, оборудование, продовольствие, ширпотреб. Люди постепенно падали духом, теряли надежду, многие мечтали об отъезде на тот же «материк». Кое-кто, не выдержав, спивался. Рассказываю об этом подробно, потому что АН, подавленный увиденным и услышанным, решил написать обо всем. Он, как всегда, хотел помочь. Люди были с ним откровенны, потому что считали: известный писатель сумеет достучаться куда надо, сможет сдвинуть их проблемы с мертвой точки. Насколько я знаю, это было чуть ли не единственное обращение АН к «прямой» или скажу иначе — социальной публицистике. Написанное им, по тем временам, являлось абсолютно непроходимым. Но выхолащивать из него главное АН, естественно, не хотел. Возникали варианты: напечатать не сам очерк, а интервью с АН по поставленным им проблемам и проч. Какие-то контакты по этому поводу

возникали, как мне помнится, с «Литгазетой», кто-то пытался пристроить материал в «Новый мир»... Ничего сделать не удалось.

Эту его эскападу я вспомнил много лет спустя. По телевизору показывали международную встречу ученых, космонавтов, людей, пишущих о космосе. Речь шла о предстоящей экспедиции землян на Марс. Все выступавшие были «за». Возражал им один АН. Он сказал, что пока на Земле не хватает жилья, школ, больниц, многого другого, нам на Марсе делать нечего. Знаменитый американский астрофизик Саган посетовал: мол, у АН недостаточный полет фантазии. Но я уверен, многие зрители правильно поняли АН и согласились с ним.

В известном интервью АН «В подвале у Романа» он признал особенно важным, что они с БН пишут о своих современниках. «Совершенно бессмысленно, — говорил он, — изображать что-то иное...» Надо сказать, о жизни своих современников он стремился составить возможно более полное представление. У меня поначалу вызвали некоторое удивление собираемые им досье (газетные вырезки, фото, выписки из зарубежных журналов). На папках значилось: «Экономика», «Коррупция», «Армия»... Недовольный моим легкомыслием, он частенько давал мне для прочтения собранные им материалы. В конце концов я «проникся» и стал добывать для него редкие газеты и журналы, а с возникновением гражданских свобод и борений тешил его всякими листовками, воззваниями. Когда из-за болезни АН не мог уже посещать писательские собрания в ЦДЛ и прочие веча, он вменил мне в обязанность непременное присутствие на них. Я должен был без промедления являться к нему с отчетом. Если же предполагалось принятие важной резолюции, обращения, всегда уполномочивал поставить подпись и за него. Его интересовало все, даже мелочи, и воспринимал он мои донесения весьма эмоционально. Ценил изложение подробное и ироническое и даже иной раз поощрял всяческими наградами.

Среди самых отрадных дней нашего дружества — совместная семейная поездка в литфондовский Дом творчества в Пицунде. На начало ее пришлась знаменательная, как пишут панегиристы, дата — день рождения АН. Не желая омрачать праздничные встречи долгой ездой в раскаленном от зноя железнодорожном вагоне, АН с женою своей Еленой Ильиничной и внуком Ваней вылетел к месту самолетом. А мы с женой, имея при себе соответствующий запас спиртного и всяческие жаростойкие изделия домашней кухни, кондитерские изделия и прочие деликатесы, поехали поездом. Без ложной скромности свидетельствую: количество и качество экзотических напитков и несравненных яств наш АН (АН здесь не

просто инициалы Аркадия Натановича, но и принятое между нами обозначение с помощью первой и последней букв имени «Амфитрион». Оно для нас символизировало через Мольера и Пушкина прежде всего радушного, щедрого, изысканного гостеприимца) признал достаточным и восхитительным. Через несколько дней прилетела из Москвы дочь АН, Мария Аркадьевна, и доставила накопившуюся почту. Среди деловых и дружеских писем попадались также поносные цидулки — «доброжелатели» АН не дремали. Но золотое солнце, ласковые воды понта Эвксинского, приятное общество заставили АН забыть враждебные выходки. Он плавал в волнах, потом сидел в тени под навесом, принимая от удрученных соседей заявки на подъем со дна морского оброненных и утерянных предметов: очков, резиновых тапочек, шапочек и проч. Дело в том, что у меня были маска и ласты, и я за это оказался произведен в ЭПРОНы. Однако за наши чрезвычайные услуги никто не наливал нам пенистых кубков, не баловал нас, и мы с АН решили дело прикрыть. Последним заходом я случайно извлек из пучины никем не востребованную вставную челюсть. АН прикрепил ее к гвоздю, торчавшему из столбика от навеса. Она походила на дар ex voto. К утру челюсть исчезла. «Нашла хозяина», — сказал АН.

Отрадны были наши поездки в автобусе на городской рынок. Правда, АН ревновал: отчего это продавцы вина и чачи первому предлагают свои услуги мне, а не ему. Мы забредали в окрестные харчевни, случалось, достигали и птицефермы, где веселые поварихи, не ведая о генераторах инфракрасных лучей, готовили дивный гриль. Нам оставалось только запить его красным вином. Плоды садов и бахчей украшали стол. И даже гул сверхмощного кондиционера в доме отдыха «Правды» не омрачал нашей неги и редких творческих порывов. Для полноты счастья нежданно-негаданно завернул к нам погостить на своих «Жигулях» мой одесский кузен Олег с семейством. АН очень его жаловал и любил беседовать о дальних морях и промышленном лове рыбы (Олег плавал механиком по судовой автоматике на «Востоке»)...

Потом в атмосфере, напоенной запахом йода, цветов и хвои, появилось нечто тревожное. На пляж приходили стадом коровы. Поползли слухи о торговцах, подмешивающих в аджику толченый кирпич... Приехали польские писатели и настоятельно пожелали обсудить с АН будущее человечества. Беседа как-то не ладилась. И вдруг АН стал предрекать всевозможные катаклизмы. Под конец он возвестил скорое появление ядерного терроризма, что бомбу могут запросто смастерить студенты-физики или инженеры с помощью усовершенствованной бытовой

техники... Ну, а перед окончанием срока нашего «заезда» решено было устроить в библиотеке литературный вечер — «традиционный» — гласила афиша. АН поддержать традицию отказался. Потом мы с ним, заняв выгодную позицию вовне, слышали, как потряс аудиторию великий публицист Мэлор Стуруа, рассказав, как нью-йоркские акулы пера восхищались его очерками, напечатанными в «Известиях»...

Мы с АН пошли к морю. Там какие-то добрые люди сложили из каменных плит стол и сиденья. Откупорили бутылку марочного коньяка «Одесса», подаренного моим кузеном. АН похвалил коньяк: «Не зря, — сказал он, — Бунин где-то хвалил одесский коньяк. Там еще до революции был знаменитый коньячный завод». «И не один, — уточнил я, — «Золотой колокол», Эльман, Рейфман и Компания»... Помолчав, заговорили о том, что надо бы снова учинить столь же прекрасные вакации. Сделать их тоже «традиционными». Только ничего из этого не вышло...

У АН было замечательное свойство — тяга к игре, мистификации, выдумке. Наверное, оно как-то помогало сохранять себя в сложных, порой мрачноватых жизненных обстоятельствах. Мы с ним долгие годы играли в «Звездную Палату». Потом, когда о ней прослышали друзья, мы сами забыли: позаимствовано ли названье ее от высочайшего лондонского судилища столетья назад мятежников и еретиков? Или эпитет «звездная» означал причастность к небесным сферам, сиянью и блеску? (Кстати, потолок вышесказанного судилища был изукрашен звездами.) Палата, учрежденная в 1970 году, состояла из двух особ — я был провозглашен Президентом ее, АН — Канцлером. Никаких противостояний между законодательной властью и исполнительной не возникало. Был разработан Статут, в коем сочетались начала монархические и республиканские. Властные полномочия Палаты были безграничны и, выходя за земные пределы, простирались на весь Универсум. Любые акты, решения Палаты составлялись собственноручно Канцлером. У меня сохранилась часть этих бесценных автографов: кое-какие указы, рескрипты, Положение о наградах с перечнем и описанием орденов. Исчезли, увы, поздравительные декреты по случаю тезоименитств Президента и Канцлера вместе с Пиршественными картами и проч.

После моего бракосочетания в бумагах Палаты появляется титул «Ее Президентское Величество, Королева». С особой радостью Канцлер воспринял весть о предстоящем появлении на свет моего чада. Он начинает череду особых указов. Вот один из них:

8 января 1973 года

Плод г-на Президента возведен в чин лейб-гвардии сержанта

независимо от пола

Президент Канцлер

Ко дню своего рождения, — к великому ликованию Палаты родился все-таки мальчик, — он был уже произведен в лейб-гвардии майоры. Причем Канцлер соответственно повышал и «оклад денежного содержания». В связи со столь значительными событиями была упорядочена последовательность тостов на заседаниях Палаты.

28 мая 1973 года, в день моего рождения (сын Александр родился 20-го числа того же месяца), Канцлер составил указ, где младенец именовался Принцем и удостаивался звания лейб-гвардии полковника. Через десять дней Принцу Александру присваивается очередное звание генерал-аншефа, он назначается шефом-командиром личной гвардии Президента-Отца и лейб-гусар Ее Президентского Величества Королевы. Не прошло и двух месяцев, Канцлер новым указом — в знак признания совершенств красноречия Принца, проявленного в беседе с Президентом-Отцом и самим Канцлером, назначает его шефом Культурной Академии Звездной Палаты...

Один из подобных указов, датированный 27 ноября 1973 года, начинается словами: «По случаю выполнения Канцлером ответственной задачи к чести Таджикской Республики...» Посвященному смысл их ясен: АН, в качестве литературного «негра», вкалывал на Душанбинской киностудии, доводя до ума сценарий Фатеха Ниязи. Знаю, таким же образом приходилось ему подрабатывать на «Молдова-фильме». Хочу спросить у господ критиков: вот такая литературная поденщина и впрямь была уделом процветающих советских писателей?

Да Бог с ними! Вернусь-ка я лучше к «Звездной Палате». Так вот играли мы с АН, потешая и ублажая друг друга. Друзья, наслышанные о нашей забаве, потихоньку завидовали и старались быть принятыми в члены Палаты — даже с испытательным сроком. Но мы оставались непреклонны. Однажды мы с АН заглянули к жившему неподалеку от меня приятелю. У него была в гостях некая дама. Она, я приметил, сразу положила глаз на АН. Хозяин осведомился, как дела в Звездной Палате? Мы стали наперебой рассказывать о новых указах и готовой вот-вот разразиться войне с Люфтландией за поставки сыра с Млечного пути. Но тут дама, взволнованно одернув заграничный жакет, сказала: «Ни слова больше! Я — жена советского дипломата и дала подписку немедленно информировать органы, если услышу о какой-либо тайной организации. Но мне не хочется навлекать на вас неприятности»... Разговор зашел о чем-то другом. Вскоре мы откланялись. Когда мы с АН оказались у меня дома, я тихонько спросил: «Ну, что, будем жечь архив?..» Канцлер мое предложение отверг.

И Палата продолжала свою деятельность, пока он не заболел и не слег...

АН обладал прирожденным талантом рассказчика. «Захватить площадку», как говорят актеры, ему ничего не стоило — в любой компании. Причем, никогда не прибегал к банальностям, не смеялся первый собственным остротам. Я часто вспоминаю его истории. Любимейшие из них те, что связаны с его пребыванием под знаменами Марса. Чего стоит поездка на танке за покупками на базар с мистическими дорожно-транспортными происшествиями, от которых, однако, никто не погиб! Или шествие в разгоряченном виде с петухом на поводке! (Этот сюжет использован во «Втором нашествии марсиан» — празднование половой зрелости петуха в кабачке у Япета.) Правда, петух, привязанный после прогулки к перилам лестницы, вдруг взлетел, веревка затянулась — и он не то погиб от несчастного случая, не то покончил с собой. А морские погони за японскими рыбаками-браконьерами... Романтическая прогулка в Новогоднюю ночь двух юных лейтенантов (один из них был АН), приглашенных неожиданно в дом двумя прекрасными девами; одна из них оказалась дочерью маршала и вышла замуж за спутника АН... Или случай с сыном другого маршала, которому по приказу маршальши бронетранспортером доставлялась выпивка и закуска прямо на московскую гарнизонную гауптвахту, где с ним делил трапезу находившийся там же АН... Наконец, сватовство самого АН (в чине младшего лейтенанта) к внучке главы мясников столицы; здесь важно, что дед АН тоже являлся старейшиной мясницкого цеха. АН был отвергнут, но на всю оставшуюся жизнь запомнил меню, казавшееся чудом в голодный послевоенный год...

Но венцом его устных рассказов я считаю импровизацию, сочиненную за ужином в хлебосольном доме владивостокского ученого. Это было повествование о якобы предстоящем АН полете в космос. Старт был назначен на завтра. Манера изложения поражала естественностью, хотя и ощущалось понятное накануне такого события некоторое волнение. АН, встав из-за стола, вышел на середину комнаты. Говорил, чуть запрокинув голову, лишь изредка взглядывая на нас, притихших, отодвинувших тарелки и рюмки. Наверно, он видел воочию и огромный фотонный звездолет, мчавшийся к созвездию Льва, и своих спутников (среди них оказались и я, грешный, и Алик Городницкий), планету, на которой им предстояло высадиться... Впрочем, достоверность деталей в его изложении входила в некое противоречие с ироническим тоном, и становилось ясно: перед нами хитроумная пародия на опусы фантастов, даже угадывались ее адреса... Но тут приборы на звездолете АН обнаружили чужой корабль, принадлежавший, судя по всему, какой-то неведомой цивилизации.

Маневры его казались угрожающими. На этом интригующем эпизоде АН оборвал повествование, предоставив слушателям теряться в догадках. Долго не умолкали восторги и комплименты. Засим продолжилось пиршество...

Несомненная артистичность АН, я думаю, особенно помогала ему в его переводческих трудах. Ведь переводчику необходимо перевоплощаться (постоянно) не только в различные чужие персонажи, но и в творцов этих персонажей. АН обладал качеством, выгодно отличавшем его от многих амбициозных деятелей «лучшей в мире советской школы художественного перевода» (один из «больших мифов» нашего прошлого). Качество это — выдающийся литературный талант. И еще он великолепно владел русским словом; органически усвоил языковые богатства классики и имел чуткий слух, воспринимавший звучавшую вокруг речь его современников — молодых и старых, людей самых разных профессий и «состояний» (пушкинское словцо, которым сам АН часто пользовался). А может, талант, и сам по себе, является ключом к сокровищнице языка? Не ведаю! Зато убеждался не раз: русские тексты переводов АН рядом с захваленными поделками (дамскими и мужскими) удивляют своей подлинностью.

Переводчик А.Н.Стругацкий существовал в двух ипостасях: под своим собственным именем и как С.Бережков. Последний переводил фантастику: с английского («День триффидов», роман Джона Уиндема; рассказ Кингсли Эмиса «Хемингуэй в космосе»...) и японского (Кобо Абэ — повесть «Четвертый ледниковый период», рассказ «Тоталоскоп»...). Превосходные работы. Знаменательно, что переводчик, будучи сам мастером фантастического жанра, своеобразным и мощным, сохранил художественные особенности, почерк переведенных им авторов. Но мне, человеку с «востоковедным прошлым», милее и ближе переводы АН из японской классики. Я тоже переводил средневековую и современную прозу — вьетнамскую, но в духовной жизни, истории Японии и Вьетнама немало сходных черт. Прекрасно поэтому представляю себе все трудности — загадочные, порой чуть ли не мистические, подстерегавшие АН на этом пути. И могу оценить вдохновенное мастерство и изящество, с которыми он эти трудности преодолел. Украшением тома Библиотеки всемирной литературы — собрания классической прозы Дальнего Востока стали переведенные АН три новеллы из книг знаменитого Ихара Сайкаку, писавшего во второй половине XVII столетия (средь них моя любимейшая — «В женских покоях плотничать женщине»). Помню веселый пир на восточный лад, коим отметили мы с АН выход этого тома БВЛ, где соседствуем под одной обложкой.

Но истинным шедевром почитаю выполненный АН перевод «Сказания о Есицунэ», японского романа, написанного в XV или начале XVI века. Прочитав его в рукописи, я испытал нечто вроде легкого шока. Упросил АН выдать мне перевод до завтрашнего утра и перечитал его дома, желая — так бывало в детстве — понять, как это сделано. Нет, АН не злоупотреблял архаизмами, дабы воссоздать дух старины. Они поставлены на странице нечасто с тонким расчетом — так старые мастера клали кистью на холст блики света. В тексте существуют (в русской транскрипции) японские слова — термины, имена собственные. Они не только знаки иной культуры, реальности чужого быта, черты диковинной природы. Это созвучия музыкальной палитры текста, мы слышим его по-особому, как бы чуть-чуть по-японски. Здесь нет перебора: часть специальной лексики переведена, и для нее найдены точные эквиваленты в русской придворной, военной, религиозной терминологии. Но и остальные для русского читателя вовсе не тарабарщина — многие переведены, объяснены в комментариях. Приемы эти, вообще-то, известны; главное — соотношение их. Система — цельная и гармоничная. Иного читателя удивят иноязычные, заимствованные русским языком слова (паж, проспект, вассал, министр, рескрипт...) Вспомним, со стародавних времен при построении государства Российского в самых различных сферах: придворной ли, державной, военной, да и культурной и прочих приживались пришлые слова — греческие, латинские, немецкие, французские... Точно так же на Дальнем Востоке многие страны и, возможно, более прочих Япония, заимствовали из Поднебесной. Китайские письмо, преображенное позднее, этикет, основания словесности и художеств, технические достижения, само собой, и военные... Так что иноязычные слова — тоже знаки, мета определенного устроения жизни, сложных ее связей.

Думаю все же, той самой «старинности» и изящества русского воплощения АН достиг ритмическим строем своей прозы, ее музыкальным ладом. Если читать ее вслух, особенно заметны точное «попадание» в этот лад ударений и пауз. Открываю книгу и вслушиваюсь в первую фразу: «Когда обращаются за примерами воинской доблести к японской старине, то называют Тамуру, Тосихито, Масакадо...» И грозные громовые аккорды звучат в заключающем сказание периоде: «Помнить надлежит: богиня Кэнро отвергает тех, кто нарушает замыслы и последнюю волю отцов своих, достигших силы и славы праведными путями!» Как изысканно и как просто!..

Сама по себе работа над переводом сказания требовала основательных знаний японской истории и литературы. АН написал к книге предисловие и

составил комментарии, все это, вместе взятое, можно считать подвигом. Но едва он сдал рукопись книги в издательство «Художественная литература», начались перипетии прямо-таки по М.А.Булгакову. Предисловие странствовало по Москве от рецензента к рецензенту и возникали противопоказания за противопоказаниями. АН написал яркую, нестандартную статью, действительно обращенную к широкому, как принято выражаться, читателю. Без заплесневелого наукообразия, привычных штампов. И подзаголовок у нее был «возмутительный» — «Инструкция к чтению». Уверен, шокировавшие утонченный вкус издателей и рецензентов особенности статьи суть отражение всегда интересовавшего АН поиска «острой» интриги в литературном произведении и породившей его исторической драме, тяги к игровой стихии. Но своя рука владыка: статью отвергли. Вдруг выяснилось: на предисловие и комментарий был составлен один общий договор. АН, обиженный, — нет, оскорбленный, — отказался печатать комментарии. А книга стояла в плане. Заказать комментарии другому автору значило потерять массу времени. Да и АН не отдал бы свою работу в чужие, «холодные» руки. В конце концов издатели уломали АН, комментарии и перевод ушли в набор (вместе с «правильным» предисловием другого автора).

На подаренном мне экземпляре романа АН написал: «...Вот оно, никогда не сбывается, что хочется. Янв. 85». Однако справедливость — с неизбежным опозданием — восторжествовала! В 1993 году фантастический альманах «Завтра» напечатал многострадальное предисловие.

Я люблю и другие переводы АН... Повесть «Пионовый фонарь» Санъютэя Энте. Автор ее — замечательный устный рассказчик и актер, сам читавший со сцены свою прозу с одним лишь веером в руке. В начале 80-х годов прошлого века за пятнадцать вечеров была сделана стенографическая запись «Пионового фонаря», изданного отдельной книгой. Действие ее происходит в XVIII веке. Вспоминаю об этом, чтобы уяснить непростую задачу, поставленную перед собой переводчиком. Она была решена с блеском. АН удалась «полетная» легкость разговорного слога, найдены речевые характеристики персонажей из разных сословий и мрачноватый тон повествования... А его великолепные переводы прозы великого Акутагава Рюноскэ! Я часто перечитываю «Нос» и «В стране водяных». Хотя знатоки-японисты особенно хвалят «Бататовую кашу». Вот, пожалуй, и все переведенные АН вещи классика. Но он написал еще и предисловие к тому новелл Акутагава Рюноскэ, вышедшему в Библиотеке всемирной

литературы. И это эссе открыло для меня мир и судьбу японского мастера.

Своим учителем и наставником АН считал Веру Николаевну Маркову, замечательного художника. Ее переводы из японской классики (поэзии, прозы, драматургии) и фольклора — непревзойденная вершина мастерства. Великолепна ее русская интерпретация стихов американки Эмили Дикинсон. Юным читателям Вера Николаевна подарила полные поэзии и светлой романтики переложения преданий и эпоса европейских народов. В последние годы достоянием читателя стала и ее собственная поэзия, ведомая прежде лишь узкому кругу друзей, — поэзия мощная, пронизанная драматическим пафосом, трепетностью сердечной и острым ощущением времени.

Разумеется, формального ученичества не было. Для АН важно было параллельное чтение переводов Веры Николаевны и оригиналов. Делал он это досконально. Иногда советовался с нею, стараясь не быть докучливым. Она писала предисловия к книгам, переведенным АН с японского («Пионовый фонарь», «Луна в тумане»), перевела украсившие прозу стихи. Общение с нею, думаю, было для него самым ценным. Бывая у В.Н.Марковой, — я вместе с АН тоже, — я замечал ее особую к нему сердечность. Ей нравилось угощать его. Она любила фантастику братьев Стругацких. Когда АН дарил ей книги, она всегда объявляла домашним: «Чур, я читаю первая!» Вера Николаевна вообще по-детски радовалась подаркам. Я всегда привозил ей из Индокитая лубки, традиционные игрушки. Как-то поделился с нею привезенными кем-то из Японии сувенирами АН. Между прочим, В.Н.Маркова, как и АН, ни разу так и не побывала в Японии.

С особым интересом читала она прозу, написанную АН «в одиночестве» под псевдонимом «С.Ярославцев». Не помню, чтобы она обсуждала эти произведения с АН, считая, видимо, тему щекотливой. Но со мной почему-то беседовала не раз о «третьей аватаре Аркадия» — так она нарекла С.Ярославцева. Мы сходились на том, что лучшая его вещь — «Дьявол среди людей». Я и сейчас так думаю. Не знаю, какова достоверность всех выкладок: сколько в С.Ярославцеве процентов от АН и сколько — от БН? И ровно ли по пятьдесят процентов от каждого во всех книгах под двумя именами? Я тоже избегал в разговорах с АН подобных тем. Но у каждого есть свои воспоминания, наблюдения, догадки. И для меня С.Ярославцев — это Аркадий Натанович Стругацкий. Потому и издание его сперва в серии «Альфа фантастика», а теперь и в дополнительном томе собрания сочинений братьев Стругацких для меня великая радость.

АН несомненно испытывал тягу — врожденную или благоприобретенную — к совместным трудам. Она простерлась и до меня, недостойного. Сперва это был замысел телевизионного сценария, лопнувший под начальственным дуновением. Но работать было интересно. Перерыли легенды древних вьетов, историческую литературу. Подиспутировав, сочинили либретто. Все всуе. Потом возникла идея снять фильм на одной из среднеазиатских студий. Никто не заинтересовался. Мы на этом не успокоились и решили написать сценарий шпионского фильма. Название «Солнечный удар» и сюжет подарил нам чудесный актер Ю.В.Яковлев. У меня сохранились листочки с написанными рукой АН списком действующих лиц и кратеньким либретто. И эта идея не материализовалась. Примерно тогда же, году в семидесятом мой приятель Михаил Воронцов, тоже игравший в Вахтанговском театре, сочинил комедию по книге Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Судя по объему, ее пришлось бы играть несколько вечеров, как в китайском театре. Имелись уже и тексты песен. Причем Миша даже договорился с Максимом Дунаевским насчет музыки. На памятном симпосиуме (в античном смысле этого слова) я познакомил АН с Воронцовым. Они очень понравились друг другу. Постановлено было: пьесе быть! Сочтено необходимым решительно сократить число персонажей и эпизодов. Предполагалось, что это сделаем мы с М.Воронцовым под призором АН. Работали мы недолго, затем все оборвалось. Подозреваю: в двух последних случаях фатальную роль сыграла моя лень.

АН, ужаснувшись ее огромности, начал борьбу с этим пороком. Если прежде он выслушивал мои устные рассказы и только смеялся, то теперь неизменно требовал, чтобы я записал их. А равно усматривал в окружающей действительности для меня массу сюжетов. Публично хулил меня, угрожая всякими карами. И я сдался. Но появлявшиеся на свет рассказы не публиковались, по причине их язвительного тона и общественной близорукости автора. Один лишь Андрей Егорович Макаенок, мой добрый приятель, подружившийся с АН, уповая на свою дружбу с П.М.Машеровым, тогдашним руководителем Белоруссии, обещал презреть цензуру и напечатать подборку моих рассказов в «Немане», где был главным редактором. Из Минска пришла верстка, и АН сказал: «Придется допустить, что есть справедливость». Но не успела, наверное, оная верстка вернуться восвояси, прибыла депеша из «Немана»: завотделом прозы писал черным по белому — «цензура сняла»... Остался один беззубый рассказ. Случилось это в шестьдесят седьмом...

А рассказ, вызвавший особый гнев цензуры, «Всеобщий порыв смеха»,

напечатали лишь в 1991 году в «ЛГ-Досье» с вступлением АН. Редакция попросила его разрешения использовать в этой публикации отрывок из предисловия к маленькой книжечке моих рассказов, вроде бы благосклонно принятых в одном московском издательстве. Само собой, книжка не вышла. И в июле того же года я отвез ксерокопию рукописи в подарок другу детства, ныне жителю Сан-Франциско. Для смеха сообщу: вернулся с семейством в Москву утром 19 августа все того же 1991 года.

Потом, неожиданно для меня самого, книжка, — она так и называется: «Всеобщий порыв смеха», — вышла в Америке на русском языке с предисловием АН в девяносто втором. Только АН ее уже не увидел. А ведь он, как никто, умел радоваться успехам друзей. «Марька, — сказал бы он, — видишь, наша взяла!..» И напомнил, как чуть ли не четверть века назад, когда он нелестно отозвался о все том же «Всеобщем порыве смеха», я тайком выбросил рукопись в мусоропровод. Так уж вышло, но АН почти сразу узнал об этом и заставил меня спуститься в чулан с мусорным контейнером. «Спасти, — как он выразился, — страдальца».

Я, конечно, переделал рассказ, но потом, при каждом возврате его из органов печати, АН объяснял мне: я, мол, нанес своему опусу оскорбление, и он (опус) в отместку не желает воплощаться печатно. К текстам, следуя восточным учениям, АН относился мистически. Следовало бы и мне, поклоннику тех же восточных учений и ритуалов, принести на место последнего успокоения АН свою книжку и сжечь, дабы он вместе с дымом обрел ее в мире ином. Но нет на земле могилы АН. Он завещал сжечь себя и развеять прах. И мы, пятеро друзей АН, получив в крематории скорбную урну, поднялись на одной из машин подмосковной вертолетной станции и исполнили волю покойного... Передо мной справка (их выдали каждому из нас) с указанием бортового номера МИ-2, даты, часа и координат места, где это произошло — градусы, минуты, секунды. Мне запомнился сверху декабрьский сосновый лес, пепельная лента Рязанского шоссе, на невысоком холме с ажурной опоры поблескивает большой шар. Это — антенна, окликающая спутники...

29.IX.95

Людмила АБРАМОВА

– Известно, что в вашем доме бывали писатели-фантасты: Аркадий Натанович Стругацкий, Ариадна Григорьевна Громова. Расскажите, пожалуйста, об этих встречах.

– С Аркадием Стругацким я познакомилась в 1966 году, когда Володя был в Сванетии. Познакомились мы с ним вместе с Жорой Епифанцевым. А когда Володя вернулся, и ему был сделан этот драгоценный подарок.

Взаимное впечатление было, конечно, потрясающим. Особенно потому, что Володя еще в Тбилиси, в гостинице, написал «В далеком созвездии Тау-Кита» и «Марш космических негодяев». И этими песнями он поверг Стругацкого в состояние неимоверного восторга. В особенности песней про «Тау-Кита», потому что они в это время работали над «Улиткой»... И Володя, и Аркадий очень гордились, что у них одновременно сработала мысль на эту тему.

– А Ариадна Громова?

– С Ариадной Громовой мы были знакомы раньше. Это было в один из дней пребывания в Москве Станислава Лема. Ариадна Григорьевна обладала феноменальной памятью, и задолго до этого она перевела Лему несколько Володиных песен, достала записи, рассказала о нем. И перед приездом Лем выразил желание познакомиться с Высоцким. Володя был приглашен на встречу с Лемом у Ариадны Григорьевны, – я думаю, это было в первой половине октября 1965 года. На этой встрече Володя пел для Станислава Лема и для всех, кто был на этом вечере.

– Мне говорили, что на этой встрече был и Александр Галич?

– Галича на этой встрече не было, и встречался ли Володя с Галичем, я не знаю. Мне недавно сказали, что они встречались в Риге в 1960 году. Тогда я об этом не знала. Какие-то песни Галича Володя пел, но на той встрече Галича не было. Хотя квартира была маленькая, в ней вместилось, наверное, человек двадцать... А Галич пел Лему на следующий день, в квартире Шурика Мирера. Я на этой встрече была недолго: я не столько хотела послушать Галича, сколько хотела получить автограф у Станислава Лема.

– Вы вместе с Высоцким увлекались тогда фантастикой, много ее читали. А, вообще, каков был круг чтения и, если можно так сказать, способ чтения Высоцкого?

– Я не очень люблю этот вопрос. Во-первых, Владимир Семенович личной библиотеки тогда практически не имел. Все книги, которые можно было считать его собственными, вполне укладывались в один портфель. Фантастики у него не было, мы начали собирать фантастику вместе в 62-м году, когда родился сын Аркадий. В качестве легкой литературы мне тогда было рекомендовано чтение фантастики, и мой отец принес в больницу сборник, в котором был роман Стругацких. Это были «Стажеры», и вот с того момента мы начали собирать фантастику.

А чтение... У Володи и времени не было просто так читать: взять книжку, сесть дома и читать, – почти никогда такого не было. Или мы куда-то шли, или у нас был какой-то народ... А вот в дороге он читал всегда. Где он брал книги? У кого-то из знакомых, иногда из библиотеки. На гастролях всегда много читал. А когда мы стали собирать фантастику, Володя любил, чтобы я читала вслух. Я даже не знаю, что он сам успел прочитать у Стругацких, практически все я читала вслух, даже самые длинные вещи: «Гадких лебедей», «Обитаемый остров»... – все подряд. И надо сказать, что потом мне всю жизнь этого не хватало. Раньше я мало читала вслух, не было такой потребности. Ну, разве детям какие-то детские книжки... И уже никогда у меня не было такого слушателя. Володя никогда не засыпал, а я могла по десять-двенадцать часов подряд читать...

...В театр маленькие Никита и Аркадий тоже играли. Например, у них был спектакль из жизни Ломоносова. Никита с его серьезностью и вкусом к трагедии играл роль Рихмана, которого убило молнией. Аркаша, Ломоносов, надевал мои белые чулки и бархатную курточку. Для представления специально были изготовлены астрономические таблицы и куплен глобус. Астрономические таблицы Аркаша делал на картоне, нанося на него тонкие слои цветного пластилина.

Были еще сцены из «Трудно быть богом». Стругацкие – не просто любимые авторы. В честь старшего назван был наш Аркаша. Мы были знакомы. Я читала Володе вслух все романы братьев Стругацких (многие – в рукописях).

Бывало, хоть и редко, что А. Стругацкий заходил к нам на Беговую. Давно это было – осенью 1968-го...

Аркаша Стругацкий приехал «специально посмотреть на своего крестника» – нашего Аркашу, которому только что исполнилось шесть лет. Привез подарок – огромный зеленый пулемет, из блестящего, как зеркало, полимера. Мы с Леной содрогнулись: военных игрушек в доме не было. Мы с Володей были пацифистами. Имели хождение космические луноходы с дистанционным управлением (Семен Владимирович Высоцкий, отец Володи, находил где-то самые потрясающие и дорогие). Плюшевые медведи (один от Нины Максимовны, матери Володи, высотой почти с метр) и кубометры цветных кубиков. И вдруг – пулемет! Но мы содрогнулись молча – А. Стругацкий был кумир семьи, мы на него молились. Я и сын Аркаша и сейчас на него молимся, за него, точнее. Теперь уже давно заочно.

В большом волнении мы с Леной принялись готовить закуску и из

кухни слышали громовые раскаты Аркашиного хохота, восторженные вопли детей и совершенно профессиональное исполнение Никитой (четыре года) звуков боя: пулеметные очереди, свист пуль, артиллерийская канонада, стоны поверженных противников и могучее «ура» наших. Некий нервический комок подкатил к горлу, когда Лена увела детей на прогулку, а я уселась со Стругацким за бутылку коньяка. Но я сдержалась.

Другой визит Аркадия Стругацкого я помню особенной памятью: он принес только что оконченную повесть «Отель «У погибшего альпиниста». Сказал, что это ерунда, и прочел вслух всю подряд. Я сама не дурак в чтении с листа любого незнакомого текста – я это люблю и умею – тому много свидетелей. Но как читал Стругацкий!

Он не раз, не два – часто приходил. Это всегда была нечаянная радость, и мы с сестрой бросались готовить стол. Мы любили всех кормить, а его особенно. Он и ел так же талантливо и красиво, как писал, как все делал. И вот еще помню его приход, еще до нашего с Володей развода, в июле 1967-го. А.Стругацкий жил с семьей на даче, мы его давно не видели. И гостей не ждали: у меня болели зубы, и физиономию слегка перекосило. Я была не дома, а у Лены, они с матерью, моей теткой, жили на улице Вавилова в первом этаже громадного кирпичного дома с лифтерами и пышным садом у окон. Аркадий позвонил именно туда и сообщил, что он в Москве, что скоро будет, потому что надо отметить событие: общий наш друг, математик Юра Манин получил какую-то премию, или орден, или звание, уж я не помню, но что-то очень хорошее и заслуженное. Его самого нет в Москве, но мы должны. Да! Мы должны! Зуб мой прошел и физиономия распрямилась и просияла. Мы с Леной принялись за работу: застучали ножи, загремели сковородки. Форма одежды – парадная. Позвонили Володе в театр, там «Пугачев», спектакль недлинный, приходи к Лене, будет А.Стругацкий. Играй погениальнее, шибко не задерживайся. Ну подумаешь – фестивальные гости на спектакле! Ну поговоришь, они поахают – и к нам: Стругацкий не слышал еще ни «Жирафа», ни «На стол колоду, господа!»...

Стругацкий пришел с черным портфелем гигантского размера, величественный, сдержанно-возбужденный, поставил портфель в коридоре. Заговорили о математиках, о премиях, о японской фантастике. Я, улучив момент, на цыпочках вышла в коридор: такой портфель! Должно быть, там новый роман, должно быть, большой и прекрасный...

Шесть бутылок коньяка лежали в девственно-новом, пустом портфеле. Портфель по-японски «кабан». Японцы правы.

Аркадий АРКАНОВ

Братьев Стругацких в советское время правящая идеология относила к категории писателей-фантастов. С одной стороны, эта «принадлежность» позволяла печатать их книги, с другой стороны, как бы отделяла их от писателей основного и, пожалуй, единственного направления советской литературы – направления социалистического реализма. И все, что не вписывалось в рамки этого понятия, должно было упаковываться в многослойные обертки. Одной из таких оберток была «научно-фантастическая литература». И талантливые братья использовали эту единственную возможность для реализации нестандартной литературы, хотя продвинутые читатели меньше всего считали их «научными фантастами» и поглощали их произведения как образцы настоящей литературы с большой буквы. При этом я с почтением отношусь и к «истинной», так называемой технической научной фантастике...

С Аркадием Натановичем меня познакомил мой и его друг Мариан Николаевич Ткачев, человек высшей степени образованности и интеллигентности. Я к тому времени относился к братьям Стругацким с величайшим почтением и пиететом. Я испытал чувство гордости от знакомства с одним из братьев, и, как мне показалось, Аркадий Натанович в свою очередь тоже проникся ко мне плохо скрываемой симпатией. Мы виделись с ним на литературных вечерах и за столиками ресторана Центрального Дома Литераторов. Мне льстило наше единовкусие в вопросах «что такое хорошо и что такое плохо». И порой нам хватало одного лишь иронического переглядывания, чтобы высказать свое отношение к некоторым деятелям советской литературы и их творениям. Я необычайно ценил точку зрения Аркадия Натановича и всегда старался показать ему одному из первых еще на стадии рукописи все, что сам считал для себя интересным. Мы умеренно поглощали напитки и еду, беседуя на вечные темы, включая НЛО и возможность существования инопланетных цивилизаций... Постепенно наши отношения пришли к тому, что вполне мы уже могли обращаться друг к другу на «ты», но с маниакальным упорством и даже, я бы сказал, с удовольствием общались на каком-то подчеркнуто графском уровне... «Приветствую вас, несравненный Аркадий Михайлович», – встречал он меня и получал в ответ: «Несказанно рад встрече, ваше благородие Аркадий Натанович...» – «А как вы, дорогой Аркадий Михайлович, отнесетесь к идее отобедать в нашем с Марианом Николаевичем обществе?» – «Несказанно рад неожиданно открывшейся

перспективе, вашество...» И так всякий раз...

Грустно без Аркадия Натановича... А с Борисом Натановичем я до сих пор не знаком. Вот как бывает...

---

notes

Примечания

1

ИСТОЧНИК: Завтра. Фантастический альманах. Вып. 5, М.: Текст, 1993. (Первопубликация под заглавием: «Три подвига японского Суворова. Несостоявшееся предисловие к анонимному средневековому рыцарскому роману XIV века, а ныне материал к размышлениям для тех, кто интересуется историей Японии»: Живое слово (Тюмень). – 1992. – № 1.)

2

Принц-регент Умаядо, он же посмертно Сётоку-Тайси, смелый реформатор и дальновидный политик. Речь идет о послании к китайскому императору в 607 году. (Здесь и далее, кроме особо отмеченных, примечания автора. – Ред.)

3

И еще об имени. Ни в коем случае нельзя произносить его с ударением на «у». Лучше уж это «у» вообще не произносить, а называть нашего героя «Ёсиц'нэ».

4

Токугава Иэясу, первый сёгун династии Токугава, правившей Японией с конца XVI века и вплоть до «революции Мэйдзи» в 1868 году.

5

Впоследствии Чингисхан.

6

Формально хэйанский период исчисляется с 794 года, когда столица была перенесена из Нары в Киото, до 1185 года.

7

Автор не считает себя знатоком истории японской культуры. Его основной интерес – переведенная им книга. Интересующихся культурой Хэйана он отсылает для первого знакомства к превосходной работе покойного Н. И. Конрада «Очерк истории культуры средневековой Японии VII-XVI века» (изд. «Искусство», М. 1980 г.).

8

Хогэн – название (девиз) правления тех дней – с 1156 по 1158 год. На протяжении годов царствования одного императора девизы могли меняться несколько раз.

9

По девизу годов правления (1159-1160).

10

«Уйти в бест» (чаще «сесть в бест») – скрыться от наблюдения, не проявлять себя. – Прим. ред. альманаха «Завтра».

11

Сёгунат (от «сёгун» – «верховный главнокомандующий») – политическая система военно-феодальной диктатуры в Японии, просуществовавшая с 1192 по 1867 год. Возглавляли ее династии автократов-сёгунов. Первый сёгунат (династия Минамото) длился с 1192 по 1333 год.

12

Ходзё Токимаса.

13

Камакура – город в тогдашней провинции Сагами, ныне в часе езды на электричке к югу от Токио. Ёритомо сделал его своей столицей и учредил в нем свое правительство («бакуфу» – «полевая ставка»). Камакура оставалась военно-политическим центром Японии до свержения сёгуната Минамото в 1333 году.

14

Рокухара – дворец-резиденция вождей Тайра в столице. Там же помещалась и сыскная канцелярия.

15

Ныне город и порт Такамацу со стотысячным населением на северном побережье Сикоку.

16

Красное – родовой цвет клана Тайра.

17

Белое – родовой цвет клана Минамото.

18

Цитируется по хронике «Адзума Кагами» («Восточное Зерцало»). Численность морских сил у противника приведена в оригинале неточно. Здесь она исправлена.

19

Священная Печать, Меч... – имеются в виду священные императорские регалии (Печать, Меч и Зеркало), якобы пожалованные некогда первому императору Японии его божественной бабкой Аматэрасу.

20

Видимо, имеется в виду З.Файнбург — БВИ.

21

Точнее, «Журналист», но аберрация памяти забавна — БВИ.